

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 5 | 2013





Борис Рязов | Караульная гора | 1972 | холст, масло



Борис Рязов | На пляже | 1958 | холст, масло

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 5 | 2013

В номере

.....

ДиН ГАЛЕРЕЯ

Арина Рязова

3 Энергия прекрасного

ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин

4, 101, 162, 168 Талант—под рёбра

ДиН ПАМЯТЬ

Серафима Маркова

5 Акима, Акима...

ДиН ДИАЛОГ

Юрий Беликов, Иван Миронов

11 Луч, оторванный от России

ДиН СТИХИ

Гурген Баренц

15 Незаменимый

Андрей Леонтьев

97 Последние менестрели

Андрей Деменюк

100 Отвыкнуть трудно

Евгений Яночкин

102 Меня запомнит океан

Диана Кан

105 Растаковская

Нина Огнева

173 На пасеке Божьей

Вениамин Ленский

175 Стена играет в мяч

Тимур Раджабов

177 Утешения зиме

ДиН ПРОЗА

Елена Янге

16 Транс

Юрий Гладышев

59 Я назову его имя

Николай Варнавский

79 Листвянка

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Табунов

107 Счастливая лопата

БИБЛИОТЕКА

СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Сергей Смирнов

115 Пельмени по-чукотски

Татьяна Секлицкая

130 Наташкин рай

Аркадий Маргулис

134 Истый звонарь

Алексей Вульф

136 Спой, Марко!

Анатолий Грешилов

147 Последний день вакаций

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Игорь Дуардович

160 Улыбка на крючке

ДиН БЕНЕФИС

Галина Пичура

163 В унисон: грустная ирония
писателя и жизни

Елена Литинская

169 Весёлая вдова

ДиН ЮБИЛЕЙ

Пётр Чейгин

179 Я не свободен тень свою унять

ДиН АНТОЛОГИЯ

Иван Тургенев

181 Памяти Ю. П. Вревской

ДиН ПОЛЕМИКА

Сергей Шулаков

182 Литературная конфликтология

ДиН ДЕТЯМ

189 Синяя тетрадь

196 ДиН АВТОРЫ

Арина Рязова

Энергия прекрасного

О семье художников Рязовых

Решение о создании в Красноярске музея Б. Я. Рязова было принято ещё в 1995 году, вскоре после смерти художника. Но открылся музей только в 2005 году, когда завершился ремонт помещения, в котором он теперь расположен. Находится музей Рязова в здании жилого дома Управления гражданской авиации, построенном в 1955 году. Это здание — часть архитектурного комплекса площади Революции. Оно является памятником архитектуры регионального значения и охраняется государством. Семья художника передала в фонд музея коллекцию живописи и графики Бориса Яковлевича, в том числе и произведения, созданные молодым художником в годы войны на фронте. Музей, вобравший в себе культурное наследие художника, напитанное энергией его мысли и воли, поставил себе цель: нести этот позитивный заряд людям, служить сохранению и развитию культурного потенциала России. Документы, предметы быта, ставшие архивным материалом музея, воссоздают атмосферу времени, прожитого художником, помогают раскрыть и изучить философию его живописи, этапы творчества, прикоснуться к секретам его мастерства.

Сегодня каждый красноярец и гость нашего города может прийти в музей художника Б. Я. Рязова и посмотреть «вживую» работы большого мастера. Конечно, в музее представлена относительно небольшая часть из всего огромного количества живописных работ, созданных Борисом Рязовым, ведь множество произведений «разошлось» по музеям всего бывшего Советского Союза и зарубежным галереям. Но эти работы ждут встречи со своим зрителем — человеком, способным чувствовать и любить.

Редакция «ДиН»

В нашем городе живёт много неординарных, талантливых, непохожих друг на друга людей, чьё творчество делает мир добрее и чище, затрагивает наши души, помогает увидеть прекрасное в непрекращающейся суете нашей жизни.

К таким людям — увлечённым, творческим, ярким — относятся и члены семьи знаменитого сибирского художника Бориса Яковлевича Рязова.

Творчество Бориса Рязова удивительно многогранно и многообразно, и всё же его талант и высочайшее мастерство наиболее полно раскрылись в пейзажах, которые принесли известность не только самому Мастеру, но и нашему северному краю. Его работы полны сдержанного лиризма и любви к родной земле, в каждой из них художник воспекает могучую красоту, богатство, простор сибирской природы, её величавость и самобытность. Каждая из работ Бориса Яковлевича несёт особый эмоциональный заряд — лёгкую грусть ранней осени, радость пробуждения природы, покой и умиротворение тёплых летних вечеров... Частичка души художника, вложенная в каждое произведение, в его настроение, даёт возможность зрителю сопереживать, радоваться, восхищаться или грустить вместе с Мастером, разглядеть в привычных предметах необыкновенную красоту. Ведь, к сожалению, мы не всегда можем постичь душой прелесть окружающего мира, и именно художники помогают нам сохранять умение радоваться прекрасному.

Если для Бориса Яковлевича торжественная красота и величественность сибирской природы являлись основным источником вдохновения, то главной темой творчества его жены, Нины Васильевны Рязовой, стал мир цветов, его гармония. Натюрморты с букетами сирени, пионов, скромных полевых цветов наполнены свежестью и красотой восприятия. Работы Нины Васильевны — не «мёртвая натура», а гимн жизни, в которой прекрасно всё. Её цветы необыкновенны. Они нежны, и, кажется, ощущаешь аромат роз, пионов, шиповника... Чаше Нина Васильевна выбирает не пышные растения, а показывает зрителю яркую вереницу непритязательных полевых цветов — от васильков и подсолнухов до черёмухи и ландышей:

именно в такой скромной, застенчивой красоте видна душа русской природы, её трепетность и очарование. Своим творчеством Нина Васильевна создаёт цветущий радостный мир, наполненный покоем и жизненной силой, мир, в котором цветы всегда были и всегда останутся символом любви, красоты и нежности, мир, в котором царит гармония.

Особого внимания заслуживают работы брата Бориса Яковлевича — Николая Яковлевича Рязова, весь творческий путь которого также был нераздельно связан с родной Сибирью, с любовью к ней. Эта любовь живёт в его работах, больших и маленьких, оптимистичных и грустных, ярких и приглушённых, но всегда искренних, просто, без всякой претенциозности и пафоса, раскрывающих бесконечно многообразный, негромкий и родной мир сибирской природы.

Творческую династию продолжает и дочь Бориса Рязова, Надежда, которая тоже стала профессиональной художницей и педагогом. Творчество Надежды погружает нас в мир странный и прекрасный, мир ярких эмоций, воображения, праздника, чуда. В основе стиля молодой

художницы — удивительное переплетение обыденного и фантастического, сказки и были, реальности и вымысла. Её работы оставляют нам возможность домыслить, довообразить то, что хотела донести до нас художница. Тем самым зритель становится как бы соавтором каждого произведения, разделив вдохновение художницы. Работы Надежды самобытны и удивительно изящны. Они уводят нас в мир фантастических образов, где растут необыкновенной красоты цветы, дарят свои сказочные богатства морские глубины, где среди причудливых веток и листьев прячутся диковинные птицы. Это мир, из которого не хочется возвращаться.

Константин Паустовский писал: «Дело художника — рождать радость». Выставка работ красноярских художников Рязовых дарит нам радость встречи с настоящим искусством, напоминает о необходимости остановиться, подняться над ежедневной суетой и увидеть необыкновенный, чудесный мир, который всегда рядом с нами. От картин идёт живая светлая энергия, пробуждающая в душах людских стремление к гармонии и красоте.

ДиН пародия

Евгений Минин

Талант — под рёбра

Классики знают

*А пора б поумнеть, помягчать, поостыть,
поповетрить мозги, сплунуть сладкие слюни,
бросить пить и хотя бы собаку купить,
как задумал Иван Алексеевич Бунин.*

Евгений Артюхов

Брошу пить, помягчаю у всех на виду,
поповетрю мозги и, понравясь фортуне,
поостыну немного и пса заведу,
да такого, чтоб мне позавидовал Бунин.

После сплуну я слюни и вытру соплю,
потвердею, напьюсь от тоски и мигрени,
и в пруду я собаку свою утоплю,
как задумал Иван, но Сергеич Тургенев.

Странная девочка

*Странная девочка это была:
тронула швабру, а та зацвела.
Кошку погладила — та назубок
строчки про парус, как он одинок.*

Игорь Караулов

Странный поэт книжек выпустил тьму,
были они не нужны никому,
видно, неправильно гладил судьбу —
грабли всё время стучали по лбу.
Критиков рой был к поэту суров,
но похвалил его раз Топоров —
жизнь сразу стала поэту мила.
Выдохнул строчку — и та расцвела...

Серафима Маркова Акима, Акима...

Навстречу 90-летию В. П. Астафьева

Серафима Маркова
Акима, Акима...

«Ох, Акима, Акима...» — эти слова будет постоянно повторять Эля — девушка, женщина, москвичка, силою обстоятельств оказавшаяся в глухой таёжной избушке, за тысячи километров от Москвы, рядом с охотником-промысловиком Акимой, почти умирающая и буквально спасённая им! И вот теперь, немного окрепнув, она улетает к маме в Москву, и он пришёл на аэродром — «трезвый и скучный», и всё курил и курил, не зная, что делать и что говорить, ведь они были уже не чужими. Такой уверенный, будет думать Эля, умелый в тайге, он был сейчас не то чтобы жалкий, а потерянный какой-то, до крика одинокий. «Ох, Акима, Акима», — будет повторять Эля — и внезапно услышит свой голос, и натолкнётся на его взгляд, виноватый и в то же время напряжённый, ждущий, и, сорвавшись с места, бросится к самолёту. А в самолёте снова прикинется к стеклу, ища глазами Акима, уверенная в том, что он одиноко торчит на холоде и ветру, среди снежного поля; но Акима уже нигде не было. «Ну и ладно! Ну и хорошо!» — дрогнули у неё губы. И тут она увидит Акима: он спешил от самолёта к посёлку, прикрываясь от ветра воротником грязно-жёлтого полушубка. «Аки-и-има!» — выдохнет она с упоением и пока ещё неясной тоской. Да нет, это будет, наверное, не только тоска пробуждающейся любви, а тоска по чему-то большому, настоящему, с чем она встретила и что повернуло, а может быть, и перевернуло всю её довольно легковесную жизнь. И ещё раз: «Аки-и-ма!» — уже, возможно, как зов. — Аки-има-а!» Кстати, не «Аким» — как звал его автор, а «Акима» — по-простонародному. Помню, как я читала «Царь-рыбу» впервые, много лет назад, когда она только что появилась в печати, и тоже, как Эля, всё повторяла: «Акима, Акима», — откуда-то из-под земли. Но только теперь, перечитывая снова, ощутила всю мощь этой вещи. Какая сила! Даже не сила, а силища! Как плотно ложатся друг к другу слова: кажется, сами собой, без всяких усилий со стороны автора. Это, пожалуй, не просто прекрасный, профессиональный писатель, а где-то рядом с большой русской классикой. «Акима, Акима», — повторяла я снова. А он шёл, прикрывая от студёного ветра обмороженное лицо. Он не

стал ждать отправления самолёта, пошёл против себя, против собственной слабости и жалкости. Может быть, потому и устоял — единственный из всех героев астафьевского повествования. Как тот таёжный цветок, который он увидел в детстве в Боганиде (Богом данная!), единственный, который дерзко стоял на обдувном холме, не прячась в благодатное затишье, «выйдя навстречу зазимкам, ветрам и студёным мокромозготникам». Аким сам себя будет сравнивать с этим цветком. Дальше на север, ближе к морю, их будет уже много, а здесь он был единственный. Не от него ли пошли дальше, рассеялись семена?! Сейчас всё чаще упоминается беловский Иван Африканович (герой «Привычного дела») — возможно, как эталон народного характера. Но Иван Африканович после смерти Катерины чуть было не пропал — заблудился вдруг в знакомом до последней травинки лесу. И потом он услышит как бы из могилы голос Катерины: «Ветрено, Иван, ветрено», — то есть ещё не так, как надо. И только в самом конце как будто начнёт подниматься; высморкается, вытрет ноги о половик... А Аким, повторяю, единственный, по-настоящему устал. Больше того, он вышел к «белым горам» (рассказ «Сон о белых горах»), к которым шёл нередко во сне, — к обновлению, к чистоте. Думаю, что он вывел к ним и Элю — независимо от того, соединятся их судьбы или нет. Но «белые горы» были прежде обещаны ей Гогой — Георгием Гарцевым, с которым Эля встретится до Акимы и с которым отправится в тайгу на поиски эпидемиологической экспедиции отца. Но у Гоги с «белыми горами» не вышло. Слишком легко подошёл он к «прогулке» по тайге. Привыкший отвечать только за себя, он не думал, да и не хотел нести ответственности за других. Наоборот, главным для него было освободиться от всего, что могло бы как-то связать его. И вместо «белых гор» он оказался в могиле и чуть было не увлёк за собой Элю. Появись Аким на неделю позже — и Эли уже не было бы в живых. Акима — антипод Гоги, недаром они уже при первой встрече встанут друг против друга. С самого начала пути их были разны. Аким начинал с добра, с Боганиды. Само рождение, даже зачатие было связано с чем-то добрым и праздничным. У матери,

так и оставшейся, по сути, девочкой-подростком, не повзрослевшей, не научившейся задумываться, он был первенцем; потом было ещё шестеро. В год, когда не стало Боганиды (прекратили строительство дороги, и рыболовецкая артель, на которой и держалась Боганида, перебралась в другое место), родился восьмой. Пробовали было бабы обидеть её, прозвать ветренкой — не прилипло, потому что мать не понимала обидного смысла этого слова, и её обзывать перестали, и вообще её потом никто и никогда не обижал и помогали всем, чем могли. А про ребятишек, когда кто-то спрашивал: «Чьи?» — дружно отвечали: «Наши». Само зачатие было праздничным: после общего артельного стола мать обычно пропадала всю ночь, появлялась под утро — усталая, счастливая. «Ты сё так долго? Опять ребёнков делала?» — спрашивал строго Аким. «Весна, сыночек, — отвечала мать. — Весной и птицы, и звери, и люди любят друг дружку, поют, ребёнков делают». Она любила своих Касьяшек (по имени отца, которого она, может быть, одного из всех, помнила), и как бы плохо ни приходилось, особенно зимой, никогда не хотела ни одному их них смерти. И никогда нигде не забывала о них, потому, наверное, они и выросли все. Ничего, будет думать Аким, вырастет и этот у артельного стола. «Мир и труд», — потом скажет он ещё. Именно этому учила его Боганида. Когда её не стало, он попал на «Бедовый» — невзрачное на вид судёнышко; мягое, корёженное, битое, бесстрашно пёрло оно прямо вслед за ледоходом, по реке, на север, засвечивая сигнальные щиты по берегам, соря по воде красными и белыми бакенами; и пока «Бедовый» не произведёт эту работу, никакого, по разумению Акима, пути по реке не было. Стойкости, мужеству, дружбе, справедливости учился он на «Бедовом». Всё это было сосредоточено для Акима прежде всего в капитане — Парамоне Парамоновиче Олсуфьеве. Сам он, случалось, крепко пивал, но подростком старался всячески оградить от этого: говорил о своём пагубном примере, не жалел денег на культуру, постоянно обновлял судовую библиотеку, при первой возможности отпускал их с борта; и когда «Бедовый» оказался не у дел (придумали цельнометаллические бакены — самозажигалки), Парамона Парамоновича хватил удар. Лежал он громадной недвижной тушей на просевшей до пола больничной кровати, не шевелился, не разговаривал, налаживался умирать. Но устоял, поднялся, уехал на целину и скоро прислал Акиму письмо, в котором писал, что в Казахстане тоже есть река, под названием Иртыш, Енисею, конечно, далеко не родня, однако плавать по ней можно, хотя бы шкипером на барже.

У Гоги Герцева начало было иное. Родители его учились оба в музучилище, потом уже как муж и жена «бедовали» в консерватории. Были увлечены

музыкой, хотя, возможно, судя по отношению к ним Гоги, дарования особенного не имели. «Мышиная возня при искусстве, — глумливо думал о них Гога, — это в оперном-то обозе искусство!» И незаметно для себя, под менуэты и фуги, сочинили ребёночка (это вместо боганидинского-то праздника!). А дальше вообще всё пошло наперекосяк: матери так и не удалось «добить» консерваторию — из-за дитяти. Отец же, пока её окончил и получил место в оркестре оперного театра, сделался неврастеником. Гога же годам к десяти припадочно закатывал глаза при звуке папиной флейты, вырубал проигрыватели, радио, ни на какие концерты, тем паче в оперный театр, не заглядывал, «назло матери уродовался на пустырях с футбольным мячом». А когда родители хотели пристроить его в гуманитарный вуз, заявил: если ему не позволят поступить на геологический факультет, он уйдёт из дому или повесится; от всего этого мать сделалась истеричкой и скоро умерла, отец как будто женился вновь, но Гога ни с кем в переписке не состоял. Так был сделан первый шаг к освобождению — от родительского дома. Правда, надо отдать ему должное: решив стать свободным человеком, Гога полагался только на собственные силы, поставив себе цель научиться всему, и действительно умел многое — Акима как-то даже назовёт его артистом — и старался никогда ни у кого не оставаться в должниках. Это удалось. Но помогло мало. Эля стояла как бы между Акимой и Гогой. И отец, и мать её были, несомненно, талантливыми. Хотя интеллектуалка Эля и относилась к ним несколько насмешливо и считала их людьми чудаковатыми и презабавными.

Отец стал известным эпидемиологом. Мать задалась целью создать такое издательство, которое будет выпускать не просто лучшие, а самые боевые книги, которые в других издательствах печатать не возьмутся. Всегда у них околачивались авторы с периферии и непризнанные столичные гении, за которых мать ходатайствовала. Она постоянно кого-то спасала и выводила в люди. Правда, далеко не всегда всё оказывалось во благо. Ушёл из дому так же когда-то спасённый ею отец, ушёл из научного учреждения, где чуть было уже не защитил диссертацию, ушёл «в поле, притаился в лесах». Гога через четыре года прислал маме сбивчивое письмо, в котором писал, что он навек ей обязан, но жить так не может, что там, где он сейчас, он чувствует себя полезным, ей же он предоставляет полную свободу; мама устояла: не рвала волосы на голове, не жаловалась в парторганизацию. Потом последовал ещё удар: один из её подопечных отхватил через суд одну из комнат в её трёхкомнатной квартире. Папа к тому времени потерял московскую прописку, а она забыла напомнить, да, пожалуй, и не ведала паспортных законов, а тот знал всё. На этот раз

она угодила в больницу. Но после осталась той же: так же помогала и спасала. А когда с Элей случилась беда—ещё один мамин подопечный пригласил её покататься на машине, и... Эля тогда ударилась в отчаяние и пессимизм, никуда не выходила из дома, терзая себя печальным одиночеством,—у мамы хватило сил грустно и серьёзно, как она никогда не говорила с ней, сказать ей—не замкнуться самой, попробовать спасти и дочь: «Одиночество—беда человека, дорогая моя. Гордое одиночество—игра в беду, и ничего нет подлее этой игры».

Правда, до Эли дошло это далеко не сразу. Дошло уже там, в таёжной избушке, после встречи с Акимой и после того, как ещё раз «обожглась» на Гоге. Кстати, Гога как-то скажет о себе, когда не сможет вдруг отличить Грига от Калинникова: «Дошёл». А до Эли—«дошло», она попытается разобраться, что же могло связать её с Гогой. Оба они «глупо созданы», подумала она, может быть, впервые. Ну да, конечно, Печорин—с детства самый любимый её герой. Правда, Гога не очень дотягивает до Печорина. А доведённая, кажется, уже до последней точки библиотечарша Людочка прямо бросила ему в лицо: «Экий современный Печорин—с замашками мюнхенского штурмовика!» И на это, кстати, Гога-Печорин ответил ей непристойной грубостью. Он бы, наверное, и Эле ответил так же, когда увидел, что она засомневалась: у него сразу начал наливаться тяжестью взгляд. У Эли даже мелькнёт мысль, что он может ударить её. Нет, пока только отстранился и уже не подпускал её близко к себе; очень возможно, что он, в конце концов, бросил бы Элю, оставил одну умирать (такая мысль тоже мелькнёт у неё), только помешала собственная смерть. Ей запомнились его руки. Прошло совсем немного времени с их встречи, а она уже не помнила его лица. А вот руки запомнились навсегда: крепкие, всё умеющие. Готовые в любой миг—схватить, сгрести, придавить. И ещё—«слова, слова, слова», за которыми оказывалась пустота. Этим он и брал, или, как сам однажды выразился, «заглатывал». Его бывший друг по университету когда-то сказал ему: «Ты какой человек? Ты ж с девкой полчаса разговариваешь, а она не замечает, что её уже двадцать девять минут пользуют». Господи, будет думать потом Эля, в какую же пошлость она угодила! Ну уж в чём, в чём, а в пошлости лермонтовского Печорина обвинить было невозможно.

А потом пойдёт и подлость. Она и раньше была—и с Людочкой, и с собственными женой и ребёнком, да и с самой Элей,—но как-то скрывалась за потоком высоких слов. Ну а потом уже пойдёт в открытую. Когда Киряга-деревяга (бывший, как он сам себя величал, большой начальник в Боганиде), заливаясь слезами, расскажет Аким, что продал за «путьлку» единственное, что у него было

дорогого,—военную медаль «За отвагу», тот сразу понял, кто может решиться на это, «у нищего посох отнять». «Где Кирягина медаль? Отдай!»—запальчиво налетел на Герцева Аким. Гога открыл стол, взял двумя пальцами уже переделанную в блесну медаль, покрутил её перед лицом Акима. «Ну ты и падаль»,—сказал Аким.—Кирьку старухи зовут божьим человеком... Бог тебя и накажет».—«Плывать мне на старух»,—ответил Гога, уже прямо встав против Акима,—и на калеку этого грязного. Я сам себе Бог! А тебя я накажу—за оскорбление».—«Давай, давай!»—у Акима захолодело под ложечкой, и он изо всех сил ударил Герцева. И случилось, казалось бы, невероятное: только что угрожавший Аким «сам Бог» Гога растерялся и вместо того, чтобы броситься на Акима, вдруг зашарил по полу рукой, стал собирать рассыпанные крючки с таким видом, как будто ничего не произошло. «Ну, чё же ты?—проговорил Аким.—Жмёт, што ли? Жмёт?» Но Гога уже оправился и нашёл что ответить: что мордобой—дело недоносков, и он не опустится до драки, а вот стреляться—по благородному древнему обычаю—это пожалуйста. И это будет ещё одна подлость. Он прекрасно знал, что стреляет в тысячу раз лучше Акима, которому приходилось беречь каждый заряд. И ход Гоги был верный, но «слишком голый и наглый, ход не от тайги, где ещё в драке да в беде открытость и честность были живы». «Стреляться дак стреляться»,—ответил Аким.—Как пересекутся в тайге пути, чтоб и концов не было...» И прибавит: «Ещё сидеть за такую гниду!..»—«Тебе не сидеть, тебе лежать!» И снова ответит Аким: «Там видно будет. Я не смотри что по-банному скроен, зато по-амбарному крыт». И снова почувствует, что Гога смутится, почувствует свою моральную победу. Да, Гога ещё способен был и растеряться, и смутиться, и даже задуматься—одни дневники его, которые он так упрямо вёл, чего стоят. Когда Эля однажды назовёт его поведение шарлатанством, он ответит: «Да нет, скорее дилетантство». Да, он будет пока дилетантом, профессионалы придут позже. Впрочем, возможно, дойти до последнего конца ему помешала смерть. Кстати, он почти сам предсказал её себе, записывая чьи-то, а может быть, и свои стихи: «Что же есть одиночество? / Не понять мне вовек. / Может, миг, когда корчится / В петле человек?» Он ещё корчился, как он сам скажет о себе—стоял «враскорячку»; сегодняшние Печорины и Фаусты стоять «враскорячку» уже не будут. Гога Герцев был пока только прообразом этих сегодняшних, хотя и самым близким к ним и самым главным. Дальше герои у Астафьева пойдут уже помельче. Вообще-то то же самое—то же потребительское отношение к жизни, почти уже без маски Печориных, та же гибель: ни один из героев «Царь-рыбы», мы уже говорили, не сумел устоять. Но помельче!

Один из первых рассказов назван по имени героя — «Дамка». Прозвали его так за смех, похожий на собачий лай: «Гай-ююю-гав!» Он не расстаётся с бутылкой, рыба ему попадает самая мелкая, жена его постоянно колотит. Но он, надо сказать, хотя и потрёпанный весь, а ничего. Самое главное для него — не замолкать ни на минуту. Рыбаки берут его с собой для потехи. А потешая, он тем самым поддерживает сам себя, своё хотя и крошечное, но достоинство. Но он далеко не дурак, потешать-то он своими рассказами потешает, но одновременно кое-чем и пользуется: заводит лодку, приобретает снасти, начинает понемногу выходить в море один. И ему начинает улыбаться удача. И он понемногу поднимает голову и думает о себе уже совсем иначе: что вот он продаст рыбу, перестанет прикидываться шутком, и не жена его, а он её ещё поколотит; с такими мыслями он и поднимается на корабль, который оказывается рыбоохранным судном, отобрали у него рыбу, выписали штраф, да ещё и передали дело в суд.

От потрясения Дамка тогда буквально чуть концы не отдал — жена еле выходила. Ну а потом опять ничего, устоял как будто и принялся за то же самое. Штраф он платить не стал, ну а после суда начал в своей обычной манере рассказывать, как геройски он вёл себя на суде и какие дураки судьи. Устоял как будто, только вот слушать-то его уже никто, по сути, не слушал. Не до того было: сам автор скажет почти пренебрежительно, что у него все мысли об умирающем брате, а здесь какой-то Дамка. И у других тоже заботы были далеко не шуточные: у командора погибла дочь, Грохотало думал, как бы отомстить рыбинспектору, брата командора одолела царь-рыба. Не слушали его, а ему необходимо было говорить, чтобы хоть как-то держаться. Без этого он очень скоро должен был пойти ко дну окончательно.

«Рыбак Грохотало» — название-то как будто воинственное, но, скорее, оно относится к его могучему храпу и ещё к привычке в раздражении крушить всё дома и вокруг; сам-то, пожалуй, не ахти. Вообще, напоминает какое-то тупое животное, похожее на свинью, недаром и заведует свинофермой. И внешность соответствует: лица почти не видно, все предметы на нём смазаны — ни носа, ни глаз, ни бровей.

Любит он себя самого, сало и гроши. Родом он из-под Ровно, из небольшого хлебного сельца, и оказалась там, на лихую его беду, скрывающаяся от возмездия банда бандеровцев. Когда их окружили, они под дулами автоматов пригнали к пулемётам местных мужиков, пытались под их прикрытием скрыться. Взяли всех, схватили и Грохотало. Дали срок, потом пожизненное поселение по месту отбывания. Так он оказался на севере.

Много пота и крови стоило ему, не имеющему дела с водой, научиться рыбному и речному

делу. Но выучился, одолел и даже преуспел: рыба «валила дуrom». Стали ему завидовать, сговаривались как-то помешать, и тут он наткнулся на рыбинспектора. И потерялся совершенно, похуже Дамки; сначала начал предлагать ему сало, потом материться, угрожать, проклинать, беспрестанно повторяя: «А, мамочка моя! А, мамочка моя!» Когда-то эти слова приносили ему облегчительные слёзы, и немного отходила душа. Теперь слёз не было. Закаменели они в нём. Ушло последнее, что как-то поддерживало в нём человека. А когда не удалось и напиться (пока он провозился с заглушим мотором, магазин закрыли), чтобы обалдеть до беспамятства и в обалдении огрузнуться телом, упасть, заснуть, он начал крушить всё в доме; жена успела спрятаться. Он изрубил всю мебель, облил бензином дом и постройки, чтобы спалить всё. Тут жена не выдержала, заорала в погребе, сбежался народ, миром навалились на него и повязал. Вот, собственно, почти и всё.

Командор — герой рассказа «У Золотой карги». Собственно, фамилия его была, как и у старшего брата, Утробин, это любимица Тайка (дочка) прозвала его Командором. Был он покрепче и Дамки, и Грохотало, здесь уж, пожалуй, одного рыбинспектора было мало — он ему запросто мог показать фигу. Независимый, сильный... «Ехали на тройке — хрен догонишь! А вдали мелькало — хрен поймашь!» Конечно это не гоголевская птица-тройка, но у других и этого не было. Недаром Тайка прозвала его Командором. Только ей он подчинялся во всём. И не раз уже у него мелькала мысль: вот выучится Тайка, красавица, умница (она как раз заканчивала десятый класс), устроится на хорошем месте — и бросит всё, уехает к ней. Но, увы, не получилось. Шли они с подругой с выпускного утренника — и сбил их заснувший за рулём пьяный шофёр. Подругу только искалечило, Тайку убило насмерть. И — пал Командор. Возненавидел всё и всех, даже младших своих ребят и эту девочку, которая осталась жива. За то, что они живут на свете, а Тайки нет. А больше всего, наверное, — старшего своего брата, и чуть не застрелил его, когда показалось, что тот чему-то ехидно усмехнулся.

Ну а братец его — старший Утробин (рассказ «Царь-рыба» — именно по названию этого рассказа и названа вся книга), — кажется, во всём был противоположен Командору: аккуратный (всегда и во всём у него был порядок — и в лодке, и в доме, и с женой), удачливый в делах, и никто ему не завидовал — все принимали как должное и звали уважительно Игнатичем. Был он чем-то вроде механика, умел многое, никогда никому не отказывал в помощи и помогал бескорыстно. Только вот после этого человеку, которому он помогал, становилось как будто немного не по себе. «Чем тебя и благодарить, Игнатич?» — спрашивал

обыкновенно тот, кому он помог. «Благодарить? — усмехнётся Игнатич. — Ты бы лучше в лодке прибрался, сам обиходился. Руки с песком да с мылом натёр». Сказано всё верно, да и сказано вроде мимоходом, а человек как-то сразу терялся, конфузился, чувствовал своё унижение, досаду на свою нескладность и недоделанность. Или вот ещё случай с работницей сберкассы, выдавшей так называемую тайну его вклада. Игнатич её не одёрнул, не сказал ни слова, но перевёл счёт свой в Енисейск. А работница эта сразу как-то притихла, стараясь с Игнатичем не встречаться. Если же не удавалось, опускала глаза и, торопливо пробегая, «навеличивала»: «Здрасти, Зиновий Игнатич!»

Командор, не любивший брата, как-то скажет, что говорит-то он путём всё, «голимая всё правда», но вот вроде как «близирничает братец, спектакль бесплатный устраивает, тешит свою равномерную душу». Лучше уж, будет думать Командор, «отволохай, отлупи, рожу всю растворожь» — он скорее это примет. Да и у других, думает, будет то же самое в душе.

Сам Игнатич начнёт над всем этим задумываться только во время смертельной схватки с попавшей на его самолёвы царь-рыбой. Тайка брала Командора добром, а царь-рыба пошла наперекор Игнатичу. Он сразу подумает о том, что эта рыба слишком велика и что одному ему с ней не справиться. Но утробинская жадность взяла верх. Попробовал. И рыба потащила его за собой вглубь, и он оказался в воде, но сумел кое-как ухватиться за борт лодки. А рыба переменила тактику: начала прижиматься к нему боком — теснее, теснее, не давая ему перебраться в лодку. Как будто говорила: если уйдём, то вместе. У него даже мелькнула мысль об оборотне. И понял он, что это конец, на помощь ему прийти некому. И вот тогда до него и начало доходить, и он начал думать о том, что все они — Утробины, что главное для всех — жадность и жадность, а всё другое — только притворство и прикрытие. Вспомнились предупреждения старых рыбаков, что если есть у человека какой тяжкий грех на душе, лучше отпустить царь-рыбу. И вспомнил он свой самый большой грех: как надругался в молодости над женщиной. Связалась она с каким-то лейтенантом из трудармейцев, прибывших на их лесопилку. А он, тогда совсем ещё сопляк, решил отомстить. Сначала насиловал, а потом, по сказке старших дружков, поставил её, покорную, дрожащую, над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с неё байковые штанишки, поддал коленом под зад, и она полетела в воду. Послушал, посмотрел, как возится на мелководье девчонка, путаясь в исподнем, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусливо посеменил домой. Потом он как будто покаялся перед ней, но она только едва смогла проговорить:

«Пусть вас Бог простит, Зиновий Игнатич, а у меня на это сил нету... Во мне не только что душа, во мне и кости навроде как пусты...»

Потом он ни на одну женщину не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, надеясь, как он будет теперь говорить, смирением избыть вину, отмолить прощение. Но, выходит, не получилось: природа — ведь она тоже женского рода. И пришёл час расплаты. Вот, начнёт он думать, «и прими заслуженную кару... Не раскисай... молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не обманывай». Кажется, действительно дошло. (Думаю, что эта вещь посильнее хемингуэвского «Старика и моря».) И он уже попробовал разжать пальцы, намертво вцепившиеся в борт лодки, но руки свело, и они не разжались. И он затих и переходил уже в иной мир, но что-то в нём ещё не соглашалось с упокоением. И тут он услышал рокот мотора и очнулся, жизнь снова завладела им и пробудила мысль; и он приказал себе ждать, не звать на помощь сейчас — всё равно не услышат за гулом мотора. А вот когда заглушат моторы... А рыба неожиданно отцепилась: сорвалась с крючков и, счастливая, хотя вся израненная, ушла в глубину — скорее всего, умирать. «Иди, рыба, иди! — молвил Игнатич. — Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» Это были его последние слова. А он сам? Рассказ кончается тем, что ему стало легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, душе — от какого-то ещё не постигнутого умом освобождения. Думаю, впрочем, на настоящее освобождение-возрождение особенно надеяться не стоит. Но от притворства он, возможно, и освободится. Или, как рыба, поживёт теперь сколько сможет. Или, что тоже возможно, пойдёт уже напрямик.

Недаром вслед за этим рассказом следует другой — «Летит чёрное перо», летит уже во все стороны — без притворства, без жалости, без предела. Львы, как старику у Хемингуэя, ему сниться не будут. Кстати, через два года мы снова встретимся со всеми героями, будут те же самолёвы, старший Утробин по-прежнему будет среди них. А итог всему, пожалуй, подведут слова, песни, которые будет повторять Грохотало: «Маты! Маты! Ждэ своего солдата, а солдат спыть вичным сном...» Не проснуться им, не очнуться, не возродиться; разве что, как выразится автор, «закомлеют», как Грохотало, — пулей уже не пробьёшь, или сникнут совсем.

Не устоял и Коля, младший брат автора, и закадычный друг Акима, хотя он будет и не из «утробинской» породы. Но надорвался, взвалив на свои хрупкие, почти ещё детские плечи всю ответственность за семью вместо своего развёсёлого папочки. Астафьев скажет о нём и о себе, что он всё-таки знал в жизни и хорошее, и плохое, а

Коля ничего, по сути, хорошего не видел, оттого, наверное, и был такой тихий, мягкий, готовый услужить.

Тогда в тайге в первый раз (рассказ «Бойе») он устоял. Спасла его тень верной собаки, застреленной конвоиром папочки. Справился и с больным сердцем. Но настигнет его обычный удел всех ослабленных непосильной жизненной ношей — рак. Попробует он было ухватиться за какую-то невидимую верёвочку, чтобы подняться с койки и встретить приехавшего брата, но верёвочки этой уже не оказалось.

Качнулся и сам Виктор Астафьев, сильно качнулся, хоть и сам скажет, что знал и плохое, и хорошее — обижаться вроде нечего. Но не было у него ни Боганиды, ни «Бедового»: в семье оказался не особенно нужным, потом детдом, война, которую встретил ещё совсем неокрепшим. Но самое главное, думается, что слишком болезненно он реагировал на всё негативное, происходящее и с ним, и не с ним.

Отличная почва для провокационных писем, если они действительно были. Боль, болезненность перешли в ненависть, потом пошёл мат. «Неужели нельзя без мата?!» — кажется, это скажет Распутин. Нельзя, в наше время невозможно, как и без алкоголя. Но если это пойдёт сплошь, тогда уже вряд ли подняться. «Царь-рыба», думается, его лучшая вещь, именно царствовала. Будет ещё «Последний поклон», но уже, пожалуй, действительно последний. Дальше пойдёт не совсем то, а потом уже совсем не то. Но Астафьев оставил после себя Акиму, как Толстая оставила Бенедикта. Сопоставлять их, может быть, особенно не стоит, но они из разного времени: один — до, другой — уже после так называемого «взрыва».

Акима, Акима... единственный из всех героев «Царь-рыбы», кто по-настоящему устоял. Он был жёстче их всех, в том числе и самого автора. Уже самый первый пример — когда он оставляет в тайге отставшего Тарзана, в то время как Коля и автор готовы были нести его к лодке на руках. Будем ждать собаку, скажет он, погибнем сами. Потом прибавит: ничего с ним не сделается. Не пропадёт. Ему не меньше было жаль оставлять собаку, чем им, но он сумел пойти против себя. И тогда, когда уходит, не дождавшись отлёта Элиного самолёта.

И потом — с Гогой, над которым одерживает настоящую моральную победу. (Кстати, вспомним поведение лермонтовского Печорина во время дуэли с Грушницким и сравним с поведением в аналогичных обстоятельствах Герцева: как небо от земли). «Ничего», — скажет Аким и после последнего удара, когда родичи умершего Коли велют ему вернуть и лодку, и снасти, хотя всё это держалось прежде всего на нём. «Нис-се-о-о! — будет он утешать расстроенного таким поведением родных автора. — Нисе-о. На Сурниху подамся. Новый леспромхоз там открывается. Пять специально-стей, пана, имею, нигде не пропаду!»

Ну а если и специальности его не понадобятся, и леспромхоз отнимут так же, как Боганиду и «Бедовый» (к этому, кстати, шло), тогда... нет, «корчиться в петле» он не будет, он уже давно, в таёжной избушке, противопоставил этим стихам свои, другие стихи — о последнем полёте сражённой подкравшимся охотником поющей птицы:

Пошла в полёт последний птица,
Пробитая насквозь картечью,
Пробитым сердцем песню довершив.

Каким будут его последний полёт и последняя песня, трудно сказать, но, думается, завершить он сумеет как надо. А рядом с ним, возможно, уже встанет и Эля. «Акима, Акима», — думаю, не перестанет она повторять, несмотря на то, соединятся ли их судьбы или нет. И мы тоже вместе с ней будем звать его (и уже зовём!) всё чаще и громче: «Акима, Акима!» Потому что без него ни у кого ничего не получается — ни с одной, ни с другой стороны. Ни у тех, кто принимает таких, как Аким, за быдло, ни у тех, кто слишком уж старается сделать русский народ миссионерским. Не стоит так уж рядить его в святые. А «он идёт, святой и грешный, русский чудо-человек!» — лучше Твардовского, думаю, никто о нём не сказал.

И ещё одно в заключение: может быть, не стоит пугать людей империей? Просто крепкое государство, постоянно заботящееся о каждом из своих подданных. Без этого, не почувствовав этой настоящей заботы, народ ни на какое «общее дело» не пойдёт. А без него никакое «общее дело» с места не сдвинуть. А сдвинуть необходимо, если мы не хотим утопить друг друга во взаимной ненависти.

Юрий Беликов, Иван Миронов

Луч, оторванный от России

Во время нашего разговора он как-то по-особенному держал белую фарфоровую чашку с кофе. Словно согревал в ладони голубку. Возможно, это—знак пережитого: мой собеседник два года провёл в тюрьме и, видимо, на уровне подсознания привык иначе относиться к бытовым мелочам воли. А тюрьма у него была одна из самых гулких—федеральная №1, более известная как «Матросская тишина», где содержат под следствием особо опасных преступников.

Иван попал сюда по абсурдному обвинению в покушении на Анатолия Чубайса. За него боролись друзья, родители и близкие по духу люди. Поручительством депутатов Государственной Думы Миронов был сначала освобождён, а затем решением коллегии присяжных полностью оправдан.

Сегодня Иван Миронов—кандидат исторических наук, общественный деятель, автор нескольких книг, в том числе—бестселлера «Замурованные. Хроники кремлёвского центра». Тюрьма его не сломала. Наоборот—научила отстаивать свои права, равно как и права окружающих. Буквально в декабре минувшего года Миронов стал во главе протестного студенческого движения одного из московских вузов. Так эпоха создаёт героев нашего времени. Как раз—по возрасту: Ивану чуть-чуть за тридцать.

— Иван, вы на собственном опыте проверили силу русской поговорки: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Существуют разные точки зрения на тюремный и лагерный опыт. Например, Солженицын считал, что этот опыт—во благо. Варлам Шаламов, напротив, говорил о пагубности этого опыта для человеческой души. А, допустим, Эдуард Лимонов утверждал, что всякий русский писатель должен пройти через тюремные нары. А что по этому поводу думаете вы?

— Здесь я, наверное, больше солидаризировался бы с Солженицыным. У него есть такая фраза, под которой я готов подписаться на все сто процентов: «Спасибо тебе, тюрьма, ты сделала меня человеком!» Всё зависит от человека, от его мировосприятия, потому что одних тюрьма, конечно, ломает безвозвратно, и люди выходят на волю душевными инвалидами, а других она поднимает на какой-то новый пассионарный, мировоззренческий

уровень. Речь о том, насколько ты готов это принять и над собой работать. В тюрьме вы начинаете жить абсолютно по другому графику и привычкам. Отказываетесь от всего, что было. В том числе—от каких-то человеческих симпатий. Это могут быть жена, дети, любимая. Родители, которых вы не видите до суда. Если вы готовы всё это принять и отказаться от того, что с вами было в прошлой жизни, и начнёте строить жизнь сначала, тогда вы победите. Есть такой термин—«гонять». Люди могут часами, сутками, неделями лежать на шконке, уткнувшись взглядом в потолок, и перемалывать воспоминания с такой дикой тоской и душевной болью, что в итоге есть риск, что духовно они уже с этой шконки не встанут.

— Но когда человек возвращается обратно—в утраченную жизнь на воле, он что, остаётся с этим приобретённым в тюрьме опытом и рядомком? Или всё-таки он его старается забыть?

— Вот я вернулся через два года. В состоянии сначала ещё подследственного, а затем—подсудимого, потому что я судился, уже будучи на свободе. Это был тяжёлый, напряжённый этап. И тот график, который уже сложился у меня и вошёл в привычку в центре, я старался перенести на волю. Потому что это очень жёсткая дисциплина: ранний подъём, ты стараешься много читать, два часа посвящать спорту, определяешь время для того, чтобы писать, вовремя ложиться, утром и вечером—молитва.

— Во время вашего заточения вам довелось встречаться с фигурантами самых громких уголовных дел. Это нашло отражение в хрониках «кремлёвского» центра «Замурованные». Если бы сейчас изобрели машину времени, что бы вы выбрали: не быть обвинённым в покушении на Чубайса, не обрастать тюремным опытом, не встречаться с вашими именитыми сокамерниками и, как следствие, не писать книгу «Замурованные»—или всё оставить как есть?

— Знаете, это как на отдыхе: я не люблю отдыхать там, где я уже отдыхал. Даже несмотря на то, как там было хорошо. Вторичные ощущения уже не будут так обострять твоего разума и чувств. Это уже будет другая, несколько выдохшаяся история. Годы через полтора наступает понимание того,

что ты во всех этих «спечах» «Матросской тишины» и уже, наверное, всей тюремной системы Москвы всё знаешь и вряд ли чему удивишься. Закончились все персонажи, с кем бы хотелось поговорить и о ком бы хотелось написать. И, наверное, тот богатейший тюремный фольклор, который ты слышал. Да, тюрьма—это встряска эмоционального состояния. Потому что ты пишешь, в основном, под адреналином. Адреналин вырабатывается опять-таки от резких переживаний. Но когда ты сидишь долго, это эмоциональное состояние начинает гаснуть. Пора выходить на свободу.

— Вы так описываете явление в камеру Григория Грабового: «Его нельзя было упрекнуть в полноте, но обрюзгший выпяченный живот делал Грабового похожим на беременную цыганку». То есть это человек, не обладающий никакими сверхвозможностями? Вообще, насколько тюрьма выявляет человеческую суть?

— На сто процентов. Но это зависит от времени. Что касается Грабового, то я сидел с ним несколько месяцев в одной камере. Здесь никакими сверхспособностями и даже способностями не пахнет! Это человек, который не знает элементарных вещей. Например, когда крестили Русь, кто крестил. У него—ограниченный словарный запас. Условно говоря—сто псевдонаучных и научных фраз. Грабового можно сравнить с Мавроди. Мавроди сидел со мной по соседству, за стенкой. Мы с ним не сталкивались, но в течение года крутились по одному пятачку. Однако по тому, что я впоследствии наблюдал и отслеживал в деятельности Мавроди, могу сказать так: они с Грабовым примерно одной и той же заточки. Это люди, одинаково психически нездоровые. Есть такое понятие, как чухан. Это те, кто могут долго не мыться, им всё равно, как они выглядят, ходят в дырявых носках или вообще без носков...

— Вы практически воспроизвели телевизионный образ Мавроди в его вечно зачуханном спортивном костюме и с характерным положением кистей рук в виде лосиных рогов над головой...

— Да... Это примерно то же, что и у Грабового. Может, им вместе, на одной какой-то машинке, промыли мозги? Но факт остаётся фактом: оба лживы, причём—патологически. При этом они себя считают мессиями и гениями. Но надо учесть, что и Мавроди, и Грабового, я думаю, «ведут» и разыгрывают какие-то очень мощные структуры. Через того и другого проходят огромные деньги, они убеждены в своём мессианстве, однако людей в итоге кидают, а сами остаются крайними. И никогда не признаются по причине своего психического нездоровья, что ими кто-то манипулировал и в результате их подставил...

— Судьба пересекла вас в тюрьме с ещё одной личностью—Алексеем Шерстобитовым, или Лёшей Солдатом, к чьей книге «Ликвидатор», вышедшей в этом году в столичном издательстве «Книжный мир», вы даже написали предисловие. Несмотря на то, что это киллер номер один и, в отличие от Грабового, на его руках—реальная кровь, вы явно относитесь к нему с симпатией...

— В любом сокамернике, тем более—с интересной биографией, несмотря на его преступный характер, ты пытаешься, во-первых, увидеть человека и, во-вторых, разглядеть, почему он пошёл по тому или иному пути. Так я познакомился с бывшим офицером, который на протяжении многих лет посвятил себя «ремеслу» наёмного убийцы. Да, это был самый громкий наёмный убийца в новейшей истории России, о существовании которого лишь догадывались. Его убийства пытались списать на счёт абсолютно разных киллеров—Салоника и других. Он убил Отари Квантришвили, убил хозяина клуба «Доллс» Глоцера, заходил на Березовского—уже держал палец на спусковом крючке, когда в последний момент прозвучала команда отмены «поставленной задачи». В общении это очень интеллигентный, образованный и приятный молодой человек. Спортивный, офицерской закалки. Больше походил на какого-то преподавателя или актёра. Я его не оправдываю, но практически все его жертвы—герои бандитских войн. Мы сидели с ним недолго—наверное, пару недель. Но как-то так ментально сошлись. Он великолепно разбирался в вопросах истории, философии, культуры. Живо интересовался какими-то новыми для себя темами, пытался во всё это вникать. И потом, когда получил двадцать три года (ему всё-таки удалось сорваться с пожизненного заключения, которое ему конкретно светило), он написал книгу, получившую название «Ликвидатор. История легендарного киллера», в издании которой я принял участие, потому что эта рукопись мне первому попала в руки. Я не вмешивался в её стилистику. Но что меня поразило: при том, что человек занимался по жизни абсолютно другими вещами, у его слова—свой, узнаваемый, очень интересный стиль. И та фактура, которой он наполняет каждую страницу, просто поражает. Где-то восхищает, где-то возмущает. Чем? Простотой, цинизмом и так далее.

Но в этой книге заложено главное—покаяние, потому что Шерстобитов признаётся во всём, что было, описывает, как оно было, и показывает, какой ценой достаётся любое преступление. В этой книге—и любовь, и убийства, и механизм, с помощью которого они осуществляются. По большому счёту—пособие и для киллеров, и для сотрудников правоохранительных органов. Уникальная книга. Да, я согласился написать к ней предисловие.

— Выйдя на свободу, вы оказались на гребне протестного студенческого движения. И фактически его возглавили. Как это было?

— В середине декабря две тысячи двенадцатого года, когда стало известно, что министерством образования принято абсолютно незаконное, противоречащее здравому смыслу и логике, коррупционное решение о реорганизации высших учебных заведений по результатам некоего мониторинга, в число которых попал торгово-экономический университет, единственный в России готовящий высококвалифицированных работников торгово-сферой, у студентов появилась перспектива быть присоединёнными к Плехановской академии. А это означало, что часть кафедр подлежала расформированию, плата за обучение должна была подняться. Естественно, произошло бы — и, я думаю, произойдёт — сокращение бюджетных мест, потому что тянуть чужих бесплатных студентов никто не намеревается. И вот тогда возникла идея ночи протеста.

Честно говоря, никто не ожидал, что можно продержаться дольше и студенческая активность способна на большее, потому что годы «работы» СМИ, особенно — телевидения, были направлены на то, чтобы вообще уничтожить студенчество как революционную пассионарную силу в стране, довести до состояния тотального эгоизма, аполитичности и нежелания куда-либо лезть и бороться за свои права. Особенно — после известных событий в министерстве обороны. Ведь то, что делает министр образования Ливанов, аналогично тому, что делал Сердюков в своём ведомстве. И после того, как даже офицеры, о которых вытерли ноги, были унижены, уткнули глаза в пол и пошли молча выполнять приказ, конечно, никто не предполагал, что могут подняться студенты. А студенты поднялись!

Да, в первую ночь молодые люди приходят на тусовку, потому что — весело. Это достаточно хулиганский формат: «Мы не выходим из вуза в знак протеста, хотя мы не можем находиться здесь ночью». А потом азарт непослушания начал трансформироваться в необходимость борьбы. И, казалось бы, разовый демарш перерос для них в задачу долгой и кропотливой работы. Прежде всего — над самими собой. И буквально на следующий день тусовка стала перерастать в организацию. Я увидел абсолютно других людей. С колоссальной внутренней самоорганизацией и самодисциплиной. Тех и не тех, которых я наблюдал, когда преподавал им историю.

— А каким был ваш университетский статус?

— У меня был абсолютно оптимальный статус для забастовки. С одной стороны, я, как преподаватель истории, мог выступать от лица преподавательского коллектива, а с другой — я был студентом

магистратуры юридического факультета. То есть мог разговаривать на равных со студенческим сообществом. Мы продержались восемь дней, несмотря на всякие подводные течения и попытки штрейкбрехеров остановить это движение, переместив в пользу захвата здания силами ОМОНа. Да, нам не удалось сместить Ливанова, но это уже вопрос времени. Самое главное, мы показали всей стране, а ребята показали сами себе ту мощную силу, о которой все говорили, но в России никто не видел. Нам удалось пробудить скважину в душах ребят, через которую забил поток неукротимой молодой воли к борьбе. Пусть это будет примером для всех. Это — чёрная метка власти. Потому что она увидела, что может быть завтра. Если сегодня поднялся всего лишь один вуз, поднялся мирно, хотя были среди студентов призывы продолжать забастовку вплоть до перекрытия дорог, то когда завтра поднимутся в стране десять-двадцать университетов, мы получим здесь и сейчас Парижскую весну-68.

— Вас уволили за «аморальный поступок». Это довольно рискованная формулировка. За что же вняли «аморалку» Ивану Миронову?

— В моей трудовой книжке и, соответственно, в приказе записано: «Уволить за аморальный поступок, не соответствующий воспитательной функции работника...» — и так далее. Основание — служебная записка от преподавателей и студентов, якобы написанная в тот же день, двадцать восьмого декабря. Представьте: новый ректор Шкляев, ещё вчера бывший коммерсантом — продавцом сладостей, удачно подженившийся на дочке ректора «Плехановки» Гришина, получает «в подарок от папы» торгово-экономический университет. И вот оба в сопровождении замминистра образования приезжают в «штормящий» вуз. И студенческий коллектив изгоняет их по моей инициативе: мол, вы прибыли капитуляцию принимать? Утрётесь!

Спустя несколько дней, когда забастовка осталась, в университет уже по-хозяйски заходит этот обиженный коммерсант и начинает «прессовать» студентов и преподавателей, чтобы те написали донос на своего коллегу! До этого «сломали» проректоров, которые втихушку сняли баррикады и впустили в вуз Шкляева, а меня уже не пустили, несмотря на то, что я ещё являлся преподавателем. Первым приказом новоиспечённого ректора было моё увольнение из университета. Эту записку мне никто не показывал. Я уже подал заявление в суд на отмену приказа.

— Тема вашей кандидатской диссертации связана с историей Русской Аляски. В дальнейшем это трансформировалось в издание книги «Аляска преданная и проданная». Большинство жителей

России знают об Аляске через песню Николая Расторгуева из группы «Любэ» «Не валяй дурака, Америка!». Особенно — по заключительным строчкам: «Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад!» Почему вас потянула эта тема?

— Я начал работать над ней на втором курсе университета. Она стала интересна мне как первый исторический прецедент по отторжению от империи российских территорий. Я не беру во внимание какие-то мелкие и локальные отторжения типа Форт-Росса в Калифорнии в первой половине девятнадцатого века. Всё-таки потеря Аляски — это глобальное отторжение российских земель, до сих пор бытующее на уровне слухов. Если вы сейчас спросите на сей счёт школьников или студентов, они вам скажут, что Аляску сдали в аренду Америке на сто лет. А другие ответят, что её продала Екатерина Вторая. Причём очень интересно появление этой информации. Император Александр Второй, который продавал русские колонии в Америке, специально запустил слух о Екатерине и об аренде. Запустил для того, чтобы погасить внутренний протест относительно осуществлённой сделки. Поэтому Расторгуев и подхватил в своей песне: «Екатерина, ты была не права».

Я ставил целью расследование всех подробностей. И пришёл к однозначному выводу: это был дворцовый заговор. Судьба русских колоний в Америке была решена узким кругом. Сюда, кроме императора, входили его брат, он же председатель Государственного совета, самый, наверное, известный коррупционер девятнадцатого века великий князь Константин Николаевич, тогдашний министр иностранных дел России Александр Горчаков, которого так любит нынешняя либеральная общественность и которого Третье отделение Бенкендорфа охарактеризовало так: «Не без способностей, но не любит Россию». А ещё — входящие в ближайшее окружение Константина Николаевича министр финансов Рейтерн и морской министр Краббе. Все они — ярые поборники либеральных реформ, лично преданные брату императора. И вот этот узкий круг фактически решил судьбу Русской Америки.

— А император эту затею, разумеется, благословил?..

— Естественно... Император в это время занимался абсолютно другими вещами — как известно, он был не очень чистоплотен в семейных отношениях, в быту, и Константин Победоносцев, обер-прокурор Синода, мудрейший человек своего времени, называл правление Александра Второго «проклятием для России».

— А как же Блок: «Победоносцев над Россией прощён свиные крыла...»?

— Блок тоже не был ангелом... Но мы сейчас говорим об оценках деятельности Александра Второго именно его современниками. Самое интересное: на Аляске же базировалась Российско-американская компания. Это — частная компания, которая успешно конкурировала с компанией Гудзонова залива. Она, управляя этими территориями, изымала прибыль, отправляла её в казну. И вот как раз великий князь Константин Николаевич пошёл по пути, когда были предприняты все меры, чтобы компания перестала приносить прибыль, началось её банкротство, а потом продавлено решение, чтобы с «компанейских» плеч бремя управление Русской Аляской переложить на государство, дабы впоследствии заявить, что это для страны — непосильная ноша. Так Аляска была быстро продана. Причём — за смешные деньги: семь миллионов двести тысяч долларов, из которых ни одного цента не попало в российский бюджет. Деньги осели в карманах тех, кто продавал Аляску.

— *Какая бы нынче была любопытная геополитическая картина, если бы Аляска принадлежала России!*

— Вообще, для Российской империи Аляска всегда была вторым полюсом. Есть такое, наверное, неправильное мнение, что развитие страны началось от единого центра — Санкт-Петербурга, и оттуда расходились лучи цивилизации, которые гасли где-то на Дальнем Востоке. Ничего подобного!

На самом деле развитие не было радиальным. Оно шло с двух точек. С одной стороны — верно, Санкт-Петербург. А с другой — именно Аляска. Потому что Аляска позволяла держать Дальний Восток, Приамурье и Сибирь. Все первые кругосветные научные экспедиции были организованы с Аляски. За счёт средств Российско-американской компании и тамошнего купечества. И конечно, если взять Крымскую войну, Аляска обеспечивала продовольствием Порт-Артур и все фронты боевых действий на Дальнем Востоке.

— *Так и хочется сказать: «Призрак бродит по России — призрак Аляски». Но если вести речь о государственной воле, может ли сегодня Россия вернуть себе эти территории в принципе? Чтобы уж окончательно — по Расторгуеву...*

— Мы постоянно режем нашу государственную границу по линии Россия — Китай. Всё время что-то отдаём. Наша граница всё время смещается. И говорить о возвращении Аляски?.. Не исключено, что когда-то мы можем предъявить права на территории бывших русских колоний. Но наша сегодняшняя задача — удержать территории, которыми мы владеем сейчас. Кстати, историческая, юридическая и моральная оценка продажи Аляски необходимы для того, чтобы в дальнейшем избежать отторжения других наших

территорий. И напротив, если мы признаём, что в случае с продажей Русской Аляски всё было правильно и законно, тогда мы признаём право дальнейших территориальных потерь. Если же

мы квалифицируем эту сделку как предательство российских интересов, то уже исторически все попытки пожертвовать нашими территориями должны быть пресечены. Я на это очень надеюсь.

ДиН стихи

15

Гурген Баренц
Незаменимый

Гурген Баренц

Незаменимый



Окидываю себя взором
С высоты птичьего полёта:
Сплошные разочарования —
Ленивый, никчёмный,
Прижимистый,
Малодушный,
Завистливый,
Ворчливый,
Нудный, —
Словом, непривлекательный.

Боже, Твоё великодушие
Воистину безгранично,
Раз Ты всерьёз заверяешь,
Что создал меня
По образу своему и подобию.



Так уж стало заведено —
Забрасывать камнями
Вчерашних кумиров.
Кто-то камни бросает в них прямо,
Кто-то — в их огород.
Камни свистят,
Камни летят,
Летят в Маяковского,
В Горького,
В Шолохова и Фадеева...

Эх, мне бы до них дорасти,
До этих вчерашних кумиров,
Дослужиться бы чести высокой —
Быть забитым камнями...



Лев Толстой,
Под самый конец своей жизни,
Добившись признания и славы,
Слав до неприличья знаменитым,
Вдруг взял и ушёл из дома.
И весь мир всполошился.
Затрубили газеты,
Заволновалась Россия,
Шар земной перестал вращаться;
Только и было, что разговоров
О странном бегстве и великом старце.

Лев Николаевич, миленький!
Я бы тоже рванул из дома,
Предварительно хлопнул бы дверью,
Убежал бы от вечных забот,
От семьи, от страны, от себя...
Я бы тоже рванул из дома,
Да вот только никто не заметит,
Не то что не заметит — не почешется,
И никто меня искать не будет,
Так что я, с денёчек продержавшись,
Вернусь как миленький — мне ж некуда
деваться,
Принесу с собой хлеба
И, конечно же, вынесу мусор:
В этом деле я — незаменимый...

Елена Янге

Транс

Окончание. Начало в № 4 / 2013.

Часть II. «Здравствуй, Отец!»

25 июля 2009 (утро)

Видела странный сон: будто в комнате кто-то есть. Дальше — как в кино. Я раздвоилась. Одна «я» лежала, другая смотрела со стороны. Широкая кровать, шёлковое постельное бельё, я — в кружевной сорочке. Бледная, как покойница, только ресницы дрожат. К кровати подошёл мужчина. Белый хитон, волосы до плеч, на ногах — сандалии. Второе «я» наблюдало из угла комнаты. Мужчина сел на кровать и поправил подушку. Возник эффект переключения камеры. Я увидела большие глаза. Они смотрели на меня, и из них лился яркий поток света. Трудно передать ощущения. Толчок, за ним — полный покой. Словно вышла на берег и посмотрела вдаль. Далёкий горизонт, синяя гладь, тихий плеск волн. Восход или закат? Крик чайки нарушил тишину. Я села на гальку и стала следить за полётом птицы. Вверх, вниз, вверх... Мнимая неподвижность — и резкий нырок вниз. Чайка летала над морем и громко кричала.

«Мечется, как человек», — подумала я.

Запрокинув голову, попыталась заглянуть туда, где птицы не летают. Белая вуаль облаков, безграничный простор и... глаза. Те самые — большие, миндалевидные.

— Ты не одна, — сказали глаза. — Я с тобой.

Ласковый свет и покой. А с ними — то, чего не хватает. Любовь и надежда.

— Кто ты — Бог, Учитель, Творец?

— Я — Отец.

— Господи!!!

— Спрашивай, говори, пиши. Не замыкайся в себе. Я растерялась.

— Как? Просто заговорить???

Глаза улыбнулись:

— Именно так.

— А как же молитвы? Я их совсем не знаю.

— Предпочитаю то, что льётся из сердца.

Я проснулась. Шкаф, кровать, кресло, торшер. На полу — солнечный луч. Видно, пробился сквозь шторы. Дрогнул, пополз, вскочил на трюмо, преломился и... засверкал. Радуга повисла на зеркале,

отразилась на потолке и упала. Прямо на подушку. Значит, рассвет.

Встала, включила компьютер. Лихорадочно набрала: «Сон о Боге». Увидела толкование.

«Если приснилось, что с вами говорил Бог, обратите внимание на здоровье».

«Видеть Бога во сне означает потребность в помощи и защите».

Прочла и забыла. Душа не отзывалась.

Мой сон — особый. В нём — Свет. А вместе с ним — Путь.

25 июля 2009 (вечер)

Здравствуй, Отец!

Написала, и душа всполошилась. Можно ли так обращаться? Однако вспомнила Слова: «Спрашивай, говори, пиши». И наконец решилась.

Прошедшая ночь перевернула жизнь. Думала о Тебе. Весь день. Пыталась представить. Белый хитон, волосы до плеч, большие глаза... Нутром понимаю: это — образ. О нём говорят и пишут. Однако у меня — образ другой: Свет, несущий Любовь. Именно так — с большой буквы.

Вспомнила стихотворение Уильяма Блейка:

В час вечерний, в час дневной люди входят в мир иной...
Кто для радости беспечной, кто для боли бесконечной...
Кто для света, кто для сна, кто — для горя от ума...

Видимо, я родилась «для боли бесконечной». С появлением Таши меня преследует боль. Вместе с ней — обиды, протест, вопросы.

Почему? Как жить? За что?

Я лишена материнства. Разве не так? Нормального материнства. Таша не встанет, не пойдёт, не родит. Множество «не», «никогда», «ни за что». Они — как иглы. Впиваются в сердце и не дают жить. Шаг вправо, шаг влево — и тут же укол. А с ним — слова: «замолчи», «уйди», «прекрати». Ташины слова.

Мечтала о девочке, ждала её, видела во сне. Большие глаза, пухлые губы, волосы ниже плеч. Литые, холёные, густые. Длинные ресницы, как у него. И взгляд. Лукавый и сумеречный одновременно.

Девочку видела чётко. Она приходила ко мне первые двадцать недель. В мыслях, во сне, наяву. Потом я заболела. Врачи всполошились. Предложили аборт. И в этот момент — телеграмма: «Лёша погиб. В Афганистане». Я превратилась в камень. Не плакала, не кричала. Окаменела, и всё. Решила родить, что бы ни говорили врачи. Во-первых, Лёшина память; во-вторых, наша любовь.

И родила. Больную девочку.

Первое время боролась, потом...

Что было потом, Ты знаешь.

В голову залетела мысль. Не Ты ли её послал?

«Рожу красавицу, — говорила себе. — Выращу, разодену как куклу. Смотрите, люди, завидуйте. Восторгайтесь».

Хотела совершенного ребенка. И что получила в итоге?

26 июля

Здравствуй, Отец!

Ты не ответил. Однако чувствую: в моём мире что-то произошло. Хочется говорить, вспоминать, рассказывать о себе.

Надеюсь, Ты слышишь.

Месяц назад я упала. Ударилась головой о бордюр. Сколько лежала, не помню. Память зацепила виденье. Я неслась вниз и видела дверь. Дубовую, старую, большую. Сквозь щели струился свет. Дверь открылась, и я оказалась на берегу. Озеро, сопки, неправдоподобно большое солнце. Оно росло и слепило глаза.

Я закричала.

28 июля

Здравствуй, Отец!

Меня считают «бесчувственной». И Таша считает. Видимо, неслучайно.

Я молчалива, холодна, неэмоциональна. Но это внешне. Публично сопереживать, проливать слёзы — не моё. Одни проявляют чувства на людях, другие прячут внутри. Я отношусь к «другим». Прячу, давлю, не пускаю. Если спросить: «Почему?» — вряд ли отвечу.

Помню героев школьной программы — Базарова и Печорина. Чувственны ли они? Учителя говорили нам: нет. Я считала иначе. Равнодушие этих героев — всего лишь поза. И мне это близко. Признаюсь, люблю театральность. Странное откровение. Не так ли? Мне нравится хорошо одеваться, ловить посторонние взгляды, производить впечатление.

Что в этом плохого?

Мир — это зеркало. Об этом говорят все. Почему бы в него не посмотреться?

Да, я рациональна, современна, расчётлива. Моё мышление конкретно, эмоции приглушены.

Однако я — нормальный человек. У меня есть желание нравиться, вызывать восхищение. И потом... чувственность и романтизм сегодня не в моде. В моём окружении людей с такими чертами характера практически нет. Одна лишь Аня — Ташина сиделка. Поразительный человек. Наивный, смешной, нелепый. Ни кола ни двора. Однако радуется. Чему? Непонятно.

Перечитав письмо, появилась мысль. Неужели оправдываюсь?

29 июля

Здравствуй, Отец!

Есть у меня приятель — «новый русский». Познакомилась с ним на приёме. Пили шампанское, болтали. Влад говорил комплименты. Стали встречаться. Не часто — по выходным. Ходили в ресторан, в кино, на концерты. Вчера посетили зоопарк. Увидела лебедей. Заговорила о верности, долге, любви. Выслушав, Влад сказал:

— Верность — пустой звук, главное — это свобода.

Меня это задело. Стала спорить. Привела в пример лебедей. Влад усмехнулся и рассказал историю о развенчании мифа.

Выслушав, подумала: видимо, орнитологам нечем заняться.

Суть истории сводится к тому, что несколько лет назад орнитологи прикрепили чипы к хвостам чёрных лебедей. И якобы тут же получили доказательства измены. Журналисты разнесли весть: «Развенчан миф о лебединой верности».

Мне нечего было ответить. Однако от разговора остался осадок. Глядя на лебедей в зоопарке, в голову пришла мысль: «Может, у чёрных возможны адюльтеры, но белые — не такие. Они — верные».

Сегодня услышала подтверждение. Где-то в Нечерноземье зимовала пара. «Дама» повредила крыло, и «кавалер» остался с возлюбленной. Когда озеро замёрзло, лебедей нашли крестьяне. Они помогли выжить.

Вспомнила Алёшу. Он бы меня не оставил. Приехал бы, прилетел, посидел бы на моей могиле. А я... Даже не встретила с теми, кто был с Алексеем в Афганистане.

1 августа

Здравствуй, Отец!

На днях читала рукопись нашего автора. Речь шла о романтическом путешествии в Париж. Один из отрывков обратил на себя внимание.

«Гребень волны опрокинулся, и я понеслась вниз. Бурлящая вода крутила, переворачивала, подбрасывала, и, оглохнув от рёва, я вдруг окунулась в тишину. Необычную тишину. Страх пропал, и я поплыла с потоком, несущимся вниз. Мощная

энергия подхватила меня, вдохнула новые силы, заставила почувствовать ритм. Судорога, толчок, полёт. Я — в Космосе. Звёзды, протуберанцы, Млечный Путь... Наверное, так, оторвавшись от тела, чувствует себя душа. Космический ритм, гармония, свет и блаженство. Я переживала эти ощущения раз за разом. Не успев отдышаться, вновь оказывалась на волне — и тут же неслась вниз. За окном гостиницы шумел Париж, а в номере было дыхание Космоса. Время от времени я приходила в себя и, всматриваясь в полумрак, думала: «Вот оно — счастье. Сколько оно будет парить надо мной — день, месяц, год? Это знает только Творец. Он подарил единение с Вечностью, и его ни с чем не сравнить. Разве оно связано с сексом? Разве его можно купить? Тысячу раз нет! Это чувство — Блаженство, Божий дар, Откровение, и достичь его без любви нельзя».

Перечитав несколько раз, подумала: «Написано хорошо, но эротика меня не волнует». Увы, это так. Видимо, в душе стала монашкой.

Однако — нестыковка. Монашки живут с Верой. Они служат Тебе. А у меня веры нет. Будто во что-то играю.

Получилось плохое письмо.

5 августа

Здравствуй, Отец!

Вечер, тишина, на бюро лежит шоколад. Мой любимый — горький с орешками. Девочкой любила ходить в магазин. Подолгу стояла у прилавка кондитерского отдела — не могла оторвать взгляд от конфет. Отец был профессором, мать — балериной, а я мечтала стать продавщицей. Смешно.

До сих пор помню тётку, стоявшую за прилавком. На голове — крахмальный «чепец», глаза ярко накрашены, узкие губы в помаде. Ещё помню вазу с конфетами. Она стояла в доме подружки. Ваза не давала покоя.

— Мама, — как-то сказала я. — Давай наполним вазу конфетами.

— Можно, конечно. А как ты считаешь, они не исчезнут?

Судорожно сглотнув, я покачала головой.

— Ну хорошо. Пусть будет так.

На следующий день ваза была заполнена трюфелями, «Белочкой», грильяжем и «Красной шапочкой».

Не буду говорить о соблазнах, скажу одно: моя психика подверглась колоссальным перегрузкам. И произошло то, что должно было произойти, — я не выдержала испытания. Конфеты периодически пропадали, и ваза пустела. У меня появилась забота — делать из фантиков муляжи и раскладывать их так, чтобы никто не заметил. Наконец, наступил момент, когда не осталось ничего.

Больше разговора о вазе с конфетами не завели ни я, ни мама.

11 августа

Здравствуй, Отец!

В Интернете встретила строчки: «Утро. Я встаю. Народ, вы понимаете, какой это кайф? Вслушайтесь: «Я встаю», «Я иду в кухню». То есть, поймите, я сама иду в кухню. И это здорово. Детство я провела с инвалидами, с тринадцати лет училась со здоровыми детьми, так что у меня — разные подружки. Может быть, случайно, но так получилось, что подружки-инвалиды — счастливее не инвалидов...»

Заплакала. Таша никогда не пойдёт на кухню, не заварит себе чай. И подруг у неё нет. Ужас! Таша — моя вечная боль. Мой молчаливый укор.

Не задаю никаких вопросов. Знаю, что не отетишь.

Продолжаю письмо.

Вспомнила телепередачу. Маленький человек с обрубками ног и рук смотрит в камеру и улыбается. Так искренне, что возникло желание улыбнуться в ответ. Мужчина — инвалид детства, всю жизнь провёл в интернате. Помогая себе культями, он был в делах целый день: что-то мастерил, чинил, клеил. Но поражало другое (хотя в его обстоятельствах любые дела — подвиг): этот человек радовался жизни. По-настоящему радовался. Его настрой передавался больным, и возле его кровати всегда толпился народ. Байки, сказки, песни... всё это рядом.

«Как вы относитесь к уродству?» — спросил корреспондент.

«А что такое уродство? — засмеялся мужчина. — Вы знаете? Я, например, нет».

Журналист смутился.

«Извините, но причина вашей радости не понятна».

«Считаю, мне повезло, — ответил инвалид. — Какой бы я ни был, но живу».

Вот так. Попал человек в интернат для инвалидов — и доволен. Хотя бы тем, что живёт. А Таша не в интернате — дома. Её окружают забота, любовь. Однако она недовольна. Ничем.

20 августа

Здравствуй, Отец!

Как говорят психологи, по большому счёту, есть две категории людей — пессимисты и те, кто верит в себя. «У меня всё получится, — говорят последние. — Главное — идти вперёд».

Не знаю, в какой категории — я. С одной стороны — пессимистка, с другой — верю в себя.

Однажды встретила статью Джона Пауэлла (собираю интересные высказывания — это полезно

для работы). В статье были слова: *«Жить полной жизнью — означает сохранять непосредственность и живость эмоций»*.

У меня нет живости эмоций, видимо, поэтому не знаю многообразия человеческих чувств. Думаю, я — эгоцентрик. И Таша тоже. Мы живём в тесных и мрачных мирах. Однако были другие времена. Когда-то я сопереживала людям. Но потом что-то сломалось. Видимо, устала. И я решила заняться собой.

23 августа

Здравствуй, Отец!

Недавно Ташу крестили. Нельзя сказать, что по велению сердца, но душевного сопротивления не было.

29 августа

Здравствуй, Отец!

Расскажу об одной истории.

Будучи студенткой журфака, взяла интервью у афганца Зафари. Он учился в мгу и жил в общестии с девушкой Машей. При первом знакомстве Зафари представил её как жену. Зайдя в гости, я спросила:

— Зафари, слышала, у тебя уже есть жена. В Афганистане. Это правда?

— Правда, — ответил он.

— А как же Маша?

— Маша — тоже жена. Я её люблю и готов жениться.

Я устала сидеть на Машу. Та сидела на кровати и улыбалась.

— Афганская жена старше меня на двадцать лет, — пояснил Зафари. — Она — хорошая женщина, но я её не люблю.

— Зачем же женился?

— Время пришло. Денег для выкупа не было, вот и женился.

Мне стало интересно. Восточная культура, чужой менталитет, неизвестные обряды. Поправив причёску, игриво спросила:

— А сколько бы стоила я?

— Две овцы за тебя бы отдал, — невозмутимо ответил Зафари.

Я была в шоке. Меня? За две овцы?!!!

Маша захохотала. Я же надула губы.

— Почему так дешево?

— Поверь, Лариса, это — хорошая цена. Сама посуди: тебе двадцать лет, по нашим меркам ты — перестарок.

— Вот ещё! — фыркнула я.

Я обиделась. Надо так сказать! «Перестарок».

А сам-то кто? Однако пару минут спустя спросила:

— Какие же невесты у вас самые дорогие?

— Девочки лет двенадцати, — с готовностью ответил Зафари. — И не горюжанки.

— Из деревни, что ли?

— Те, что живут в горах.

Увидев моё удивление, Маша пояснила:

— Из образованной девушки ничего не вылепишь. Да и мужа она слушаться не будет. Поэтому цена за неё невысока.

Тему продолжать я не стала. Возникло слишком много вопросов.

Теперь сижу и улыбаюсь.

Сейчас бы не стоила ничего.

5 сентября.

Здравствуй, Отец!

Мне нравится закон относительности. По-моему, он универсален. Ведь всё относительно, и «счастье» тоже. Таша считает: если когда-то пойдёт — будет у неё огромное счастье. Бездетные пары мечтают родить ребёнка. Одинокая девушка ждёт жениха. Мать — возвращения сына. Можно продолжать бесконечно.

А если мечта не сбудется? Тогда что? Счастья не будет?

Наверное, не так всё просто. Думаю, счастье на стороне тех, кто не гонится за иллюзиями. Вот Аня, например. Радуетса тому, что есть. Значит, счастлива. А я не радуюсь. Мужа нет, ребёнок — больной, работа не вызывает восторга.

А когда-то было иначе. В далёком детстве. Меня любили, баловали, хвалили.

Теперь в душе пустота.

Пустота вместо счастья.

21 сентября

Здравствуй, Отец!

Вспомнила эпизод. Первый курс, первая любовь, первое осознание себя — взрослой. Парень, с которым встречалась, был альпинистом. Звал меня в Саяны, однако мои родители не разрешили. Он уехал, я же купила путёвку на Кавказ и решила отправиться одна.

Поездом доехала до Нальчика, затем автобусом до турбазы. Через два дня началось восхождение на Эльбрус. На спине — рюкзак, на носу — тёмные очки. До Ледовой базы шли четыре часа. Поужинали, отдохнули, легли спать. Утром обули трикони и пошли дальше. Казалось, попала в четвёртое измерение. Остроконечные пики, каменные россыпи, ледники. Дошли до «Приюта 11». Эта гостиница стояла на высоте четыре тысячи двести метров, выше поднимаются только альпинисты. Внизу бушевала гроза. Впервые увидела молнии, сверкающие внизу. Незабываемое зрелище. Смотрела и чувствовала силу. Великую силу. Сознание, что поднялась на Эльбрус, наполняло гордостью. Смогла, сумела, очутилась наверху.

Утром начался спуск, затем Донгуз-Орунский перевал, грузинские города — Зугдиди, Мestia, Сухуми. Долгая дорога к нему.

С Лёшей я познакомилась в Местии—родине сванов. Но об этом потом.

25 сентября

Здравствуй, Отец!

В Москве холодно и промозгло. Вспомнила детство, мать отца—бабу Ньюшу.

Баба Ньюша жила в деревне. Деревянная изба, в кухне—русская печь.

Раннее утро. На печке тепло и сухо. Пахнет яблоками и грибами. Слышится скрип половиц, тяжёлая поступь бабушки. Я проснулась. Лежу и смотрю в потолок. Огромные сосновые доски, на них—разводы.

Загремели ухваты, засвистел самовар. Я посмотрела вниз. Увидела, как баба Ньюша перекрестилась, зажгла лучину, положила её в печь. Дрова загорелись, и бабушкино лицо озарилось пламенем. На столе появились доска, тазик с тестом. Я поняла: бабушка будет стряпать. Наверное, кулебяки.

Вкусно. Особенно с парным молоком.

Подумала: надо ещё поспать. Прижалась к овчине и закрыла глаза. Запахло мятой. Видимо, баба Ньюша пьёт чай. По крыше барабанит дождь. Как хорошо!

1 октября

Здравствуй, Отец!

По дороге на работу слышала такой разговор.

— Мир соткан из волшебства,—сказал ребёнок.

— Мир страшен, опасен, жесток,—ответил отец.

— Пап, правда, что чудо существует?

— Не знаю. Я его не встречал.

Задумалась. И я не встречала чуда.

А есть ли оно?

10 октября

Здравствуй, Отец!

Моего альпиниста звали Иваном. Высокий, сильный, с загорелым лицом. Полная противоположность мне. Сколько себя помню, была бледна, худа, меланхолична. Иван учился на факультете, где многодневные походы—норма. И, конечно, пел под гитару. Одна из песен—«Дожди». Часто её вспоминаю. Особенно когда идёт дождь. Как, например, сегодня в Москве. В эти минуты слышу шелест листьев, чувствую запах травы, идущее от костра тепло. Вижу полукруг ребят, жмущихся друг к другу. Одни подпевают, другие молчат, третьи слушают песню.

Я вас люблю, мои дожди, мои тяжёлые, осенние,

Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеянно я вас люблю, мои дожди.

А листья ластятся к стволам. А тротуары—словно зеркало.

И я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому...

Кажется, я тоже плыву по зеркалам.

19 октября

Здравствуй, Отец!

Перечитала предыдущие письма. Всё о себе и о себе. Надо написать о Таше.

19 октября

Здравствуй, Отец!

Встретилась с приятельницей. Она подарила диск с записями Гаспаряна. Теперь по квартире летят звуки дудука.

Впервые услышала этот инструмент в ресторане «Ноев ковчег». Затем посмотрела фильм «Гладиатор» (там музыкальный трек с дудуком). Пробрало до самой души. Долго не могла успокоиться. Полезла в Интернет и увидела высказывание Гаспаряна: *«Американцы и японцы пытались воспроизвести звучание дудука на синтезаторе, но всякий раз не удавалось. Это означает, что дудук подарен нам Богом».*

Хочу написать статью.

В моём представлении голос дудука—это голос Космоса.

25 октября

Здравствуй, Отец!

Признаюсь, я—сова. С раннего детства. Мне нравится ночь. Тихо, спокойно, мечтательно. Однако мир сделан под жаворонков. Работа, учёба, сдача анализов, ремонтные работы... всё это начинается рано. Разве справедливо?

Утреннее самочувствие сов воспринимают как дремучую лень. Попробуй зевнуть и сказать о своём недомогании. В ответ спросят: «А чем занималась ночью?» Терпеть не могу такие вопросы. Жаворонкам невдомёк, что ночью можно читать, писать, слушать музыку. К тому же сов терроризируют с детства. Им говорят: «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт».

Неужели это так?

29 октября

Здравствуй, Отец!

Увидела дискуссию на тему: как жить с мужем, чьи придирки отравляют существование? Поразил совет: «Воспринимайте его как стихийное бедствие. Разве можно переделать грозу?» Что-то здесь есть.

У меня нет мужа, есть только дочь. Признаюсь, Таша—не подарок. Относиться к её словам спокойно я так и не научилась. Порой не хочется к ней заходить.

Или уколешься, или обожжёшься.
«Разве можно переделать грозу?»

1 ноября

Здравствуй, Отец!

Сегодня маме исполнилось бы семьдесят пять лет.

Когда была маленькой, мама пела колыбельную. Простую и трогательную одновременно. Напишу её здесь. В память о маме.

Ой, люли-люлюшеньки,
Баиньки-баюшеньки,
Баиньки-баюшеньки,
Люлечки-люлюшеньки!

11 ноября

Здравствуй, Отец!

Коллега подсунула книгу, сказала:

— Прочти.

Автор—игумен Евмений.

Я скользнула взглядом по строчкам—и тут же покрылась испариной.

«Просила сил, а жизнь дала трудности, чтобы сделать меня сильной.

Просила мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения.

Просила возможность летать, а жизнь дала препятствия, чтобы их преодолевала.

Просила любви, а жизнь дала мне людей, которым я могла бы помочь.

Просила благ, а жизнь дала мне возможности».

Всё так и есть.

Вечером зашла в социальную сеть—и сразу попала на притчу.

«Однажды в коконе появилась щель. Человек, проходивший мимо, остановился и стал наблюдать, как через щель пытается выйти бабочка. Прошло время, бабочка как будто оставила усилия, а щель осталась такой же маленькой. Тогда человек решил помочь. Он взял нож и разрезал кокон. Бабочка вышла. Но её тельце было слабым, а крылья едва двигались. Человек ждал, что бабочка улетит, но ничего не случилось. Бабочка пыталась раскрыть крылья, но не смогла.

А всё потому, что человек, желая помочь, не понял главного: чтобы расти и развиваться, необходимы усилия.

Если бы нам позволили жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мало того, мы никогда бы не смогли летать».

Такое ощущение, что притчу написал Ты. И вывел на нужную страницу в Интернете.

Мне в назидание.

14 ноября

Здравствуй, Отец!

Мой мир не похож на маленький закуток, где, прижавшись друг к другу, сидят собранные и взлелеянные мысли. Я не хожу, опустив голову, не разговариваю сама с собой, не приклеиваю

ярлыки к мыслям, не лелею, не пестую их. До этой стадии мне далеко.

Просто иногда я ныряю в себя и замираю. Бывает, мои мысли устраивают бардак: они толкаются, меняют места, пытаются нарушить субординацию. В таких случаях я нервничаю, путаюсь и делаю ошибки. Иногда в голове устанавливается порядок, и тогда проблемы решаются сами собой.

Признаюсь, такое состояние для меня—редкость. Чаще всего я пребываю в меланхолии. Моё психическое, физическое, эмоциональное состояние, мои мысли и поступки зависят от того, кто рядом и что за окном.

Порой кажется, что я похожа на дерево: зимой цепенею, весной просыпаюсь, летом расцветаю, осенью пребываю в полудрёме. Я медленно хожу по дорожкам, покрытым листвой, и думаю.

Согласись, это письмо напоминает миниатюру.

21 ноября

Здравствуй, Отец!

Как-то на работе заговорили о памяти. Моя коллега, умница и хорошая рассказчица, заметила: — Говорят, по первым воспоминаниям можно изучать характер. По крайней мере, установить определяющие черты личности. Вот, например, моё первое воспоминание: люди большие-большие—до самых звёзд. «Дома и магазины выше людей,—подумала я.—Но выше звёзд ничего нет. Значит, люди ниже?» Видимо, это был мой мир сквозь прутья детской кровати. Комната тонет в сумерках. Я одна. Мне два года. Какой можно сделать вывод? Видимо, сначала включился ум, потом всё остальное.

— У меня проще,—ответила я.—Помню лампу под абажуром, высокую родительскую кровать, свою руку. Я сосредоточенно выщипываю на ковре серединки цветов. Моё «творчество» обнаружили не сразу (успела общипать семь серединок). Думаю, потом меня наказали. Однако этого я не помню. А ковёр теперь лежит в коридоре. И ежедневно вижу общипанные цветы.

— У тебя—созерцательность и акцентирование на деталях,—предположила подруга.—И желание понять суть.

— С чего ты взяла?

— Сама посуди. Выщипывание сердцевинки—это что?

30 ноября

Здравствуй, Отец!

Признаюсь, до десяти лет я не пела. Не получалось. Потом произошло чудо—у меня прорезался голос. Не вдруг, а под руководством хормейстера. Конечно, мне повезло. Не приди хормейстер в школу, кто знает, запела ли бы я.

Итак, всё по порядку. «Профессиональные» занятия пением начались в четвёртом классе. Сначала были распевки: «До-ре-ми-фа-оль-ля-си-до». Как сейчас помню руку хормейстера, плывущую вверх, затем падающую вниз. Пошли назад: «До-си-ля-оль-фа-ми-ре-до».

Прошло время. Мы уже пели на два, три, четыре голоса; наконец, начались выступления. Я стояла на сцене, пела вторым голосом и мечтала. О чём? Конечно, о сольной партии. Мне хотелось солировать. И я дождалась.

К концерту, посвящённому Дню космонавтики, хор готовил пять песен. Одна из них: «Я—Земля». Это было незабываемое зрелище. До сих пор помню украшенный звёздами зал, макет космического корабля, полутьму, бегающие лучи прожектора. А среди всего этого—я. В чёрной юбке, белой кофте, с пионерским галстуком на груди. Стою посреди сцены и пою:

Я—Земля, я своих провожаю питомцев: сыновей, дочерей.
Долетайте до самого Солнца и домой возвращайтесь скорей!

Дальше вступал хор:

Долетим мы до самого Солнца и домой возвратимся скорей.

Я сорвала не только аплодисменты. С того самого дня во мне поселилась мысль: «Почему бы не стать лидером?» Прочно засев в голове, она появлялась в самые неожиданные моменты. В таких случаях передо мной появлялось звёздное небо и раздавались знакомые позывные: «Я—Земля...»

Увы, лидером я не стала. Сначала работала журналистом, затем—главным редактором глянцевого журнала. Яркие обложки, статьи для женщин, реклама. Мне неплохо платили и платят. Относительно молодой коллектив.

Однако всё это—не то.

5 декабря

Здравствуй, Отец!

Прочла у В. Синельникова: «...*негативного опыта не существует. Есть просто опыт. Это мы его делаем негативным или позитивным, подпитывая теми или иными эмоциями*».

Задумалась. Выходит, мой опыт позитивен? Я имею в виду опыт матери. Но в чём его позитив? Не понимаю.

Далее было предложено задание:

«*Не забывайте число 28. Ни в коем случае не нужно запоминать это число!*»

Интересный эффект: число 28 я запомнила «намертво». Если теперь меня поднимут с кровати и попросят назвать любое число, я, не задумываясь, отвечу: двадцать восемь.

Случайно? Оказывается, нет. Можно сказать, закономерено. Оказывается, сначала мы запоминаем то, что делать не надо, и только потом—что надо.

Эту статью вспомнила не случайно. Таша постоянно говорит: «Ненавижу». Она вкладывает в слово множество эмоций, и, слыша его, я впадаю в тоску.

Будто бы виновата. Но в чём?

Не раз просила: «Таша, забудь это слово. Оно—плохое».

Эффект—обратный.

Что ни говори, сложная девочка.

30 декабря

Здравствуй, Отец!

Скоро Новый год. Украсила ёлку. Золотые и бордовые шары, несколько ангелочков, мерцающие лампочки. Никакого «дождя». Стильно, красиво, но как-то холодно.

Вспомнила детство. Тридцатого декабря мама доставала коробку с игрушками, и мы начинали наряжать ёлку. Настоящую, не искусственную. Пахло лесом, морозом, снегом. На ветки вешали

стеклянные бусы, разноцветные шары, бутафорские фрукты, на верхушку водружали пятиконечную звезду. Потом ёлку предоставляли в моё распоряжение, и я украшала её серпантинном, конфетами и «дождём». Помню ощущение счастья.

Бусы нарядные встали в хоровод.

Весело, весело встретим Новый год!

Эту песню я пела, глядя на ёлку. Дед Мороз, сделанный из папье-маше, стоял на полу и, щуря подслеповатые глаза, улыбался в ответ. Казалось, он готов исполнить любое моё желание.

5 января 2010

Здравствуй, Отец!

Заговорила с Ташей о приметах. Так, к слову пришлось. Окинув меня презрительным взглядом, Таша отозвалась вопросом:

—И стоило оканчивать мгу?

Обсуждение не состоялось, и я умолкла.

Тебе не пытаюсь понравиться. Знаю, что видишь насквозь. Продолжаю свои воспоминания.

Многие из женщин гадают; гадала и я. Прятали бумажки с желаниями, капала воск в воду, жгла бумагу, смотрела на тени, задавала вопросы собранию сочинений Пушкина. Однако самым необычным было гадание на зеркалах. В ту зиму я—десятиклассница—отдыхала в молодёжном лагере. Со мной в комнате жили три девушки, одна из которых—Шурочка. Интересный типаж. Вечные выдумки, розыгрыши, истории—словом, чудеса под любым кустом.

Порядки в лагере—строгие, поэтому после десяти мы запирались в комнате и выключали свет. В ночь перед Рождеством Шурочка предложила гадать. Она достала свечи, квадратное зеркало, горсть зёрен (видимо, привезла из дома). Налила

воды в блюдце, бросила туда зёрна и, как только они набухли, предложила их съесть.

— Зачем? — шёпотом спросила я.

— Наступает сочельник, — ответила Шурочка. — Нужно есть сочиво.

Пожевав сладковатую массу, я стала ждать продолжения. Шурочка бросилась к окну и, распахнув его настежь, опустила руки в свежавывающий снег. — Быстро умывайтесь! — крикнула она. — Рождественский снег дарит красоту.

Ты знаешь девушку, не мечтающую о красоте? Я, например, нет.

Мы бросились к окну и, повизгивая от холода, стали натирать кожу снегом. О красоте судить не берусь, но рождественский румянец у нас появился. Закрыв окно, Шурочка зажгла две свечи, придвинула стол к зеркалу и сказала:

— Будем гадать. Кто самый храбрый?

В ответ ей было молчание.

Шурочка выбрала меня.

— Лариса, ты начинаешь.

— Почему я?

— Твой день рождения был недавно. Поэтому ты — первая.

Как говорится, «против логики не попрёшь». Я послушно села за стол. Шурочка вручила мне зеркальце и сказала:

— Ставишь его напротив большого и внимательно смотришь внутрь. Как только увидишь зеркальные ворота, повторяй: «Суженый-ряженый, появись». Он и появится.

— Да ты что?! — удивилась я.

Было немного страшно.

— Только не забудь: как только подойдёт к последним воротам, прижми маленькое зеркало к большому.

— Зачем?

— Так нужно, — таинственно сказала Шурочка и растворилась в темноте.

В комнате воцарилась тишина. Я зажгла свечи, распустила волосы и, выполнив все инструкции, заглянула в появившуюся анфиладу. Никого. Только ворота, уходящие в зеркальную глубину. Это было незабываемое зрелище. Свечи напоминали факелы, языки пламени создавали иллюзию сквозняка, бегущего по коридору. На меня снизошло умиротворение. Сколько так просидела, не знаю. Наконец, что-то изменилось. В удалённых воротах появилась точка. Она двигалась и на глазах превращалась в тёмную палочку. Ближе, ближе... ещё ближе. Вот уже видны руки, ноги, голова какого-то человека; вот появились смутные очертания лица; вот... Я напряжённо вглядывалась в изображение. Тёмные волнистые волосы, прямой нос, светлая кожа, пронзительный взгляд...

— Закрывай! — раздался приказ.

Резко дёрнувшись, я свалилась со стула и потеряла сознание. Признаюсь, в первый и последний

раз в жизни. Когда пришла в себя, свет озарял комнату. Около меня суетилась медсестра.

— Ничего не пойму, — ворчала она. — Откуда шишка? И какая большая.

— Угол кровати виноват, — слышался голос Шурочки. — Сначала Лариса закричала, затем вскочила, ну ишибанулась об угол.

— Видно, приснилось что-то, — сказала медсестра и, шлёпнув мне на голову мокрое полотенце, пошла к двери.

— Посмотрите за ней, — добавила она. — Если что — зовите.

— Это я виновата, — зашептала Шурочка. — Забыла тебя предупредить.

— О чём? — простонала я.

— Прежде чем закрыть зеркало, надо крикнуть: «Чур меня, чур!»

Шурочка дотронулась до шишки и спросила:

— Видела суженого?

Тяжело вздохнув, я кивнула. В голове — сумбур, глаза закрывались, хотелось только одного — спать.

Спустя три года, сдав экзамены за первый курс, я поехала покорять Эльбрус. В нашей туристической группе была Нина — студентка Ростовского пединститута. Мы подружились и в течение трёх недель практически не расставались. Сначала восхождение, потом перевал, далее — на машинах по дорогам Грузии. Приехали в Местию — центр Сванетии. Древняя крепость, гостеприимные сваны, танцы на турбазе под открытым небом. Честно скажу, я так устала от дороги, что в первый день никуда не пошла. Сидела в комнате и читала Гончарова. В отличие от меня, Нина была весела, энергична и деловита. Она не теряла времени и познакомилась с парнем. Желая закрепить успех, Нина потащила меня на танцы.

— Ну пожалуйста, — щебетала она. — Как только меня пригласят, можешь идти спать.

Я вздохнула, кое-как причесалась и пошла. Над танцплощадкой висели яркие звёзды. Дул лёгкий ветерок, из динамиков неслась музыка. Горы, погружённые в сон, походили на гигантских животных. — Можно вас пригласить? — слышался бархатный голос.

Я вздрогнула и посмотрела перед собой. Тёмные волнистые волосы, прямой нос, светлая кожа, пронзительный взгляд... Это был он!!! Тот, кто в рождественскую ночь появился в зеркальной анфиладе. Мой незабвенный Алёша.

Выходит, не бывает случайностей?

9 января

Здравствуй, Отец!

Знаю-знаю, внутреннее одиночество — знамение времени. Чем многолюднее город, тем чаще возникает желание спрятаться в панцирь. Наткнулась на

высказывание Ф. Сиднея: «*Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами*». Улыбнулась. Едко и высокомерно.

Думаю, одиночество — нормальное состояние. Но только отчасти. С одной стороны — возможность уйти в себя, с другой — появляется тоска. В голове кружатся грустные мысли, сердце покрывается льдом, в душу заползает жалость.

Меня не любят, не понимают, я никому не нужна. Согласись, серьёзное состояние.

15 января

Здравствуй, Отец!

Говорят, Бог посылает подсказки. Одни их видят, другие нет.

Решила понаблюдать. А вдруг правда?

Сегодня обращала внимание на всё. Даже на мелочи. Получилось следующее.

Побаливает коленка. Боюсь, как бы не артрит (мама когда-то болела). Включаю радио. Там говорят: «Приём рыбьего жира при артрите увеличивает подвижность суставов, останавливает воспалительные процессы». Приняла к сведению.

Устала от морозов. Посмотрев в зеркало, сказала сама себе: «По-моему, сегодня ни разу не улыбнулась». Выбирая книгу на ночь, открыла книжный шкаф, достала первую попавшуюся. Это был том из серии «Зарубежная классика — детям». «Годится», — подумала я. Открыв наугад, увидела повесть Крюга «Тим Талер, или Проданный смех». Смех я не продавала, но, прочитав книгу, многое поняла.

И вообще... я слишком серьёзна.

Ты не находишь?

3 февраля

Здравствуй, Отец!

Сегодня просматривала статьи, пришедшие в журнал. Одна из них вызвала интерес. Оказывается, в течение суток есть минута, когда открывается канал связи с Творцом. Дескать, всё, о чём ни попросишь, сбывается стопроцентно.

Это враньё или правда?

9 февраля

Здравствуй, Отец!

У меня — депрессия. Листаю журнал мод. Встретила высказывание Ив Сен-Лорана. «*Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь чёрный свитер, чёрную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит*».

Чёрный свитер и чёрная юбка у меня есть, а мужчины нет.

Красота уходит, приходит старость.

11 февраля

Здравствуй, Отец!

Таша спит, уткнувшись головой в подушку. Улыбается. Давно не видела её улыбки. Рядом лежат книги. Одна — Анатолий Франс, «Остров пингвинов», другая — «Незнайка».

Бог ты мой! Таше — двадцать пять, а читает «Незнайку».

Открыла на странице, где лежит закладка.

«*В это время в комнату впрхнула ещё одна малышка и, воспользовавшись общей суматохой, проскользнула прямо к лестнице, которая вела вверх. Увидев это, Незнайка ринулся за ней и уже хотел грубо схватить её за руку, но она остановилась и, надменно взглянув на него, решительно помахала перед его носом пальцем: — Ну-ну, потише! Мне можно без очереди — я поэтесса!*»

Что это? Детство в голове?

16 февраля

Здравствуй, Отец!

Удивительно звёздная ночь. Вошла к Таше и, посмотрев в окно, прочла стихотворение Рождественского:

Над головой созвездия мигают.
И руки сами тянутся к огню...
Как страшно мне, что люди привыкают,
Открыв глаза, не удивляться дню.
Существовать.
Не убегать за сказкой.
И уходить, как в монастырь, в стихи.
Ловить Жар-птицу для жаркого с кашей,
А Золотую рыбку — для ухи.

Таша сморщилась и сказала:

— Уходи.

В очередной раз.

По-моему, стихи её раздражают.

Странно.

Мне кажется, она поэтична.

23 февраля

Здравствуй, Отец!

Сегодня — «мужской» день, а поздравить мне некого. Написала открытку для сотрудников. Отпечатала на цветном принтере, разместила на стенде. Мужчины читали и сухо говорили спасибо.

Странная реакция. По-моему, хорошо написала. С тайным смыслом.

Поздравление решила сохранить.

«С праздником, наши защитники!

Пусть вас не покидает мужество, ибо это качество и есть главное достоинство мужчины. Думаю, если в мужчине есть мужество, его избраннице повезло. Однако воспитание, изнеженность, блага цивилизации превратили это качество в мужской

раритет, и оно не только размылось, но отчасти «перетекло» на женскую половину.

Честно скажу, мужество меня всегда привлекало. Решила узнать, как трансформировалось значение слова. Получилась интересная картина. В античную эпоху мужество включало в себя смелость, храбрость, отвагу, умение защитить семью. В средневековые к этому перечню добавилась галантность. Ведь красоту и изящество женщины ценят. Мужчины озаботились своим внешним видом, полюбили кружева, бархатные камзолы, начали учиться куртуазности. В девятнадцатом веке стали ценить солидность, респектабельность, умение зарабатывать деньги. В двадцатом веке появился кинематограф, сформировавший образ сексуального красавца с волевым подбородком. Женщины раскрепостились, подхватили предложенного «идола» и стали коллективно грезить. К чему это привело, мы знаем.

Надёжный, трудолюбивый, активный мужчина стал редкостью и, если так пойдёт, будет занесён в Красную книгу.

Итак, уважаемые мужчины, отбросьте свои комплексы и взращивайте в себе мужество. Иначе мы, женщины, пропадём. Ведь, как говорят словари, мужество — не что иное, как «присутствие духа», «осознание силы», «уверенность в себе».

С праздником!

Пусть корень «муж» соответствует мужчинам и их главному достоинству — мужеству».

И что здесь не так?

Не понимаю.

27 февраля

Здравствуй, Отец!

Ну и сотрудники в нашем журнале! Мелочные, корыстные, завистливые. Со стороны поглядеть — вроде бы нормальный коллектив, а на деле — сборище эгоистов. Сколько масок у каждого из них? Дюжина или две? На работе — одна маска, в семье — другая, среди друзей — третья. А в заглавнике, наверное, двадцать штук.

Ложь. Сплошная ложь. И среди этих людей проходит большая часть моей жизни.

8 марта

Здравствуй, Отец!

Праздники идут один за другим. Сегодня — Международный женский день. Когда-то я дарила маме поделки. Самодельную открытку, пластилинового зайца, бумажный фонарик. Мама радовалась и прятала подарки в плетённый сундучок. Он у неё стоял в спальне. Потом сундучок сломался, и мои подарки перекочевали в коробку.

Теперь разглядываю их и плачу. Таша мне ничего не дарит.

Когда верстали мартовский журнал, написала небольшую статью. Вернее, предисловие. Это — моя обязанность. Получилось следующее:

«Не обращали внимания, как пахнет Международный женский день? Морозным утром, подтаявшим снегом, пробуждающейся землёй, оранжерейными цветами, духами, мимозой, привезённой из Абхазии.

А замечали, как в этот день выглядят женщины? С особым блеском в глазах, парадным макияжем, обновками и... неприкрытым ожиданием. Не подарков, это желание вторично, — женщина ждёт слов. Редких, особых, душевных.

И мужчины стараются. Они делают комплименты, клянутся в верности, говорят о красоте, обещают, обнимают, смотрят в глаза.

Славные, милые мужчины! Как им не терпится перевернуть страницу календаря!

«Жизнь — театр, мы в нём — актёры», — сказал классик.

И он прав. Игры заложены с детства. Дочки-матери, футбол, машинки, прыгалки, вышибалы... Обычное дело. Ролевые игры детей и взрослых.

Я, конечно, не против. Пусть игры никуда не уходят. Отыграв в очередной раз, мы уберём открытки, выбросим увядшие цветы и займёмся делами. Обычными, повседневными, рутинными. И за этими делами будем вспоминать праздник. На уровне запахов, ощущений, рецепторов. А ещё будем помнить, что мы — женщины. И каждая из нас — в одном экземпляре.

Милые читательницы, с праздником!

Позвольте себе быть женщиной. Всегда. Думайте о себе, берегите, любите себя, чаще улыбайтесь.

Себе улыбайтесь.

И тогда таких праздников будет больше.

Именно для вас».

Честно скажу: мне нравится. В этом тексте появились эмоции. Выходит, всё исправимо.

18 марта

Здравствуй, Отец!

На работе услышала притчу. С восточным ароматом.

Решила оставить на память.

За одним монахом погнался тигр. Убегая, монах оступился, сорвался с обрыва и зацепился краем одежды за выступ. Над ним — тигр, под ним — пропасть, а прямо перед носом — куст спелой земляники.

18 марта

Здравствуй, Отец!

Фраза «женский век короток» у меня вызывает протест. Видимо, её придумали мужчины. Знаю

женщин в возрасте от сорока до шестидесяти лет, на которых приятно смотреть. И одновременно — множество женщин в возрасте двадцати-сорока лет с потухшим взглядом, мещанскими интересами, банальными мыслями.

Думаю, к личному счастью возраст не имеет отношения. Всё зависит от состояния души.

До сих пор не могу разобраться в своём состоянии. Иногда кажусь себе старой и дряхлой, иногда — инфантильной, как девочка-подросток.

20 марта

Здравствуй, Отец!

Признаюсь, порнофильмы не смотрела ни разу. Не хочу, не люблю, противно. Всякий раз, когда натыкаюсь на порнорекламу, возникает чувство гадливости. Уверена, в подобных фильмах нет ни мыслей, ни любви. Одно скотство и звенящее одиночество.

Видела серию документальных фильмов о брачных играх животных. В них, по крайней мере, есть энергия природы, внимание к партнёру, зачатки нежности.

23 марта

Здравствуй, Отец!

В руки попал роман Юлии Воскресенской «Мои посмертные приключения». В нём — описание Рая. Наивное и по-девичьи чистое.

Прозрачно-хрустальные цветы, зелень, водопады, разбросанные по долине. В небе летают бабочки, похожие на японские веера, в озёрах плавают радужные рыбы.

Ощущение, что читаю сказку. Несмотря на мытарства души, описанные в книге, остаётся надежда. Надежда на то, что Ангелы-хранители существуют.

30 марта

Здравствуй, Отец!

Сегодня — день смерти мамы. Ездил на кладбище. Положила на могилу цветы, села на лавку и загрустила. И тут появился мужчина. Высокий, худой, с блестящими глазами. Перегнулся через ограду, схватил мою сумку и побежал. В сумке лежали ключи от квартиры и паспорт. Я бросилась за ним. Крикнула вслед: — Выбрось паспорт!

Мужчина перепрыгнул через канаву и углубился в лес. У меня подвернулась нога. Еле доковыляла до остановки. Потом поехала в милицию. Там показали портрет. Узнала. Оказывается, этот мужчина милиции известен. Он — наркоман.

С трудом доехала до дома.

Теперь сижу и трясусь. Во мне поселился страх. Липкий, замешанный на чувстве гадливости. Вижу глаза наркомана — безумные и пустые.

Надо срочно менять замки. Завтра займусь.

Мысль, что Таше угрожает опасность, приводит в ужас.

8 апреля

Здравствуй, Отец!

Вспомнила стихотворение Арсения Тарковского:

Мне слышался чей-то затихающий зов,
Бесприютная флейта из-за гор и лесов.
Наклоняется ива над студёным ручьём,
И ручей торопливо говорит ни о чём,
Осторожный и звонкий, будто веретено
То всплывает в воронке, то уходит на дно.

Порой и я — как ручей. Говорю ни о чём, осторожничаю, временами ухожу на дно.

15 апреля

Здравствуй, Отец!

Стоит проявить эмоциональность, как жизнь наказывает. Неважно, какие эмоции из тебя вылетают — положительные или отрицательные. Главное, что отклонилась от равновесия.

Выходит, я живу мудро. Если радуюсь, то тихо — про себя.

25 апреля

Здравствуй, Отец!

У меня — очередная депрессия.

В моём представлении депрессия похожа на старуху. Голос — слезливый, тонкий. Пожалеет, покачает головой, а сама норовит забраться на плечи. Видимо, чтобы пригнать.

Позвонила подруге. Думаю, у неё депрессий не бывает. Съёмки, встречи, перспективные ожидания. Надавала мне кучу советов. Говорит, надо баловать себя, носить яркую одежду, по вечерам зажигать свечи, заниматься творчеством, найти любовника, слушать музыку, пить чай с имбирём, ходить на массаж...

9 мая

Здравствуй, Отец!

День Победы.

В моём ближайшем окружении никто не воевал. В годы войны отец был ребёнком, мать родилась позже. Но это неважно. Для меня День Победы — святой праздник.

Война оставила память. Девочкой помню безногих инвалидов — в те годы они ещё попадались. Полулюди на примитивных тележках. В их руках было что-то похожее на деревянную промокашку (подобная хранилась у отца — как раритет, конечно).

Что чувствовали эти люди? Каково им глядеть снизу вверх?

Думаю, они проживали две жизни. До ампутации и после.

Герои и убогие, сильные и согбенные.

Вышли с Ташей в сквер. Звуки духового оркестра, ветераны с медалями, георгиевские ленточки на машинах. И воздух с ароматом черёмухи.

Невольно подумала о Таше. Каково ей быть инвалидом?

11 мая

Здравствуй, Отец!

Вчера в одной из передач услышала: дети мыслят образами, взрослые—словами.

И я мыслю образами.

Значит, не повзрослела?!

16 мая

Здравствуй, Отец!

Не помню, где прочла, однако зацепилось:

«Тот, в ком сидит страх,—того пугают.

Тот, в ком сидит боль,—тому делают больно.

Тот, в ком сидит печаль,—того огорчают».

Выходит, того, в ком «сидит» недовольство, ждут неприятности?

Неужели и меня?

20 мая

Здравствуй, Отец!

Купила новый костюм. Серый, элегантный.

Вспомнила первый костюм. Его сшили после поступления в МГУ. Тогда я была на душевном подъёме: экзамены сданы, впереди интересная жизнь.

Мама отвезла к портнихе. Та предложила сшить приталенный пиджак и юбку-плиссе.

Весь год чувствовала себя королевой.

24 мая

Здравствуй, Отец!

Сегодня разговорилась с Аней. Пожаловалась ей: дескать, мало подруг. Да что там мало—практически нет.

—Если хотите подруг—плачьтесь,—ответила Аня.

Интересная мысль. Аня неглупа.

Женщины не любят, когда у других всё хорошо. Им нужно слушать о драмах, трагедиях, конфликтах. А я о домашних проблемах практически не говорю. Зачем говорить? И так на душе тошно.

Как-то Луиза бросила: «Долго на цыпочках не постоишь».

Вроде бы к слову сказала, а мне показалось—со смыслом.

2 июня

Здравствуй, Отец!

На туалетном столике много флаконов: зимние духи, летние, утренние, вечерние... Не могу без духов. Однако любимых нет. Душусь по настроению. В зависимости от того, тепло или холодно,

грустно или весело. Летом, конечно, предпочитаю цветочные ароматы.

В литературе не раз встречала: «Помню запах маминых духов. Ими были пропитаны платья, её личные вещи...» Аналогично и у героев-мужчин. Они тоскуют по женщине и, почувствовав знакомый запах, предаются воспоминаниям.

Хотелось бы, чтобы я ассоциировалась с каким-то запахом. Но пока не остановилась ни на одном.

29 июня

Здравствуй, Отец!

За окном—шум машин, каменные коробки домов, запылённые скверы. Привычная жизнь, текущие, как вода, новости. А рядом живут тишина и нетронутая природа. У них есть укромные места, и одно из них—Медведица. Эта река—недалеко от домика бабы Ньюши.

В этом году мы с Ташей приехали в деревню ненадолго. Я сидела на берегу, смотрела на воду и думала: «Как хорошо и спокойно». Может, со мной говорила река, может, сосновые берега—суть не в этом. Невидимый ластик пробежался по сознанию и, махнув пару раз, стёр нервное напряжение. Передо мной была только река. Вспомнилось утверждение: в воде растворено прошлое, настоящее, будущее.

Приехав в Москву, нашла статью о гидротерапии.

«Текущая вода,—говорилось в статье,—забирает энергию Космоса и отдает её в окружающее околоземное пространство. Здесь энергия поглощается живыми организмами. Чем быстрее движение воды, тем сильнее поле. Под его воздействием организм исцеляется».

Вспомнила один разговор, он состоялся на Вятке. Будучи в командировке, я часто приходила к реке. Однажды увидела старика. Он сидел на лавке и смотрел на воду. Поздоровавшись, я села рядом. Старик посмотрел на меня и неожиданно спросил: —Слышала про мёртвую воду?

—В русских народных сказках.

—Э нет,—усмехнулся старик.—Мёртвая вода есть и в жизни.

—Трудно поверить,—ответила я.

—Хочешь, покажу?

Я кивнула. Мне было любопытно.

Старик встал и, опираясь на палку, заковылял в лес. Я за ним. Минут через двадцать показалось озеро. Его берега заросли камышом, на поверхности плавала ряска.

—Старица,—сказал старик.—Слышала про такое?

—Конечно. Бывшее русло реки.

—В старице—мёртвая вода.

—Что-то новое.

—Поверь старику. Во всех стоячих водоёмах—мёртвая вода. Пруд ли, заросшее озеро, болото. Чувствуешь, какой дух?

Я потянула носом. Пахло тиной, сыростью, тоской.

— То-то и оно.

Старик повернулся и заковылял прочь.

— Странно. Но почему в старице мёртвая вода? — пробираясь через кусты, спросила я.

— Постояла бы рядом с часок, тогда бы поняла. Нелюбимая она. Брошенная. Такие водоёмы забирают энергию.

— Зачем?

В те времена об энергии я не думала.

— Чтобы продлить себе жизнь.

Мы дошли до реки, и старик сказал:

— Если хочешь живых мыслей, сиди у реки. Или на берегу моря, ручья. А про стоячие водоёмы забудь. Всю силу высосут.

Он махнул рукой и стал спускаться к посёлку.

— Вы кто? — крикнула я.

Старик остановился и, помолчав, ответил:

— Художник.

Посмотрев на меня, он пожевал губами и добавил:

— И картин с прудами не покупай. Запомнила? И в воду не плюй. Она накажет болезнью.

Стало смешно. Вот уж чего не делаю — это не плююсь.

Такой вот разговор. Коснулся меня и улетел.

Однако сказанное стариком засело. Где-то в глубине души.

Приехав из деревни, купила картину. Море, волны, рыбаки. Мне показалось, в этой картине много энергии.

Повесила в Ташину комнату.

2 июля

Здравствуй, Отец!

Вчера заходила Луиза. Всё как обычно: она говорила, я вышивала. Временами поднимала глаза и встречалась взглядом с подругой. Странное ощущение: Луиза моложава, а глаза — как у старухи. Тусклые, настороженные, уставшие. Видимо, психологи правы: возраст определяет взгляд. Давно заметила: стоит оживиться, получить комплимент — лицо преобразится. Оно светится. Женщина молодеет и становится привлекательной.

В «Острове пингвинов» Анатоля Франса молодая пингвиниха спрашивает старую: «Почему некоторые дамы привлекают внимание, а мы, молодые девушки, нет?» Та ей ответила: посмотри на вереницу, идущую впереди. Считая своё тело привлекательным, молодые пингвинихи наги, а взрослые — в полупрозрачных накидках. Мужчины обращают внимание на последних, ибо за полупрозрачными одеждами они улавливают контуры тела и сами додумывают детали.

Выходит, мужчины, глядя на женщин, видят не нас — реальных, а включают воображение и создают то, что им нужно.

5 июля

Здравствуй, Отец!

С детства была хранителем чужих секретов, о себе мало рассказывала. И вот, заканчивая мгу, попала на сабантуй. Одна из однокашниц напилась и крикнула мне в лицо:

— Ненавижу тебя!

Я опешила:

— За что? Почему?

Она ответила:

— У человека не может быть всё хорошо. Ты притворяешься.

Оказывается, маска «бодрячка» людей раздражает.

Интересная психология.

5 июля

Здравствуй, Отец!

Сегодня прочла:

1. Каждый получает то, что заслужил.
 2. Если тебя что-то не устраивает, то в твоих руках всё изменить.
 3. Если изменить не в силах, смотри пункт 1.
- Эти слова меня растрожили.

6 июля

Здравствуй, Отец!

Я одинока. Давно. Видимо, навсегда.

Сначала от одиночества страдала. Теперь нет.

Где-то прочла: «Одиночество — это привилегия свободного человека, который ничего не боится, никому не подчиняется и не принадлежит».

Из этой фразы убрала бы «ничего не боится», остальное оставила бы.

9 июля

Здравствуй, Отец!

Вчера встречалась с одной знакомой. Зашёл разговор о церкви, иконах. Приятельница подарила мысль: дескать, некоторые люди общаются с Творцом напрямую. Для этого необязательно ходить в церковь. А другие общаться с Богом без церкви не могут. Глядя на икону, они как бы прикасаются к некой «двери», открывающей дорогу к Творцу. А всё почему? Иконы в церкви — особые. Они — намоленные, связаны с тем или иным проводником. Будто заходишь в портал, и вероятность, что тебя услышат, гораздо больше.

По мне, лучше общаться напрямую. Без посредников.

14 июля

Здравствуй, Отец!

Честно скажу, мнение Таши меня волновало всегда. Будучи маленькой, она относилась ко мне

с большой любовью. Я была её другом, самым близким человеком. Но стоило дочери войти в подростковый возраст, как у нас начались конфликты. Таша отстранилась.

Я стала читать детских психологов. Поняла, что ребёнок смотрит на родителей как на суперлюдей: они всё могут, умеют. По мере взросления родители становятся главной мишенью для критики. Они всегда рядом — в тапочках, пижаме, без макияжа. Уставшие, замотанные, в энергетическом минусе. А ребёнок рассматривает их в «огромную лупу». Понятно, родительский авторитет разлетается вдребезги.

Лет в двенадцать-шестнадцать и у меня был критический настрой. Однако всю критику я направляла на отца. Только на него. Как профессора я отца не воспринимала. К тому же философия — непонятный предмет. Отец был с брюшком, с проплешиной на затылке, с кривыми волосатыми ногами. Дома ходил в велюровом халате, и его ноги вечно маячили перед глазами. Когда он думал, часами бродил по квартире. Как во сне. Что-то бормотал про себя, чесал затылок, громко сморкался. Меня это всё раздражало. Бывало, зайдёт в мою комнату, переставит книжки, покрутит карандаш — и назад. Я — к матери. Жаловаться. Дескать, отец — словно лунатик: врывается ко мне и, не говоря ни слова, уходит. Мама смеялась в ответ:

— Не обращай внимания. Учёные — они чудные.

Так и жили. Мама танцевала в кордебалете и часто уезжала на гастроли. Меня оставляла с отцом и домохозяйкой. Тётя Маша готовила еду, убиралась, ходила по магазинам. К отцу она относилась с уважением. Как же — большой учёный! А маму не любила. Для неё она была балеринкой (именно так, с суффиксом «инк»). У меня всё наоборот. Мать я обожала. Тонкая, изящная, с прямой спиной, тугим балетным пучком — она будто летела по жизни. Концерты, встречи, гастроли... И вечно лукавый взгляд. Что ни говори, для меня мать была интересней отца. Дома мать ходила в спортивном костюме. На ногах — тапочки, отороченные лебяжьим пухом, на плечах — оренбургский платок. Стройная, как газель.

Я унаследовала материнскую фигуру, интерес к одежде и чистоплотность. Сколько себя помню, не распускалась ни дома, ни на работе. Однако мне это не помогло. Именно в мой адрес и летят Ташины стрелы.

В кого же ещё?

22 июля

Здравствуй, Отец!

Литературу Таша полюбила благодаря мне. К чтению я приучала Ташу постепенно. Сначала читала ей вслух, интриговала сюжетом, потом устранилась. Помню, как оставляла книгу на кровати и, приоткрыв дверь, исподтишка наблюдала.

Получилось так, как задумала. Таша полюбила читать и теперь с книгой не расстанется. Любит романы Моэма, Диккенса, Голсуорси. И сказки Козлова тоже. Видимо, они ей близки.

— Почему сказки Козлова? — как-то спросила я.

— От них веет свежестью, — ответила Таша.

Вот и пойми её.

31 июля

Здравствуй, Отец!

Вспомнила одну историю — можно сказать, литературную.

Это было давно — лет двадцать назад. Тогда я работала рядовым журналистом. Мне дали задание — написать о доме-музее Достоевского. Приехав в Старую Руссу, увидела российскую провинцию позапрошлого века. Пожарная каланча, лопухи по берегам тихой речки, куры, копошащиеся в пыли. Дом-музей будто спал. Запах старого дерева, муха, жужжащая на подоконнике. Послышался скрип половиц, и передо мной появился мужчина. Первая мысль: надо же, жара, безлюдье, а он — в тройке. Затем, увидев улыбку мужчины, у меня возникло ощущение радости. Так ли встречал Георгий Иванович остальных, не знаю, однако возникло желание довериться. До ломоты в висках мне захотелось раскрыться и попросить совета. И я не ошиблась. Судьба подарила три светлых, насыщенных дня. Георгий Иванович водил меня по Старой Руссе, показывал места, описанные в «Братьях Карамазовых», а вечерами я сидела в его квартире, пила чай, смотрела на старинные иконы и слушала, слушала, слушала.

Мне уже не хотелось рассказывать о себе (я поняла: всё, что со мной было, по большому счёту не имело значения), хотелось приобщиться к таланту рассказчика, много видевшего, знающего, о многом думающего. Смирнов рассказывал о Достоевском, его любви, философии, вере. Казалось, я прикоснулась к чему-то такому большому, что мой ум был не в состоянии переварить. Честно признавшись, увидела великодушную улыбку.

— К Достоевскому тебя потянет, когда будешь страдать, — сказал Георгий Иванович. — Он ведь — великий страдалец.

Странно. Страданий много, однако Достоевского я не читаю. Не могу.

27 сентября

Здравствуй, Отец!

Вчера стояла у куста роз и смотрела на умирающий бутон. Съёжившись, он поник головой и качался на осеннем ветру. Невольно подумала о людях-бутонах. Они ведь закрыты. Верно? Не говорят о своём, не вентилируют «лёгкие», боятся ветра.

Думаю, люди не виноваты. Им просто не повезло. Опоздали с рождением, не успели распуститься, не хватило тепла. Ведь если энергетики нет, раскрыться сложно.

Чем не причина для одиночества?

3 октября

Здравствуй, Отец!

Достала старый фотоальбом. Одна из фотографий подписана рукой Алексея: «Июль 1981, Сухуми, моя долгожданная половинка».

Мне—восемнадцать, Алексею—двадцать два. Взявшись за руки, мы стоим на пляже и весело смотрим в объектив. Сзади штормящее море. Мы—молодые, влюблённые, счастливые. Жизнь впереди, и то, что она сложится хорошо, не вызывает сомнения.

Вспомнились эти дни. Наши туристические маршруты пересеклись в Местии. На один день. Надо такому случиться! Небольшая танцевальная площадка под южным небом, тёмные вершины гор, на склонах—каменные дома с башнями. Высокие, с узкими окнами и бойницами, они—будто сторожевые со сверкающими глазами. В центре танцевальной площадки—я и Алексей. Смотрим друг другу в глаза и молчим. Сердце набирает обороты и, кажется, стучит везде—в горле, голове, животе. Ощущение счастья и грусти одновременно. И абсолютная уверенность: наша встреча—это судьба. В тот день мы мало говорили. Танцевали и слушали музыку. Со стороны—ничего особенного. Пара как пара. Но внутри у нас бушевали страсти. Две души встретились, соприкоснулись и протянули навстречу руки. Или сердца. Не знаю. Расставаясь, договорились о встрече. На сухумской турбазе, там заканчивались наши маршруты. Пять дней на море, а дальше—домой. Именно в Сухуми мы пережили пик нашей любви.

Потом—Москва. Встречи, поцелуи, поиск свободных квартир. То у одних друзей, то у других. Я научилась врать. С отцом было несложно. Скажешь ему: ночью у подруги,—и никаких вопросов. С матерью сложнее. Она понимала: у меня появился парень. Видимо, боялась за меня. Пришлось рассказать, потом познакомиться. Мать и Алексей подружились сразу. Впрочем, я не сомневалась. Мать—балерина, Алексей—оператор. Точнее, студент вгика, операторского факультета. Словом, два творческих человека. Ну и понеслось. Театры, кино, компании с актёрами, сценаристами—в основном молодыми. Я была в эйфории. Влюблённая, женственная, красивая.

Самые яркие годы.

15 октября

Здравствуй, Отец!

Продолжаю.

Я забеременела на пятом курсе. Хотели расписаться, но... Всё некогда, недосуг, потом. У Алексея—съёмки, у меня—диплом. Последние два года мы жили у моих родителей. Они не возражали. Алексей работал на «Мосфильме» (от университета—совсем близко). Я защитилась, получила диплом и ушла в подполье. Живот, отёчность, пятна на щеках—всё это не придавало красоты, а быть дурнушкой не люблю до сих пор. Осенью Алексей уехал. Сказал—на съёмки. Где и что будут снимать, не объяснил. Честно сказать, я не спрашивала. Погрузилась в новую жизнь—ту, что появилась внутри. Тётя Маша и мать меня опекали. Полежи, почитай, поешь... Словом, внимания и заботы хватало.

Тридцать первого декабря получила телеграмму: «Алёша погиб в Афганистане».

В этот же день родила.

17 октября

Здравствуй, Отец!

Продолжаю.

Первые три года тётя Маша и мать взяли на себя заботы о Таше. Стирка, кормёжка, гулянье—всё было на них. Я была в трансе. Пила психотропные средства, выла в подушку, проклинала судьбу. Я похудела, отупела, превратилась в молчунью. Не помню, о чём думала, что вспоминала. Тот период—как чёрный провал. Не встретила с друзьями Алёши, не написала его родным. О чём писать? Представляю себе Лёшину мать. Она открыла бы письмо, а там новость: «Здравствуйте! Я была любовницей вашего сына с 1981 по 1985 год. Плод нашей любви—девочка Наташа. Она родилась в тот день, когда погиб Алексей. К сожалению, девочка оказалось больной. У неё—детский церебральный паралич (дцп). Она не сидит, самостоятельно не ест, нечленораздельно говорит. А так всё хорошо. Девочка—милая, сообразительная, ласковая. Похожа на Алёшу. До свидания. Ваша несостоявшаяся невестка Лариса».

Кстати, мать Алексея жила в Восточной Сибири (по-моему, в посёлке на берегу Байкала). Работала врачом, воспитывала сына. Отец утонул в Ангаре.

Письма Алёшиной матери сохранились. В книжном шкафу. Я их никогда не читала. Не могу.

Что интересно, Алёшина мать писала на Главпочтамт «до востребования». Не знаю почему.

25 октября

Здравствуй, Отец!

Самой неунывающей в нашей семье была мама. Она бегала по врачам, консультировалась, верила, что Ташу можно поднять. Какие-то препараты, ЛФК, массаж. Уговорила меня на то, чтобы подрезать Таше уздечку. Дочери сделали операцию, и она стала лучше говорить. Но хриплый голос остался. Низкий, с вибрациями, как из-под земли.

В жизни моего отца ничего не изменилось. Тот же халат, письменный стол, море бумаг. С ними он проводил всё своё время. Отец не жил в настоящем. Древние мыслители, теории, вечные вопросы: что первичней—материя или сознание? Иногда отец подходил к внучке. Он смотрел на неё и показывал козу: «Идёт коза рогатая за малыши ребятами. Забоду, забоду, забоду!» Таша жмурилась, издавала звуки, похожие на карканье. Это она так смеялась. Отец наклонялся, целовал ей голову и на прощанье выдавал потешку (не знаю, откуда их брал, но потешек он знал великое множество).

Вот эта Таше пришлось по вкусу:

Придёт киска не спеша и погладит малыша.

«Мяу-мяу,—скажет киска.—Наша детка хороша».

Может, благодаря потешке Таша попросила купить котёнка. Однако я не спешила. Лушку подарила на Ташино двадцатилетие, и кошка стала членом семьи.

Ещё пару слов об отце. Он не задумывался, о чём можно говорить с Ташей, о чём нельзя. Часто попадал впросак. Ну как девочке, больной дцп, можно читать такие стишки:

Дождик, дождик, кап-кап-кап!

Мокрые дорожки.

Нам нельзя идти гулять, мы промочим ножки.

Или такие:

Ты мне ручки подай да с кровати вставай,

Умываться пойдём, где водичка найдём.

В подобных случаях в комнате появлялась мама. —Дедушке пора гулять,—говорила она.—А нам сказочку слушать.

Мама брала Ташу на руки и, прижимая к груди, начинала сказку. Сколько их рассказала—не счесть. Думаю, отсюда—интерес Таши к сказкам.

Может, и сейчас вспоминает бабушкин голос? Кто знает.

А может, её тепло.

28 октября

Здравствуй, Отец!

Окончание воспоминаний.

Итак, мама заботилась о Таше, тётя Маша—о нашей семье, отец—о развитии философской концепции, я же занималась собой и карьерным ростом.

Через три года после рождения Таши стала оживать. Сходила в парикмахерскую, сделала маникюр, покрасила волосы, постриглась под Мирей Матьё. Думаю, неслучайно. Голос Матьё меня завораживал. В нём была мощная энергетика, а мне её не хватало.

Мама сняла деньги с книжки и отдала мне со словами:

—Женщина должна быть элегантна всегда. От того, что на ней, зависят настроение и самооценка.

Я отправилась в гум и накупила нарядов. Раньше писала: с самооценкой у меня всё нормально, а вот настроение надо было поднять. Да и какое настроение, когда сидишь дома, а в нём—больной ребёнок?

В карьерном росте помог отец. Он поговорил с деканом факультета журналистики, и тот нашёл мне работу. Не лишь бы где—в журнале «Огонёк». Редкая удача для молодого журналиста. И меня закружило. Интервью, статьи, командировки, встречи. А вместе с ними—новые знакомства. Я жадно ловила комплименты и меняла любовников. Однако внутри оставалась пустота. Ни удушливой волны, ни трепыхания сердца—ничего. Секс, улыбки, комплименты, за ними—холодная вьюга.

Может, подобная жизнь была для меня спасеньем. Зачем новая боль? А может, очередным испытанием. Я уподобилась стрекозе. Пела, кокетничала, крутила хвостом. А потом наступила зима. Не календарная—та, что припорошит снежком, повесит сосульку и дунет вьюгой,—а та, что забирается в сердце. Сначала умер отец, спустя год—мама. И тут я поняла, что осталась одна. Таша и тётя Маша—не в счёт. Одна—четырёхлетний больной ребёнок, другая—пожилая женщина. Я ушла на редакторскую работу, замкнулась в себе, стала подрабатывать. Переводы, редакторские правки, подготовка книг в печать. А дома—тоска. Таша лежит, тётя Маша ворчит. И никакого светлого будущего.

Так продолжалось лет двадцать. Редкие связи, новые проекты, гламурный журнал. Я заиндевели и приобрела лоск. Холёная, светская, неприступная. Поэзия—как ширма. Чувств никаких. Разум в работе.

Теперь понимаю Ташу. Моя декламация её бесила.

Тётя Маша умерла от инфаркта. Семь лет назад. Её кремировали, и я поставила урну в наш колумбарий. Туда, где стоят урны родителей.

Обожгла мысль: а кто будет хоронить меня?

16 ноября

Здравствуй, Отец!

Сегодня—мой день рождения. Сорок семь лет.

Аня испекла торт, купила хризантемы. Ворвалась в квартиру, запела песню крокодилы Гены:

Я играю на гармошке у прохожих на виду...

К сожаленью, день рожденья—только раз в году.

Румянец во всю щёку, в глазах—искры. Поёт с такой радостью, что трудно не улыбнуться.

—Лариса Валентиновна,—преподнося цветы, сказала она,—вы прекрасны!

Ну что после этого скажешь?

Таша выползла из комнаты и протянула листок. На нём — цветик-семицветик.

— Пусть сбудутся твои желания, — сказала она.

В глазах защипало.

— Минуточку, — ответила я.

Зашла к себе. Проморгалась. Вернулась назад.

Листок лежал на полу, Аня с Ташей — за столом.

Перед ними — по чашке кофе, в центре стола — торт.

Подняла аппликацию и вздохнула. Лепестки неровные, клей размазан, видны отпечатки пальцев. Однако сделано с душой. Видимо, старалась.

Подошла к Таше, поцеловала. Сказала с теплом: — Теперь у меня есть открытка, сделанная твоими руками. Самая дорогая.

Аня прослезилась, Таша уткнулась в стол.

На работе поздравили официально. Выпили шампанского, пожелали здоровья и успехов в работе. Что ж, упрекнуть не в чем. Этикет выдержан, улыбки подарены, вместе с ними — японский сервиз.

Слышала такую фразу: «Когда женщина перестаёт нравиться, ей дарят посуду».

Всё закономерно. Жизнь прошла, и я превратилась в зрелую женщину.

30 ноября

Здравствуй, Отец!

Весь вечер перечитывала письма. Многое поняла. Сначала рисовалась: дескать, вот я какая. Глупо, конечно. Потом приоткрыла душу. Только кому?

Задумалась.

Скорее всего, себе. Ты ведь и так всё знаешь.

Вспомнила мантру Далай Ламы. Одно из высказываний зацепилось в памяти (не дословно, конечно): *«Веди хорошую, достойную жизнь, а когда состаришься и будешь вспоминать, сможешь насладиться ею второй раз».*

Мне бы не хотелось наслаждаться прожитой жизнью.

И стариться не хочу.

20 декабря

Здравствуй, Отец!

Говорят, в день рожденияходишь в энергетический минус. Я в него попала в декабре. Ничего не хочу — ни работать, ни говорить, ни писать. Лежала бы и лежала.

Знаю, от мыслей избавиться невозможно, но в этот месяц и они обленились. Неинтересные, вялые, неповоротливые. Поднимут голову — и назад, «на подушку». Видимо, так люди доходят «до ручки».

Нет-нет, о суициде не думаю. У меня на руках Таша. Однако жизнь потеряла интерес. Что меня ждёт? Старость, безмолвные вечера, вечный укор Таши? Как ни хорохорься, но ничего не изменишь.

Пока есть силы, буду работать. Только бы не сидеть дома. Этого я не перенесу. Всё-таки на работе — какой-то бурун. А дома — болото. Мёртвая вода. Она тянет энергию, и с каждым днём всё труднее вставать.

В прошедший выходной удивила Ташу. Я слонялась по квартире в ночной рубаше — нечёсаная, с опухшим лицом и пустыми глазами. Ни читала, ни слушала музыку, ничего не делала. Сначала Таша молчала, наконец спросила:

— Ты не заболела?

Чуть было не процитировала Есенина: *«Увяда- нья золотом охваченный, я не буду больше молодым...»* — однако вовремя остановилась. Представила реакцию Таши.

Новый год не радует. Нам он ничего не принесёт. С трудом нарядила ёлку, с трудом купила подарки. Праздник справляли вдвоём. Я и Таша. Без телевизора, разговоров и прочих забав. Выпили по фужеру шампанского и уткнулись в компьютер.

Две мидии. Старая и молодая.

Высунулись из створок — и тут же назад. Домой, в свой мир, под замок. И хочется тепла, и колется. Ведь чтобы впитать тепло окружающего мира, нужно выйти наружу.

12 января 2011

Здравствуй, Отец!

Впору поверить, что Ты заботаешься обо мне.

Познакомилась с Андреем. Кажется, знала его всегда. Вдумчивый, умный, несуетливый. А какие глаза! Синие, будто небо.

14 января

Здравствуй, Отец!

Поняла, как не хватало созвучия. То ли не искала его, то ли смотрела не туда.

Теперь нашла. Удивительно.

20 января

Здравствуй, Отец!

Я ожила. Странно. Разве зимой оживают?

Видимо, ко мне заглянула радость.

Боюсь сглазить.

22 января

Здравствуй, Отец!

Андрей — удивительный человек. Творческий, многогранный, образованный. По-моему, обеспеченный. Как поняла, консультирует фирмы, создающие рекламные бренды. Однако это — не главное. Андрей — художник.

Я была в его загородном доме. Огромная мастерская, гостиная с камином, библиотека, зимний сад... Живёт один.

Интересная внешность. Высокий, подтянутый, с длинными волосами — совершенно седыми. Такой

контраст с молодежьим лицом, что теряешься в догадках. Что за трагедию он пережил?

31 января

Здравствуй, Отец!

Кажется, я влюбилась. По-настоящему.

Вот уж не ожидала.

Вчера гуляли с Андреем по зимней Москве. Вечер, фонари, тёмные окна домов. Замоскворечье после девяти замирает. Или почти замирает. Пронеслись машины, сверкают яркие вывески ресторанов, однако на улицах малоллюдно. Офисы и магазины закрыты, экскурсанты — в гостиницах, жильцов давно отселили. По тротуарам бредут влюблённые, случайные прохожие, романтики-одиночки. Подставляют лица снежинкам, смотрят на церквушки, слушают голос города.

Мы шли по Ордынке и читали стихи. Тихонько, чуть слышно. Я читала Ахматову, Андрей — Цветаеву. Странное ощущение. Грустно и сладко одновременно.

Облака — вокрут,
Купола — вокрут,
Надо всей Москвой
Сколько хватит рук...

— Москва! — Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придём...

Андрей любит поэзию. Непередаваемое счастье!

3 февраля

Здравствуй, Отец!

Долгие годы мой мир походил на закуток. Теперь границы раздвинулись, и я увидела то, чего раньше не замечала. Боже мой! Не видела красоты Москвы, улыбок прохожих, очарования русской зимы. Теперь слышу и чувствую по-другому. Жизнь наполнилась смыслом, и её стержнем стал Андрей.

14 февраля

Здравствуй, Отец!

Андрей начал писать мой портрет.

После работы еду к нему. Усаживаюсь в кресло и замираю. Вижу реку и луг. Андрей их нарисовал словесно. Встал за мольберт и сказал:

— Представь себе реку. Большую, широкую, сильную. Летний вечер. Перистые облака. Солнце садится за лес. Ты — на высоком берегу. Рядом луг. Высокая трава и россыпь ромашек. Сочетание зелёного, белого, жёлтого. Жужжит шмель. Большой, полосатый. Сел на ромашку, спешит собрать последний нектар. Ты его видишь боковым зрением. И луг под тем же углом. Всё внимание сосредоточено на реке. Она — как жизнь. С перекатами, плёсами, воронками. Их не видно,

но ты о них знаешь. У тебя — опыт, он позволяет смотреть вглубь.

Слушая Андрея, вспомнила статью о «гидротерапии», её заключительные слова: «Чем быстрее движение воды, тем сильнее поле. Под его воздействием организм исцеляется». Видимо, и я исцеляюсь.

Промолвила:

— Речная вода — живая.

— Да-да, — обрадовался Андрей. — Она чувствует, очищает, дарит эмоции. Вернее, эмоциональный заряд.

— Неужели?

Андрей вымыл кисть и улыбнулся.

— Скажу больше: речная вода реагирует на мысли. И память имеет.

— Неужели?

— Точно тебе говорю. Молекула воды — это живая клетка. Волшебная.

Не моргая, смотрела на Андрея. В глазах — прищур, седые пряди упали на лоб. Чувствовалось погружение. Только куда? В себя или меня? А может, в картину? Ту, что создавало воображение.

Кисть пролетела над холстом и оставила след.

Андрей заговорил вновь:

— Где-то читал: сила «святой воды» — в молитве. Представляешь? Если молитву читал чистый, здоровый человек, с искренней верой в душе, — вода приобретает мощный заряд. Меняются её электропроводность, антимикробные свойства и вкус.

Неожиданно для себя вспомнила картинку. Из детской книжки. На поверхности реки — женская голова. Голубые кудри, огромные глаза, изогнутый рот. Видимо, образ реки. Попыталась его «дорисовать». Большая грудь, гибкое тело, длинные ноги. Быстрая, как девушка. Независимая, как бизнес-вумен. И мягкая одновременно.

Андрей замер.

— Останови свою мысль, — прошептал он. — Запомни её.

Женщина-река изогнулась, и в голове что-то щёлкнуло. Меня окатило волной. Чистой, прохладной, с блёсками света.

— Наконец-то вижу тебя, — тихо сказал Андрей.

16 февраля

Здравствуй, Отец!

Аня — молодец. Ловкая, неунывающая. Постоянно в делах. Сейчас вяжет Таше рейтузы.

— Зря, — говорю. — Рейтузы можно купить.

— Из собачьей шерсти не купишь, а Таша весь день на полу.

— А шерсть откуда?

— Мать посылку прислала. Сама обстригла, сама спряла.

— Кого обстригла?

— Полкана — нашу овчарку.

Улыбнулась и добавила:

— Огромный кобелина.

19 февраля

Здравствуй, Отец!

Сидели с Андреем в кафе. Он взял салфетку и нарисовал муху. Затем пирог. Посмотрел на рисунок и сказал:

— Пирог с повидлом.

Я приготовилась к продолжению. К чему этот рисунок? Ломать голову не хотелось, а просчитать Андрея практически невозможно.

— Кто у вас в журнале придумывает заголовки? — неожиданно спросил Андрей.

— Редактор или автор.

— И по какому принципу?

Я пожала плечами.

— Ясно, — сказал Андрей. — Ваши заголовки случайны.

— Что значит случайны?

— Как говорят в народе, от балды. Однако заголовок — треть успеха. Известно, что читатель скользит по верхам. Если заголовок цепляет — читает статью; если нет — бежит дальше.

— Хочешь поделиться секретом?

— Тут нет секрета. Речь идёт об оригинальных подходах.

Простой интерес сменился профессиональным. Люблю учиться, а слово «оригинальность» мне нравилось со студенческих лет.

— Проведём эксперимент. Свяжи между собой пирог и муху, — предложил Андрей.

Во мне взвыло ретивое. Хотелось произвести впечатление и выдать оригинальную конструкцию. Взглянув на изрисованную салфетку, я взяла паузу.

«Муха села на пирог — это штамп, — рассуждала я. — Что там ещё? Муха в пироге, муха над пирогом, муха в повидле. Возможны сказочные варианты: муха испекла пирог и пригласила друзей, пирог вылез из печки и что-то спросил муху».

Подсознание говорило: всё, что придумала, — ерунда. Андрей ждал других вариантов. Он пил кофе и смотрел в окно. И тут пришла мысль.

— Дом одинокой мухи, — сказала я.

— Что-что? — переспросил Андрей.

— Возник сюжет. Муха стара и одинока. Никто к ней не ходит, а самой летать трудно. Вот испекла муха пирог и намазала его повидлом. Не внутрь положила, а на «крышу». Залезла в пирог и ждёт. Сначала прилетела оса, затем жук... Пошли разговоры. Хозяйка сидит в пироге и слушает. И так ей хорошо, будто в большой компании сидит. Вышла из пирога, поговорила с гостями, пригласила залетать «на огонёк». Так и пошло. Муха закупила бочку повидла, и началась весёлая жизнь. Около пирога — рой насекомых. Поедая повидло, жужжат, новостями обмениваются. И хозяйку чествуют. Как же без этого? К тому же муха — неплохая рассказчица. Пока гости едят, она их забавляет.

Вот и ушло одиночество. А вместе с ним и тоска. Муха зажила весело, в почёте и уважении.

— Любопытно, — улыбнулся Андрей.

Он посмотрел на меня и добавил:

— Таким образом можно тестировать творческие способности человека. Чем больше оригинальных связей, тем выше творческий потенциал.

Похоже, Андрей меня похвалил. Не явно, а косвенно. А похвалу я люблю. Впрочем, как и все остальные.

— И что бы ты мне поставил?

— Четыре с минусом, — ответил Андрей.

21 февраля

Здравствуй, Отец!

Каждый день — новое открытие. Андрей так непрост, что чёткого портрета нет.

Боюсь заглядывать в будущее, однако задаю вопрос: вдруг он меня бросит?

Видимо, появилось чувство неуверенности, а вместе с ним — комплекс.

Вот это — новость. Раньше такого не было.

23 февраля

Здравствуй, Отец!

«Мужской» праздник приобрёл смысл. Долго думала, что подарить Андрею. Дорогие запонки? Портмоне? Всё это казалось мелким, недостойным его. Наконец, увидела рекламу «Минерал в подарок» — на одном из сайтов. Заинтересовалась.

Бог мой, как интересно! Этой стороны жизни я не знала.

Увидела горный хрусталь. Обрадовалась. То, что надо. Строгие грани, прозрачность, некоторая холодность. Но главное — в кристалле жила тайна. — Камень магов, — сказал продавец. — Он устанавливает связь с Космосом.

«О, это для него! Космос, Творец, безграничные возможности человека».

Короче, купила.

С Андреем встретились в кафе. Свечи, полумрак, велюровые диваны. Я робко протянула подарок. Видела, как вспыхнули глаза. Будто зажглась звезда. — Хрусталь очищает пространство, — сказал Андрей.

Я промолчала. Давно заметила: если не знаешь, что сказать, лучше молчать.

— В горном хрустале — две стихии. Вода и воздух.

Андрей посмотрел через кристалл на свечу.

«Видимо, вода — это я. Неуловимая и холодная. Не случайно возник образ реки. А воздух — он».

— Спасибо! Интересный подарок.

Положив кристалл, Андрей наклонился ко мне. Он обхватил мои пальцы, и я замерла.

— Знаешь, откуда выражение «кристально чистый человек»?

Стало не по себе. Что это — испытание?
— Прозрачность хрусталя ассоциируется с чистыми помыслами, отсюда и выражение.

Посмотрев на мои ладони, Андрей нахмурился.
«Что он увидел?» — всполошилась я.

Мысль, что, познакомившись ближе, Андрей разочаруется во мне, не давала покоя. Куда пропали насмешки? А ведь в моём арсенале они были всегда. Теперь же я — сама скромность. Как преданная собака. Гляжу в глаза и жду, когда поглядят.

— Хрусталь похож на окаменевший лёд, — продолжил Андрей. — Вот и ты словно лёд. Застыла, и время остановилось.

«Когда я застыла? После рождения Таши?»

— И ещё. В этом кристалле лёд и огонь рядом.

— Не поняла.

— При помощи хрусталя можно разжечь огонь. Он как лупа. Собирает солнечные лучи и выпускает огненную стрелу.

Андрей улыбнулся. Я опустила глаза. Не зная смысла, купила подарок со смыслом.

Однако с каким, так и не поняла.

27 февраля

Здравствуй, Отец!

Вчера была у Андрея. Он писал портрет. Несколько минут тишины, пара выразительных взглядов и вопрос:

— Что пригорюнилась?

— На работе устала.

Знаю, такие вещи любовникам не говорят. Приехала — значит, оставь проблемы за порогом.

— Не беда. Сейчас снимем усталость.

Андрей вышел из-за мольберта, вытер руки и пододвинул шкуру к камину.

— Ложись.

— Как? — удивилась я. — В костюме?

— Ну да. Сбрось только туфли.

Я улеглась на шкуру и, поправив юбку, посмотрела на Андрея. Он накрыл меня пледом и подошёл к музыкальному центру.

— Закрой глаза и слушай.

Студия наполнилась звуками восточной музыки, и меня будто накрыло волной. Приятный баритон послышался с четырёх сторон.

«Видимо, динамик — в каждом углу».

Только подумала — и... поплыла.

Я плыла не как человек — как глубоководная рыба. Меня окружали толщи тёмно-зелёной воды и причудливые водоросли.

— Позвоночник расслаблен, тёплая морская вода окружает тело. Семь, — услышала я. — Поверхность всё ближе и ближе. Шесть. Вода становится теплее, солнечные лучи оставляют блики. Пять. Кажется, здесь встречаются море и небо. Четыре. Слышится плеск волн. Три. Солнечные

лучи отражаются от воды и разбегаются яркими бликами. Два. Мы вынырнули. Нам хорошо. Мы чувствуем себя детьми. Один. Радость и свет окружают нас. Ни проблем, ни забот — только море, солнце и небо.

Музыка походила на голос Космоса. Казалось, что играет дудук. Вспомнила себя — маленькую. Мамины руки, куст малины, большая кружка с нарисованным утёнком. В кружке — ягоды. На некоторых — капли дождя. Они сверкают на солнце, и ягоды становятся ярче. Малиновые, красные... Да-да. Чудо!

Глядя на ягоды, мать сказала: «Как яхонты. Только живые». — «Живые?» — удивилась я. «А ты посмотри». Мать достала малину и положила ягоду на ладонь. «Словно из бусинок-сестричек», — сказала она.

— Ну как? Расслабилась?

Я приподнялась и улыбнулась.

— За эти минуты была и рыбой, и ребёнком одновременно.

— Вот как?

Андрей присел рядом.

— Я слушала музыку, плыла в толще океана и... смотрела на кружку с малиной.

Андрей обнял меня и поцеловал.

Прощаясь, подарил диск.

«Йога-нидра», — прочла я.

— Это уже серьёзно, — сказал Андрей и проводил до такси.

Дома достала диск, вместе с ним — пояснение.

«Постигая йогу-нидру, вы постепенно проникнете в подсознание, увидите своё подлинное «Я». Вам не следует воевать с привычками и искоренять свою природу, так как подобные действия формируют внутренний дискомфорт и враждебность. Если хотите, чтобы дерево не плодоносило, отсеките корень. Иными словами, чтобы устранить недостатки, надо приблизиться к корню ума, то есть к подсознанию. Йога-нидра сможет оказать эту услугу. Человек слаб, он цепко хватается за свои ветви и листья (чувства и интеллект), но как только откроет врата подсознания — окажется у порога созидательности».

3 марта

Здравствуй, Отец!

Андрей знает о Ташиной болезни. Я рассказала о ней в начале знакомства. Помню, как он разволновался. Вот что значит чуткое сердце. С тех пор постоянно спрашивает, что в нашей семье да как.

Вчера подарил книгу по йоге сна. Сказал: «Передай Таше». Вложил в книгу записку, попросил прочитать дома.

Записка такова:

«Лариса, оставляю свои впечатления. Скажу откровенно: я — в шоке! Наскоро записал, что чувствовал. Теперь понимаю, как увлекательны эти занятия. Целую, Андрей».

Далее короткий рассказ:

«Впал в состояние транса. Был женщиной. Появились новые желания. Захотелось вилять задом, жмуриться, поглядывать из-под ресниц, томно вздыхать. Чёрт-те что! Ощущение, что схожу с ума. Тем не менее, не остановился. Пошёл дальше. Понял, что должен (точнее, должна) кого-то соблазнить. Кого — не видел. Думаю, не суть важно. Слышал свой голос, видел плавные движения рук, ощущал мощные удары сердца. Испугался последствий, вышел из транса. Уверен, женщина хочет быть объектом сексуального желания. Не обиделась? Думаю, нет. Ты — мудрая. Всё поймёшь...»

Не знаю, как отнестись к его словам. Голова кругом. Что я должна понять?

8 марта

Здравствуй, Отец!

На память пришло стихотворение Роберта Рождественского. Твержу про себя весь день.

Мы совпали с тобой,
совпали
в день, запомнившийся навсегда.
Как слова совпадают с губами.
С пересохшим горлом —
вода.
Мы совпали, как птицы с небом.
Как земля
с долгожданным снегом
совпадает в начале зимы,
так с тобою
совпали мы.
Мы совпали,
ещё не зная
ничего
о зле и добре.

И навечно
совпало с нами
это время в календаре

19 марта

Здравствуй, Отец!

Отдала Таше книгу по йоге. Может, её заинтересует?

Не могу понять, куда пропала записка. Признаюсь, беспокоюсь.

23 марта

Здравствуй, Отец!

Не знаю, что и подумать. Вроде бы было всё как обычно. Перед сном пожелала Таше спокойной ночи и ушла к себе. Почитала, включила диск

с йогой-нидрой, расслабилась и уснула. Проснулась от крика:

— А-а-а!!!

Бросилась к Таше. Она лежала на полу. Ноги подвернулись, сама — белая, словно неживая.

— Та-а-аша! — закричала я. — Таша! Очнись!

Никакой реакции.

Я запаниковала. Кинулась в ванную. Помню, там стоял нашатырь. Плеснула на полотенце — и назад. Сунула Таше в нос. Наконец-то. Веки дрогнули, Таша открыла глаза. Я заплакала.

— Девочка моя!

В комнату вошла Лушка. Зыркнув на Ташу, прыгнула на подоконник. Прошла по нему и насторожилась. Принюхалась. Будто что-то почувала.

Стало страшно. Не выпуская Ташиной руки, оглянулась. Никого. Но почему так тревожно? Лушка прыгнула, громко сказала: «Мао». Улеглась рядом со мной, стала вылизывать хвост. Как ни странно, успокоилась.

Таша застонала.

— Приподнимись чуть-чуть. Положу на диван.

Мои волосы упали на Ташино лицо. Она улыбнулась. Видимо, стало щекотно. Как гора с плеч. С трудом подняла Ташу и прижала к себе.

Девочка моя. Несчастливая и больная.

Таша всхлипнула.

— Всё хорошо, — прошептала я. — Не плачь.

Положила её на диван, села рядом. Протёрла лоб влажной салфеткой.

— Как ты меня напугала! Крик, обморок и... рука. Словно подломленное крыло.

Я наклонилась к Таше и поцеловала в лоб. Такая жалость — хоть вой. Что за жизнь?! Никого, кроме меня, у неё нет. Никому не нужна. Одна и одна. О чём думает? Как у неё хватает сил? Я бы, наверное, удавилась.

От этих мыслей стало не по себе. Потрогала Ташин лоб.

— Температуры нет. Видимо, сон, — как можно спокойней сказала я. — Мне тоже снятся кошмары.

Таша смотрела на меня. Как-то просветлённо. — Ты что-нибудь помнишь?

Она покачала головой. Вернее, дёрнулась.

Надо было о чём-то говорить. Сказал первое, что пришло на ум:

— Хорошо, что был нашатырь. Недавно купила.

Таша загадочно улыбалась. Я подняла её руку и положила на одеяло. Длинные ресницы затрепетали, из груди вырвался вздох. Щемящий, с надрывом.

— Твоя рука — как крыло, — прошептала я.

По Ташиной щеке поползла слеза. И тут вспомнились строчки Ахматовой. Встревоженный ум зацепился за слово «крыло» и выдал то, что лежало на поверхности. Как в компьютерном поисковике.

Уже безумие крылом
 Души накрыло половину,—

продекламировала я,—

И поит огненным вином,
 И манит в чёрную долину.

Таша окаменела. Прямо на глазах. Невидимая
 связь оборвалась, и она прохрипела:
 — Что дальше?

Сарказма в её вопросе не услышала. Я встала и,
 скрестив на груди руки, продолжила:

И поняла я, что ему
 Должна я уступить победу,
 Прислушиваясь к своему
 Уже как бы чужому бреду...

Хорошее стихотворение. Мне нравится. Ритм,
 лиричность—и в то же время недосказанность.
 Можно трактовать и так, и этак.

Таша закашлялась. Громко, надсадно, с хрипом.
 Я бросилась к дивану.

— Что-то не так?

Ташины глаза сверкнули, и я услышала:

— Уходи!

Я еле устояла на ногах.

— Теперь всё в порядке,—бросила ей в ответ.—
 Вижу, пришла в себя.

Мои ноги дрожали, сердце стучало в горле.
 Дошла до кровати и уткнулась в подушку. Давно
 так не плакала.

7 апреля

Здравствуй, Отец!

Предложила Ане переехать к нам.

— Хватит ютиться по углам,—сказала я.—У нас
 тебе будет лучше.

— Лариса Валентиновна, милочка!—воскликнула
 Аня.—Да я хоть сейчас.

Собрала вещички и переехала. Поселилась в
 гостиной и тут же навела «красоту». Поставила
 на окно герань, разложила салфетки. Видимо,
 сама вязала.

Таша, похоже, рада. Приползла в гостиную,
 смотрит и улыбается. Затем взглянула на меня.
 Наверное, ждала замечаний.

Однако не дождалась.

Вот так-то! Я пожала плечами и промолчала.

Странно. Раньше бы непременно съязвила.

9 апреля

Здравствуй, Отец!

Аня болтает, как сорока. Привезла кучу кассет,
 большая часть—народные песни. Поёт вслед за
 Кадышевой. Признаюсь, неплохо.

Вчера напевала «Сопилочку».

Грай, моя сопилко, калиново гилко,
 Зачаруй мене, заворожи...

Сегодня, выйдя из дома, прихватила эту песню
 с собой. На работе не могла сосредоточиться, всё
 повторяла про себя: «Зачаруй мене, заворожи...»

Потом рассмеялась. Андрей и так приворожил.
 Крепко-накрепко.

Вошла Света—редактор.

— Ларис, что с тобой происходит? К психологу
 стала ходить?

— Не угадала. Весной потянуло.

— Скажешь тоже. Февраль на дворе.

Мысль, что могу влюбиться, Свете не пришла
 в голову.

13 апреля

Здравствуй, Отец!

Что удивительно, пропала тоска.

В квартире пахнет плюшками и пирогами.

Боюсь, придётся менять гардероб.

И мне, и Таше.

17 апреля

Здравствуй, Отец!

Странное дело: иногда вижу себя со стороны. Вот,
 например, сегодня. Решила пройтись пешком до
 метро «Воробьёвы горы». Подхожу к театру Сац—
 и совершенно ясно вижу себя. Невысокая, мини-
 атурная женщина средних лет. Дорогой брючный
 костюм, стильная сумка, лёгкий шёлковый шарф.
 Волосы забраны в низкий пучок, прямой пробор,
 на глазах—тёмные очки. «Цок-цок»—стучат ка-
 блучки. Женщина переходит проспект и идёт
 вдоль университетской ограды. Глаз не видно,
 однако ноздри и губы выдают настроение. Жен-
 щина улыбается. Сдержанно, уголками губ. Будто
 не привыкла к улыбке. Дошла до метромоста.
 Остановилась. Посмотрела на реку, набережную,
 Лужники. Подняла лицо к небу. Тёмные волосы
 блестят на солнце, утренние лучи освещают кожу.

Если бы это была незнакомка, я бы сказала: «Счас-
 тье и любовь спрятать трудно».

18 апреля

Здравствуй, Отец!

Произошедшие во мне изменения увидели на
 работе.

— Ларис, ты что—влюбилась?—спросила коррек-
 тор.—Помолодела лет на пять.

«Сказала бы—на десять. Было бы приятней».

— Лариса Валентиновна,—обратился бухгалтер.—
 Позвольте вам сделать комплимент.

Я вспомнила девичество. В те времена было
 много комплиментов. Надеюсь, искренних.

— Слушаю.

— Последнее время вы светитесь изнутри,—сказал
 бухгалтер.

— А раньше не светила?—улыбнулась я.

— Ну почему же? Однако свет был другим. Лунным.

Какой милый ответ. И вообще... Люди в редакции изменились. То ли весна задела, то ли дела лучше пошли.

Удивительно.

21 апреля

Здравствуй, Отец!

В отличие от меня, Андрей предпочитает научно-популярную и эзотерическую литературу.

— Почему? — как-то спросила я.

— Интересно читать о самопознании, — ответил он.

— Об этом и Достоевский писал.

— Верно. У Достоевского, кроме человека, и нет ничего.

Задумалась. Это цитата, или Андрей меня проверяет?

Признаюсь, боюсь сесть в лужу, поэтому вечно настороже.

— У Достоевского нет природы и мира вещей, — продолжил Андрей. — Существует только дух человеческий, его страдания.

Меня не интересует человек в целом. В частности — да. Вот, например, Андрей. Человек-загадка.

24 апреля

Здравствуй, Отец!

Впервые была в казино. С Андреем, конечно.

Встретив меня после работы, он улыбнулся и предложил:

— Пойдём поиграем.

Не знала, что и ответить. Двусмысленное предложение. Однако кивнула. Так, на всякий случай.

Подъехали к казино, вошли в ослепительно яркий зал. Столы, рулетки, фишки... И азарт. Он прямо витал в воздухе. Вспомнила новеллу Стефана Цвейга «Двадцать четыре часа из жизни женщины». В своё время она произвела на меня большое впечатление. День — как рубеж, а дальше — жизнь до и после.

Андрей сел за стол, я встала рядом. Крупье сказал дежурную фразу, и воздух будто бы уплотнился. Он наполнился напряжением и ожиданием. Шарик подпрыгнул и понёсся по секторам. Опять вспомнила Цвейга. Дословно не скажу, но, по словам писателя, расчётливый человек в казино спокоен, расточитель бросает небрежные жесты, скупец скрючивает пальцы, у безумца дрожат руки. Взглянула на Андрея. Он сидел, засунув ладони под мышки. Ай, хитрец!

Андрей ставил на zero и только на него. Первый раз проиграл, второй выиграл. Затем мимо, ещё раз мимо, опять выиграл. Лицо как у сфинкса, только ноздри дрожат.

«Азартен, — подумала я. — Однако владеет собой».

Наконец Андрей встал.

— Хороший улов, — сказал он. — Можно поужинать в дорогом ресторане.

Чувствовала его возбуждение. И радость от выигрыша.

Поехали в «Ностальжи». Фонари отражались в Чистых прудах. Москва похорошела на глазах. Не мною замечено, но старые районы Москвы вечером выглядят благопристойно. Не видно ни заплёванных тротуаров, ни переполненных помоек. Ночь закрывает человеческую мерзость, и на передний план выходит старина. Ампи́р, классицизм, барокко. Москва строилась, старела, менялись архитектурные стили. Будто платья модницы.

— Вот и приехали, — сказал Андрей.

Он припарковал машину и повёл меня в ресторан.

— Была в Париже?

Я кивнула.

— Тогда тебе здесь понравится. «Ностальжи» напоминает парижские «бассе́ры».

Мы сели у окна. Вид на Чистопрудный бульвар пробудил ностальгию. Я не была в Париже лет тридцать. А в детстве с родителями ездила неоднократно. В те времена подобные поездки были большой редкостью. Помню Лувр, Елисейские поля, «Гранд-опера», мост Александра. И конечно, Монмартр. С его вершины смотрела на Париж. И мечтала.

Андрей заказал ужин и посмотрел на меня. Вид у него был довольный.

— Как тебе казино?

— Любопытно.

Я понимала: Андрею хочется поговорить. Конечно, о победе.

— Почему ставил на zero?

Синие глаза вспыхнули, и Андрей оживился. Отбросив волосы, он поднял бокал и хитро прищурился.

— Zero — необычное число. Оно символизирует начало и конец происходящего.

Я пригубила вино и подняла брови. Моё удивление относилось и к вину, и к последней фразе одновременно. Бордо было великолепно, фраза загадочна и непонятна.

— Сама посуди: ноль — символ круга, и в то же время — пустота. Все природные процессы идут по кругу, а в пустоте рождаются чудеса.

Последнее было непонятно, однако я промолчала. Зачем спешить? Минута-другая, и всё станет ясно. И я не ошиблась.

— Если к нулю не приставить цифру, он не имеет веса, — продолжил Андрей. — Получается, что zero — как жизнь. Если к бытию не приставить мотив, то жизнь не имеет смысла.

Мои брови взлетели выше.

«Мудрёно говорит».

— Что интересно, ноль и бесконечность — братья.

Я вострепнулась. Среди символов, придуманных человечеством, есть один, который меня волновал. Это — бесконечность. Этот знак я рисовала всегда. В школьной тетради, на лекциях в институте, погружаясь в себя. Признаюсь, бессознательно рисовала. Почему — не знаю.

Вопрос был в тему, и, рассказав о своём невинном увлечении, я спросила Андрея. Тот пришёл в полный восторг.

— Фантастика! — воскликнул он. — Отцовские гены.

— При чём тут гены?

— Бесконечность — это восьмёрка, лежащая на боку. По Пифагору, «восемь» — символ гармонии. Ни острых углов, ни открытых линий — всё замкнуто, плавно, есть точка пересечения. Это — философия. Символ духовного и материального миров. Рисуешь знак — и переходишь из одного мира в другой. Мысленно, конечно.

Андрей достал ручку и нарисовал на салфетке знак бесконечности.

— Теперь ты, — сказал он.

Я исписала всю салфетку и достала другую. Затем третью, четвёртую...

— Всё. Хватит.

Андрей отобрал ручку.

— Длинные, тощие, приплюсненные, — посмотрев на рисунки, сказал он.

Я собрала салфетки и положила в сумку. Не нравится — ну и не надо.

Джаз-бэнд начал работу. Андрей встал и пригласил на танец. Прижавшись ко мне, прошептал: — Ты — молодец. Знак бесконечности — символ духовного совершенствования. Бесконечно долгого.

24 апреля

Здравствуй, Отец!

Осталась ночевать у Андрея. Впервые.

— Наташе сказала, что поехала ко мне? — спросил Андрей.

— Нет.

— А зря. Враньё — от недостатка любви. Или ты недостаточно любишь, или тебя.

Андрей снял рубашку и добавил:

— Тоже знак, между прочим. Или лакмусовая бумажка.

26 апреля

Здравствуй, Отец!

Купила новое платье. Воздушное, из шифона. Показала в редакции.

Дотронувшись до материала, Надя (редактор и ходячая энциклопедия в одном лице) сказала:

— Будто крыло.

Я поморщилась. Вспомнила Ташин обморок.

Надя подошла к зеркалу и долго рассматривала себя. Джинсы, длинный свитер, тонкий ремень. Затем вздохнула и выдала очередную сентенцию:

— Коко Шанель как-то сказала: «Днём будьте гусеницей, вечером — бабочкой. Нет ничего удобнее, чем облик гусеницы. И ничей облик не подходит для любви больше, чем облик бабочки. Женщины не нужны платья ползучие и платья летающие. Бабочка не ходит на рынок, а гусеница не ездит на бал».

Не хочу быть гусеницей. Уж лучше бабочкой.

28 апреля

Здравствуй, Отец!

Гуляли в Коломенском. На берегу Москвы-реки появилась мать-и-мачеха. Неказистая, с коротким стеблем. Тем не менее, она похожа на солнечный луч после полярной ночи. Андрей был молчалив. Хмурился, смотрел на реку, рассматривал первые цветы. Наконец сказал:

— Мой сын говорил: цветы мать-и-мачехи — дети солнца. Сейчас они маленькие, а когда подрастут — поседеют. И улетят к матери.

Я напряглась. О семье Андрей ничего не рассказывал.

— У меня был сын.

— Был, — повторила я.

— Он умер.

— Но почему?

— Порок сердца. Мальчик был дауном, а у таких людей — много патологий, в том числе на сердце.

Внимательно посмотрев на меня, Андрей спросил:

— Видела таких детей?

— Конечно.

Я вспомнила лица даунов. В них было что-то похожее. В глазах, форме лица, улыбке.

— Лишняя хромосома в гене.

Я промолчала. Для меня биология — тёмный лес. И медицина тоже.

— Жена ушла сразу после рождения сына. Он её, видите ли, не устраивал.

— Как можно оставить ребёнка? — спросила я.

Признаюсь, мне было не по себе. Я поняла причину интереса Андрея к моей скромной персоне.

— Так мы и жили. Я и сын. Ласковый, дружеский, любящий, добрый. Он многому научился. Кстати, неплохо рисовал.

— Давно умер?

— Два года назад.

В уме пробежали нехитрые расчёты. Видимо, сын Андрея прожил лет двадцать-тридцать.

— Твоя Таша — нормальная девушка. Ей бы встать, заговорить — и всё будет в порядке.

— Разве такое возможно?

— Нет ничего невозможного, — ответил Андрей. — Я это понял недавно.

Меня охватило такое беспокойство, что покачнулась. Андрей бросил плащ на берег и, усадив меня, сел рядом. Мы смотрели на реку и молчали.

В уме царил хаос. Мысли носились из угла в угол и будто перешёптывались:

«Ты слышала?»

«Конечно. Думаешь, я — глухая?!»

«Но неужели есть шанс?»

«Не знаю. Он ведь сказал...»

«Наивная. Много можно сказать».

«И всё-таки чудеса бывают».

«Ну да. Одно на миллион».

Андрей заговорил первым.

— Представь себе: ты взяла линзу и решила поджечь бумагу солнечным лучом. Поймала и направила луч на бумагу. Теперь надо ждать и держать линзу в одном положении. Иначе огня не будет.

«О чём он говорит? Какой луч? Какая линза?»

— Так же с желанием, — продолжил Андрей. — Вернее, с намерением. Наша вера в то, что намерение исполнится, — это луч созидательной энергии. Стоит усомниться — и всё. Словно линзу убрал.

Мои мысли утомонились, и сказанное Андреем дошло до ума.

— Концентрация и вера — мощные силы. Они могут притянуть энергию из источника куда более мощного, чем человеческое сознание. И тогда...

— Что тогда? — перебила я. — Таша встанет?

— Всё может быть, — ответил Андрей. — Однако есть «но».

«Вот так всегда. Стоит появиться надежде — сразу появляется „но“».

— Выразить желание, сконцентрироваться на нём, поверить, что получится, должна Таша. Именно она.

— А мне что делать?

— У тебя — одна роль. Не вмешиваться.

— Ты предлагаешь стоять в стороне?

— Ну почему? Можно показать путь. А пойдёт ли Таша по этому пути, зависит не от тебя.

Долго не могла уснуть. Казалось, что устами Андрея говорил Ты.

29 апреля

Здравствуй, Отец!

Теперь понимаю, что в жизни случайностей нет. Будь то встреча с человеком, текстом, идеей. Сегодня в Интернете увидела белый стих.

Человек шептал: «Господь, поговори со мной!»

И луговые травы пели.

Но человек не слышал!

Человек вскричал тогда:

«Господь, поговори со мной!»

И гром с молнией прокатились по небу.

Но человек не слушал!

Человек оглянулся кругом и сказал:

«Господь, позволь мне увидеть тебя!»

И звёзды ярко сияли...

Но человек не видел.

Человек вскричал снова: «Бог, покажи мне видение!»

И новая жизнь была рождена весной.

Но человек этого не заметил!

Человек плакал в отчаянии: «Дотронься до меня,

Господь, и дай мне знать, что ты здесь!»

И после этого Господь спустился и дотронулся до человека!

Но человек смахнул с плеча бабочку и в слезах ушёл прочь...

Подумала: если читаю такие тексты, думаю о них — значит, созрела.

3 мая

Здравствуй, Отец!

Май для меня — любимое время года. Хочется глубоко дышать, слушать чириканье воробьёв, прикасаться к первым цветам. Причина понятна: общее пробуждение.

Про-буж-де-ни-е.

Удивительное слово.

Не просто проснулся, а проснулся другим. С надеждой, интересом, желанием улыбнуться. Что и говорить, жизнь циклична. В ней всё как в природе. Снег превращается в ручьи, оледеневшие ветки оживают и покрываются листьями.

Для меня этот май — особый. Он наполнен любовью.

Казалось, в моей жизни её уже не будет. Душа замёрзла, чувства ушли, мир превратился в точку. И вдруг...

В сказках всегда появляется «вдруг». Это — некий рубеж, поворот, новая дорога. Жила-была — и вдруг что-то случилось. И всё стало другим. И настраивание, и мысли, и перспектива.

Что это? Испытание или опыт? Зачем? Почему?

Я теперь в общем потоке. Жизнь сначала промакивала меня, потом наградила. Видимо, чёрная полоса стала слишком широкой.

Вспомнила песню Утёсова. В ней — о пробуждении, о новом видении жизни. И причина та же — любовь.

Любовь нечаянно нагрянет,
Когда её совсем не ждёшь,
И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош,
И ты поёшь...

Этой весной запела и я. Не в полный голос, конечно. Иду на работу и тихонько мурлыкаю. Как ни странно, песни Пугачёвой. Никогда не была фанаткой певицы, и вдруг...

Опять вдруг.

Улетай, туча, улетай, туча, у-у-у-у-улетай!

Или:

Так же, как все, как все, как все,
Я по земле хожу, хожу.
И у судьбы, как все, как все,
Счастья себе прошу.

Незамысловатые слова, но мне близки. Видимо, такое настроение.

6 мая

Здравствуй, Отец!

Сегодня гуляла в Нескучном саду. Мамочки с колясками, старички, влюблённые... И мы с Андреем. Идём рядом, молчим, смотрим по сторонам. Кажется, наше молчание—особое. То, которое бывает между близкими людьми. Дошли до парка имени Горького. Сели на скамейку.

— Ты здесь?—спросил Андрей.

Станный вопрос.

— Не удивляйся. Мало кто живёт здесь и сейчас,—пояснил Андрей.

Я улыбнулась.

— Полагаешь, я—в облаках?

— Чаще всего—да. Или в толще океанических вод.

Андрей посмотрел на гуляющую публику и продолжил:

— Вот эти люди живут здесь и сейчас. Они гуляют, разговаривают, катаются на аттракционах, а ты... Чаще всего ты копаешься в своих мыслях.

— Но ведь они—здесь и сейчас. В моём настоящем.

— Как сказать,—возразил Андрей.—Думаю, твои мысли связаны с прошлым. Или будущим. Разве не так?

Я нырнула в себя. За минуту до разговора я думала о нас с Андреем. Вернее, о наших взаимоотношениях. Не будет ли Андрею скучно со мной? Поймёт ли меня?

— Ну и как?—спросил Андрей.

— Ты прав. Я думала о будущем.

— В этом проблема.

— Почему?

— Будущее—продукт нашего ума, а мы живём в настоящем. Всегда.

Я ощутила тревогу. На что Андрей намекает? На мою мечтательность? На неумение жить в настоящем? И вообще... Что значат его слова? Это—критика или желание помочь?

Андрей наклонился ко мне и, отстранив волосы, прошептал в ухо:

— Не требуй от жизни большего. Она даёт тебе то, что готова дать. Поняла?

Увидев мой взгляд, Андрей рассмеялся. Он поцеловал меня и спросил:

— Разве тебе плохо сейчас?

— Хорошо,—ответила я.

— Вот и отлично.

Он встал и добавил:

— И ещё. Научись радоваться. Чему угодно. Солнцу, весне, данному мигу.

Андрей разворошил муравейник. Признаюсь, радость в меня вливается порционно. Не сама по себе, а под моим контролем. Я создаю себе настроение, повышаю эмоциональный фон и открываю ворота для радости. Дескать, заходи, я готова. Она и заходит. Степенно, церемонно, шурша кринолином. Но это сейчас, в зрелые годы. А в детстве и юности радость врывалась. Бурно, эмоционально, со спутанными волосами.

Андрей подошёл к киоску и купил два рожка. Один со сливочным мороженым, другой—с шоколадным.

— Какое хочешь?

Я выбрала шоколадное.

— Так и знал,—улыбнулся Андрей.

Он высунул язык и лизнул мороженое. Смешно, по-ребячьи, с наслаждением. Я же осторожно откусила кусочек и скосила глаза вниз: не испачкать бы блузку. Вроде бы пустяк, но в нём—проявление характера. Андрей умеет наслаждаться, я—нет.

Я нахожусь в постоянном напряжении.

10 мая

Здравствуй, Отец!

Странное дело: разговор о миге, начатый Андреем, имел домашнее продолжение. К слову сказать, любопытное.

Вернувшись с работы, увидела такую картину. Таша лежит на диване, Аня моёт окно. Обе улыбаются. В большой комнате орёт магнитофон.

Призрачно всё в этом мире бушующем.

Есть только миг—за него и держись.

Есть только миг между прошлым и будущим.

Именно он называется жизнь.

Я остановилась как вкопанная. Песня—известная, слышала её не раз. Но сейчас она звучала по-другому. С особым смыслом.

Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

Вечный покой—для седых пирамид,

А для звезды, что сорвалась и падает,

Есть только миг, ослепительный миг.

Не знаю почему, но, услышав это четверостишие, показалось: я—на финише. Что это—подсознание или голос судьбы? Вот вошла в дом—и звучит песня. Не какая-то другая, а именно эта. О миге, звезде, её падении...

Аня спрыгнула с подоконника и обернулась.

— Здравствуйте, Лариса Валентиновна!

— Добрый вечер.

Таша скосила глаза и кивнула.

— Ну и красота сегодня!—вытирая руки, сказала Аня.—Будто бархат на Москву набросили.

«Вот это да! Аня и метафора».

Я разделась, помыла руки и пошла на кухню. И тут же явилась Аня.

— Люблю песню о миге. Она будоражит и заставляет радоваться.

— Чему? — удивилась я.

— Жизни, конечно.

Аня пригладила волосы и села рядом.

— Сколько раз её слышала, а не перестаю удивляться. Надо же так написать. «Есть только миг — за него и держись». Прямо в точку.

Я заварила чай и разлила по чашкам.

— И ты держись. Верно?

— Ещё как! — воскликнула Аня. — Вот, например, сейчас... Сажу с вами и млею.

«Или наивная, или с придурью, — подумала я. — А может, слишком откровенная?»

— И что же ты млеешь?

— Как что? — удивилась Аня. — Вы вернулись с работы. Дома чистота. Все живы-здоровы. Разве этого мало?

Опустив глаза, я устала в чашку. Не знаю, что и сказать. И вообще... В последнее время часто попадаю в тупик. Казалось, и Аня, и Андрей задают простые вопросы, а ответов нет. По крайней мере, у меня.

Аня вышла и вернулась с Ташей. Посадив её себе на колени, придвинула чашку и, бросив в неё сахар, стала шумно размешивать.

— Мамка не раз говорила: «Пляши, пока играют».

Аня приблизила чашку ко рту Таши и, дождавшись, когда та отхлебнёт, продолжила:

— Казалось, говорила невпопад. Как-то бабы с детьми на речку пошли, а там — такая красота, что словами не передать. Покупались, улеглись на бережку, в небо глядим. Солнце прямо в губы целует, ветер волосы шевелит, а река журчит, будто колыбельную поёт. Мамка аж лицом посветлела. Обняла меня и говорит: «Пляши, пока играют». Тогда не поняла, что к чему, а сейчас поузнала.

Я промолчала. Что тут ответить?

Аня напоила Ташу и сама принялась за чай. Она пила шумно, с наслаждением. И постоянно таскала конфеты. Одна Анина рука держала Ташу, другая шныряла между вазой с конфетами и чашкой с чаем. По мере того, как гора фантиков набирала высоту, Анин монолог сделал петлю и вернулся к исходной позиции.

— Но мамка-то что. Она бабе Дуне в подмётки не годится.

«Крепко сказано», — усмехнулась я.

Взяв очередную конфету, Аня продолжила:

— Баба Дуня на любой вопрос может ответить. Вот, например, как-то спросила её: «В Библии написано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А кто для меня — самый ближний? Мамка, что ли?» — «Кто рядом с тобой, тот и ближний», — ответила баба Дуня. — Вот сейчас ты для меня — самая близкая. Ближе и нет никого».

Я восторгалась и посмотрела на Аню. На щеках — румянец, на губах — следы шоколада, в глазах — свет. Да-да, Анины глаза светились и дарили тепло. Оно наполняло кухню и проникало в сердце. И в моё, и в Ташино. Ишь как слушает. — Я бабы-Дунины слова не сразу поняла, — продолжила Аня. — «Ну, хорошо, — говорю. — Сейчас я — самая близкая. И что? Хвалить тебя надо?» Баба Дуня улыбнулась: «Хощь — похвали. С тебя не убудет. Однако я — о другом. Вот мы сейчас говорим, а время идёт. И твоё, и моё. Можем поругаться, можем посудачить, можем кого-то похвалить. И в зависимости от того, что скажем друг другу, миг будет тот или другой. Так что, девка, сама решай. Хочешь переживаний — ругайся и кляни мир; хочешь хорошей жизни — возлюби ближнего. Как самого себя».

11 мая

Здравствуй, Отец!

Виделась с Андреем. Накоротке. Вместе поужинали, и, проведив меня, он уехал. За ужином поведала Анин рассказ. Андрей выслушал и сказал:

— Люди похожи на оконные стёкла. Они сверкают на солнце, но когда воцаряется тьма, одни стёкла тускнеют, другие загадочно мерцают. Знаешь почему?

Я промолчала.

— Их озаряет свет, идущий изнутри. Именно он и есть показатель красоты.

17 мая

Здравствуй, Отец!

Я люблю помолчать. По-моему, общение без слов — одно из утерянных достижений человека. У животных всё проще. Стоит посмотреть в глаза любимому псу, как тот отвечает лаской. А в человеческом мире нужны слова. И мне они нужны. Особенно слова любви. Однако Андрей таких слов не говорит. Может, не любит?

10 июня

Здравствуй, Отец!

Таша и Аня — в деревне. Звоню через день, благо есть мобильная связь. Чувствую, Таше хорошо. И неудивительно. Сергово — красивая деревня. Стоит на берегу реки. Кругом — поля и луга. За деревней — сосновый лес.

За Ташу и Аню я не волнуюсь. Знаю, рядом есть помощник — Феликс Петрович. Когда бываю в деревне, привожу подарки. Похоже, Феликсу приятно. Забавный мужик. Высокий, крупный, с седыми кудрями. Есть в нём что-то цыганское. Живёт один. Имеет большое хозяйство. Пасека, лошадь с жеребёнком, корова, овцы, утки... чего только нет. И технику имеет. Словом, фермер.

В детстве я любила деревню. Полевые цветы, вёглы на берегу, маслята в лесу. Всё это меня волновало. А главное, что привлекало, — свобода.

Целыми днями носилась по деревенским окрестностям и радовалась жизни. Удивительное состояние.

А теперь... Кажется, ничего не изменилось: тот же простор, те же дома, та же Медведица. Ан нет. Деревня меня не волнует. Будто другими глазами смотрю.

13 июня

Здравствуй, Отец!

Андрей предложил съездить на Корфу. Радуюсь, как девчонка. Романтическая поездка. Неужели? А вдруг сорвётся? От этих мыслей кружится голова. И радость, и тревога одновременно.

Наконец всё позади. Взяты билеты на самолёт, оформлены визы, завтра вылетаем.

30 июня

Здравствуй, Отец!

Провела две недели в сказке. Кажется, сбросила лет двадцать. Необычайная лёгкость. И в душе, и в теле. Фантастика!

Улетая, смотрела в иллюминатор и плакала. Беззвучно, конечно. Спасибо, Корфу! Ты подарил мне любовь.

Оглядываясь в прошлое, понимаю: в моей жизни было мало любви. Пять лет с Алёшей, дальше — жалкие крохи. И вот теперь — королевский подарок.

Господи, спасибо Тебе!

1 июля

Здравствуй, Отец!

Снова и снова возвращаюсь к Корфу. Бесконечный просмотр фотографий, дорогие воспоминания.

В этой поездке всё было необычным. Даже гостиница. Она стояла на пляже. Достаточно спуститься по лестнице — и вот оно, море. Около нашего балкона росла огромная пальма, на ней были развешены разноцветные лампочки. Праздничная иллюминация. Поужинав, мы приходили в номер и подолгу сидели на балконе. Бутылка вина, фрукты и шёпот моря. В моей жизни было два моря — Чёрное и Азовское. На Чёрном море я отдыхала с Алёшей, на Азовском — с Ташей. И вот теперь — Средиземное. Огромное, сине-бирюзовое, безумно солёное. Но дело не в этом. В Средиземном море живёт Любовь. Я видела её, ощущала, слышала любовные серенады.

Поддавшись моде, мы взяли мопед и колесили в разных направлениях. Андрей за рулём, я сзади. Обхватив Андрея за талию, я прижималась к его спине и закрывала глаза. Казалось, мы летим. Над горными хребтами, пляжами, курортными посёлками. Слившись в одно целое.

7 июля

Здравствуй, Отец!

Только порадовалась, как между мной и Андреем пробежала тень. Откуда взялась — ума не приложу.

Вроде бы всё было хорошо. Сидели на веранде в кафе. Тёплый июльский вечер, свечи на столах. Говорили о современном искусстве. Не знаю, что на меня нашло, но вспомнила стрит-арт. И ведь знать ничего не знаю о стилях — тем не менее, заговорила о граффити, яркости и необычности урбанистической живописи, праве человека на самовыражение. Андрей отреагировал сразу. Его лицо окаменело, глаза превратились в льдышки, в голосе появились металлические нотки.

— Это твоё личное мнение? Или мнение журнала?

Я растерялась.

— При чём тут журнал?

— В гламурных журналах любят поговорить о свободе самовыражения. Разве не так?

Почувствовала, что надавила на «мозоль». Сидела бы и молчала.

— А как ты относишься к творчеству Бегбедера? — спросил Андрей. — Читала его роман «Любовь живёт три года»?

Мне бы сказать: нет, не читала, — а меня понесло. Дело в том, что в журнале есть книжные обзоры — проплаченные, конечно. И о Бегбедере мы писали. Ну, я и выдала общие фразы. Дескать, современный французский роман, есть в нём своя философия, много интересных мыслей, колоритный герой...

— Ясно, — сказал Андрей. — А по мне — пошлый, циничный роман. Почему люди ведутся на тенденцию писателей к матерно-простой литературе? Читали бы Александра Грина — были бы чище.

Я подняла брови. Резкость, с которой говорил Андрей, меня удивила. Подумаешь, какой-то роман. К чему эти эмоции?

Андрей сбавил обороты. Держать себя в руках он умеет.

— Творчество Грина связано с волшебством, — сказал он. — На меня оно произвело огромное впечатление. Особенно «Алые паруса». Маленькая Ассоль и отец. Романтики и мечтатели. А рядом — мир прагматизма. И вот, наконец, пришла сказка. Две струны зазвучали вместе, и Грэй увидел принцессу, спящую на траве. А дальше — романтическая фантазия. И чистота отношений.

«Мечтатель, — подумала я. — Ранимый и тонкокожий».

Андрей искоса посмотрел на меня и добавил: — И вообще... интересно только настоящее искусство. И настоящие чувства.

Меня как кипятком облило. На что намекает Андрей? Он что, сомневается в искренности моих чувств?

— Помнишь «Соловья» Андерсена? Китайский император не оценил настоящую птичку и настоящую розу. Ему нравились подделки — изящные золотые игрушки. Однако перед лицом Смерти он вспомнил обыкновенного соловья. Как думаешь, почему?

Не дождавшись ответа, Андрей встал.
— И танец фламенко—настоящий,—неожиданно сказал он.—Человек с холодным сердцем фламенко танцевать не сможет.

Я ощутила растерянность. Казалось, в наших отношениях появилась трещина. Крохотная, чуть заметная—она походила на царапину.

11 июля

Здравствуй, Отец!

Выходные провела у Андрея на даче. Хорошо там. В доме—городские удобства, а за порогом—живая природа. Мы много гуляли, сидели на террасе, слушали ночную тишину.

—Слышала об эмоциональной шкале?—спросил Андрей.

На сей раз ответила: нет (нечего умничать, если не знаешь).

—Все по ней бродим.

Андрей взглянул на звёзды, и глаза отразили их свет. Мерцающий, далёкий, холодный.

—Самый высокий уровень—энтузиазм. Ниже—радость. А внизу—страх и уныние. Остальные чувства—где-то между ними. Каждый человек, находясь в привычном настроении, предпочитает разговоры на близкие темы. Энтузиаст говорит о проектах, больной—о болезнях. Согласись, унылому с радостным скучно, а энтузиаст его просто раздражает.

—А как же законы физики?

—Какие?

—Противоположные заряды притягиваются, одноимённые отталкиваются.

Андрей усмехнулся.

—То, что в тебе отсутствует, всегда интересно. Однако есть своё «но».

—Какое «но»?

Признаюсь, меня разговор взволновал. Чувствовалось, он затрагивает наши отношения. Но как? Мы что—на разных полюсах?

—Человек с противоположным взглядом на жизнь открывает мир с другой стороны. Однако если люди разных эмоциональных состояний не будут идти навстречу друг другу, контакта не получится.

Андрей загасил свечу, стоявшую на столике, и веранда погрузилась в темноту. Одни только звёзды дарили свет.

—Несколько раз встречал «людей несчастья»,—прервал тишину Андрей.—Они не любят познания счастья. Понимаешь?

—Не понимаю,—ответила я.—Люди стремятся к счастью. Все до единого.

—Не скажи. Человек—сложное существо. Многие из нас испытывают наслаждение, находясь в тоске и печали. Да-да. И в это состояние затягивают других.

—Как?

—Постоянно говорят о проблемах, ждут помощи, сочувствия. Но это ещё можно понять. Человек слаб, ему хочется участия. Хуже другое. Такие люди ждут, чтобы и ты, находящийся рядом, жил их проблемами и болью. Они подчиняют себе. Забирают в рабство. Сначала ты этого не понимаешь. Переживаешь, пытаешься помочь, погружаешься в их беды. А потом осознаешь: эти люди живут на дивиденды от несчастья. Избавь их от проблем, и жизнь потеряет смысл.

—Но от проблем не уйдёшь,—воскликнула я.—Они есть и будут.

—Верно,—ответил Андрей.—Без них не прожить. Мало того, они нужны, как огонь. Видела, как плавят металл?

—Нет.

—Проходя сквозь огонь, металл закаляется.

Показалось, что намёк адресован мне.

—Не вижу противоречий,—отреагировала я.—Проходя через боль и несчастья, люди закаляются. —Не скажи. Пройти сквозь огонь могут не все. Здесь нужно умение. Без него мы превратимся в людей, в жизни которых—сплошные проблемы.

Андрей улыбнулся и добавил:

—Так что физика физикой, а жизнь жизнью.

—Но почему?

—Патамушта.

15 июля

Здравствуй, Отец!

Ощущение, что иду по зыбучим пескам. То, что когда-то было дорогой, расползается под ногами. Вспомнила «Раскаяние» Вероники Тушновой:

Я не люблю себя такой,
не нравлюсь я себе, не нравлюсь!
Я потеряла свой покой,
с обидою никак не справлюсь.

Я не плыву—иду ко дну,
на три шага вперёд не вижу,
себя виню, тебя кляню,
бунтую, плачу, ненавижу...

<...>

...ты мне такое счастье дал,
его не вычтешь и не сложишь,
и сколько б ты ни отнимал,
ты ничего отнять не сможешь.

Не слушай, что я говорю,
ревнуя, мучаясь, горя...
Благодарю! Благодарю!
Вовек
не отблагодарю я.

Стихотворение легло на душу. Я его повторяла про себя—дома, по дороге, сидя на работе. Наконец, не выдержала и в очередную встречу с Андреем прочла вслух. Он притянул меня к себе и тихо сказал:

— Где-то читал, у поэтов—трагическая судьба.
Практически у всех. Поэт не может быть счастливым.
— Почему?—удивилась я.
— Видимо, потому, что лучшие поэтические строчки рождаются из душевных ран.
— А как быть с любителями поэзии?
— Видимо, они с поэтом в созвучии.

29 июля

Здравствуй, Отец!

И всё-таки Андрей меня любит. Как-то по-своему. Он борется за меня. Пытается изменить сознание. Дескать, живи проще. Радуйся тому, что есть.

Трудное дело. То, что для Андрея естественно, для меня—проблема.

Опять проблема. Одна, вторая, третья...

Господи, как же от них избавиться?

19 августа

Здравствуй, Отец!

Ездили с Андреем в Серьгово. Похоже, деревня Андрею понравилась. Удивительно, но с Ташей у него—полный контакт. С первого дня. То, что не удаётся мне, у Андрея не вызывает труда. Находить темы для разговоров, чувствовать себя в её обществе легко и комфортно. Уму непостижимо.

Боялась этой встречи, а когда состоялась—не радуюсь. Будто ревную. Чудно.

К кому?

Однако факт налицо: куда бы ни пошли, Таша была с нами. Всегда. Этот вопрос даже не обсуждался. Андрей сажал Ташу в коляску и вёз её по лугу, лесу, берегу Медведицы. Мы жгли костры, говорили и даже пели. Вот чудеса.

Давно не пела. То ли хотела понравиться, то ли освобождаюсь от оков. Они как паутина. Оплели и мешают жить.

22 августа

Здравствуй, Отец!

Андрей готовится к выставке. Не видела его неделю. Конечно, созваниваемся, но говорим наколотке. Понимаю, ему некогда. А у меня—опять осеннее настроение. Вроде бы ещё лето, но мой взгляд выхватывает не буйство красок, а первые признаки увядания. Хожу, погрузившись в себя, и в голове крутится песня:

Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты...

В реале дождя нет, но в душе моросит постоянно. Глянула на себя в зеркало и загрустила. Кожа увяла, глаза—тревожные, возраст выглядит из каждой морщинки.

Видно, в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной,
Что сбывается ранней весной...

24 августа

Здравствуй, Отец!

Занимаюсь самоанализом. Вернее, самоедством. А может, подведением итогов?

Внутри что-то болит, а где—не пойму.

Жалею себя. И сожалею. О том, что жила не так, как хотела.

Всю жизнь хотела писать. Однако стала редактором. И ещё множество неосуществлённых желаний. Вот несколько из них:

— Хотела эмоциональной жизни, однако не получилось. Может быть, поэтому заледенела.

— Хотела лидерства, а стала аутсайдером.

— Хотела быть на виду—и оказалась в замкнутом мире.

— Хотела идеальную дочь, но родила Ташу.

— Хотела быть счастливой, но погрузилась в большие печали.

Словом, неудачница.

25 августа

Здравствуй, Отец!

Когда была маленькой, видела цветные звёзды. Мне объяснили: это—игра воображения. Я росла и о звёздах не думала. И вот на уроке астрономии узнала: во Вселенной есть голубые гиганты, красные карлики, жёлтые светила. Признаюсь, обрадовалась. Ага! Что говорила?! Цветные звёзды существуют.

Прошло время, и мне стало всё равно. Мало того—лень поднимать голову. Есть звёзды, нет, цветные они или одноцветные—какая разница? Меня привлекали земные дела. Любовь, слава, успех, замужество, материнство, поездки, внешний лоск... Вот это интересно, это—то, на что следует тратить силы. А звёзды... Они далеко.

В этом месяце читала Акунина. В романе «Левиафан» увидела хайку:

Одинок полёт
Светлячка в ночи.
Но на небе звёзды.

26 августа

Здравствуй, Отец!

Альберт Эйнштейн сказал: «Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый—так, будто никаких чудес не бывает. Второй—так, будто всё на свете является чудом».

Я живу по первому принципу. Однозначно.

Написала, и стало грустно. Видеть чудеса—счастье. Но мне оно не дано. Впрочем, как и многое другое.

27 августа

Здравствуй, Отец!

Какая невыносимая боль! Не пойму где.

Болит всё тело.
Пожалуй, позвоню Андрею.

Последняя запись.

Через день мать умерла.

Я нажала кнопку «Печать». Из принтера полетели листы. Они кружились над ковром и опускались, словно осенние листья. Казалось, к ногам летят куски материнской души. Непонятой, недолюбленной. Прежде всего — мной, её единственным ребёнком.

С кровати сполз пеньюар. Уткнувшись в него, я вдохнула запах терпких духов. Ни отторжения, ни протеста. Будто вошла в сказочный лес. Запах мха, осени и сосновой смолы. И листья под ногами.

Вечер. Иду за последним лучом. В руке саквояж. Клетчатый, с золотистым замком. Ветки рябины бьют по лицу. Почему-то босая. Больно, но надо спешить. Ну да, ведь солнце садится. Ноги — словно пружины. Ра-а-а-а-аз! Оттолкнулась. Неужели лечу? Деревья поплыли. В красных и жёлтых одеждах. Среди деревьев — спираль. Будто змея. Встала на хвост. Потянулась.

Ух, как красиво! И я... похожа на Мэри Поппинс. Лечу-у-у-у!

Саквояж раскрылся. Белый водопад из страниц. Падают на землю.

Небо. На нём — глаза.словно ночные озёра. Я протянула руки:

— Ма-а-а-ама!

Синь превратилась в бархат.

Ярко блеснув, исчезла.

Вечер. Опять одна. Лушка на подоконнике. Сумерки за окном. Облако. Прильнуло к стеклу. Будто вуаль.

Пальцы приблизились к клавиатуре и, не промазав ни разу, выбили несколько слов:

«15 ноября 2011 года.

Здравствуй, Отец!

Это я — Таша».

Часть III. Сказка

1.

Перед Новым годом мы переехали на дачу. По словам Андрея, ближе к природе. Я не возражала. Природа — не люди, она понятней.

Всё было как в моём сне. Мы шли по дороге, солнце светило в лицо, мороз пощипывал щёки. Аня и я — в шубах, на голове — вязанные шапки, на ногах — валенки (их нам купил Андрей), из рукавов торчали варежки на резинке. Тишину нарушали Анины шаги. «Скрип-скрип. Скрип-скрип». Лес приближался. Казалось, на деревьях лежат

стеклянная вата (как в новогодних композициях). Аня остановилась. Пар изо рта, румянец на щеках, крупные снежинки на ресницах.

— Слышишь тишину?

Аня наклонилась и обдала жарким дыханием. Я улыбнулась. Мороз и живое тепло.

— Слышу, — прошептала я.

Поехали дальше. Коляска тряслась по утрубованной дороге. Вокруг ёлки, сосны, берёзы. Аня полезла в карман. Что-то достала. Бросила на снег и обернулась ко мне. Глаза — как зимнее небо. Голубые, искристые, ясные.

— Семечки снегирам.

Я хмыкнула. Кто бы сомневался.

— Пусть порадуются.

Я ждала. Сейчас послышится треск, деревья расступятся, и на край леса выйдут двенадцать месяцев. Разведут костёр, сядут в круг, поведут беседу.

Однако никто не появился. Та же тишина.

Видимо, не время ещё.

Дом Андрея стоял на окраине коттеджного посёлка. Два этажа, гараж, баня, на участке — огромные сосны. Таких домов я раньше не видела. Да и с чем сравнивать? С домиком бабы Ньюши?

Огромная мастерская, гостиная с камином, библиотека, зимний сад... Мне была отведена комната на первом этаже. Окна в пол, за ними — лес. Стоило открыть глаза, как я видела небо, верхушки сосен и снегирей. Они прилетали к рябине. Яркие грозди и ледяные ветки. А под ними — снег. Изумительно белый, нетронутый, блестящий.

Аня жила в соседней комнате. Лушка спала то у неё, то у меня. Похоже, на даче нравилось всем. Лушка получила свободу и временами выходила гулять. Сядет у дверей и смотрит вокруг. Впечатлений на миллион. То птицы прилетят, то сосулька упадёт, то собаки залают. Полчаса посидит — и на кухню. Трётся у Аниных ног, куски ловит.

Огромный холодильник никогда не пустел, книга «Кухня народов мира» лежала на барной стойке, Аня изошрялась на все лады. Жульен, консоме по-парижски, жареный сыр, плов, каймак, фрикасе... чего только не делала.

— Вот где талант пропадает, — улыбался Андрей.

— Почему пропадает? — отвечала Аня. — Попробуюсь у вас и устроюсь в ресторан. Думаю, возьмут.

Подобная перспектива пугала и меня, и Андрея. Для нас Аня была воплощением домашнего уюта. Ловкая, весёлая, не создающая проблем — она была землёй, солнцем и небом одновременно. Странное сравнение, не правда ли? Тем не менее, без Ани жизни не мыслила. Она была мне и нянькой, и старшей сестрой. Обихаживала, следила за настроением, дарила оптимизм. И вообще... С появлением Ани я многое поняла. Ещё в те времена, когда жива была мать.

Написала и задумалась.

Странное понятие—время. То бежит, то летит, то стоит на месте. Для меня время когда-то стояло. Долгие-долгие годы. Вернее, так: напоминало старую жвачку. Ни вкуса, ни внешнего вида, одна бесконечная резинка. Или резиновый пузырь. А теперь время бежит. То ли пространства больше, то ли влияет окружение. Интересный эффект.

Матери нет полгода, а впечатление, что три года прошло. Мать была в прошлой жизни, из неё и ушла. И я ушла. Мать—в небытие, я—в другую жизнь. Более правильную, что ли. Нет-нет. Странное утверждение. В нём притаилась ошибка. Она—как клякса. Плонулась и мешает. Правильная жизнь, неправильная... Это что—оценка? А как же тогда «не суди»?

Признаюсь, мысли меня не напрягают. Они—составные пазла. Крутишь их так и этак. Глядишь, появилась картинка.

Я сидела у камина и думала о матери. Рядом лежал роман Моэма—«Бремя страстей человеческих». Герой отчасти похож на меня. Конечно, не такой, как я, однако с врождённым уродством. Изувеченная нога доставляла Филиппу множество неприятностей.

Только что прочла главу и закрыла книгу. Во время чтения всколыхнулась давняя мысль. Я от неё отмахнулась—следила за содержанием. Теперь мысль не давала покоя. Она стучала в висок, шептала в самое ухо: дескать, я тебе говорила.

О чём говорила?

Я потянулась к книге. Одна страница, другая... Нашла.

Английская школа девятнадцатого века. Герой романа и новый директор Перкинс. Похоже, симпатизирует Филиппу.

«Мистер Перкинс глядел на него в раздумье.

— А ты не слишком ли чувствителен к своему несчастью? Тебе ни разу не приходило в голову поблагодарить за него Бога?

Филипп быстро взглянул на него. Губы его сжались. Он вспомнил, как месяцами, веря тому, что ему говорили, молил Бога об исцелении,—ведь исцелил же Он прокажённого и сделал слепого зрячим.

— Пока дух твой мятежен, ты будешь испытывать лишь чувство стыда. Но если поймёшь, что отмечен Господом, что крест твой возложен на тебя только потому, что у тебя сильные плечи,—тогда твоё увечье станет для тебя источником не горести, а утешения».

Я откинулась на спинку кресла. Слова выпрыгнули из книжки и засверкали на каминной решётке. «Отмечен Господом», «сильные плечи», «не горесть, а утешение».

Слышала что-то подобное. От Андрея. Он как-то сказал: «Одним людям страдания—для очищения, другим—для испытания силы духа».

А мои страдания для чего?

Судя по акценту Андрея, мне они даны в испытание. Значит, он верит в меня. А я раздираю грудь. Куча вопросов—и мысли, мысли...

Кто я? Человек или червяк? Выдержу или заруюсь? От света, людей, непогоды. Последнее, конечно, проще. Спрятался—и никаких проблем. Ничего не видишь, никого не слышишь. А рядом пустота. Ползи, удобряй землю. Ну и судьба! Ни глаз, ни эмоций. Гладкое тело и большой рот.

В гостиную вошёл Андрей.

— Пойдём, покажу рисунки.

Я кивнула. Видимо, пора встряхнуться. Мысли—они как птицы. Когда летают—приятно смотреть, но стоит им опуститься—тут же где-то нагадят.

Пересадив на коляску, Андрей повёз меня в мастерскую. Здесь я была во второй раз. Первый—в рамках обзорной экскурсии, теперь, видимо, для детального знакомства. Мастерская для Андрея—святая святых. Оно и понятно. Место, где воплощаются мечты.

Под мастерскую было отведено помещение в южной части дома. Огромные окна выходили в сад, и в комнату проникал водопад света. Удвери висела запачканная красками одежда, у стен стояли холсты и подрамники, воздух был пропитан запахом красок и растворителей.

На одной из стен висели акварели. Они были написаны крупными мазками в жёлто-оранжевой гамме. На некоторых—подтёки. Казалось, рисунки ребёнка. Я пригляделась. Один и тот же сюжет. Сверху—солнце, внизу—яркие цветы. Похоже, мать-и-мачеха. Разница—в количестве цветов. На первой акварели—один цветок, дальше два, три... на последней—множество жёлтых головок. Они прижались друг к другу и смотрят на солнце.

— Кто рисовал?

— Мой сын,—ответил Андрей.

Ясно. Тот больной мальчик, о котором писала мать. Он рисовал мать-и-мачеху. Видимо, она для него—символ. Однако чего? Весны, солнца, возрождения? А может, в его рисунках—иной смысл? Ну, например: природа—мать, а человеческая жизнь—мачеха. Треплет, ставит подножки, раздаёт пинки.

Вспомнился Игорёк. Вернее, его подарок. Внешняя сторона книжки—оранжевая, внутренняя—зелёная. Подарив, Игорёк сказал: «Здесь песни. Снаружи—„Оранжевая“, внутри—„Вместе весело шагать по просторам“». И на акварелях—что-то похожее. Длинные солнечные лучи и свет. Думаю, так смотрят на мир дети.

Вспомнились лес, избушка, времена года.

— На этих акварелях—весна,—сказала я.

— Да-да,—согласился Андрей.—Весна, пронизанная теплом и любовью.

— Ко мне она ещё не пришла.

Синие глаза утонули в морщинах.
— Твоя весна впереди.

Андрей подошёл к картине, завешенной льняным покрывалом. Отбросив, посмотрел на меня.
— Узнаёшь?

Мать!!!

Прямая спина. Волосы, скользкие по плечам. Безупречный овал лица. Красавица, фея, принцесса. Или Мадонна. С загадочными глазами. Откуда она появилась? Из воздуха или воды? Скорей, из последней.

Женщина-река. Нет-нет. Река постоянно в пути. А мать... По-моему, она порхала. Как мотылёк над водою. Или стрекоза. Глаза—огромные, и мир разбит на сотни осколков.

Отойдя в сторону, Андрей смотрел на меня. Он хмурился, ворошил волосы, нервно потирал руки. Казалось, в моём лице он хотел что-то прочесть. Февральское солнце пряталось за деревья, и в его уходящих лучах в портрете происходили изменения.

Душу бередили новые ассоциации. Мать—не мотылёк, не Снежная королева, она—птица, унесённая ветром. Оказалась в незнакомом лесу и трепещет от страха. Где привычные ориентиры? Хватит ли сил улететь?

А у меня бы хватило?

Вспомнила сон.

Листья, трава, стебель. Кто-то ползёт. Гадкий, зелёный, длинный. Вгрызается в лист. Хрустит. Ни мыслей, ни чувств—сплошные рефлексy. Этот кто-то наелся. Застыл. Похоже, уснул. Темно. Ничего не видно.

Кажется, подросла. Громкий треск. Щель. Поток яркого света. Выползла. Греюсь на солнце. Жду. А чего—не знаю.

Я теперь—это терпение. Крепкое, как корабельный канат.

Время наполнило силой. Я полетела.

Ух ты! Как же красиво!

На полпути—остановка. Глянула вниз. Лес, равнина, море цветов.

Потянуло к земле. Опустилась.

Прикоснулась к цветку и... захлебнулась от счастья.

Я задумалась. Мысли скакали с одного на другое. Я жила в коконе, это однозначно. Теперь вырвалась из него. Полетела. Или лежу на земле? Трудно сказать. И вообще... Что я должна понять? Может, в коконе каждый из нас? Может, цепочка одна? Сначала ползёшь, затем замираешь, дальше—короткий полёт.

Однако полёт не у всех. Помнится, сон был двухслойным. Будто увидела два варианта. В первом—чьё-то присутствие, желание помочь. Ну да. Там были нож и ощущение бессилья. Во втором—нечеловеческое терпение. Дескать, жди,

всё придёт в своё время. И моё время настало. И сила пришла. А мать... Она что—поспешила? Или не летала вовсе? Выбралась из кокона и пролежала всю жизнь на траве. Любовалась небом, мечтала, читала стихи. А может... Меня обожгло предположение. Может, мать осталась в коконе? Приоткрыла створки и смотрела на мир через щель. Разве так не бывает? Представила жизнь и, играя, жила.

Ужас какой!

Но почему ужас? Многие так живут. Смотрят через щель и видят кусочек мира. Вернее, крупинку. Крохотную, микроскопическую. И что-то представляют. Да-да, многие так живут. И я в том числе. Нереальное восприятие реального мира. Грустно, конечно.

Я смотрела на картину и чувствовала: отчуждение между матерью и мной куда-то исчезло. Но что произошло? Неужели для того, чтобы уничтожить барьер, нужно посмотреть на человека другими глазами? Например, глазами художника. Или пережить смерть человека?

Странно устроен мир. Пока человек рядом—сплошной негатив; стоит ему уйти—понимаешь: потерял родного человека.

Тело пронзила боль. Будто разряд тока.

Я же любила мать!!!

Да-да, по-настоящему любила. Мать волновала меня, вызывала кучу эмоций, заставляла о себе думать. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Она была раздражителем, болью, смыслом жизни.

Вот это да! Моя любовь ковалась на наковальне страданий. Больше того: я никого не любила так, как любила мать. Вернее, только её и любила. Возникла ещё одна ассоциация (как же без них?): моя любовь походила на кружева металлической решётки. На ощупь холодная, а если заглянуть в суть—закалённая на века.

— Того, кто заставляет страдать, мы любим особо,—сказал Андрей.

Я вынырнула из себя. В очередной раз подумала: Андрей сканирует мысли.

2.

За последние месяцы Аня изменилась. И внешне, и внутренне. Вроде такая же, как была,—румяная, светловолосая, толстая; но появились другие нюансы. Полудлинные волосы заменили стрижку, вместо обтягивающей одежды—просторные платья и юбки. Да и манера двигаться, говорить, слушать приобрела некий лоск. Несуетливость сменила стремительность движений, грудной голос—деревенскую громогласность, осторожность в словах—излишнее прямоту. Как в сказке Ершова «Конёк-горбунок»: «Эко диво!—все кричали.—Мы и слыхом не слышали, чтобы лъзя похоронить!» Но там был Конёк-горбунок—волшебный помощник, а что произошло с Аней? Может, она

влюбилась? А что? Андрей—интересный мужчина. Пусть в возрасте, но синие глаза могут свести с ума кого угодно. По себе знаю.

Словом, и Аня, и её предпочтения несколько изменились. Она уже не пела песни советских композиторов, а слушала инструментальную музыку. Русские народные песни напевала вполголоса—всё больше грустные и протяжные. Чаще всего—о рябине и дубе. Её Аня пела с такой болью, что поневоле возникали вопросы.

Что стоишь, качаясь, тонкая рябина,
Головой склоняясь до самого тына?
А через дорогу, за рекой широкой,
Так же одиноко дуб стоит высокий.

Ясное дело, песня—о любви и непреодолимом препятствии. И о надёжном «плече». Видимо, Ане его не хватает.

Здесь ставлю точку. Подобные разборы до хорошего не доведут.

Признаюсь, не иронизирую—скорее, улыбаюсь. По-доброму. Раньше бы съязвила, выдала бы какую-нибудь кислятину. Сейчас нет. Вот удивительно. Мать умерла, и пропало желание ёрничать. Что это? Исчез раздражитель? Но мать не была злой. Ирония и высокомерие ей не чужды—что верно, то верно, но сознательно причинить боль... нет, этого мать не допускала.

Сознательно. Разум зацепился за слово и затахтел, как трактор. Ну да, порой наши поступки бессознательны. Причин миллион. Собственные комплексы, эгоизм, толстокожесть. Наверное, по отношению ко мне мать действовала так же—бессознательно. Любила, заботилась, страдала. Но не жила одной жизнью.

Не могла или не хотела? Скорее всего, не могла. Что-то мешало. Видимо, моё уродство. Оно было как бельмо на глазу. Как же! Красавица родила чудовище. Недаром мать плакала, когда читала: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку».

Любила бы меня такой, какая есть, тогда бы не страдала. Вот, например, Аня с Андреем. Воспринимают меня нормально. Да, ограничена в движениях, чётко не говорю, зависима от посторонних людей. Но я же—не кости и мышцы, а нечто другое.

На эту тему был разговор. После него я и расслабилась. Странно звучит: поговорила—и обрела гармонию. Однако так всё и было. Лишнее доказательство тому, как важен откровенный разговор. И вовремя сказанное слово.

Итак, канун Рождества. В камине горят дрова, по периметру комнаты расставлены свечи. Тепло и уютно. Я бы сказала, по-сказочному уютно. За окном светит луна, мерцают звёзды, на приусадебном участке искрится снег. Мы сидим перед камином и молчим. Молчание не напрягает—скорее,

наоборот. Оно нас делает единомышленниками. Точнее, не так. У каждого свои мысли, но мы их держим при себе. До поры до времени, конечно. Возникнет тема—и родится разговор. Если нет, нам и так хорошо.

Аня вязала салфетку, Андрей гладил Лушку и о чём-то размышлял, я же смотрела на огонь и ни о чём не думала (редкое для меня состояние).—В деревне под Рождество гадают,—нарушил молчание Андрей.

Не то предполагал, не то утверждал.
—Гадают,—как эхо, отозвалась Аня.

Она заглянула в книгу, лежащую рядом. Видимо, посмотрела на рисунок. Надо заметить, последнее время Аня вязала по книге. То ли поэтому, то ли мастерство возросло, но теперь из-под Аниных рук выходили изощрённые кружева. Аня их крахмалила, натягивала на рамки и вешала в своей комнате.

—Гадала на Рождество?—спросил Андрей.

—Конечно.

—И как? Что-нибудь сбылось?

Аня оторвалась от вязанья и лукаво улыбнулась.
—Рано ещё,—ответила она.—Но в то, что случится, верю.

Андрей оживился.

—И правильно делаешь. Без веры никуда. На ней и стоим.

Он встал и, положив Лушку на ковёр, вышел на кухню. Вернулся с бокалами и бутылкой вина.
—Надо отметить Рождество.

Разлив вино по бокалам, Андрей встал рядом со мной. Придерживая мою руку, в которую вставил бокал, произнёс такой тост:

—Бернард Шоу как-то сказал: «Есть люди, которые видят мир таким как есть и задают вопрос: „Почему?“ И есть люди, которые видят мир, каким он мог бы быть, и задают вопрос: „Почему бы и нет?“ Так вот, желаю всем нам воспользоваться высшим видением мира и чаще задавать вопрос: «Почему бы и нет?»

Я отхлебнула вина, и Андрей, поставив бокал на пол, уселся на кресло. По жилам побежало тепло, и я раскраснелась.

«Хороший тост,—поглядывая на огонь, думала я.—Оптимистичный».

—А теперь расскажу притчу. На сей раз—от Лео-нардо да Винчи.

—Знаю такого,—сказала Аня.—Он написал «Мону Лизу».

Я была в шоке. О-о-о!!! Аня слышала о картинах да Винчи??

—«Мона Лиза» у нас в доме висела. На стене,—по-яснила Аня.—Мамка из журнала вырезала.

—Значит, картина зацепила,—заметил Андрей.

—Верно. Глядя на неё, мамка говорила: «В каждом дому—по кому. И у этой барышни тоже».

Андрей рассмеялся.

— То, что картина — живая, нет никакого сомнения.

Он откашлялся и рассказал притчу:

— Прилипнув к листочку, гусеница наблюдала, как насекомые пели, прыгали, скакали, бегали наперегонки, летали. Все были в постоянном движении. И лишь одной ей, бедняге, отказано было в голосе и не дано ни бегать, ни летать. С превеликим трудом она могла только ползти. И пока гусеница неуклюже перебиралась с одного листка на другой, ей казалось, что она совершает кругосветное путешествие. И всё же она не сетовала на судьбу и никому не завидовала, сознавая, что каждый должен заниматься своим делом. Вот и ей, гусенице, предстояло научиться ткать тонкие шёлковые нити, чтобы из них свить прочный домик-кокон. Без лишних рассуждений гусеница принялась за работу и к нужному сроку оказалась укутанной с ног до головы. «А дальше что?» — спросила она, отрезанная в своём укрытии от остального мира. «Всему свой черёд, — послышался ответ. — Наберись терпения, а там увидишь». Когда настала пора и гусеница очнулась, то она уже не была прежней неповоротливой гусеницей. Ловко освободившись от кокона, гусеница заметила, что у неё отросли крылья, щедро раскрашенные в яркие цвета. Взмахнув ими, она вспорхнула с листка и полетела, растворившись в дымке.

Притча напомнила сон. Тот же кокон, то же терпение, тот же полёт.

— Мне понравилась, — коротко сказала Аня.

Она откусила нитку и смущённо улыбнулась.

— Хотите, и я кое-что расскажу?

— О чём разговор?! — отозвался Андрей.

— Не знаю, как назвать эту историю. То ли байкой, то ли сказкой-малышкой.

— Какая разница? — перебил Андрей. — Главное — смысл.

Аня кивнула и продолжила:

— Как-то зашла к бабе Дуне и говорю: «Хочу учиться. Всё равно где — в техникуме или институте». — «Ну и учись», — ответила баба Дуня. «Мамка ругает. Говорит: “Какая тебе учёба?! За муж надо”». — «А ты?» — «Я на своём стою: “Хочу учиться”. Мамка плюнула и вышла во двор». Баба Дуня усмехнулась: «Слушай, что расскажу. Как-то запоздалой весной маленькая улитка начала взбираться по вишнёвому дереву. Воробьи, глядя на неё, потешались. Один не выдержал и спросил: “Эй, разве не видишь — на этом дереве нет вишен?!” Не прерывая пути, улитка ответила: “Будут, когда я доберусь”».

— Молодец! — воскликнул Андрей. — Вот это старушка!

Он бросил на Аню весёлый взгляд и тут же спросил:

— Ну и как, не передумала учиться?

— Нет, — ответила Аня.

— Вот и отлично!

Андрей пригубил вино и сказал:

— К нашему разговору — ещё одна притча. Прямо в тему.

Я заёрзала от нетерпения. Меня хлебом не корми, а подавай такие истории.

— Мальчику, родившемуся в бедной деревушке, однажды приснилось море, — начал Андрей. — Однако ни его родители, ни односельчане не только не знали названия бескрайнему простору воды, но и не верили, что такой водоём существует. Став юношей, мальчик решил отправиться на поиски мечты. В деревне посчитали его сумасбродом. Однако юноша принял решение. Он упрямо шёл по дороге, пока не очутился на развилке. Выбрав один из путей, юноша вскоре оказался в селе, жители которого наслаждались спокойствием и достатком. Они тоже не слышали о том, что где-то существует бескрайнее море, однако предложили юноше остаться у них. Юноша остался. В селе приходилось работать меньше, чем в деревне, а жизнь была сытнее и радостней. Юноша прожил здесь несколько лет. Но однажды снова приснилось море. И юноша ушёл из села. Вернувшись на развилку, он выбрал другую дорогу и через некоторое время оказался в большом городе. Там знали, что где-то есть море, но никто не собирался его искать. Городская жизнь так увлекла, что юноша остался в городе. Несколько лет он осваивал новые ремёсла, завёл мастерскую, женился, и у него родились дети. Юноша забыл о мечте. Но когда подросли внуки, ему снова приснилось море. И он оставил город, вернувшись на развилку дорог. Там старик выбрал тропу, которая привела к подножью высокой горы. И он стал подниматься по горной тропе. Когда старик оказался на вершине, силы почти иссякли. Он отдышался и посмотрел вокруг. Развилка дорог; село, где прошла юность; город, где прожил последние годы. Старческий взгляд заскользил к горизонту. И вдруг старик увидел море. Он почувствовал, что кружится голова. Но прежде, чем остановилось сердце, старик понял: все дороги вели к морю, однако он не прошёл до конца ни по одной.

Слушая Андрея, я понимала, как узок мой мир. И ещё я думала о том, что жизнь удивительна, что за пределами мыслей есть много интересного, что моё увечье — не препятствие и что барьеры — внутри меня. И вообще... что меня ограничивает?

— Мыслью — значит, существую, — блеснув глазами, сказал Андрей.

У меня похолодели ладони. Опять! Прочёл мои мысли.

— Это сказал Декарт, и я с ним согласен. А теперь о том, до чего дошёл сам. Относительно недавно.

Андрей встал и заходил по комнате. Огненные блики плясали по стенам, и Андрей то погружался во тьму, то выходил в полосу света.

— В каждом из нас — триединство. Каждый состоит из тела, разума и духа. Это — три энергии. Если они вместе — возникает гармония.

Меня охватило беспокойство. Будто стою у двери и жду. Вот-вот откроется.

Андрей на минуту задумался.

— Вот, например, Наташа. Тело — болезненное, разум и дух — здоровые. Ведь так?

Андрей подошёл ко мне. Он обнял за плечи и продолжил:

— Однако главное всё-таки — не тело. Главное — душа. Она и есть наше «Я». Душа пытается получить опыт, а оттолкнувшись от него — выйти на следующий. Тот, кто это понимает, двигается вперёд. Понятно?

Мы с Аней кивнули. Видимо, обе попали под магию слов.

— Именно душа строит вектор развития. А дальше подключается разум. Он анализирует, прикидывает, выбирает возможности. И только потом подключается тело. Оно действует и осуществляет выбор. Выбор души.

Андрей заглянул мне в глаза.

— Чувствуешь, куда веду? У тебя — мудрая душа и светлый разум. А это — огромное преимущество. Осталось выбрать занятие, где функция тела минимальна, и тогда...

— Что? — с трепетом спросила я.

— Тогда Небеса возликуют.

Аня встала и подошла к креслу. Поцеловав меня, она обняла Андрея и проникновенно сказала:

— Как же я вас люблю! Обоих. Вы так не похожи на других.

3.

Андрей — настоящий джентльмен (в моём понимании, конечно). Выдержанный, тактичный, предупредительный. За три месяца, что я прожила в его доме, — ни одного замечания. Большую часть забот Андрей брал на себя. Ездил за продуктами, приносил дрова, даже пылесосил. Он баловал вниманием и Аню, и меня. Так, например, Аня подарил музыкальный центр и коллекцию дисков. В том числе — диски Елены Фроловой. Мне же покупал сказки. Много и разных. Я открыла огромный сказочный мир, и тот накрыл меня с головой. Долгими зимними вечерами мы сидели у камина, и каждый занимался своими делами. Я читала, Аня вязала кружева, Андрей делал наброски. Порой я отрывалась от книги и пыталась заглянуть в альбом. Андрей улыбался и грозил пальцем. Дескать, не спеши — всему своё время.

«Всё-таки он — красивый, — думала я. — Высокий, подтянутый, с длинными волосами. Совершенно седыми».

И вот однажды Андрей уехал в Сибирь.

— Зачем? — поинтересовалась я.

— Какая-то встреча, — ответила Аня.

Хорошо помню день, когда Андрей вернулся. Яркое солнце, капель и грачи. Они галдели, ковырялись в земле, шумно поднимались на деревья. Я сидела на террасе и наблюдала за птицами.

«Ишь как суетятся. Весне радуются. Оно и понятно. Долгий путь позади, впереди — брачные игры, с ними — семейная жизнь».

Послышался шум машины. Я повернула голову в сторону ворот. Машина приближалась. Вот она мелькнула за соснами, вот сверкнула на солнце. Синий «фольксваген». Подтянув плед, я улыбнулась. Наконец-то. Вернулся.

Машина остановилась. Из неё вышли Андрей и незнакомая женщина. На первый взгляд — лет семьдесят. Невысокая, полная, круглощёкая. Женщина была взволнована. Она жестикулировала руками и что-то говорила. Андрей вытащил чемодан, закрыл багажник, вошёл в калитку. У меня сжалось сердце. Не знаю почему. Маленькая процессия приближалась.

— Вот ты где, — взойдя на террасу, улыбнулся Андрей. — Привет-привет!

Женщина поднялась по ступенькам и подошла ко мне. Мокрые от слёз щёки, ласковые глаза. Тёмные, с жёлтой крапинкой. И длинные ресницы. — Знакомься, — сказал Андрей. — Твоя бабушка.

У меня перехватило дыхание. Какая бабушка? Откуда?

Женщина опустилась перед креслом и залилась слезами.

— Внученька! — воскликнула она. — Вот так подарок!

Я была в шоке. Внученька? Но почему?

— Дарья Петровна — мать твоего отца, — сказал Андрей.

Сердце заколотилось, из груди вырвался крик: — Бабушка!

Женщина уткнулась в мои колени и расплакалась. Вслед за ней разрыдалась я. Разве такое бывает? Не знала, не ведала, а где-то жил родной человек. И если бы не Андрей...

Андрей опустил руку в карман и вытащил цветок. Чуть помятый, с короткой ножкой. Всклипнув в последний раз, я улыбнулась.

— Это тебе, — сказал он. — Маленькое земное солнце.

Бабушка шмыгала носом, целовала меня в нос, щёки, глаза, а я смотрела на цветок и чувствовала, что оживаю. Последняя льдинка растаяла, и моё искалеченное тело наполнила радость.

— Милая моя, — шептала бабушка. — Я и не знала о тебе.

Вспомнились слова Андрея: «Твоя весна впереди».

Позже в гостиной Андрей рассказал о том, как нашёл Дарью Петровну. Дескать, перебирал бумаги

Ларисы, нашёл письма матери Алексея, на них — обратный адрес. Написал и получил ответ. Из посёлка Листвянка Иркутской области. А дальше всё просто: сел на самолёт и полетел в гости.

Теперь плакала Аня. Она всхлипывала и повторяла:

— Господи! Счастье-то какое! Чего только не бывает.

Бабушка сидела рядом и смотрела на меня счастливыми глазами.

Боже, как хорошо! Бабушка, Аня, Андрей... Все они рядом, все любят меня. С безвольными ногами, дёргающейся головой, нелепой речью. Им наплевать на моё уродство. Больше того, они его не замечают. Главное для них — *я есть*.

4.

Вот и пришла весна. С бабушкой и первым цветком. Весенний ветер разогнал грусть, солнечные лучи согрели душу. Вернее, согрели бабушкины рассказы.

Мы не расставались ни на час. Гуляли, сидели на террасе, болтали перед сном. Андрей купил бабушке кровать и поставил в мою комнату. Впервые за много лет я спала не одна. Странное ощущение. Будто окунули в живую воду. Я похорошела и стала лучше говорить. То ли от радости, то ли оттого, что беспрестанно болтала. Я рассказала бабушке о матери, своей жизни, поведала тайные мысли. Она гладила мою руку и время от времени вставляла короткие фразы:

— Ты у меня — сильная.

— А мать прости. Она — страдальца. Тебя потеряла, себя не нашла.

— Всё перемелется, водой утечёт.

— Если видишь себя — не потеряешься.

Выслушав мою историю, бабушка рассказала о себе. Всю жизнь прожила на берегу Байкала. Сорок лет работала в санатории. Он рядом с посёлком. По специальности она — врач-физиотерапевт. Занималась болезнями костно-мышечной системы. Каких только больных не видела. И скрюченных, и на инвалидной коляске. А месяц-другой пройдёт, смотришь — и полегчает. Впрочем, у кого как. Тут ведь не только лечение — вера важна. Порой чудеса видела. Да-да, настоящие. Вроде бы больной по всем показателям не должен встать, вроде бы обречён... Ан нет — через пару месяцев встал и пошёл. На костылях, с палочкой, еле перебирая ногами... Но пошёл. Тут всё, милая, из головы и... от Бога. Врач — он всего лишь помощник, а исцеление — от Всевышнего.

— Может, и мне поможет? — робко спросила я.

— Всё может быть, — ответила бабушка. — Теперь буду заниматься только тобой. Знала бы раньше — птицей прилетела. А ведь могли и не встретиться. Каждый день Андрея благодарю. Ишь какой дошный. Адрес отыскал. Приехал. А всё почему? Тебя любит.

— За что? — удивилась я.

— А любят ни за что, — улыбнулась бабушка. — К тому же Андрей сына потерял. По себе знаю, что за беда.

Бабушка тяжело вздохнула.

— Ты на Алёшу похожа. И взглядом, и выражением лица. Маленьким был, так «почему» — любимое слово. Его отец рано погиб. Мальчишек со льда снял, а сам провалился. Когда-то был инженером-гидрологом. В институте работал.

— Институт в посёлке? — удивилась я.

— Да. Байкальский лимнологический, — ответила бабушка. — Он на весь мир известен.

— А по Байкалу ты плавала?

— О, милая! Байкал я вдоль и поперёк объездила. При институте был научно-исследовательский корабль, на нём и ходила. Друзья мужа на «Вере-щагине» работали. Вот и брали с собой.

— Ой, расскажи!

На мою просьбу бабушка отозвалась охотно. Видимо, любила Байкал, как живое существо.

— Волшебное озеро, — сказала она. — И мысли читать умеет. Если придёт хороший человек — наградит, если плохой — накажет.

Я вспомнила рассказ Андрея. О байкальских закатах, о месте, где встречаются Земля и Космос. Видимо, и впрямь — волшебное озеро.

— Такого неба, как над Байкалом, нигде не видела, — продолжила бабушка. — Многоцветное, бездонное. И такая же вода. Кажется, вода и небо — одно целое. То розовые, то фиолетовые, то чёрные, как пиратские корабли.

Что это? Мой сон пересёкся с явью. Я ведь была на Байкале. В день похорон матери. Полёт, снижение, бег. Лёгкий, как у ребёнка. А дальше — неземная красота. Помню, как подумала: «Именно здесь покоится бесконечно чистая Душа Земли». А потом села на прибрежный камень и заплакала. Я плакала не от горя — от счастья. Огромное, бесконечное счастье окружало меня, и хотелось стать лучше и чище. Хотелось стать такой же светлой, как это озеро, эта земля, прозрачное небо.

Воспоминания нахлынули на меня, и я увидела картинку. Прозрачная вода, отливающая перламутром, корявая лиственница на берегу, бабка Натаха с бубном в руке... Стоп! Бабушка Даша похожа на бабу Натаху. Да-да! Я чувствовала, что мы встречались. Раньше. Но разве такое возможно? И мать была с нами рядом. Но это потом. Когда спустилась из Верхнего мира. С ума сойти! Встретились я, мать и бабушка. А рядом Байкал. Место силы. И песня шаманки, то есть бабки Натахи:

Прилечу я, прилечу я!

Будет то на третий вечер!

Верно. Мне этот сон приснился на третий вечер после смерти матери.

Мистика!

Крутящаяся темнота, Верхний мир, птенец... Это и была материнская душа. Хрупкая, невесомая. Помню своё ощущение на высокой белой горе. Оно заполнило всё существо. Хотелось признаться в любви. Неважно кому. Просто улыбнуться и сказать: «Я люблю!» Такое желание возникло впервые. Да что там. В последнее время всё впервые.

Яркие солнечные лучи, голубое небо и тишина. Фиолетовые берега смотрелись в озеро и напоминали вуаль, накинутую на бархат. Это было уже на Земле. По берегу шла мать. Волосы разстелились, босые ноги ступали по мокрым камням. Мать смотрела на меня с любовью. Это я помню точно. Ещё помню, как мать любовалась мной. Поразительно. Во сне я наклонилась над водой и увидела красавицу. Светлые волосы, белоснежная кожа, огромные глаза. Видимо, такой видела меня мать. Не наяву, конечно. В своих мечтах.

Я вздохнула. Бабушка встала и взяла меня на руки.

— Пойдём-ка уложу. Поздно уже.

Я кивнула. Хотелось побыть одной, вспомнить сон и по возможности найти отгадки.

Итак, я, бабушка Натаха и мать. Рука бабушки Натахи сжимала руку матери. Мать, не отрываясь, смотрела на меня и светилась лицом. Затем на небе появились величественные облака. Они походили на корабли с чёрными парусами. Рокот грома, тень от облаков, огромные волны. Бабушка Натаха потянула меня в пещеру. Именно там сказала важные слова. Но какие?

От напряжения я застонала.

— Спи, моя хорошая. Спи, — слышался бабушкин голос. — Набирайся сил.

Последнее слово подстегнуло память. Точно! Бабушка Натаха говорила о силе. И тут я вспомнила. «Не давай пищу духу сомнения, иначе потеряешь силу».

Что это? Предостережение или посыл? И почему пропала бабушка Натаха? Мать — это понятно. Она — будто ниточка между бабушкой и мной. Если бы выбросила письма отца, о бабушке Даше никто бы не знал. Видимо, эта мысль мучила душу матери. Вот она и вернулась. И поняла, что со мной всё нормально.

Я задумалась. Есть ли у души мысли? Андрей говорил: предназначение души — получить новый опыт. А получить его можно в новой шкуре. Интересно. Допустим, в прошлой жизни я презирала уродов. Или больных. Мало того — издевалась над ними, обижала. И судьба меня наказала — наградила уродством. Возможен такой вариант? Вполне. Мать — красавица, дитя — урод. Полюбит ли мать такое дитя?

Как в сказках. Если полюбит — дитя преобразится, если нет — останется в лягушачьей шкуре. Всё-таки сказки — некая школа жизни. В них есть

испытания, дороги, развилки, перевоплощение, герои и антигерои. Удивительный мир!

Итак, предположим невероятное. Я — в сказке. Такая, как есть. Сажу на печи, как Емеля. Мать вся в работе, а у меня ноги не ходят. Однако Емеля — добродушный, беззлобный, ленивый. А я?словно змея. Плююсь ядом, клянусь всех и вся. И тут появляются сказочные помощники. Аня и Андрей. Они — как не от мира сего. Радуются жизни, видят красоту. И смотрят на меня с любовью. Не потому, что я — хорошая, а потому, что они — светлые люди. Вот и повернули меня. От тьмы к свету. Вывели на нужные мысли, нужную дорогу. А потом появились волшебные сны. В них я ходила, летала, видела другой мир. Во снах были подсказки. Одни я видела, другие нет. И бабушка Натаха — из снов. И девочка, родившаяся тридцать первого декабря. Кто они? Помощники? И куда привели?

Глаза слипались, хотелось спать. Однако сотни вопросов кружились в голове и жужжали, как разбуженный рой. И вдруг... будто ластик прошёлся. Ни мыслей, ни тревог. В комнату залетела фея и, усевшись на подушке, раскрыла разноцветный зонт. Я оказалась на поляне. Высокая трава, на ней — луговые цветы. Колокольчики кланялись и говорили: «Дзинь-дзинь, пора-пора». Ромашки тянулись к рукам и предлагали погадать на себе. Лесная фиалка благоухала, и аромат походил на материнские духи. Я стояла посреди поляны и смотрела по сторонам. Будто кого-то ждала. И наконец дождалась. Из леса вышли двенадцать месяцев, за ними — сказочные герои. Ёжик, Медвежонок, Заяц, Колобок, Буратино, гномы... Кого только не было. Я ощущала себя Белоснежкой. Ещё минута — и запую. Однако спеть не удалось. Сказочные герои окружили меня и стали водить хоровод. Я улыбалась. Как здорово! Как волшебное! И тут с берёзы спустилась фея. Она вручила мне зонт, и тот полетел к облакам. Меня окружила мелодия, и я услышала знакомые слова: «Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне...»

Зонт поднимался всё выше и выше, а я смотрела на землю и видела дорогу. По ней шли сказочные герои и, задржав головы, смотрели на меня. Они будто о чём-то просили. Я сложила зонт и камнем полетела вниз. В голове стучали слова:

Понесётся конь мой резвый,
Как огромный пучок света.
На коне том я — наездник!
Управляю я конём!

5.

О Байкале бабушка говорила часто. Она рисовала яркие картинки, и я грезил наяву. Всё, что слышала, становилось живым и волшебным. И вдруг появилась сказка. Она опустилась на колени и попросила её записать.

— Извини, — прошептала я. — Мне трудно писать.

— Тогда Расскажи, — попросила сказка.

— Хорошо, — ответила я.

Набравшись храбрости, я попросила бабушку взять ручку, блокнот и записать то, что я придумала. Бабушка была удивлена.

— Это сюрприз? — спросила она.

— Да.

— Обожаю сюрпризы, — сказала бабушка и приготовилась писать.

И я начала:

«Я познакомилась с Хариусом ранним утром. Он подплыл к берегу и, высунув голову, поглядел мне прямо в глаза.

— Не видела Нерпу? — спросил он.

Чёткий вопрос, шелестящий, как ветер, голос.

— Нет, — ответила я.

— О-хо-хо! Не случилось ли что?

Я присела на гальку и посмотрела на озеро. Солнечные лучи бежали по воде и оставляли за собой разноцветные дорожки».

Бабушка поставила точку и сказала:

— Отлично! Жду продолжения.

И продолжение последовало. Каждый день бабушка записывала то, что приходило мне в голову. Она была заинтригована и с нетерпением ждала этих минут.

— Таша, милая, — говорила она, — думаю, у тебя — талант.

— Сказочный, — добавлял Андрей.

Он тоже участвовал в создании сказки. Каждый вечер мы усаживались у камина, и бабушка читала записанный отрывок. Андрей улыбался и рисовал, а Аня, отложив салфетку, смотрела на меня и время от времени восклицала:

— Та-а-а-а-аша! Я в шоке. Как интересно!

— Да ладно, — смущалась я.

Слово за слово, строчка за строчкой — вот и сказочке конец. Текст лёг на бумагу и остался со мной. Навсегда. Впрочем, как и остальные сказки — те, что когда-то прочла. Однако эта сказка — особая. Она моя.

Андрей нарисовал картинки, и сказка ожила. Перламутровая вода, фиолетовые берега, небо в розовых облаках. На берегу — девушка. Хрупкая, будто подросток. Ветер копошится в волосах, босые ноги — в воде. Девушка стоит вполоборота. Смотрит на озеро и кого-то ждёт. На второй картинке — Хариус. Серая чешуя, красные плавники, грустные глаза. А небо и вода — золотые. Хариус приподнялся над водой и что-то рассказывает. На следующей иллюстрации — Нерпа. Она плещется в озере и поглядывает на берег. Дальше — Дракон с блестящей чешуёй. Видимо, он взбешён. Ещё мгновение — и всё исчезнет: и леса, и горы, и фиолетовые берега. А вот и красавица Ангара. Голубые кудри, огромные глаза, в них — интерес. Прежде всего — к миру, который за горизонтом. Ангара

бежит, а за ней скачут белки, летят птицы, и солнце улыбается вслед. А вот и Чайка. Изящная, с длинными ногами. Она приземлилась и положила на гальку камень. Яркий, голубой — словно кусок неба. А из воды смотрит Хариус. В его глазах — восхищение. Кем или чем, не поймёшь. То ли Чайкой, то ли голубым мрамором. Наконец — Капля. Она лежит на ладони охотника, и кажется, в ней спрятался мир. Огромный, загадочный, бесконечно чистый. А в небе — белоснежный Орёл. Кто он? Чей это образ? На последней странице — женские ладони. Они сомкнуты, а между ними — нефрит. Подарок Байкала. Память. И новая загадка.

Книжка появилась летом. Я её держала в руках и не могла поверить. Красивая. Яркая. С иллюстрациями.

Моя книжка!

Вспомнились сказочные герои, шедшие по дороге и смотревшие наверх. Видимо, они посылали просьбу: дескать, выбери меня. И я отозвалась. Сложив зонт, полетела вниз и... сочинила сказку.

— Спасибо, Андрей, — прижимая книгу к груди, сказала я.

— Не стоит благодарности, — ответил Андрей. — Мне самому интересно. Всё-таки новый опыт. Ведь иллюстратором я ещё не был.

— Тысяча экземпляров — небольшой тираж, — сказала бабушка.

Видимо, ей хотелось, чтобы мои сказки прочло как можно больше людей.

— Скажем так: пробный тираж, — поправил Андрей.

По Аниным щекам текли слёзы.

— Это — только начало, — прошептала она. — Первые шаги.

Мне же хотелось обнять целый мир. Сказать ему: «Ты — удивительный. Волшебный. Многогранный. Светлый. Да-да. Именно так тебя вижу». А потом добавить: «Мир, я нашла своё место. Пусть оно — маленькое, но моё. Точно по размеру».

Я была уверена: не найди я себя, в мире была бы дырка. Ведь каждый из нас — часть бесконечности. И каждый из нас нужен. Для целостности. Гармонии. Общего движения вперёд. Но жизнь настолько сложна, что один сразу попадает в нужную ячейку, другой раз за разом пролетает мимо. Всякое бывает. Поэтому счастливы те, кто попадает в цель. На своё место. Туда, где первична душа.

Андрей подошёл ко мне и крепко обнял.

— Стучись, и тебе откроют. Разве не так?

Опять услышал! Всё-таки Андрей — удивительный человек. И бабушка тоже. И Аня. И мать, конечно. Подарила мне жизнь, выучила, оторвала от земли, поставила «на крыло», а затем... передала в хорошие руки. Добрые и тёплые. Если бы была жива, я подарила бы ей книжку. С частичкой своей

души. Такой, как есть,—детской, романтической, наивной.

Однако не получится. Мать далеко. Не на белой горе, а гораздо выше. Думаю, ей хорошо. Рядом ни грусти, ни печали. Одна гармония. Не земная—небесная.

В голову пришла неожиданная мысль.

— Аня,—попросила я.—Поставь «Небо» Елены Фроловой.

— Минуточку,—отозвалась Аня.

Она подошла к музыкальному центру и нашла нужный диск.

Я посмотрела в окно и мысленно сказала: «Мама, это тебе. Слушай».

Знаешь,
Я видела во сне, как ты летаешь,
Как бережно ты к небу принимаешь
Мягущейся и нежною душой.
Таешь.
Меня одну на свете оставляешь.
Я видела во сне, как ты летаешь,
Ты издали махнула мне рукой.

И небо любит тебя!
Ты слышишь, любит тебя!
Так тихо любит тебя,
Как я не умею...
Прости.

Окна были открыты, и песня устремилась из дома. И тут же прилетела птица. Маленькая, желтоголовая, с серо-оливковым брюшком. Она повисла на занавеске и уставилась на музыкальный центр. — Вот и королёк,—улыбнулась Аня.

Я смотрела на птицу и улыбалась. Сама не знаю чему. То ли корольку, то ли песне, то ли самой жизни. Удивительной, яркой, полной тайн и открытий.

А может, улыбалась матери? Её ранимой поэтической душе?

6. СКАЗКИ СТАРОГО ХАРИУСА

1. История Нерпы

Я познакомилась с Хариусом ранним утром. Он подплыл к берегу и, высунув голову, поглядел мне прямо в глаза.

— Не видела Нерпу?—спросил он.

Чёткий вопрос, шелестящий, как ветер, голос.

— Нет,—ответила я.

— О-хо-хо! Не случилось ли что?

Я присела на гальку и посмотрела на озеро. Солнечные лучи бежали по воде и оставляли за собой разноцветные дорожки.

— Нерпа живёт у Ольхона,—сказал Хариус.—Вон там.

Он повернулся на север и пошевелил плавниками.

— Не слышала про неё?

— Нет. Только вчера приехала.

Небо стало розовым, байкальская вода—малиновой. Я ахнула. Хариус показался посланником озера.

— Кажется, здесь обитает Чудо,—прошептала я.

— Верно,—ответил Хариус.—Оно живёт на Байкале.

— Расскажешь про него?

— Сначала про Нерпу.

— Но почему?

— Она услышит и приплывёт.

«Логично»,—подумала я.

— Эта история началась днём,—начал Хариус.—Нерпа нежилась в солнечных лучах и посматривала на Ольхон. На острове расцвели жарки, и он будто горел.

— Жаркий?!

— Да. Это—похожие на розы цветы. Маленькие и без шипов.

Хариус оживился и поплыл параллельно берегу. Я пошла за ним вслед.

— Мирный покой озера нарушил рокот. Он шёл откуда-то снизу. Нерпа разволновалась. Прислушиваясь, она поплыла к берегу. Там паслось стадо.

— При чём тут стадо?—удивилась я.

— Нерпу потянуло к живым существам.

Ответ Хариуса был мудрён, и я остановилась.

— Скажи, какая связь между Нерпой и стадом?

— Когда рядом беда, тянешься к жизни.

Хариус высунул голову и спросил:

— Разве не так?

— Ты прав,—ответила я и побрела дальше.

Теперь Хариус плыл за мной. Время от времени он смотрел на солнце и щурился. Может, от солнца, а может, от удовольствия. Встретив валун, Хариус ушёл в тень.

— Надо отдохнуть.

Шелест пролетел над водой и растворился в озере. Я уселась на гальку и подставила солнцу лицо. Перед глазами плясали яркие блики.

«Как кинокадры,—подумала я.—Видимо, краски Байкала заполнили голову и рисуют картинки».

— Ты ещё здесь?

Сонный голос пролетел мимо уха и опустился за валуном.

— Да. Сажу и наслаждаюсь.

— Это неудивительно.

Хариус показался над водой.

— Слушай дальше. Увидев коров, Нерпа успокоилась. Она решила попрыгать—и вдруг ощутила удар. Вода встала стеной и понеслась к берегу. Сделав кувырок, Нерпа ушла в глубину. Потом вынырнула. Яркие солнечные лучи, бескрайнее озеро, перламутровый блеск волн. Всё так—и не так. Что же произошло? Нерпа посмотрела на берег, однако берега не было. Ни травы, ни стада—только вода.

— Куда всё пропало?—спросила я.

— Разумный вопрос.

Хариус вздохнул и распластался в прибое.

— И Нерпа не поняла. Был берег—и нет. Согласись, трудно осознать.

— Был и пропал,—прошептала я.—В твоей фразе—тоска.

— То-то и оно.

Хариус взмахнул хвостом, и брызги разлетелись в стороны.

— От тоски никуда не уйдёшь. И не уплывёшь.

Красный плавник вспыхнул на солнце, и до меня донеслось:

— День—ночь. Свет—тьма. Радость—печаль. В жизни всегда два конца.

Я смотрела на воду, а в голове прыгали слова: «День—ночь. Свет—тьма. Радость—печаль...» Да, это—не Хариус. Рыба-мудрец. А может...

Меня озарила догадка. А может, это—не рыба? Может, в его лице говорит Байкал?

Хариус блеснул на поверхности.

— Смотри, она возвращается.

На горизонте показалась точка.

— Как ты увидел?

— Почувствовал,—ответил Хариус и поспешил к Нерпе.

— Погоди!—крикнула я.—В твоей истории нет конца.

Хариус остановился.

— Разве?

Он помахал плавником и сказал:

— Гул прекратился, и солнце осветило залив. Он появился там, где паслось стадо.

— Залив?—удивилась я.—И какой же?

— Баргузинский,—ответил Хариус и исчез.

2. Золотой Дракон

Говорят, сердце Байкала—Ольхон. Над островом летают легенды, здесь прячутся духи, камлают шаманы. Ольхон—будто глаз. Зелёный, белёсый, оранжевый. Он смотрит в Космос и передаёт энергию. Студёные ветры кружат над его берегами, прозрачные воды замыкают остров в объятья. Тайга, скалы, степь, пустыня, глубокие ущелья... Непостижимое место!

Я собирала на Ольхоне жарки, смотрела на дерево счастья, слушала шаманский бубен. Под вечер вышла к заливу и села на камень. Под ногами светилась вода, ветер распевал свои песни.

— Ты здесь?

В воде промелькнул красный плавник.

— Как тебе Ольхон?—спросил Хариус.

— Фантастика!

— Слышала о Драконе?

Я вздрогнула.

— Нет.

Ветер тревожно свистнул и уселся на соседней скале. Бирюзовая гладь подёрнулась рябью. Хариус зашёл в тень и тихо сказал:

— Здесь и живёт Золотой Дракон. Недалеко от Ольхона.

— О-о-о!—ответила я.

Хариус заметался в воде. Казалось, он растревожен.

— Расскажи о Драконе.

Хариус подплыл к камню и, скосив взгляд на скалу, начал рассказ.

— Эту легенду поведал шаман. Он сидел у скалы и бил в бубен. Наверное, созывал духов. Я слышал каждый его вздох, каждое бормотание. Шаман не рассказывал—пел.

Взглянув на Хариуса, я улыбнулась:

— И ты мне споёшь?

— Нет,—серьёзно ответил Хариус.—Попробую рассказать.

Он открыл рот и, глотнув воздух, продолжил: — Дракон появился давно. Едва зажглись первые звёзды, едва взошло Солнце, как с неба спустилась колесница. Из неё он и вышел. Его чешуя блестела, когти рвали скалистую землю, глаза полыхали огнём. Дракон взмахнул хвостом и ударил по земле. Горы треснули, и образовалась расщелина. Дракон взмахнул второй раз. Дрогнули ледники на вершинах, бурлящие потоки воды хлынули в котловину. Посмотрев на озеро, Дракон взмахнул хвостом в третий раз. От удара всколыхнулась земля, в горах появились леса, затем живые существа.

Хариус замолчал. Я видела, он устал.

— Дракон посмотрел на озеро и погрузился на дно. Там и живёт. Слышал, временами он поднимается на поверхность.

— Зачем?

— Чтобы увидеть мир.

Хариус сделал круг и, вернувшись, добавил:

— Когда-то здесь обитали его «сыны». Они чтили Дракона и приносили жертвы.

В свете уходящего дня почудилось, что блеснула гигантская чешуя. Я напряглась.

— И что было дальше?

— Всё как всегда,—вздохнул Хариус.—Люди забыли о покровителе, и тот отомстил. Как-то Дракон вышел на свет и не увидел ни жертв, ни должного уважения. Разгневавшись, он ударил хвостом. Задрожала земля, обрушились горы, поднялась большая волна. Она подхватила «сыновей» и утопила в озёрной пучине.

— Кто же остался?

— Другие народы. Однако они пришли значительно позже.

Взмахнув хвостом, Хариус добавил:

— Однако у новых людей нет ничего. Ни связи с Космосом, ни святости, ни величия.

3. Ангара

— Слышала об Ангаре?—как-то спросил Хариус.

— Конечно. Триста тридцать шесть рек впадают в Байкал, а вытекает одна—Ангара.

— Всё верно,—сказал Хариус.—Одна дочь у Байкала.

Я сидела у причала Листвянки и любовалась закатом. Солнце спряталось за хребет, и на Байкал опустился вечер. Волны несли разноцветную пену, фиолетово искрились берега, по небу плыли лёгкие облака.

— Хочешь, расскажу об Ангаре?

Оторвав взгляд от воды, я кивнула. Хариус подплыл к причалу и, прислонившись к деревянной свае, начал рассказ.

— Когда-то давно у Байкала родилась дочь Ангара. Часами она играла в озере—то со стайкой омулей, то с Нерпой. Однако главное развлечение было другим. Ангара бегала вдоль берегов, любовалась тайгой и болтала с лесными жителями.

— Что там за лесом?—спрашивала у белок.

— Горы, лес, снова горы,—отвечали те.

— Что за горами?—спрашивала у ветра.

— Реки, лес, снова реки.

— Что за реками?—спрашивала она солнце.

— Северный океан.

Ангара пыталась подпрыгнуть, увидеть то, о чём говорили друзья, но всё было тщетно. Сопки были так высоки, что только верхушки пихт открывались взгляду. Ангара потеряла покой. Она недовольно бурлила, плакала и стонала. Наконец, стала упрашивать отца отпустить погулять за пределы озера. Долго не соглашался Байкал, однако, подумав, решил отпустить дочь.

Обрадовалась Ангара, запенилась, рассмеялась. Махнула отцу голубым рукавом и побежала среди сибирской тайги. Её глаза сверкали, ноги бежали по острым камням, из груди вырывалась песня. Долго петляла Ангара, заглядывая во все уголки. Однако, увидев заходящее солнце, быстро повернула домой.

— Какое раздолье! Какая яркая жизнь!

Байкал кивал седой головой и улыбался. Прибежала. Довольна. Теперь опять с ним.

Утром Ангара снова отправилась в путь, и так продолжалось каждый день. Всё дальше убегала она от дома, всё больше волновался Байкал. Крутые волны обрушивались на берега, страшные ветры летали между хребтами. Но стоило Ангаре вернуться, как нежная рябь пробегала по озеру, и Байкал засыпал.

Однажды пришла Ангара к отцу и, потупив глаза, сказала:

— Далеко за тайгой живёт богатырь, звать его Енисей. Я полюбила его всем сердцем, всюю душой.

Гром, буря, свист были ответом. Страшно разбушевался Байкал. Слышать ничего не хотел. Отвернулась Ангара от отца и побежала из дома. Помчался Байкал за дочерью, однако догнать не смог. Схватил он большую скалу и бросил ей след.

Вскрикнула Ангара от боли и, обойдя скалу, устремилась дальше.

— Прощай!—крикнула она отцу.

Долго бушевал Байкал. Он поднимал волны, сталкивал тучи, бросался на берега. Грохот, царивший вокруг, так напугал солнце, что оно забыло эти места. Тьма опустилась на озеро. К Байкалу слетелись птицы и, усевшись на скалах, закричали:

— Спаси нас, отец-Байкал!

Побурчал, побурчал Байкал и остыл.

Хариус показал туда, где был исток Ангара.

— Видишь скалу? Теперь видна только верхушка.

Я кивнула.

— Это—прощальный «подарок» Байкала.

— Жестоко с его стороны.

— Согласен. С тех пор Байкал изменился. Чувствует свою вину, плачет. Но ничего не изменишь. Байкал Ангаре дарит силу, а сердце её—в Енисее.

4. История Чайки

Много историй рассказал Хариус; одна из них—история Чайки.

Та смотрела на мир с высоты и была о себе высокого мнения. Хариус не возражал. Он мог часами лежать у кромки воды и слушать её рассказы.

— Ты видел дорогу?—как-то спросила Чайка.

Она сидела на пляже и чистила перья.

— Нет,—ответил Хариус.

— Хм,—встрепенулась Чайка.

Солнце блеснуло в чёрных глазах, ветер распушил перья, стройные ноги переступили по гальке. Чайка подняла голову и показала на юго-восток: Там строят голубую дорогу.

Хариус подплыл ближе.

— Не веришь?

— Всё может быть,—прошелестел Хариус.

Чайка подпрыгнула и взлетела. Она сделала круг и пропала. Хариус вздохнул:

— Э-хе-хе. Мне бы её крылья.

Волна прокатилась по мшистой спине и потянула за собой Хариуса. Тот шевельнул плавником и опустился на дно.

«Улетела. Спешит».

— Ты где? Где-где-где?

Крик Чайки пронёсся над озером, и Хариус вздрогнул.

«Вернулась».

Он поднялся на поверхность и поднял голову. Птица парила в небе и походила на самолёт.

— Смотри!—крикнула Чайка.

Она бросилась вниз и, пролетев над Хариусом, опустилась на пляж. Цепкие пальцы разжались, и на гальке засверкала звезда.

— Красота!—воскликнул Хариус.

— Это—голубой мрамор,—сказала Чайка.—Я принесла его для тебя.

Чайка махнула крылом.

— Спасибо,— поблагодарил Хариус.

Он был польщён. Знаки внимания всем приятны.

— Дорога, о которой говорила, состоит из таких камней.

— Значит, голубая.

Чайка отвернулась и занялась перьями. Пытаясь проникнуть в полупрозрачные грани, Хариус рассматривал камень.

— Ишь ты, какое чудо,— прошептал он.

Чайка подошла к воде.

— Рядом с дорогой— карьер,— сказала она.— В нём добывают мрамор. Голубой, между прочим.

Хариус кивнул. Он понял. Зачем привозить гравий, если есть мрамор?

Чайка посмотрела на север.

— Рядом есть другая дорога. Она называется Бам.

— Странное название,— прошелестел Хариус.

— Байкало-Амурская магистраль,— важно пояснила Чайка.— Она сделана из железа.

— Чего только нет.

Чайка толкнула камень, и тот покатился к Хариусу. Волна, подхватив подарок, потащила его с собой. Мрамор улёгся на дно и засверкал, как сапфир.

— Любишься,— сказала Чайка.— Пусть с тобой будет кусочек неба.

Хариус вытянул рот, но ничего не сказал. Что можно сказать Чайке? Она без него всё знает.

5. Капля

Эту легенду Хариус рассказал мне на прощанье. Осеннее небо заволокли тучи, слегка штормило. Я стояла на берегу и слушала шум волн. Хариус появился в серебряной пене и, плюхнувшись на гальку, прошелестел:

— Забыл рассказать о Капле.

— Давай отнесу в озеро!— воскликнула я.— На берегу задохнёшься.

— Не бойся,— ответил Хариус.

Он взглянул на волны и добавил:

— Только не перебивай. Ладно?

Я кивнула и уселась на гальку.

— Давным-давно жили на Байкале другие люди. Они пасли оленей, охотились, ловили рыбу. Была в этом племени девушка-красавица. Как-то увидел её молодой охотник и влюбился без памяти. Собрал соболиные шкуры и пошёл свататься. Девушка и говорит:

— Не нужны мне твои шкуры, весь чум ими завален. Принеси мне лучше подарок, какого ни у кого не было.

Задумался охотник и пошёл к шаману. Дескать, посоветуй, где такой подарок достать. Тот ответил: — Далеко на севере есть гора, на ней живут добрые духи. Если сможешь дойти— получишь подарок.

Долго добирался охотник. Наконец пришёл. Гора была неприступной. Что делать? Думал охотник, думал и заснул. Как только проснулся, увидел перед собой Орла. Не простого— ослепительно-белого.

— Знаю, зачем пришёл,— сказал Орёл.— Выполнишь мою просьбу— одарю.

— Сделаю всё, что угодно!— воскликнул охотник.

— Дай мне своей крови, и будем квиты.

Охотник не раздумывал ни минуты. Он распахнул одежду и открыл грудь. Напился Орёл крови и сказал:

— Теперь убери этот камень. Всё, что под ним,— твоё.

Много сил потерял охотник, однако камень убрал. Глянул на землю и увидел Каплю. От неё исходил такой свет, что охотник зажмурился. Когда разомкнул веки— оказался дома. Разжал руку, а в ней— Капля. Чистая, прозрачная, как алмаз.

— Вот так подарок!— обрадовался охотник и побежал к красавице.

Та взяла Каплю и сморщила нос:

— Разве это— драгоценность?! Капля, и только.

Бросила красавица Каплю и ушла в чум. И вдруг задрожала земля, раздвинулись горы, пропала тайга. На месте, где лежала Капля, появилось озеро. Заискрилось оно, засияло, а вода в нём такая прозрачная, что дно видно. Лёгкие облака плыли над озером, вместе с ними летел Белый Орёл. Он взглянул вниз и крикнул:

— Силу божественных даров надо видеть!

Однако никто его не услышал. Люди пропали в пучине, и только ветер носился над озером и играл с пенными гребешками.

Хариус замолчал. Он задыхался.

— Скорей в воду!— крикнула я.

По гальке прокатилась волна и, подхватив Хариуса, унесла в озеро.

— Прощай,— услышала я.

— Нет, нет! До свидания.

Я подошла к озеру и бросила монету. Она блеснула, как чешуя, и пошла ко дну. Волна лизнула кроссовки и убежала к подругам. Я посмотрела под ноги. На гальке лежал камень. Маленький, полупрозрачный, он походил на каплю.

Хариус показался на волне и махнул плавником. — Это— нефрит,— прошелестел он.— Камень, дарующий мудрость.

— Спасибо,— ответила я.— Мудрость не бывает лишней.

Юрий Гладышев

Я назову его имя

1942 год

— Что, паря, колотит?— сосед по окопу, пожилой солдат, в выгоревшей почти добела гимнастёрке, неторопливо сворачивал сигарку.

Неужели заметно? Сергей действительно чувствовал где-то внутри мелкую дрожь. Ему стало стыдно за себя перед этим солдатом, годившимся ему в отцы. А тот, словно прочитав его мысли, продолжал:

— Да ты не тушуйся, известное дело— атака. И не думай, что только тебе страшно. Все боятся, кто соображение имеет.

— Что-то по вам не видно, что вы боитесь.

— Не видно, говоришь?— солдат снял с головы каску, положив её на дно окопа, сел.— Может, и не видно. Это потому, брат, что сломалась моя дрожалка ещё в Гражданскую. Однако ж и я опасение имею. А как же? Жить всем хочется. Но ведь дело у нас сейчас такое, солдатское, оборону держать да в атаку ходить. Вот так вот. Тебя как зовут-то?

— Сергеем.

— Ну а меня, стало быть, Прохором, Прохором Степанычем

Прохору Степановичу на вид лет сорок пять. Загорелое лицо с пшеничного цвета усами делали его похожим на какого-то плакатного героя, то ли рабочего, то ли колхозника.

Смоля самокрутку, Прохор Степанович разглядывал Сергея.

— Значит, вас прямо из маршевой роты к нам?

Сергей кивнул. Прохор Степанович покачал головой.

— Да, как говорится, с корабля на бал. Вам бы пообыкнуться, осмотреться, а тут, вишь, сразу в бой. Лет-то, поди, восемнадцать?

— Восемнадцать.

— А моёму младшему шестнадцать. Ежели так война дальше пойдёт, то и ему повоевать доведётся. Хорошо хоть старшие у меня все девки, аж трое. Когда рождались одна за другой, расстраивался, а теперь думаю: слава Богу.

Послышался звук шагов и осыпающейся земли. По траншее, придерживая на груди ппш, шёл исполняющий обязанности командира взвода сержант Сахно. Он ненадолго задержался возле бойца с ручным пулемётом.

— Начальство идёт,— Прохор Степанович поднялся, потряс каской, расправив ремешок, надел её на голову.

Поговорив с пулемётчиком, Сахно подошёл к ним.

— Ну что, Степаныч, как настроение?

— А какое на войне может быть настроение, товарищ командир,— только боевое.

Сахно усмехнулся.

— Молодец. Вот за что тебя уважаю, Степаныч, так это за то, что ты никогда духом не падаешь.

Сержант посмотрел на Сергея:

— Твоя фамилия, кажется, Тимошин?

— Так точно,— Сергей встал по стойке «смирно».

— Ну, тянуться здесь не надо, это окопы, а не плац. Вот, Степаныч, бери шефство над пополнением.

— Не сомневайся, Иван, поможем чем сможем. Что там про атаку слышно? Ты-то к большим командирам поближе будешь.

— Эх, Прохор Степанович, лучше, как говорится, быть поближе к кухне, чем к начальству. И когда только нового взводного пришлют? А насчёт атаки... Атакуем силами нашего батальона. Цель такая: выбить противника вон с той вышки, уж больно опасно она нависает над линией обороны дивизии. И сделать это надо, пока немец основательно не закрепился, мин не наставил, дотов не накопал, ну и прочее. Вот такие дела.

— С артподготовкой-то как?

— Вроде как дивизионная артиллерия поможет. Ну ладно, мужики, пойду я, ротному о готовности доложить надо.

Сахно, слегка нагнувшись, пошёл дальше по траншее. Прохор Степанович проводил сержанта взглядом.

— Прямо как бригадир в страдную пору. Лейтенанта-то нашего с месяц назад убило, вот и приходится Ивану командовать. К слову сказать, ничего, справляется. По мне, повесили бы ему кубари, и пусть полноправно командует, тут ведь не десятилетка нужна, а опыт.

Сергей слушал Степаныча и чувствовал, что ушла противная дрожь, страх как-то притупился. Ведь не один же он пойдёт в атаку: и Степаныч пойдёт, который, по всей видимости, знает, что это такое, и сержант пойдёт, и целый батальон, в котором, наверное, не одна сотня бойцов.

— Ты, Серёга, перво-наперво обувь проверь, чтобы во время атаки в обмотках не запутаться да ботинки чтоб не хлябали. И вообще, за мной держись, наперёд не забегай, но и не отставай. Как к ихним позициям подбежим, по прямой не беги, петляй, чтобы немцу прицел сбить.

В это время далеко позади, откуда-то из тыла, послышался дробный стук, как будто сухой горох на таз высыпали. И почти сразу же над головами засвистело, а впереди загрохотало.

— Началось, — Степаныч выглянул из окопа, — дивизионные лупят.

Сергей тоже приподнялся. Метрах в пятистах впереди один за другим вырастали столбы взрывов, огненные у основания и чёрные вверху; они словно плясали смертоносный танец на немецких позициях. Минут через пять всё стихло так же неожиданно, как и началось.

— Эх, маловато, — с досадой произнёс Степаныч, — экономят, едрит твою мать.

— Приготовиться к атаке! — донеслось откуда-то издалека.

— Взвод! Приготовиться к атаке! Примкнуть штыки! — послышался голос Сахно.

Степаныч снял штык, перевернул остриём вверх и со щелчком надел на ствол. Сергей проделал то же самое.

— Запомни, паря: смерть мгновенна, а позор — навсегда, — глаза пожилого солдата горели, а сам он как будто стал на много лет моложе.

— В атаку! Вперёд! — эхом пронеслось по окопам. — Ну, помогай, Царица Небесная. Пошли, Серёга, — Степаныч положил руки на бруствер, оттолкнувшись ногой от задней стенки, полез из окопа.

Неведомая сила вытолкнула Сергея наверх. Страх как не бывало. Казалось, что вообще отсутствует всякое ощущение реальности. Боковым зрением он видел бегущих и справа, и слева бойцов. Слышал топот множества ног, учащённое дыхание. Впереди маячила спина Степаныча, обтянутая выцветшей гимнастёркой.

И вдруг резкий вой ударил в уши, потом где-то сзади раздался разрыв, словно лопнул огромный воздушный шар. Опять вой — и уже разорвалось сбоку, кто-то закричал нечеловеческим голосом; опять вой... Сергей со всего маху упал на землю, бросив винтовку, закрыл руками голову. Разрывы следовали один за другим. «Следующий мой, сейчас в меня», — лихорадочно стучало в мозгах.

Но вот грохот разрывов стал немного удаляться, Сергей поднял голову. Первое, что он увидел, — это подошвы ботинок прямо у себя перед носом. Ботинки зашевелились и отодвинулись в сторону: впереди лежал Степаныч. Сергей, схватив ремень винтовки, прополз немного вперёд.

— Ну что, паря, жив? — из-под съехавшей вперёд каски глаз Степаныча не было видно, только нос и усы.

— Ага, — заулыбался Сергей.

— Это он нас миномётным огнём накрыл.

— А ну встать! Мать вашу! — к залёгшим бойцам бежал сержант Сахно. — Останемся на месте — повышибает всех на хрен! Вперёд! За мной!

Солдаты один за другим поднимались. Сначала шагом, затем бегом последовали за командиром. Сергей бежал рядом со Степанычем.

— Приотстань немного, — тяжело дыша, крикнул Степаныч. — Кому говорят, за мной беги.

Впереди гулко застучал пулемёт, потом ещё один, засвистели пули. Бежавший справа боец, ойкнув, завалился набок, ещё один впереди, схватившись за лицо, упал на колени.

Сергей до боли в руке сжал цевьё винтовки. «Это что же, они убиты или ранены? Это же и меня так могут? Так просто?»

— Взвод! Гранатами — огонь!

У Сергея не было гранат, зато бежавший впереди Степаныч остановился, в руке он держал ребристый кругляш.

— Пригнись, — сказал он Сергею и, вырвав левой рукой кольцо, правой, размахнувшись, зашвырнул гранату вперёд.

Там уже гремели редкие взрывы.

— Ура-а-а! — разлилось по цепи наступающих.

— А-а-а! — кричал Сергей.

Вот они, немецкие окопы, всё ближе и ближе.

— Ура-а! У, суки!

Он перехватил винтовку и, держа её на вытянутых руках на уровне груди, прыгнул в траншею. В окопе стоял немец, ствол его автомата был направлен вверх. Сергей падал прямо на него. Удар выставленной вперёд винтовкой пришёлся немцу по рукам. Автомат с лязгом упал на дно окопа. Немец взвыл и схватился за винтовку Сергея. Началась борьба, в которой каждый из противников старался вырвать винтовку. Сколько продолжалось это противостояние, Сергей не помнил, но немец в конце концов оказался сильнее. Сначала он прижал Сергея к стенке окопа, а потом швырнул вниз. Винтовка осталась у немца. Наступила пауза. Секунды три немец соображал, что ему делать с оказавшимся у него в руках оружием. Но думал он недолго. Сергей увидел над собой собственную винтовку и перекатился на бок. Он услышал, а точнее, почувствовал спиной, как где-то рядом штык вошёл в землю. Вернувшись в исходное положение, Сергей схватился за ствол винтовки, и в тот же миг огненная вспышка ослепила его. Острая боль пронзила плечо. Перед глазами запрыгали красные пятна. Сквозь них, как в тумане, Сергей увидел, что немец выгнулся вперёд и, судорожно хватая воздух ртом, стал падать на него. А потом он почувствовал невыносимую боль, и наступила темнота. — Серёга! Слышь! Очнись.

Сергей открыл глаза и увидел усатое лицо Степаныча.

— Живой! Ну и слава Богу. А я смотрю, рана-то в плечо, думаю, может ещё куда. Ну как ты?

— Плечо болит. И рука тоже.

— Ну-ка дай я посмотрю. Ты приподнимись, я помогу.

Сергей с помощью Степаныча сел, привалившись спиной к стенке окопа.

— Так,—Степаныч внимательно осмотрел плечо, сначала спереди, потом сзади.—Ну, паря, считай, что тебе повезло, пуля навывлет прошла.

— Прохор Степанович, а мне руку не отрежут?

— Дурак ты, Серёга. Рана-то, можно сказать, пушечная, сейчас перевяжем—и дуй в тыл.

Степаныч достал из противогазной сумки бинт и принялся перевязывать плечо поверх гимнастёрки. Каждое его прикосновение причиняло боль.

— Терпи. Пока так сойдёт, лишь бы кровь остановить, потом доктора сделают как надо. Эх, жалко, бинта маловато.

Наматывая бинт, Степаныч поглядывал в сторону, откуда ещё доносились звуки боя.

— Ну, считай, взяли мы эту высотку, будь она неладна. Я, честно сказать, думал, потруднее будет. Видно, не ждал фашист от нас такой наглости. Побаловали мы его отступлениями.

Сергей повернул голову и увидел лежащего рядом немца. Он впервые видел мёртвого человека так близко. Немец лежал с открытыми глазами, изо рта текла струйка крови. Сергей отвернулся.

— Это вы его?

— Я,—сказал Степаныч, не отвлекаясь от своего занятия.—Видел я, как вы с ним вокруг трёхлинейки танцевали, да помочь не мог, самому боров почище этого достался. Своего-то я прикладом уговорил, а об твоего пришлось штык испоганить. Чутко не успел, пальнул он в тебя. Ну вот,—Степаныч критически осмотрел свою работу.—Да, бинта маловато. Я концы завязывать не буду, ты их рукой придерживай. Идти-то сможешь?

— Наверное, смогу.

— Вот и ладно. Держи на наши позиции, там на нейтралке санитары раненых собирают.

Сергей с помощью Степаныча выбрался из траншеи.

— Поправляйся, сынок, на передок не торопись, навоюешься ещё,—Прохор Степанович взял винтовку и, не оглядываясь, пошёл по траншее.

1988 год

Алексей Васильевич Шинкарёв, бывший директор завода, а ныне пенсионер, возвращался из гастронома. Обязанность по закупке продуктов он возложил на себя добровольно, как, впрочем, и некоторые другие домашние дела. Большую часть своей жизни Алексей Васильевич занимал ответственные посты, вот и на пенсии придумал для себя определённые обязанности, к выполнению которых подходил ответственно, будь то

выбывание ковров или вынос мусора. Ну а поход в магазин—это не только закупка продуктов, это ещё и прогулка. Многие из встречающихся прохожих узнавали бывшего директора, здоровались. Алексей Васильевич не всех помнил в лицо, но улыбался, жал руку. А если это был хорошо знакомый человек, то останавливался поговорить, расспрашивал о жизни.

Вот и сейчас, поговорив минут десять с бывшим технологом, таким же пенсионером, как и он, Алексей Васильевич прошёл ещё метров сто по тротуару и, свернув под арку, оказался в своём дворе. Сидевшие на лавочке возле подъезда старушки чуть ли не хором поздоровались:

— Здравствуй, Алексей Васильевич,—и дружно заулыбались.

Шинкарёв, ответив старушкам, зашёл в подъезд. Закрыв за собой дверь, остановился, послушал.

— Ты погляди, каждый день в магазин пешком ходит, а раньше, бывало, «Волга» привезёт-увезёт.

Алексей Васильевич улыбнулся и направился к почтовым ящикам, вынул газету, привычно провёл рукой по дну. Там что-то лежало, достал—оказалось письмо. Он попытался разглядеть обратный адрес, но в подъезде было темновато. Сунув газету и письмо в боковой карман пиджака, Шинкарёв нажал кнопку лифта.

Дома встретила жена; пока он разувался, взяла сумку.

— Алёша, есть будешь?—спросила уже из кухни.

— Нет, Лиза. А вот от чая не отказался бы,—Алексей Васильевич прошёл в свой кабинет.

Шинкарёвы жили в четырёхкомнатной квартире. Дети, сын и дочь, разъехались, у каждого была своя квартира. Пустовато для двоих в таких хоромках, но и поменять на меньшую жилплощадь никак не решались, да и внуки уже подрастали.

Алексей Васильевич повесил пиджак на плечики, достал из кармана письмо и газету, положил на письменный стол. Хотел было пройти на кухню, но одолело любопытство: не так часто последнее время получали Шинкарёвы письма. Алексей Васильевич сел в кресло, взял со стола очки, пододвинул конверт, прочитал обратный адрес: «г. Омск, улица... дом... квартира... Смоленской Галине Васильевне»,—фамилия отправителя ни о чём ему не говорила. Но город Омск был его родным городом, там родился и прожил до восемнадцати лет. Но не ждал он писем оттуда. Больше того, по определённым причинам в Омске никто не должен был знать ни его адреса, ни вообще о том, что он жив. Кто мог его найти? А главное—зачем?

Шинкарёву вдруг стало жарко. Дрожащими руками он пошарил по столу в поисках ножа для бумаги; не найдя его, оторвал от конверта тонкую полоску и вынул письмо. Оно было написано на листке из школьной тетрадки в клеточку.

«Здравствуйте, Алексей Васильевич. Пишет Вам Ваша сестра, Смольская Галина Васильевна, в девичестве Шинкарёва. Мне трудно писать, потому что прошло столько лет с тех пор, когда мы виделись последний раз,—целая жизнь. Алёша, как же так получилось? Осенью 1942 года бабушка получила извещение о том, что ты пропал без вести. Мы всё равно ждали тебя, надеялись, что объявишься. Бабушка до самой своей смерти не верила, что ты погиб, она умерла в 1948 году. Полгода назад я услышала по радио передачу, в которой рассказывали о том, как люди ищут своих родственников, пропавших во время войны. Я пошла в военкомат, и мне помогли составить запрос в архив Министерства обороны. Надеюсь, что сообщат хотя бы, где ты похоронен, чтобы съездить на могилку. Но вот недавно пришёл ответ, в нём говорится, что ты не погиб, и указан адрес, по которому ты жил до 1974 года, а потом был снят с воинского учёта по возрасту... Алёша, если ты получишь моё письмо, прошу тебя, ответь, пожалуйста. Я понимаю, что причиной тому, как ты поступил, может быть всякое, но я постараюсь понять. Немного о себе. Я окончила педагогический техникум и всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Вышла замуж, родила двоих детей, теперь уже внуки большие, старший школу заканчивает. Муж три года назад умер... Ну да много писать не буду, надеюсь на встречу. Алёша, ответь, пожалуйста».

Шинкарёв снял очки, откинулся на высокую спинку кресла, долго сидел, закрыв глаза.

— Алёша, ну что же ты? — в кабинет вошла жена. — Просил чай, я налила, а ты... Что с тобой? Тебе плохо?

Алексей Васильевич открыл глаза, положил руки на стол. Лиза стояла с чашкой в руке и испуганно смотрела на него.

— Что случилось, Алёша? Сердце, да? На тебе лица нет.

— Нет, нормально, всё нормально. Вот письмо получил,—Шинкарёв торопливо сложил тетрадный листок и прикрыл его рукой,—от сестры... сестры однополчанина.

— А как она тебя нашла?

— Не знаю. Ну, как видишь, нашла.

— А почему ты так расстроился? — жена поставила чашку с чаем на стол.

— Да понимаешь, погиб он.

— Ну это ж когда было, Алёша, ты прямо как ребёнок. Успокойся, попей чаю. Или, может, всё-таки примешь корвалол?

— Нет, Лиза не надо. Оставь чай, я скоро приду.

Жена, ещё раз внимательно посмотрев на него, вышла.

Шинкарёв, положив письмо в конверт, встал из-за стола, подошёл к вешалке, на которой висел пиджак, достал из нагрудного кармашка ключ. Этим ключом он открыл замок верхнего ящика

стола. Бросив конверт в ящик, снова запер его. Некоторое время Алексей Васильевич вертел ключ в руках, как будто не знал, куда его деть, затем сунул в карман брюк. Надев пиджак, он прошёл на кухню. Лиза колдовала над плитой.

— Пойду я в сквер схожу. Сегодня встретил Николаева, технолога из цеха сборки, говорит, там наши заводские пенсионеры собираются, в домино играют.

Жена повернулась к нему, крышка кастрюли выскользнула у неё из руки и со звоном упала на пол. Алексей Васильевич наклонился, поднял крышку, положил на стол. Лиза сидела на табурете и смеялась.

— Я представила тебя забивающим «козла».

— Ну а почему бы нет? В конце концов, я такой же пенсионер, как и остальные.

— Ага, бывший директор завода играет в домино с бывшими рабочими этого завода, и они его дружески кроют матом за неправильно положенную костяшку. Ну что ж, вполне в духе времени, демократия на практике. Материал для передовицы.

— Лиза, это в тебе проснулась журналистка — кстати, тоже бывшая.

— Ладно, иди уж, доминошник.

Выйдя на улицу, Шинкарёв направился в сторону сквера; идти было недалеко, только квартал пересечь. Нет, он не собирался искать знакомых пенсионеров и играть с ними в домино. Просто Алексею Васильевичу захотелось побыть одному. Разговор с женой лишь на время отвлек его, и сейчас мысли о письме давили на мозг, на плечи; даже ноги, казалось, ослабли. Хотелось побыстрее добраться до какой-нибудь скамейки. Случилось то, чего он боялся почти всю свою послевоенную жизнь. Боялся, когда вступал в партию, боялся, когда поступал в институт, боялся, когда устраивался на работу, продвигался по службе, когда приходилось заполнять анкету. Иной раз хотелось уехать куда-нибудь в глушь, в деревню, спрятаться. Более или менее спокойно прожил Шинкарёв, наверное, последние лет пятнадцать и уже совсем забыл о своём страхе, выйдя на пенсию. И вот тебе, пожалуйста.

Алексей Васильевич вышел на центральную аллею, можно присесть, пустых скамеек хватало. Сегодня будний день, и в сквере было малоллюдно. Только кое-где молодые мамы с колясками да редкие прохожие.

Шинкарёв уже наметил себе место и собирался сесть, но, услышав голос сзади, вздрогнув, обернулся.

— Алексей Васильевич, это вы?

Перед ним стоял парень лет двадцати восьми и радостно улыбался.

— С утра был я,—ответил Шинкарёв и подумал, что эта шутка в данный момент больше похожа на правду.

— Вот здорово, что я вас встретил, — обрадовался парень. — Я иду сзади, думаю, вы это или нет. Вы, наверное, не узнаете меня, я ведь при вас всего полгода поработал мастером, потом меня в райком комсомола взяли.

— К сожалению, действительно не помню.

— Ну конечно, на заводе столько народу. Алексей Васильевич, вы меня извините, что я вас задерживаю. Дело в том, что я собирался вам звонить. Меня зовут Андрей Сухарев, я в этом году избран секретарём комитета ВЛКСМ завода.

Шинкарёву очень хотелось сесть, но он боялся, что тогда этот разговорчивый молодой человек ещё долго не отстанет от него.

— Очень приятно, Андрей. И чем же я могу помочь комсомолу?

— Алексей Васильевич, вы, конечно, знаете, что в этом году семидесятилетие ВЛКСМ. Так вот, мы готовим в заводском музее экспозицию, посвящённую истории комсомола завода. В связи с этим у нас к вам просьба: у вас ведь наверняка есть старые фотографии, связанные с этой темой...

— Я вас понял, Андрей. Я обязательно посмотрю и свяжусь с вами.

Шинкарёв протянул парню руку; тот, улыбаясь, торопливо пожал её.

— Большое спасибо, Алексей Васильевич. До свидания.

— До свидания. Хотя подождите. У вас закурить не будет?

— Есть, — Андрей достал пачку сигарет «Космос».

Шинкарёв двумя пальцами вытащил сигарету, парень щёлкнул зажигалкой. Алексей Васильевич затаился, кивнул головой: спасибо.

Курить он бросил восемнадцать лет назад, и уже забытый вкус табачного дыма не принёс ни удовольствия, ни облегчения. Дождавшись, когда Сухарев отойдёт на достаточное расстояние, Шинкарёв выбросил сигарету в урну. Он подумал, что вряд ли ему дадут на центральной аллее посидеть спокойно, и свернул на узкую дорожку, ведущую к неработающему фонтану. Метров через пятнадцать Шинкарёв увидел скамейку, стоящую под разросшимся клёном. Место Алексею Васильевичу понравилось, он опустился на скамью. Вот теперь можно было спокойно всё обдумать.

1942 год

Полковой медицинский пункт расположился в небольшом хуторе. Во дворе здания, по всей видимости, школы, была развёрнута длинная палатка с красными крестами на боках. Носилки с тяжелоранеными санитары сразу заносили в школу. Десятка полтора легкораненых толпились в очереди у палатки.

Сергей встал в конце очереди. Стоять было трудно, кружилась голова, кровь всё больше

и больше проступала сквозь повязку. Постояв немного, Сергей сел прямо на землю, прислонившись здоровым плечом к забору. Рядом сидел черноволосый солдат с перевязанной рукой. Посмотрев на Сергея, он покачал головой:

— Что, генацвале, плохо, да?

— Ничего, терпимо, вот только голова кружится.

Сергей прикрыл глаза; на руку, в которой он держал конец бинта, капала тёплая кровь.

— А-я-йй, бэлый совсем. Подожди, дарагой.

Черноволосый поднялся и стал пробираться к входу в палатку. Очередь возмущённо загудела: — Куда прёшь? Не видишь — очередь!

— Ты что, самый больной?!

— По нему не видно!

Среди общего гула выделился гортанный голос:

— Э! Пропусти, да! Там человеку совсем плохо!

«Это кому плохо? Это он про меня говорит? Мне хорошо, даже плечо перестало болеть. Вот сейчас посплю немного, и станет ещё лучше. Какое у меня тело лёгкое, я его не чувствую. А если поднимется ветер? Меня же унесёт. А вот и ветер. Какой он тёплый! Я поднимаюсь. Я лечу. Оказывается, я умею летать. Почему я не делал этого раньше? Выше, ещё выше. Нет, что-то мешает. Это моё тело, оно опять становится тяжёлым, оно тянет вниз. Я не хочу вниз!»

Опять заболело плечо. Сергей открыл глаза. Как сквозь туман, он увидел над собой чьё-то лицо. Постепенно черты лица прояснились. Это был пожилой человек в круглых очках, на голове пилотка, одет в белый халат. Он что-то говорит. Плохо слышно.

— Николай Осипович, посмотрите, пожалуйста.

Кому он это говорит? А вот ещё одно лицо, по-моложе, белая шапочка, марлевая маска спущена на подбородок.

— Что вас беспокоит, Василий Михайлович? Обыкновенное сквозное пулевое.

— Обыкновенное, да не совсем. Обратите внимание вот сюда.

Сергею трудно было смотреть, веки тяжелели, и он закрыл глаза, продолжая слушать разговор двух людей, склонившихся над ним. Он даже не пытался уловить смысл их беседы, для него это были лишь звуки извне.

— Вы хотите сказать, что это...

— Да. А вы сомневаетесь?

— Василий Михайлович, обстоятельства, при которых получено ранение, могут быть самыми разными.

— Но мы обязаны доложить.

— Поступайте, как считаете нужным. А сейчас его срочно на переливание крови. И готовьте раненых к отправке, скоро транспорт из медсанбата придёт.

Это была последняя фраза, которую услышал Сергей. Наступила темнота.

1988 год

На дне пустого бассейна лежала прошлогодняя листва, разный мелкий мусор. Чаша, из которой должна бить струя воды, облезла. Алексей Васильевич попытался вспомнить, видел ли он этот фонтан работающим, но напрасно, так и не вспомнил. Пока работал, не до прогулок было, а когда на пенсию вышел, фонтан находился уже в нынешнем состоянии. Наверное, пора возвращаться домой. Сколько же времени он здесь просидел? Часа два-три. Так ничего и не придумал. Да, собственно, за время, проведённое в сквере, он и не старался что-либо придумать. Он только вспоминал.

Шинкарёв прошёл по аллее, свернул в квартал. Уже подходя к дому, он вдруг понял, что домой заходить не хочется. Придётся делать вид, что ничего не произошло, как будто не было письма, которое может круто изменить его жизнь, да и Лизы это наверняка тоже коснётся. А дети! Сейчас он уважаемый, известный в городе человек. А кем станет, когда всё откроется? Не спасут никакие заслуги. Вся жизнь будет перечёркнута разом. И всё из-за какой-то старушки, решившей на старости лет найти брата.

Шинкарёв зашёл в подъезд, отметив про себя, что старушек на лавочке уже нет. Нажал кнопку лифта. Почему он назвал её старушкой? Сколько же этой Галине Васильевне лет? Если ему шестьдесят четыре, значит, ей шестьдесят один. Ну да, конечно, для кого-то и старушка.

Лиза встретила его в коридоре.

— Шинкарёв, что-то ты загулялся. Я уже беспокоиться начала. Слушай, может, ты любовницу завёл? Когда там у мужчин последний критический возраст?

1942 год

«Что это, песня? Да, кто-то негромко поёт. Красивая мелодия, а слов не разобрать. Хотя нет, можно. Просто слова нерусские. Потолок, стена, на стене портрет Пушкина. Где я?»

— Ай, маладец, бидьжо, проснулся.

Сергей повернул голову: рядом, на койке, сидел парень в нательной рубаше и кальсонах.

— Где я?

— Ты что, не помнишь? Эта маленькая больница называется ПМП. А меня помнишь?

— Теперь вспомнил. А кто тут пел?

Парень слегка смутился.

— Я пел. Ты спишь, слушай, сутки спал, больше. Я сижу один, скучно, да. Пою потихоньку. Что, не понравилось?

— Нет, наоборот, красиво. Это на каком языке?

Брюнет заулыбался, показав ровный ряд белых зубов.

— На грузинском, дорогой. Из Грузии я, из Гори. Знаешь, там товарищ Сталин родился. Меня Тамаз зовут, а тебя как?

— Сергеем.

Сергей попытался приподняться, с первого раза не получилось. Левая рука от плеча до локтя была прибинтована к груди.

— Подожди, Серго, помогу.

Тамаз вскочил с кровати, придерживая под спину Сергея, положил подушку повыше.

Теперь можно было осмотреться. Комната, в которой они находились, оказалась школьным классом. Портреты на стене, письменная доска. Только вместо парт стояли пустые железные койки. Лишь в дальнем углу кто-то лежал, из-под одеяла была видна полностью забинтованная голова.

— А кто там лежит?

— Это нетран... непр... короче, его перевозить нельзя. Серго, ты, наверное, кушать хочешь, я сейчас.

Тамаз вышел из палаты. Минут через пять он вернулся, но не с медсестрой, а с мужчиной в командирской форме. Его лицо показалось Сергею знакомым.

— Ну, как мы себя чувствуем?—спросил вошедший, присаживаясь на край кровати.

— Он себя хорошо чувствует, товарищ военврач, кушать хочет.

Военврач недовольно посмотрел на Тамаза:

— Помолчите, Мамуладзе, я вас не спрашиваю.

— Чувствую себя нормально,—сказал Сергей.

— Ну, положим, чувствовать себя нормально вы будете недельки этак через три-четыре. Дайте-ка руку.

Нашупав пульс, врач достал из кармана часы; в наступившей тишине было слышно, как они тикают.

— Так,—он убрал часы,—а теперь давайте сядем,—он размотал бинт, который прижимал руку к туловищу.—Тихонько пошевелите рукой. Больно?

— Да.

— Где больнее?

— Сзади, возле лопатки.

— Ясно. Прижмите руку,—сказал врач.—Удивительное у вас ранение: в таком месте—и ни одной кости не задето. Но фиксирующую повязку мы пока оставим, не помешает.

Закончив бинтовать, военврач встал и направился к раненому, лежащему в углу.

Сергей хотел было спросить, почему его не отправили в медсанбат со всеми, ведь ранение у него не такое уж лёгкое, но передумал. Подумает ещё, что он в тыл напрашивается.

Военврач пробыл у дальней койки недолго. Уже подходя к выходу, остановился:

— Да, Мамуладзе, проводите товарища в столовую.

Последующие пять дней прошли без каких-либо особых происшествий. На передовой стояло затишье. Поэтому раненых на полковой медицинский пункт не поступало. Только один раз принесли разведчика с пулевым ранением в ногу, но долго

он здесь не задержался. Отправили в госпиталь. Нетранспортабельного раненого тоже увезли. Тамаз где-то нашёл шахматную доску, шашки и сделал из этого нарды, и они целыми днями бросали кубики. С Сергея сняли фиксирующую повязку, сменив её на перевязь, которая надевалась на шею. Военврач появлялся редко. В основном на медпункте хозяйничал военфельдшер Семин. Он проводил ежедневные осмотры, следил за порядком. Мамуладзе и Тимошина военфельдшер называл курортниками. Но для Сергея «курорт» неожиданно кончился, когда в палату зашёл незнакомый сержант с автоматом.

— Кто тут Тимошин? — спросил он, но, посмотрев на Сергея с Тамазом, уверенно ткнул пальцем в сторону первого: — Одевайся, пошли.

— Куда? — удивился Сергей.

— В особый отдел.

Тамаз вскочил с койки.

— Слушай, уважаемый, какой особый отдел? Зачем особый отдел?

— Ты тоже туда хочешь? — невозмутимо спросил сержант.

Мамуладзе посмотрел вопросительно на Сергея. Сергей и сам не понимал, в чём дело. Он молча стал натягивать штаны. С гимнастёркой из-за больного плеча вышла заминка. С помощью Тамаза её кое-как удалось надеть. Он же помог обуться.

Сержант терпеливо ждал. Когда Сергей оделся, кивнул на дверь:

— Пошли.

На единственной улице хутора было полно военного люда. По всей видимости, здесь располагались тыловые службы полка. Сержант рукой показал направление движения, а сам пошёл сзади. Ведёт как под конвоем, подумал Сергей. Он заметил, что встречные командиры и солдаты смотрели на него как-то по-особенному — видимо, знали, где служит сопровождающий сержант. Прошли метров двести. — Сюда, — сержант кивнул на небольшую хату справа.

Зашли в ограду, поднялись на крыльцо. В сенях сержант, скомандовав: «Подожди», — приоткрыл дверь и кому-то доложил:

— Товарищ капитан, Тимошин доставлен.

Затем обернулся к Сергею:

— Заходи.

Сергей перешагнул порог. Комната с русской печью, посредине стол, за столом человек в военной форме. Сидящий поднял голову, с минуту молча смотрел на Сергея. Ещё вполне молодое лицо, а волосы уже с проседью. Но основное, что бросалось в глаза, — шрам, длинный шрам проходил через всю левую часть лица; начинаясь на лбу, он обрывался на щеке возле рта.

— Как здоровье? Рана не беспокоит? Доктор говорит, что идёшь на поправку, — наконец заговорил капитан.

— Так точно, товарищ капитан.

— Это хорошо. Проходи, садись.

Сергей подошёл к столу, сел на табурет. Капитан взял со стола лист бумаги.

— Итак, ты у нас Тимошин Сергей Михайлович, тысяча девятьсот двадцать четвёртого года рождения, призван из города Омска, комсомолец, стрелок третьей роты второго батальона.

— Так точно.

Капитан положил лист и, откинувшись на спинку стула, опять стал разглядывать Сергея. Неуютно было под этим взглядом. Сергей опустил глаза.

— Я капитан Шевелёв, старший оперуполномоченный особого отдела дивизии. Догадываешься, зачем тебя вызвали?

— Никак нет.

— Чем до призыва занимался?

— Работал на заводе.

— Пролетарий, значит, — капитан поправил наплечный ремень портупеи. И вдруг со всего маха грохнул кулаком по столу: — Так что же ты, гнида, рабочий класс позоришь?! Встать!

Сергей вскочил, сзади загремела упавшая табуретка.

— Товарищ капитан, я не пони...

— Товарищ! Я трусам и дезертирам не товарищ! — шрам на лице особиста стал багровым. — Рассказывай, сукин сын, как ты себе плечо прострелил. На комиссацию, сволочь, рассчитывал?

Сергей стоял ошарашенный: что он такое говорит? Обида комом подступила к горлу.

— Тов... — он запнулся. — В меня стрелял немец, в их окопах. А вы, вы...

— Да ты садись, — неожиданно спокойно сказал капитан.

Сергей продолжал стоять, совершенно сбитый с толку внезапными перепадами в настроении особиста.

— Садись, говорю.

Поставив трясущимися от волнения руками табурет, Сергей сел. Капитан неторопливо закурил, затем подвинул к краю стола лист бумаги:

— Читай.

Сергей взял бумагу, стал читать.

*«Начальнику медико-санитарной службы
военврачу 3-го ранга Соколюскому Н. О.*

Рапорт

Доношу до Вашего сведения, что 16 июля 1942 года мною был произведён осмотр раненого красноармейца Тимошина С. М. Первоначальный осмотр показал наличие у Тимошина С. М. сквозного пулевого ранения в область между левым плечевым суставом и ключичной костью. Наличие ожога кожного покрова и вкрапление несгоревших пороховых частиц вокруг входного отверстия указывает на то, что выстрел, в результате которого

произошло ранение, произведён с очень близкого расстояния. Данный факт может свидетельствовать о членовредительстве.

Военфельдшер пмп Сёмин В. М. 16.07.42 г.

*Командиру 000-го стрелкового полка
подполковнику Белоногову И. К.*

Рапорт

По существу рапорта военфельдшера Сёмина В. М. могу доложить следующее:

С выводом о том, что ранение красноармейца Тимошина С. М. произошло в результате выстрела с близкого расстояния, согласен. Было ли это актом членовредительства, утверждать не могу.

*Начальник мсс полка
военврач 3-го ранга Сокольский Н. О.
18.07.42 г. ».*

В левом верхнем углу размашистым почерком было написано: «Передать на рассмотрение в особый отдел. Ком. полка п/п-к (подпись). 21.07.42 г.». — Ну, прочитал? — капитан ткнул окурком в пустую банку из-под тушёнки. — Вот это, — он взял рапорт и положил в картонную папку, — называется факты. А то, что ты мне тут пытаешься втюхать, называется дачей ложных показаний и трибуналом, который скоро будет тебя судить; твоё враньё приветствоваться не будет. Признаешь свою вину перед советским народом — пойдёшь в штрафную роту, а будешь врать — показательно шлёпнут перед строем полка. Так что давай рассказывай, облегчай душу.

Сергей сидел, смотрел на особиста. Как быстро в жизни всё может перемениться. Ещё час назад он играл в нарды, смеялся над шутками Тамаза, а сейчас ему предлагают выбор между штрафной ротой и расстрелом. Может, это сон? Да нет, вот самый настоящий оперуполномоченный, и, похоже, он действительно считает его, Сергея, самострелом. — Мы пошли в атаку, добежали до фашистских позиций, там, в траншее, я боролся с немецким солдатом, и он в меня выстрелил из моей винтовки. — Стоп, — капитан хлопнул ладонью по столу, — значит, ты не отрицаешь, что ранен из собственной винтовки?

— Нет.
— Хорошо. Теперь разберёмся с немецким солдатом. Как у него оказалась твоя винтовка?
— Он её у меня отобрал.
— Вот как. Отобрал, значит. Зачем? У него что, своего оружия не было?

— Почему? Был у него автомат, но он его уронил. Капитан захохотал. Этот хохот был так же неожидан, как и недавняя вспышка гнева. Только что с серьёзным видом задавал вопросы, а сейчас едва не падает со стула от смеха. Закончив смеяться, особист покачал головой:

— Детский сад какой-то: отобрал, уронил, бо-ролись.

Он встал, подошёл к окну.

Даже глядя на спину капитана, чувствовалось, что сейчас опять произойдёт взрыв гнева. И действительно, когда тот повернулся, Сергей увидел искажённое злостью лицо. Шрам опять налился кровью. Но на этот раз особист не кричал, а, наоборот, говорил тихо, чётко выговаривая каждое слово:

— Послушай, сопляк, ты кому сказки рассказываешь? Я восемь лет в органах. У меня комбриги на допросах плакали, но калялись. А ты кто такой? Пацан, ты даже врать не умеешь. А ну-ка встань.

Сергей поднялся. Капитан подошёл к нему. — Какого роста был немец, который в тебя стрелял? Отвечай! Быстро! Выше, ниже тебя?

— Выше.

— Как он стрелял? От пояса, с плеча? Ну, говори.

— С плеча.

— Садись, — сказал капитан и сам опустился на стул. На его лице было написано удовлетворение. — Всё, Тимошин: как говорится в теоремах, что и требовалось доказать. Входное отверстие пули у тебя ниже выходного. А что это значит? А это значит, что стреляли снизу. И если в тебя действительно кто-то стрелял, то был он ростом около метра.

Сергей не сразу сообразил, о чём говорит особист; наконец, понял.

— Так я ведь лежал.

— Лежал? Может, и лежал. А скорее всего, сидел и, разувшись, пальцем ноги жал на спусковой крючок. А ещё, может, хорошей веточкой с сучком или шомполом, обмотанным тряпочкой, чтобы не соскользнул. Способов много. Не ты первый такой хитрожопый. Всё, устал я от тебя. Степанов!

В дверях тотчас появился сержант, который привёл Сергея сюда.

— Я, товарищ капитан!

Сергей понял, что особист уже решил его судьбу.

— Товарищ капитан!

— Гражданин капитан, — поправил особист.

— Гражданин капитан, но ведь как в меня немец стрелял, видел Прохор Степанович, он его и за-колол штыком.

— Какой ещё Прохор Степанович? — недовольно спросил капитан, укладывая бумаги в папку.

— Солдат из нашего взвода.

— Да-а? А фамилия у этого солдата есть?

— Есть, но я её не знаю.

— Ладно, разберёмся с твоим Прохором Степановичем, — капитан покачал головой. — Странная ты личность, Тимошин: чем больше с тобой говоришь, тем больше вопросов возникает. Степанов, запрети этого цуцика в баньке да часового поставь.

Сержант подошёл к Сергею:

— Ремень, головной убор снять, вывернуть карманы.

1988 год

«Здравствуйте, уважаемая Галина Васильевна.

К сожалению, вынужден огорчить Вас: я не тот человек, за которого Вы меня приняли. Но я знал Вашего брата, Шинкарёва Алексея Васильевича. В 1942 году мы с ним служили в одной воинской части. В июле того же года он погиб, это я могу достоверно утверждать.

Галина Васильевна, если у Вас есть желание, я мог бы показать Вам место гибели Вашего брата и, возможно, место захоронения. Но для этого мы должны встретиться в городе Волгограде. Если у Вас возникнут финансовые затруднения, я готов оплатить проезд. Я понимаю, что при прочтении этого письма у Вас могут возникнуть вопросы.

Уверяю Вас, что в случае нашей встречи я всё объясню. Жду Вашего решения. До свидания».

Шинкарёв отложил авторучку. Трудно дались ему эти несколько строчек. Много важных решений принимал Алексей Васильевич за свою жизнь. Но решение написать это письмо было для него, пожалуй, самым важным и трудным. Была ли альтернатива? Была.

Можно было не отвечать на письмо этой женщины. Вряд ли бы она предприняла что-нибудь для дальнейших поисков. Хватило бы у неё сил и возможностей для этого? Скорее всего, нет. И тогда бы всё осталось по-прежнему.

Но вопрос в том, смог бы он на закате лет взвалить на себя ещё один тяжкий груз неправды, помимо того, что нёс все эти годы. Трудно сказать, верил ли Шинкарёв в Бога, но в неотвратимость расплаты он верил.

Алексей Васильевич подошёл к окну. На улице светало. Как незаметно прошла ночь!

1942 год

В бане Сергей просидел до следующего утра. Сначала он места себе не находил от обиды, от несправедливости обвинения. Но постепенно Сергей успокоился: особист найдёт Прохора Степановича, и всё разъяснится. С этой мыслью он, стараясь не тревожить рану, лёг на полок и закрыл глаза. Баньку, видимо, давно не топили, снизу, из сливной ямы, пахло тинной. Свет из крошечного окошка еле пробивался.

По-разному действуют на людей нервные потрясения, но у всех одинаково они забирают душевные силы, которые надо восстанавливать. Сергей уснул.

Разбудил его солдат, принёсший завтрак. Круглолицый, узкоглазый, небольшого роста, но крепкого телосложения, он был похож на китайца. Сергей никогда не видел китайцев, но представлял их именно такими, как этот солдат.

«Китаец» поставил на лавку котелок с кашей, кружку с чаем, положил на кружку хлеб.

— Ешь, скоро ехать, — сказал «китаец» на чисто русском языке и вышел.

Сергей хотел спросить, куда ехать, но было уже поздно.

Наверное, «ехать» со словом «идти» спутал, нерусский же. Сергей спустился с полка и взялся за котелок. Несмотря на все вчерашние неприятности, он с аппетитом съел перловую кашу, выпил чай. Только Сергей поставил пустую кружку, дверь открылась, и появился «китаец». За дверью стоял, что ли?

— Поел? Пошли, капитан зовёт.

Перешагнув порог хаты, Сергей увидел особиста, складывающего какие-то бумаги в брезентовую полевую сумку.

— А, сказочник! Ну что, надумал правду говорить?

— Я рассказал правду, товарищ капитан, — Сергей специально интонацией выделил «товарищ».

Особист, лишь на мгновение оторвавшись от своего занятия, хмыкнул:

— Значит, не надумал. Ну и дурак. Ладно, и без того улик хватает. Я предупредил: это я тут с тобой беседы беседовал, а в трибунале долго разговаривать не будут.

Капитан, закончив укладывать сумку, подошёл к окну.

— А вот и почтовая карета прибыла. Асербаев!

Вошёл «китаец». Особист показал ему на сумку:

— Документы передашь лично начальнику особого отдела дивизии. Сарестованного глаз не спускать, в случае попытки к бегству применить оружие на поражение. Понятно?

— Так точно, товарищ капитан.

— Ну, всё, прощай, Тимошин.

— Гражданин капитан! — Сергей понял, что происходит что-то необратимое. — Что, следствие уже закончено? А как же Прохор Степанович? Вы с ним разговаривали?

Капитан подошёл вплотную к Сергею:

— Красноармеец Легашин Прохор Степанович, пока некоторые по кустам сидели и думали, как бы половчей что-нибудь себе прострелить, геройски погиб при штурме высоты. Увести.

— Выходи, — Асербаев повёл стволом автомата.

Сергей не помнил, как вышел из хаты, как шёл к калитке. В голове прокручивались одни и те же кадры: Степаныч машет рукой и уходит по траншее туда, где стреляют. Как он тогда, перед атакой, сказал: «Смерть мгновенна, а позор — навсегда». Степаныч уходит по траншее, а вместе с ним уходит и последняя надежда на правду, на избавление от позора.

— Эй, почтарь! Проспишь царствие небесное. Оружие-то подбери, чай, не один поедешь.

Сергей увидел лошадь, запряжённую в подводу. На подводе какой-то солдат протирал глаза. Сергей

обомлел от неожиданности: это же Алёшка! Точно, Алёшка Шинкарёв. Как он тут оказался?

Алёшка тем временем, распекаемый сержантом, наводил на телеге порядок. Он поправил холщовый мешок, который был хоть и полным, но, по-видимому, лёгким, подтянул поближе к себе винтовку. И только после этого поднял глаза. — Серёга! Ты? — Алёшкин рот расплылся в улыбке. — Это что, твой знакомец? — спросил сержант. — Этого ещё не хватало.

Алёшка наконец понял, что к чему. Да и нетрудно было догадаться: Сергей был без ремня, в пилотке без звёздочки, сзади стоял «китаец» с автоматом наизготовку.

— Так, боец, — сержант сделал строгое лицо, — я не знаю, кто он тебе — друг, сват, брат; сейчас он для тебя — арестованный. На время движения в штаб дивизии ты поступаешь в подчинение вот к нему, — сержант показал на «китайца», — ефрейтору Асербаеву, и являешься таким же конвоиром, как и он. Что из этого следует? А из этого следует, что ты несёшь полную ответственность за доставку арестованного в особый отдел дивизии. Понятно?

— Так точно.

— И никаких разговоров по дороге. Асербаев, проследишь. Всё, езжайте.

Уселись. Алёшка тронул вожжи, крикнул:

— Но, пошла!

Хутор проехали молча. Алёшка пару раз оглянулся, Сергей уловил его удивлённо-сочувствующий взгляд.

Выехали за околицу, впереди степь, изрезанная оврагами, холмы, и на самом горизонте небольшой лесок.

— Товарищ ефрейтор, — обернулся Алёшка, — с арестованным нельзя разговаривать, а с тобой можно?

— Разговаривай, — ответил «китаец».

— Тебя как зовут?

— Миша.

— А на самом деле?

— Зови Мишей.

— Ну ладно. Миша, ты кто по национальности?

— А что, на русского не похож?

Алёшка засмеялся:

— Не очень.

— Ну, тогда казах.

— А почему по-русски так хорошо говоришь?

— Я в Усть-Каменогорске родился, это рядом с Алтаем, там много русских живут.

— Слушай, Миша, а что арестованный натворил? Сержант сказал, что я теперь тоже вроде как конвоир, так что должен знать.

— Самострельщик он, воевать не хочет.

— Да не слушай ты его, Алёшка, — не выдержал Сергей, — неправда это.

— Молчать, — приказал Асербаев.

Но Сергея понесло:

— А что ты сделаешь? Застрелишь? Ну, стреляй! Мне теперь всё равно. Миша он. Ты такой же Миша, как я Чемберлен.

— Успокойся, Серёга. Он-то тут при чём?

В это время где-то сзади послышался монотонный гул. Все оглянулись. Первое впечатление было такое, что там, далеко в небе, летит большая стая ворон. Но это были не вороны. Приближалась целая армада самолётов. Вскоре ветер донёс грохот первых взрывов, который постепенно перешёл в сплошной гром.

— Передний край бомбят, значит, наступать будут, — сказал Асербаев.

— А мы в тыл едем, опасного преступника везём, хорошо. Слушай, Миша, как бы к вам в особый отдел пристроиться? — с серьёзным видом спросил Алёшка.

— Езжай, ты тоже не перевоевал. На передовой появляешься, только когда письма разносишь.

Алёшка не ответил — видимо, крыть было нечем. Ехали молча. Бомбёжка продолжалась. Звуки разрывов бомб стали приближаться.

— Сейчас за хутор возьмутся, — оглянулся Алёшка.

В это время над их головами пронеслась четвёрка самолётов и с рёвом взмыла вверх. Лошадь шарахнулась в сторону. Самолёты набрали высоту и спикировали на хутор.

Через пару минут ещё одна четвёрка повторила их манёвр. Но один самолёт, завалившись на крыло, полетел не в сторону хутора, а стал пикировать на них. Смертоносная машина приближалась. Торчащие под крыльями шасси были похожи на лапы орла, готовившегося схватить жертву.

— Гони! — закричал Асербаев.

Но Алёшка и без того уже нахлёстывал лошадь, скоро разогнав её до галопа. Телега высоко подпрыгивала на кочках. А вой приближающегося самолёта всё нарастал. И вот впереди грохнуло. Метрах в пятнадцати перед лошадью вырос огненный столб взрыва. Лошадь встала на дыбы и с храпом, ломая оглобли, рухнула на землю. Седоки посыпались с подводы. При падении Сергей больно ударился раненым плечом. Лёжа на спине, он увидел, как самолёт пошёл вверх.

— Все живы? — Асербаев уже стоял на ногах.

— Живы, — ответил, поднимаясь с земли, Алёшка. — Если бы фриц на секунду раньше кнопку нажал, не так бы подлетели.

— Лошадь спасла, на себя все осколки приняла, — Асербаев подошёл к перевернутой подводе, подобрал Алёшкину винтовку. — Возьми. Мешок с письмами тоже забрать надо.

Алёшка взял винтовку и глянул в небо.

— Ах ты, ё... бежим!

Самолёт снова падал на них. Все бросились бежать, впереди Алёшка, за ним Сергей, сзади топал кирзачами Асербаев.

Опять всё тот же противный вой, от которого некуда спрятаться, ровная степь—ни ямки, ни пригорка. Спина взмокла то ли от бега, то ли от страха. Скорее бы уж взрыв; кажется, ожидание страшнее смерти. Но вместо взрыва раздался стук пулемётов. По обе стороны от Сергея пули взрыли землю. Сергей упал. Самолёт, судя по поднятой волне воздуха, пролетел очень низко. Звук мотора стал удаляться. Сергей поднял голову и увидел встающего с земли Алёшку. Сергей тоже поднялся, оглянулся. Метрах в пяти от него, лицом вниз, лежал Асербаев.

— Товарищ ефрейтор!

Сергей подошёл к нему, тронул за плечо, потом перевернул на спину. Сквозь узкие щёлочки в небо смотрели неподвижные зрачки.

Подбежал Алёшка:

— Что? Убит?

Сергей не ответил. Он поднял автомат Асербаева и посмотрел в небо, ища самолёт. Вон он разворачивается для новой атаки. Так, где тут затвор?

— Серёга, ты что, сдурел? С автоматом против самолёта.

— Я больше не побегу, надоело!

— Дурак! Тоже так лежать хочешь?—Алёшка показал рукой вперёд.—Вон там овраг, нам бы только до него успеть. Ну давай, давай.

Он схватил Сергея за рукав и потянул за собой. На этот раз немец начал стрелять с большой высоты, торопился—видимо, тоже заметил овраг, к которому они бежали. Фонтанчики земли, поднятые пулями, прошли в метрах десяти от беглецов.

И вот он, наконец-то спасительный овраг. Сергей и Алёшка, ни секунды не раздумывая, прыгнули вниз. Песчаная почва мягко приняла их. Сергей, лёжа на спине, толкая впереди себя кучу песка, медленно съезжал по склону, пока не упёрся ногами в куст какого-то растения. Несколько секунд он лежал неподвижно. Сердце колотилось у самого горла, судорогой свело икроножную мышцу правой ноги. Где-то внизу чертыхался Алёшка.

— Серёга! Ты где?

— Не кричи, здесь я.

— Сползай сюда.

Сергей, оттолкнувшись от куста, прокатился на пятой точке ещё метра три, пока не оказался на дне оврага. Алёшка, сняв ремень, вытряхивал из-под подола гимнастёрки песок.

— Вот бы время засечь, как мы эту стометровку рванули. Мировой рекорд был бы обеспечен. Тебя что, задело?

Сергей и сам только что обратил внимание на пятно крови чуть выше груди.

— Нет, это старое, ударился, когда падал, вот кровь и пошла.

— Давай перевяжу, у меня ипп есть,—Алёшка пошарил в карманах и вытащил пакет с бинтом.—Снимай гимнастёрку.

— А ты всё такой же запасливый,—улыбнулся Сергей.

Он вспомнил, что в детдоме у Алёшки была кличка «хомяк». Прозвали его так за вечно оттопыренные карманы, в которых можно было найти что угодно—от куска хлеба до неизвестно для чего нужной гайки.

Алёшка зубами разорвал упаковку ипп и начал осторожно бинтовать, накладывая новый бинт на старую повязку.

— Слушай, Серёга,—произнёс он нерешительно.—А это правда?

— Что?

— Ну, то, что ты стрелял в себя.

— Значит, и ты мне не веришь?—устало сказал Сергей.

— Ну почему не верю? Просто всякое бывает.

— Всё правильно. Мне кажется, что скоро я сам поверю, что я членовредитель.

Было обидно, что Алёшка, с которым они выросли в одном детском доме, тоже сомневается в нём, считает способным на такой поступок.

— А как завязывать?—Алёшка кончил бинтовать и держал в руках короткие кончики бинта.—На бантик или на два узла?

— Тихо!—Сергею показалось, что он услышал звук мотора.—Слышишь?

— Мотоцикл,—уверенно сказал Алёшка. Он быстро завязал концы бинта на два узла.—Я посмотрю,—и, цепляясь за кусты, полез наверх.

Сергей последовал за ним. Карбаться по склону было трудно, мягкий грунт обваливался под ногами. Да ещё, чтобы не потревожить раненое плечо, Сергей старался не использовать левую руку. Наконец он добрался до верха. Алёшка осторожно выглядывал за край оврага.

— Ну что там?—спросил Сергей.

— Кажется, немцы,—Алёшка пожал плечами.—Откуда они здесь, в тылу?

Смотреть мешала трава, Сергей приподнялся. Алёшка дёрнул его за штанину:

— Куда ты? Ты со своими бинтами за километр виден.

По дороге, по которой ещё недавно Алёшка гнал свою лошаёдку, двигались два мотоцикла с колясками. Серо-зелёные мундиры и квадратные каски не оставляли сомнений в том, что это были фашисты. Мотоциклисты двигались в сторону хутора.

— Слышь, Серёга, а я ведь ещё ни разу живых фашистов не видел,—вдруг признался Алёшка.

— Зато я видел, и очень близко, поэтому и сижу сейчас с тобой в этом овраге, а не на передовой.

В это время оба мотоцикла остановились. Один из мотоциклистов показал рукой в сторону оврага.

Сергей и Алёшка как по команде пригнулись: неужели заметили? Не может быть, до них метров пятьсот. Сергей вспомнил об оставленном на дне оврага оружии—Алёшкиной винтовке и ппш ефрейтора. Не хватало ещё в плен попасть. «Самострел», да ещё сдавшийся в плен,— вот это будет полный набор.

Сергей, примяв траву рукой, осторожно выглянул из оврага. Один мотоцикл остался стоять на дороге, а другой направился в их сторону.

— Алёшка, надо вниз, за оружием,— почему-то шёпотом сказал Сергей и увидел округлившиеся Алёшкины глаза.

— Ага,— ответил тот, продолжая лежать.— А успех? Они ведь нас сверху как в тире постреляют. — А так не постреляют!— разозлился Сергей.

Он уже приготовился катиться вниз, но вдруг треск мотоциклетного мотора стих. Готовый ко всему, Сергей, затаив дыхание, приподнялся.

Мотоцикл остановился метрах в ста от оврага. Двое немцев, один за рулём, другой в коляске, оставались сидеть в мотоцикле. А третий, с автоматом наизготовку, осторожно подходил к телу Асербоева. Видимо, убедившись, что ему ничего не угрожает, немец пнул труп и наклонился над ним. Когда он разогнулся, Сергей увидел в его руке полевую сумку, ту самую, что дал Асербоеву особист перед отъездом.

Немец бросил сумку в коляску и забрался на заднее сиденье. Мотоцикл затарахтел и покатился в сторону дороги.

— Фу,— шумно выдохнул Алёшка,— а я думал— всё, каюк.

Сергей улыбнулся:

— Штаны когда вытряхивать будешь? Сейчас или потом?

Алёшкин рот растянулся в улыбке:

— Да говорю же, я этих гадов в первый раз вижу. Серёга, а ты хоть одного убил?

— Нет, но видел, как их убивают, и понял...

Сергей не закончил. В степи нарастал какой-то гул. Кажется, сама земля гудела. Он приподнялся. То, что он увидел, скорее его удивило, чем испугало: из-за кургана один за другим выезжали танки.

— Два, три, четыре, пять,— считал он.

— Это чьи?— рядом появилась Алёшкина голова.

— Не знаю. Подойдут поближе—увидим. Семь, восемь, девять, десять. Вроде бы всё.

Серые коробки растянулись змейкой по дороге. Звук моторов становился всё громче и громче. И вот колонна въехала на дорогу, тянущуюся параллельно оврагу. На боках танков чётко обозначились чёрные, обведённые белым, кресты.

— Они что, решили сегодня провести перед нами парад военной техники?

— И это, Алёшка, ещё не весь парад. Насколько я понимаю, за танками должна идти пехота. Поэтому сматываться нам надо отсюда; неизвестно, как они

пойдут и не захотят ли осмотреть прилегающую местность.

Между тем танки, выпуская клубы чёрного дыма, начали расползаться по степи, перестраиваясь из колонны в боевой порядок.

— Всё, спускаемся вниз,— сказал Сергей и, оттакаясь рукой и ногами, лёжа на спине, съехал по зыбкому склону. На дне оврага он надел гимнастёрку, перекинул через правое плечо ремень автомата.

— Серёга, это же окружение,— Алёшка застёгивал поясной ремень с подсумком для патронов.— Они пришли по дороге, ведущей в штаб дивизии. Значит, штаб дивизии или отступил, или... Куда же нам идти?

— Тебе виднее, ты теперь за конвоира остался и несёшь полную ответственность за доставку меня к месту назначения. Помнишь, что сержант говорил? А мне теперь всё равно, что немцам в плен, что нашим под трибунал.

Алёшка ничего не ответил. Застегнув ремень, он засунул за пояс гранату с длинной ручкой, поднял с земли винтовку. Всё это он проделал с сосредоточенным видом.

— Откуда у тебя немецкая граната?

— В разведзвезде подарили. Видишь, у неё кольца, как у наших гранат, нет. Просто колпачок выкручиваешь, дёргаешь за шнурок и кидаешь,— сказал Алёшка, а потом вдруг спокойно добавил: — Шкура ты, Серёга. Обидели тебя. Выходи на дорогу, сдавайся.

— Кто шкура? Я?— Сергей схватил Алёшку за грудки.— Сам ты шкура, пригнулся на почте. А ты сходи в атаку. Побегай под пулями и снарядами, загляни фашисту в глаза, который тебя должен убить. И чтобы после всего этого тебя трусом и дезертиром назвали.

Резкое движение разбредило рану. Сергей отпустил Алёшку и, схватившись правой рукой за плечо, сел на землю. Алексей опустился рядом. — Да ладно тебе. Я же нарочно так сказал. Ну, чтобы в чувство тебя привести. А в почталльонах я, можно сказать, случайно оказался. Когда в полк прибыли, нас капитан из строевой части спросил: «Кто-нибудь на почте работал?» Ну, я и ляпнул, что работал. Я ведь действительно после детдома два месяца посылки на товарной станции в почтовые вагоны загружал-выгружал.

Сергей немного успокоился. Он смотрел на говорившего Алёшку, слушал отдалённые звуки боя, доносившиеся с передовой, и думал о том, что у него теперь даже документов нет. Его документы—красноармейская книжка и комсомольский билет—лежали в сумке, которую фашист снял с мёртвого Асербоева.

— Алёшка, ты дешённую местность знаешь? Ты же почту возил.

Алексей пожал плечами:

— Да что я там возил—от штаба полка до штаба дивизии. Знаю, что штаб дивизии располагался в Верхних Бузиновках, это в сторону Дона. Но ты сам видел, оттуда немцы пришли.

— Всё равно нам надо на восток идти. Наши не дадут фашистам через Дон переправиться, ведь дальше Сталинград.

— А как идти? Места здесь открытые, степь кругом.

— Ночами пойдём, а днём можно в оврагах да в лесках пересидеть.

Алёшка с сомнением покачал головой:

— В здешних лесках прятаться—всё равно что под столом в комнате, в которой этот стол—единственная мебель. А может, к нашим прорваться?—он мотнул головой в сторону хутора.

— Полк в окружении, ты что, ещё не понял? Как ты через немцев проберёшься? А если и проберёмся, свои же пристрелят по ошибке, там сейчас такая каша. Давай пройдем сколько можно оврагом, посмотрим, куда он выведет.

Они пошли по дну оврага в сторону, обратную той, откуда доносились звуки стрельбы и взрывов. А по дороге ехали машины и бронетранспортёры, набитые немецкими солдатами. Скоро всё это вражеское войско обрушится на зажатый в тиски полк.

1988 год

Шинкарёв, сидя на заднем сидении «Волги», смотрел на город, в котором не был больше сорока пяти лет. Да, Волгоград—это не тот Сталинград, который он видел в ноябре сорок второго. Тогда это был не город, а сплошные развалины, покрытые чёрным от копоти снегом. Сейчас Алексей Васильевич вряд ли узнал бы те места в городе, где проходили бои, в которых он участвовал. Да он и не пытался. Другое у него было на уме. Шинкарёв ехал на встречу с человеком, и этому человеку он решил открыть тайну, которую хранил большую часть своей жизни.

— Володя, останови, пожалуйста, где-нибудь, где цветы продают.

Володя, водитель «Волги», парень лет тридцати, кивнул головой:

— Сделаем, Алексей Васильевич, у нас в это время цветы на каждом углу продаются. Да хотя бы он тётки сидят. Давайте я схожу. Вам каких?

— Я не знаю, выбери сам.

Телеграмму от Галины Васильевны Шинкарёв получил через месяц после того, как отправил письмо. Она написала, что выезжает, указала дату прибытия и номер поезда.

Шинкарёв выехал с запасом в сутки. Жене объяснил, что едет на встречу с однополчанами. В Волгограде находился завод смежников, с директором которого Алексей Васильевич был знаком заочно. Когда-то постоянно общались по телефону, решали производственные проблемы, спорили, иногда даже ругались. Директор принял

бывшего коллегу хорошо, устроил в ведомственную гостиницу, выделил на три дня автомобиль.

Подъехали к вокзалу. До прихода поезда оставалось полчаса. Шинкарёв взял цветы, вышел из «Волги».

— Вас проводить?—спросил Володя.

— Нет, спасибо. Думаю, не заблужусь.

Алексей Васильевич зашёл в здание вокзала, поискал взглядом двери с табличкой «Выход к поезду». Волновался ли он? Да, наверное, ведь в какой-то степени предстояла встреча с прошлым.

Алёшкину сестру он никогда не видел. Она жила не в детдоме, а с бабушкой. Алёшка каждое воскресенье ходил, как он говорил, «домой», то есть к бабушке. У большинства детдомовских такой возможности не было, и Алёшке страшно завидовали.

Шинкарёв вышел на перрон, нашел свободную скамейку, сел. Он не помнил, чтобы Алёшка рассказывал что-нибудь про свою мать. Зато про отца говорил, что он был кадровым командиром и погиб во время советско-китайского конфликта на КвЖД, когда Алёшке было пять лет. Может, это так и было, а может, и нет. Детдомовские дети часто придумывают себе родителей, обычно в те годы это были лётчики, полярники, военные. Своих родителей он не помнил по той простой причине, что был подкидышем. Весной двадцать четвёртого его, завёрнутого в одеяло, нашли на крыльце приюта.

Шинкарёв посмотрел на часы: скоро уже. Поднялся, стал прогуливаться по перрону. Как воспримет Алёшкина сестра всё то, что он хочет ей рассказать? Поверит ли?

«Внимание, скорый поезд Новосибирск—Адлер прибывает на второй путь первой платформы...»

Шинкарёв достал телеграмму, ещё раз посмотрел номер вагона. Так, а с какой стороны прибудет поезд? Ах да, конечно, оттуда. Он до сих пор так и не решил, как же он ей представится, каким именем, ну да теперь всё равно. Ну вот и поезд появился, замелькали вагоны, он не успевал читать таблички с номерами. Пятый, шестой, седьмой... постепенно поезд замедлил движение, наконец остановился... одиннадцатый. Надо пройти на вагон назад—двенадцатый, вот он.

Шинкарёв стал всматриваться в выходящих из вагона пассажиров. Так, молодой парень в варёном джинсовом костюме; мужчина, женщина, двое детей—видимо, семья; ещё женщина. Может, это она? Нет, слишком молода, лет сорок пять, наверное. Военный, лейтенант, сошёл по ступенькам, подаёт кому-то руку. В дверях появилась пожилая худенькая женщина. Спустившись на платформу, она поблагодарила лейтенанта, стала смотреть по сторонам, явно ища кого-то.

— Здравствуйте, Галина Васильевна, это я. Это вы мне писали.

Женщина посмотрела внимательно на Шинкарёва, улыбнулась:

— Здравствуйте, Алексей Васильевич.

Шинкарёв взял у неё из рук небольшую сумку, протянул цветы.

— Ой, спасибо, — смутилась Галина Васильевна.

— Как доехали?

— Спасибо, хорошо. Отвыкла, правда, от поездов, давно уже никуда не ездила.

— Сейчас проедем в гостиницу, отдохнёте с дороги.

— А что, разве не сразу?..

— Нет. Дорога неблизкая, больше сотни километров. Проедем завтра с утра. И я ещё должен вам кое-что рассказать.

— Да, да, конечно, — её голубые, слегка выцветшие глаза смотрели на него так, словно она знала, о чём он хочет ей рассказать.

1942 год

Солнце палило нещадно. Степь как будто звенела от раскалённого воздуха. Знойное марево искажало пространство так, что линия горизонта казалась не ровной, а волнистой. Уже вторые сутки Сергей с Алексеем пробирались на восток; во всяком случае, они надеялись что идут на восток. По звёздам ориентироваться они не умели, просто запоминали ту сторону, откуда встаёт солнце.

— Как определить стороны горизонта в лесу, нас учили: мох на пнях, ветки где гуще и тому подобное, а вот насчёт степи я не помню, — рассуждал Алёшка.

Он лежал на спине, прикрыв глаза пилоткой.

— А как воду в степи найти, ты, случайно, не помнишь? — спросил Сергей, пытаясь из гимнастёрки соорудить головной убор наподобие чалмы.

— Почему не помню? Помню. Надо найти какой-нибудь населённый пункт и попросить напиться. Кстати, так же можно добыть и еды.

Вчера вечером они съели два сухаря, завалявшиеся в кармане у запасливого Алёшки. Час назад допили последнюю воду, из его же фляжки.

— Да? Слушай, как я сам не догадался? — Сергей улыбнулся пересохшими губами. — Бугор вон тот видишь?

— Ну.

— Мы когда ночью шли, его не заметили. А утром, пока ты дрых, я на него слазил.

— Ну и что ты там увидел?

Сергей взял автомат.

— Пошли вместе посмотрим.

Они поднялись по покатоному склону, густо поросшему травой. Прошли метров сто пятьдесят, пока не достигли вершины. Сверху степь просматривалась на несколько километров. Внизу, под бугром, начинались заросли камыша, растянувшиеся не на одну сотню метров. Дальше за камышами — ровная степь, затем виднелись дома — судя по их количеству, это был небольшой хутор.

— Что скажешь? — спросил Сергей.

Алёшка, сняв пилотку, поскрёб грязной пилоткой голову:

— Я что думаю: если камыши, значит, вода есть.

— Ага, ты помнишь, какая у нас в курях вода? Солёная. Я не об этом, я о хуторе. Можно через камыши подойти поближе и посмотреть: может, разберёмся, есть там немцы или нет.

— Ну а что? Может, кто против, лично я — за.

В камышах воды не было никакой — ни солёной, ни пресной. Потрескавшаяся глинистая почва по краю зарослей ближе к центру переходила в липкую грязь.

Алёшка, разгребая двумя руками стебли, отплываваясь от сыплющегося камышового пуха, рассуждал:

— Это ж надо: рядом такие большие реки, Волга и Дон, — и такая сухота.

Примерно через полчаса ходьбы камыш стал редеть, и вот, наконец, закончился. Сергей упал на траву, Алёшка — рядом. Прогулка по зарослям только усилила жажду, в горле першило от пуха. До хуторских огородов оставалось метров триста.

Алёшка перевернулся на живот; подняв голову, стал смотреть на хутор.

— Серёга, по-моему, немцев там нет.

— Почему ты так решил?

— Да тихо как-то.

— Что ж они, по-твоему, должны на губных гармошках играть да флаги над каждой хатой вывешивать?

Алёшка повернулся к Сергею:

— Ну и что будем делать? Отсюда ни черта мы не разглядим.

Сергей лежал на спине и молчал. Сейчас идти опасно, открытое пространство хорошо просматривается с хутора. Идти ночью? До темноты ещё далеко. Ночью каждый шорох в сто раз слышнее. А если уж на собаку набредёшь — лай поднимется по всей округе. Если на хуторе немцы, ночью они обязательно часовых выставят. Это днём они чувствуют себя хозяевами. А, будь что будет.

— Сейчас пойдём.

Алёшка кивнул головой. Сергей лёг на живот: — Рванём до ближайшего огорода бегом, а там посмотрим. Ну что, пошли?

Он, опершись на руки, приготовился вскочить. — Подожди, — остановил его Алёшка. — Видишь?

Сергей посмотрел туда, куда показывал Алёшка. С того места, где они лежали, были видны край хутора и часть дороги, ведущей к околице. По этой дороге лошадь тянула телегу с копной сена. Кто управлял лошастью, было не видно.

— Правильно, Алёшка, лишние глаза нам сейчас ни к чему.

Они подождали, когда подвода скроется за первой хатой, и побежали. Расстояние до огорода преодолели в три приёма. Проползли под

жердинами, ограждающими огород от скотины. По участку, засаженному картофелем, передвигались на четвереньках, благо ботва была высокой. Когда картофельное поле кончилось, остановились. Дальше шли грядки, ещё дальше — сарай. Полежали, отдышались. Алёшка протянул к ближайшей грядке руку, вытащил из земли морковку. Потерев её о гимнастёрку, он с хрустом откусил почти половину.

— Уже живём, — ощерился он перепачканным землёй ртом.

Глядя на него, Сергей тоже улыбнулся: много ли человеку для счастья надо?

— Ты лежи здесь, жуи морковку, а я к сараю, посмотрю, что там дальше.

— Угу, — промычал Алёшка, не переставая жевать.

Сергей встал и на полусогнутых бросился к сараю. В это время из-за сарая вышла женщина с ведром в руке. Увидев бегущего Сергея, она с криком: «Ой!» — выронила ведро. Из опрокинутого ведра вылилась вода. Несколько секунд женщина и Сергей стояли, испуганно глядя друг на друга. Первым пришёл себя Сергей и охрипшим от волнения голосом сказал:

— Здравсьте.

— Здравствуйте, тётенька, — Алёшка поднялся из ботвы.

— Господи. Сколько вас здесь? — «тётенька», которой было не больше тридцати лет, перевела взгляд на Алёшку.

— Двое нас, — сказал Сергей и зачем-то добавил: — Мы свои.

— Да вижу, что не мои, — ухмыльнулась женщина.

Она нагнулась и стала отряхивать облитую водой длинную юбку, затем, поправив завязанный на подбородке светлый платок, спросила:

— И откуда ж вы, такие чумазые, взялись?

Алёшка, закинув винтовку за плечо, деловито произнёс:

— Мы, тётенька, из окружения выходим. Ты нам скажи: фашисты в деревне есть?

— В деревне, племянничек, есть ли, нет, не знаю. А на хуторе зараз нет. Надьсь цельный день по большаку на танках да на машинах ехали, но у нас, слава Богу, не останавливались. Видно, торопились, за Красной Армией не поспевают, дюже быстро бегают наши красные армейцы, — женщина насмешливо посмотрела на Сергея с Алёшкой, — а которые не бегают, так те в ботве прячутся.

Но Алёшку несколько не смутил насмешливый тон женщины.

— Много ты понимаешь, чтоб так о Красной Армии говорить. Война нынче манёврнная, тактика такая.

— Ну куда уж нам понять, когда до самого Дона доманёврили.

Сергей, поняв, что разговор ничем хорошим не кончится, сказал:

— Нам бы попить.

Женщина, посмотрев на Сергея, замолчала, подобрала ведро.

— Так бы сразу и сказали, а то выскочили из ботвы как оглашенные. Манёвры у них. Зараз принесу, на баз не суйтесь, мне лишние хлопоты ни к чему.

Гремя пустым ведром, она ушла. Сергей сел, привалившись к стенке сарая.

— Алёшка, мы сейчас не в том положении, чтобы умничать.

— Ну а чо она критику наводит?

— А разве она не права?

— Может, и права. А ты тоже молодец: «нам бы попить»... А как насчёт поесть?

— Не навоевали мы с тобой на «поесть».

— Что, совесть замучила за всю Красную Армию? А меня нет, я на фронте только второй месяц, а ты и того меньше. Думаешь, у меня совести нет? Есть. Только она не такая большая, как у тебя. На взвод не хватит, не то что на армию. Если мы с тобой стыдиться будем, то до ближайшей полевой кухни, где нас покормят на законном основании, не доберёмся, с голодухи подохнем.

В это время из-за сарая вышла женщина. Она несла два ведра с водой, под мышкой ковшик, на плече висело полотенце.

— Вот, попейте да умойтесь, а то срамно смотреть: чёрные, в пуху все, как будто вас драной подушкой били.

Она поставила на землю ведра, ковшик опустила в ведро. Полотенце повесила на торчащий из стенки сарая гвоздь и, плавно качая бёдрами, ушла.

Алёшка зачерпнул литровым ковшом воду, протянул Сергею. Сам же поднял двумя руками ведро и, проливая воду на грудь, начал пить. Напившись, поставил ведро, стянул через голову гимнастёрку, нателную рубаху.

— А ну-ка полей.

Сергей лил воду на Алёшкину голову, на спину; тот, фыркая, растирал грязь по телу. Затем, улыбающийся, с мокрым ёжиком волос, Алёшка лил воду на голову Сергею.

Сергей, боясь разбередить рану, не стал раздеваться. Остатки воды слили во фляжку. Только закончили водные процедуры — появилась хозяйка с узелком в руке.

— Тебя как зовут, хозяйка? — сидя на чурке, подбоченившись, спросил Алёшка.

— А что, никак замуж позвать хочешь? — улыбнулась женщина. — Дак ить молод ещё. Вон усы токо-токо пробиваются. Клавдией меня величают. А знакомства заводите нам некогда.

— Это почему? — спросил Алёшка, косясь на узелок.

— Да потому, касатик, что идти вам надо. Были бы вы дети малые али старики немощные, тогда другой разговор, приютила бы. А так как вы хлопцы взрослые, к воинскому делу пригодные,

ступайте немца воевать. Вот вам харчи кое-какие—и с Богом.

Сергей, сидя на земле, расшнуровывал ботинок. Услышав последние слова хозяйки, зашнуровал ботинок, встал, взял автомат.

— Ну что ж, спасибо вам, Клавдия, нам действительно пора. Алексей, собирайся.

Алёшка молча посмотрел на Клавдию, потом на Сергея, опять на Клавдию, потянулся за гимнастёркой. Уже застёгивая ремень, картинно поклонился:

— Спасибо, тётя Клава, за гостеприимство. Как

говорится, разрешите откланяться. Серёга, где наша большая пушка? Пора нам врага проклятого остановить. Сейчас выкатим её на большак и как...

— Алёшка, перестань,—не выдержал Сергей.

— А что, пускай пошуткует, коль такой весёлый,—сказала Клавдия.—А обижаться тут нечего. Немец придёт—куда я вас спрячу, под подол, что ли? Места у нас открытые, степь кругом. А узелок возьмите, голодные, небось.

— Какой узелок?—равнодушно произнёс Алёшка.—А, узелок. Ну что ж, возьмём, а то что-то у нас тылы отстали.

До городьбы дошли молча. Сергей оглянулся, идущий сзади Алёшка задумчиво тёр пальцем под носом.

— Что, усы ищешь?

— А,—Алёшка махнул рукой.—И что это за баба такая? Что ни предложение, то политбеседа. Ей бы звёзды на рукава пришить—готовый политрук. А провиант всё-таки дала. Эх! Сейчас дойдём до бугра, подхарчимся. Серёга, только давай камыши эти обойдём.

Они уже отошли метров на двести от огорода, когда услышали звук мотора. По дороге ехал бронетранспортёр.

— Ложись!—скомандовал Сергей и первым упал на траву.

— Поздно, Серёга! Они нас заметили. Бежим к курье!

Действительно, бронетранспортёр свернул с дороги и, подпрыгивая на кочках, покатил в их сторону.

Сергей, закинув ппш за спину, рванул с низкого старта. Впереди бежал Алёшка, размахивая узелком. Длинная винтовка больно била по спине.

«Та-та-та...»—с бронетранспортёра застучал пулемёт. И тотчас над головой засвистели пули. Алёшка присел.

— Вперёд!—крикнул Сергей, обгоняя его.—Это тебе не самолёт, мимо не пролетит.

Заросли камыша приближались, но, казалось, очень медленно. Следующая очередь прошла уже не сверху, а чуть сзади, Сергей это почувствовал спиной, пятками. Он оглянулся и увидел лежащего Алёшку.

— Алёшка!

Сергей кинулся к нему, схватил за шиворот и поволок в камыши. И откуда только силы взялись? Он тащил Алёшку, ломая стебли, чем дальше, тем глубже проваливаясь в липкую жижу. Тащил, пока хватало дыхания, пока камыш не встал впереди непреодолимой стеной. Повалившись на эту стену, Сергей не упал, а съехал по ней вниз. Где-то стрелял пулемёт, но куда стреляли, было непонятно—видимо, лупили наугад. Сергей не мог отдышаться, в груди хрипело, руки и ноги тряслись от перенапряжения. Немного восстановив дыхание, Сергей наклонился над Алёшкой. Алексей лежал неподвижно.

— Алёшка!—он тряс его за плечи, Алёшкина голова болталась из стороны в сторону.—Куда тебя?

Сергей попытался найти рану. Но на сплошь залепленном чёрно-коричневой грязью теле обнаружить пулевое отверстие или следы крови оказалось невозможно. Он опустил голову, устало закрыл глаза.

Как-то, когда им было лет по двенадцать, Алёшка предложил: «Серёга, а давай убежим в Испанию».—«С фашистами воевать?»—«Конечно. А ещё, знаешь, там виноград растёт и апельсины. Ты ел апельсины?»—«Нет, а ты?»—«И я нет».

Вроде бы стрелять перестали, и мотора не слышно. Надо пойти посмотреть, не век же сидеть в этом болоте. Сергей поднялся, потянув за ствол, перетащил автомат со спины на грудь и пошёл по своим следам. Шёл и удивлялся, как у него хватило сил так далеко затащить Алёшку.

Наконец заросли поредели. Сергей, пригнувшись, прошёл ещё немного. Затем осторожно привстал, осмотрелся. Бронетранспортёра не было. Сергей вышел из камышей, сел на траву. В том, что Алёшка мёртвый, сомнений не оставалось. Надо вытащить его из этой грязи. А потом? Потом видно будет.

Назад Сергей нёс Алёшку на себе, несколько раз останавливаясь, чтобы отдохнуть. Выйдя на берег, опустил тело. Аккуратно положить не получилось, голова ударилась о землю. Сергей растянул Алёшкин ремень, отложил в сторону выпавшую гранату, задрал гимнастёрку. Пуля вошла в грудь с левой стороны. Ранка, размером с копеечную монету, находилась сантиметрах в пяти левее соска.

Сергей сел на траву. Рядом лежал Алёшка. Больше не услышит он его голоса, его смеха никогда. Какое страшное слово—«никогда», какая безысходность в нём. Как, оказывается, просто умирают люди. Как легко люди убивают друг друга. Немец, который застрелил Алёшку, наверное, уже забыл о том, что он убил человека. А за что? Мальчишка, выросший без отца, без матери, всё детство полуголодный,—что он сделал ему плохого? Немец забыл, ну да ничего, напомним. Сколько можно бегать от них, прятаться? Пусть полки, дивизии,

армии отступают, а ему надоело. Да и что его ждёт, если он доберётся до своих? Трибунал, позор. Смерть мгновенна, он за двое суток видел это дважды, а позор — навсегда.

Сергей надел Алёшкин ремень, засунул за пояс гранату, взял автомат. Надо сказать на хуторе, чтобы похоронили. И ещё, наверное, надо забрать документы, чтоб не считали Алёшку пропавшим без вести или, того хуже, сдавшимся в плен.

Расстегнув нагрудный карман Алёшкиной гимнастёрки, Сергей вытащил две размокшие книжечки — красноармейскую и комсомольский билет. Положив документы себе в карман, он повернулся и пошёл, не оглядываясь. Он шёл к хутору, шёл, не прячась, и впервые за последние двое суток не боялся, что его кто-нибудь заметит. Как хорошо не бояться, думал он. Больше он не полезет на карачках по картошке. Найдя проулок между двумя огородами, Сергей пошёл по нему.

В одном из огородов стояла старушка и из-под руки смотрела на Сергея. Когда он поравнялся с ней, она всплеснула руками:

— Куды ж ты, милоч, идёшь? На хуторе немцы.

— Сколько их, бабушка?

— Да, кажись, пятеро, на железной машине.

— А где?

— Туточки они, окаянные, у колодца плещутся. Поберётся бы ты, солдатик.

— Пусть они берегутся, это они на чужой земле, а я на своей.

Старая женщина, приложив морщинистую руку ко рту, покачала головой:

— Ить не одолеешь один-то.

— Ну, хоть одного-двух положу — и то хорошо.

Сергей уже повернулся, чтобы идти, но, вспомнив об Алёшке, сказал:

— Бабушка, просьба у меня к вам. Друга моего фашисты убили, те, что сейчас на хуторе. Он там, возле камышей, лежит. Похоронить его надо по-человечески.

— Ох, сердешные, лихо-то какое, — старушка вытерла концом платка слезящиеся глаза. — Конечно, похороним. Нешто мы не христьяне?

— Спасибо.

Сергей снял с плеча автомат и пошёл вверх по проулку.

— Спаси те Христос, — услышал он голос старушки.

Огороды кончились. Сергей, пригнувшись, прокрался вдоль дворового плетня. Остановившись на углу, осторожно высунул голову. В ста метрах дальше по улице он увидел бронетранспортёр, стоявший возле высокого тополя; шагах в десяти от тополя — сруб колодца. У колодца двое, нет, трое, обнажённых по пояс, ещё один торчит из бронетранспортёра. Так, а где пятый? Бабка говорила, что их пятеро. Эх, далеко, отсюда не достать.

Сергей отполз от угла. За хатой он перелез через плетень, пробежал по пустому двору. Перемахнув

ещё один плетень, попал в небольшой сад. Сад — это хорошо, несколько яблонь закрывали его от улицы. Сергей лёг на землю, пополз, прячась за стволами, к внешнему плетню. Дополз, посмотрел в щель между прутьями. Вот они, как на ладони, шагах в двадцати от него.

Двое у колодца, хохоча, поливают друг друга из ведра, третий чуть в стороне, на голом животе болтается автомат. На бронетранспортёре никого нет. Куда он же делся? Зато у тополя Сергей увидел пятого. Тот сидел, привалившись к дереву; рядом стоял автомат.

«Обнагтели, гады, ведут себя как дома. Но ничего, сейчас я вас приведу в чувство». Сергей вытащил из-за пояса гранату. Как там Алёшка говорил: открутить колпачок, дёрнуть за шнур? Готово. Раздался щелчок. Он встал, швырнул гранату. Она упала возле колодца. Сергей ждал взрыва, но его не было.

Немец, у которого на шее висел автомат, обернулся и с удивлением посмотрел на лежащую гранату. И в этот момент грохнуло. Сергей упал под плетень. Он услышал свист пролетевших осколков, где-то зазвенело разбившееся стекло. Сергей поднял голову: двое немцев лежали неподвижно у колодца, третий, схватившись за живот, катался по земле и орал как поросёнок. Тот, что сидел у тополя, сейчас лежал на животе и ошалело крутил головой. Он, очевидно, не мог понять, что произошло, откуда исходит опасность. Немного придя в себя, немец потянулся за автоматом, но взять его не успел. Сергей, встав в полный рост, выпустил длинную очередь из ппш. И хотя расстояние было небольшое, он не попал. Сказалось отсутствие опыта стрельбы из автомата, пули прошли выше цели, сбив несколько веток с тополя. Но этого хватило для того, чтобы немец оставил попытку взять оружие. Он вскочил на карачки и пополз к бронетранспортёру. Сергей перемахнул через плетень и пошёл через улицу.

— Что, падла, боишься? Жить хочешь? Алёшка тоже хотел жить! А вы его, суки...

Видимо, у немца не выдержали нервы, он вскочил и побежал. Сергей вскинул автомат и нажал курок. Немец, уже схватившийся за край борта машины, разжал пальцы и медленно сполз вниз. В этот момент Сергей увидел в боковой амбразуре бронетранспортёра ствол автомата, прозвучала похожая на стрёкот сороки очередь. Удар в грудь — и земля ушла из-под ног. Он упал, стало больно дышать.

«Ну вот и меня убили», — подумал Сергей и закрыл глаза. Он уже не видел, что с другого конца улицы в хутор въезжают танки с десантом на броне.

1988 год

— Я открою окно, с вашего разрешения. Что-то душно стало, — Шинкарёв щёлкнул шпингалетами,

и в комнату хлынула волна ещё не остывшего за вечер воздуха.

Галина Сергеевна сидела за столом, подперев голову рукой. Вот уже около часа она слушала рассказ Алексея Васильевича, не проронив ни слова. Шинкарёв был благодарен ей, что она не перебивала его, не задавала вопросов. Сейчас главным для него была возможность высказаться, вытащить наружу то, что тяготило сорок с лишним лет. Наверное, это можно было назвать исповедью.

— Очнулся я только в госпитале, после операции. Пуля задела лёгкое. И вот там, в госпитале, всё и произошло.

Шинкарёв подошёл к столу, сел, отхлебнул из чашки давно остывший чай.

— Понимаете, я не сразу понял, почему женщина-врач, которую позвали, когда увидели, что я пришёл в сознание, назвала меня Шинкарёвым. Она спросила: «Ну как дела, герой?» А потом говорит, что самое худшее теперь позади и что если бы тебя доставили хоть немного позже, мы бы, товарищ Шинкарёв, с тобой сейчас не разговаривали. Я ей сказал, что Шинкарёв погиб. А она: «Э, да ты ещё от наркоза не отошёл. Ну ничего, полежишь, отдохнёшь и поймёшь, что не погиб ты, что живой». Честно говоря, я тогда не стал спорить, сил не было. Позднее я узнал, что танковый батальон, проходивший через хутор, долго там не задержался. Оставили со мной санинструктора и двинулись дальше. Фашисты к тому времени подходили к Дону. Комбат приказал санинструктору записать мою фамилию и сдать меня в медсанбат, что тот и сделал, вытащив у меня из кармана Алёшкины документы и переписав данные. В медсанбате, видимо, никто моими документами не интересовался. Доставивший раненого санинструктор сказал, что это красноармеец Шинкарёв Алексей Васильевич, тысяча девятьсот двадцать четвёртого года рождения, — значит, так оно и есть. Потом меня отправили в госпиталь. В сопроводительных документах значилась фамилия «Шинкарёв». Естественно, что и в госпитале перепроверять не стали. Да ещё месяца через полтора мне прямо в госпитале вручили медаль «За отвагу». Оказывается, командир танкового батальона подал на меня представление, в котором написал, что я уничтожил вражеский дозор, тем самым обеспечил внезапность атаки. А при выписке из госпиталя красноармейскую книжку мне заменили на новую, ввиду того что старая пришла в негодность. Позже, уже в части, выдали новый комсомольский билет, на старом отклеилась и потерялась фотография. Вот так я и стал Шинкарёвым. Вы спросите меня, почему я не сказал правду? Почему не назвал свои настоящие имя и фамилию? Испугался?

Алексей Васильевич встал, прошёлся по комнате, посмотрел на Галину Васильевну. Она сидела

неподвижно, только рукой водила по скатерти, словно хотела разглядеть на ней стрелку от утюга. — Да, я испугался. Ведь как я думал тогда? Ну скажу я, что моя фамилия не Шинкарёв, а Тимошин. И что дальше? А дальше меня спросят: «А где твои документы?» И что я отвечу? Потерял? Тогда отправят запрос в полк. И всплывёт история с самострелом. Вот чего я испугался. И как потом выяснилось — зря. В октябре, когда я выписался из госпиталя, кадровик в отделе комплектования, посмотрев документы, сказал, что мой полк был полностью уничтожен в окружении. И ещё он сказал, что, скорее всего, на весь личный состав отправили извещения как на без вести пропавших. Так что, говорит, напиши домой, обрадуй родных, что живой. Так я попал в шестьдесят вторую армию, которая обороняла Сталинград. Участвовал в окружении армии Паулюса, затем курсы младших лейтенантов, командовал взводом, ротой, дошёл до Берлина. После войны окончил институт, работал, стал директором завода, теперь пенсионер. Вот такая история. Галина Васильевна, вы первый человек, кому я её рассказал, значит, вам первой меня судить.

— Алекс... Алексей Васильевич, какой я вам судья? Да и за что вас осуждать? Вы прожили достойную жизнь. И разве кому-то стало бы лучше, если бы сложилось по-другому? А Алёша, Алёшка, я думаю, понял бы, не обиделся. Что же касается вашей настоящей фамилии, то, как я поняла, не такая она и настоящая. Откуда она у вас?

— Да, вы правы, детдомовские дети получают фамилии и отчества порой самыми необычными способами. Насколько я знаю, своей фамилией я обязан некоему мужчине, шедшему утром мимо приюта. Так вот идёт человек по своим делам, видит — на крыльце лежит свёрток; подошёл он, посмотрел, видит — ребёнок, завернутый в одеяло. Постучал он в двери и говорит: «Что же это у вас дети под порогом валяются?» Нянечка, вышедшая на стук, взяла ребёнка на руки и спросила: «Как ваша фамилия, гражданин?» — «Тимошин Михаил», — улыбнулся человек и ушёл. Так я стал Тимошиным Сергеем Михайловичем, — Шинкарёв посмотрел на часы. — Поздно уже, пойду я к себе в номер. И вы ложитесь, отдыхайте. Завтра в семь часов выезжаем.

Он встал, пошёл к двери и, уже взявшись за ручку, обернулся:

— Спасибо вам, за понимание спасибо.

1988 год

Уже больше часа «Волга» везла их по прямой, как стрела, трассе. Коридор из пирамидальных тополей отгораживал дорогу от степи. Чистое небо и солнце, находящееся на полпути к зениту, обещали жаркий день.

Водитель Володя, на правах аборигена, рассказывал о здешних местах, о природе, о рыбалке, о видах на урожай. Галина Васильевна активно поддерживала разговор, особенно её интересовало, что и как выращивают здесь на своих огородах и садах.

Алексей Васильевич больше слушал, чем говорил. И ещё думал о том, что прошагал он и прополз отсюда и до границы, от границы и до Берлина и что не замечал он тогда красот природы. Зимой мёрз в окопах и землянках, весной и осенью месил грязь по раскисшим дорогам, летом изнывал от жары на маршах. И только в мае сорок пятого, когда вдруг смолкли последние выстрелы, весна наполнила душу, он увидел, что цветут сады, почувствовал, как пахнет зелёная трава и что ему всего лишь двадцать один год. А впереди вся жизнь, мирная жизнь.

Володя остановил «Волгу», пропуская встречные машины.

— Ну вот, сейчас свернём налево, а там ещё километров двадцать — и на месте. Дорога тут тоже хорошая, к Цимлянскому водохранилищу идёт. Эх, жалко, не доедем до него, там красота такая...

Шинкарёв не слушал Володю, он пылливо всматривался в окружающую местность, надеясь увидеть что-то знакомое. Нет, ещё рано, ведь они шли в стороне от больших дорог. Но сердце уже начало учащённо биться, словно его ждала встреча с живым Алёшкой, встреча с тем далёким временем. Он заметил, что и Галина Васильевна как-то напряглась, ловил на себе её взгляды, полные надежды. Володя тоже замолчал: водители персональных машин — неплохие психологи, чувствуют настроение пассажира.

Минут через двадцать впереди начали угадываться очертания населённого пункта, раскинувшегося по обе стороны от дороги. Чем ближе подъезжали, тем больше Шинкарёв сомневался, тот ли это хутор. Кирпичные дома, кое-где двухэтажные, да и асфальтовой дороги здесь не было. Хотя, с другой стороны, что он ожидал увидеть? Белые мазанки полувековой давности? Ведь на «консилиуме», устроенном в кабинете директора-смежника, выяснили, что хутор, о котором спрашивал Шинкарёв, теперь не хутор, а центральная усадьба совхоза. Даже название другое, старое кое-как вспомнили, кто-то из присутствующих оказался из этих мест.

Когда до первых домов осталось примерно с километр, Шинкарёв посмотрел налево.

— Володя, — сказал он с волнением, — посмотри, пожалуйста, вон туда, у тебя глаза помоложе. Что там такое?

Володя, чуть сбросив скорость, повернул голову. — Кажется, памятник, Алексей Васильевич.

— Памятник?! Давай к нему.

Володя покачал головой:

— Алексей Васильевич, у меня легковушка, а не БТР, сейчас сворот найдём и подъедем.

— БТР, говоришь? Правильно, здесь он и повернул.

— Кто повернул? — Володя удивлённо посмотрел на Шинкарёва.

— Бронетранспортёр, из которого по нам стреляли.

Володя понимающе кивнул. Он сбросил скорость и внимательно смотрел вперёд.

— Есть. Есть дорога, Алексей Васильевич.

«Волга» свернула на просёлочную дорогу и, слегка покачиваясь, покатила к памятнику. Когда подъехали, Шинкарёв вышел из машины, огляделся. Да, сомнений не оставалось, это было то самое место, где он оставил мёртвого Алёшку. Вон в пятистах метрах огорода. Вот только вместо камышовых зарослей прямо за обелиском раскинулось пшеничное поле.

— Скажите, это здесь?

Шинкарёв не заметил, как подошла Галина Васильевна. На её плечах он увидел чёрную козынку.

— Да, Галя, Алексей погиб здесь. Пойдём к обелиску.

Она накинула на голову косынку, Шинкарёв взял её под руку, и они пошли по выложенной плиткой дорожке.

Обелиск был огорожен невысокими металлическими столбиками, которые соединялись между собой цепями. Три ступеньки вели на выложенную мрамором платформу, и уже с этой платформы уходила в небо трёхметровая пирамида, увенчанная звездой.

Шинкарёв прочитал надпись на обелиске: «Здесь покоятся останки неизвестного советского солдата, погибшего в неравной схватке с немецко-фашистскими оккупантами в июле 1942 года. Имя твоё неизвестно — подвиг твой вечен».

— Вот, — тихо сказал Шинкарёв, — значит, и похоронен он здесь, сдержала бабка слово. Ну, здравствуй, Алексей.

Галина Васильевна, вытирая носовым платочком глаза, опустила на колени.

— Какая у тебя могилка, братик...

У подножья пирамиды лежал букет ещё не завядших красных гвоздик.

Тишину нарушил шум подъехавшей машины. Из крытого брезентом «уазика» вышел полноватый человек лет пятидесяти. Одет он был в светлые брюки и рубашку.

— Здравствуйте, люди добрые.

Приехавший протянул руку сначала Алексею Васильевичу, затем Володе.

— Ермаков Василий Степанович, председатель сельского совета, — представился он и сразу продолжил: — Мне тут наши местные сороки на хвосте принесли, что, мол, к памятнику «Волга» подъехала, вполне возможно — начальство какое-то.

Шинкарёв грустно улыбнулся:

— Да нет, не начальство мы. Мы вот к нему, — он кивнул в сторону обелиска.

Ермаков недоверчиво посмотрел на Алексея Васильевича:

— Постойте, так вы что, знаете, кто здесь похоронен?

— Знаю. В июле сорок второго он погиб вот на этом месте, на моих глазах. А эта женщина — его сестра, — Шинкарёв показал на оставшуюся у обелиска Галину Васильевну.

— Вот это дела, — удивлённо воскликнул Ермаков. — Так вы, значит, тот, второй?

— Какой второй?

— Ну, понимаете, я-то во время войны пацаном был. Жила у нас на хуторе женщина, Клавдией её звали...

— Подождите, — Шинкарёв прервал председателя. — Клавдия жива?

— Нет, к сожалению, лет пять как померла. Так вот она рассказывала, что в тот день, когда на хуторе бой был, а точнее — перед боем, к ней приходили два солдата, попить просили. Ну, она их напоила, харчей на дорогу дала, и они ушли. А тут немцы. В общем, один здесь погиб, а второй жив остался и потом уже, на хуторе, немцев-то и перебил. Помню, немецкая бронемашина с неделю на улице стояла. Мы, детвора, лазили по ней, пока наши её не забрали.

— А кто похоронил его? — спросил Шинкарёв.

— Да кто — всем миром и хоронили, деды могилу копали, мужиков-то, понятное дело, на хуторе

тогда не было. А главное, Клавдия эта постоянно за могилкой ухаживала, пока в шестьдесят пятом, к двадцатилетию Победы, памятник не поставили. Тогда уж школьники шефство над ним взяли. Тут ведь и в пионеры принимаем, и новобранцы сюда приезжают. А как же, могила неизвестного солдата, как в Москве. Кстати, у нас и музей боевой славы лучший в районе.

— Послушайте, Василий Степанович, есть теперь имя у этого солдата! У вас есть на чём писать? Я назову его. Хотя нет, не надо писать.

Сергей достал из внутреннего кармана пиджака коробочку и удостоверение на медаль.

— Вот, возьмите в музей. Это медаль «За отвагу», его медаль, и удостоверение на его имя. Хотел её сестре отдать, но, думаю, в музее эта медаль нужнее будет. А сестра поймёт, я знаю.

Прошла неделя. Где-то высоко в небе пел жаворонок, степной ветер гонял волны по золотому морю пшеницы. В траве стрекотали кузнечики.

А над степной равниной возвышался обелиск, на котором сверкала металлическая табличка с надписью:

КРАСНОАРМЕЕЦ
ШИНКАРЁВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1924 г. — 1942 г.

В июле 1942 года красноармеец
Шинкарёв А. В. погиб в неравной схватке
с немецко-фашистскими оккупантами.

Николай Варнавский

Листвянка

Первые поселенцы появились в этих местах более трёхсот лет назад. Левый берег речки Тёмная, прозванной так, вероятно, из-за глубины, а может, и по другим каким тайным причинам — места-то здесь глухие, привлек их сравнительно ровным открытым берегом и обширным по обе стороны редколесьем, которое в первые же годы обживания местности было значительно вырублено — пошло на первоначальные постройки и большей частью на дрова.

На избы таскали зимой листья с правого берега, который в округе был лесистее и гуще (наверное, поэтому и назвали поселение Листвянкой). Дома сразу ставили добротные, с прицелом на будущее, по едокам в семье: ртов было много, рабочих рук тоже, и каждая семья стремилась укорениться и жить своим родовым гнездом.

И до сих пор основная часть жилого фонда деревни состоит из таких вот «гнезд», возрастом не одно столетие, в которых выросло и разъехалось по земле не одно поколение листвянцев, где и сейчас живут родичи тех, кто их строил.

Часть домовладельцев во времена раскулачивания и разгрома сплошной коллективизации была выселена и истреблена, хозяйства разорены и реквизированы, но дома, как немые свидетели тех событий, почернев от времени, всё так же укоренившейся грядой тянутся вдоль берега.

...Пашка Зырянов попал в эти места совсем недавно.

Весной, в составе шести человек, его забросили на берег речки Тёмная расчищать площадку для посадки вертолётки. Здесь намеревались основать базу геологоразведки с небольшой палаточной фабрикой для дробления и превращения горной породы в песок, с целью поиска полезных ископаемых.

Деревня Листвянка находилась примерно километрах в пяти вниз по речке, и он туда часто хаживал. Если держаться русла, то налегке, по набитой тропе, утром пораньше, со свежими силами, можно часа за два-три обернуться туда и обратно.

Запасы чая и хлеба в очередной раз подходили к концу, и надо было делать покупки.

Пообещав долго не задерживаться, Пашка с напарником нацепили рюкзаки, взяли деньги и направились в Листвянку...

Дошли довольно быстро. Было часов восемь утра, воздух был ещё свеж, утренняя прохлада и роса придавали ногам ускорение, и вскоре на той стороне реки их взору предстал край деревни.

Первая улица тянулась вдоль берега и была статной как на подбор: высокие, добротные, с глухими заборами, кержацкие дома глазели на встречу широко распахнутыми ставнями. За ними огородами примыкала ещё цепочка домов. На улице никого не было.

Тропинка упёрлась в край берега и спустилась к воде. Надо перебираться на ту сторону. От края и до края метров пятнадцать. Пашка палкой нащупал дно — чуть выше пояса. Вода, не шелохнувшись, лениво текла вдоль по руслу, на стеклянной поверхности не было ни рябинки. Лёгкая дымка утреннего тумана медленно поднималась над водой.

На той стороне замычала корова, брякнуло ведро. Напротив на привязи покачивались несколько лодок, но хозяев не было, и до них не добраться. Делать нечего, надо переходить.

Пашка снял с себя верхнюю одежду, смотал её в узел, поднял над собой и шагнул в воду. На середине на мгновение ухнул с головой, но скоро нащупал дно и выбрался на берег. Такую же процедуру, ухая и охая от ледяной воды, проделал и напарник. Быстро оделись и стали искать магазин.

Найти оказалось нетрудно. На три ряда домов имелась всего одна улица, так как два ряда примыкали друг к другу огородами и между ними проходила лишь узкая, хорошо пробитая тропа.

Издали заметили невысокую, ограждённую штакетником пирамидку. Скорее всего, памятник. Значит, центр села. Подошли поближе. Памятник неухоженный, ограждение покосилось, внутри неубрано. Прочитали табличку: «Павшим в годы Гражданской войны». Напротив высокое крыльцо с козырьком — вход в большой дом. Рядом стоял щит для объявлений. Судя по всему — контора, хотя вывесок никаких.

Прошли немного дальше и за поворотом наткнулись на магазин. Дверь настежь. Женщина в белом халате приветливо встретила их за прилавком и с интересом осмотрела — не местные.

Купили всё необходимое и уже собирались уходить.

— А вы, ребята, к кому в гости приехали? Что-то я вас не припомню, — чуть улыбаясь, спросила она. — Геологи мы, работаем недалеко, — не поднимая головы, ответил Павел.

— А-а, — протянула она. — И надолго?

— Осенью уедем.

— А то у нас оставайтесь, нам вон как рабочие руки нужны, — вздохнула она. — Деревня у нас ладная.

— А девушки у вас имеются? — Пашкин напарник шутливо вздёрнул голову.

— Есть немного, — опять вздохнула продавец, — и молодые, и постарше. Мужики-то наши все по-разбежались, ну а нам куда — с детьми-то?

Пашка о чём-то задумался. Что-то непонятное удерживало его здесь, не отпускало. Он хотел скорее закончить разговор, но никак не решался, теребил лямку рюкзака и хмурился.

— А жить-то у вас есть где? — прячась за иронию, серьёзно спросил он.

— С этим не беспокойтесь, — решительно махнула рукой продавец, — любая баба примет. Да и пустые избы имеются. Живи не хочу.

— Ну а власть-то ваша куда подевалась? — ткнул Пашка пальцем в сторону конторы.

— Какая там власть, — поморщилась она. — Наша власть далеко, в районе живёт, а мы сами по себе. Участковый лишь раз в месяц нагрянет, — прыснула она в ладошку, — девок пообжимает да уедет. Так и живём.

Надо было возвращаться. Пашка опять засобирился.

— Надо подумать, — обнадѣжил он продавщицу. — А пока до свидания.

— Всего доброго, — глядя им вслед, с сожалением бросила она.

К концу октября основная часть работ была выполнена: расчищено место и подготовлена площадка для посадки вертолѐта, построено четыре бревенчатых хибары для жилья. Оставалась малость — поставить маленькую палаточную фабрику и опробовать её оборудование в рабочем состоянии.

За лето Пашка ещё раз четыре хаживал в Листвянку. К этому времени они уже приобрели небольшую деревянную лодчонку и в ней переправлялись. Её свободно оставляли на берегу, и она спокойненько лежала, никто её не трогал.

Местные уже узнавали его, здоровались, вели разговоры. Он тоже присматривался, пытливо изучал нравы и образ здешней жизни. Листвянка всё больше и больше нравилась ему.

Отдалѐнность места, неторопливое и размеренное течение времени, незлобивость жителей всё больше разжигали в нём устойчивое желание поселиться здесь, хотя бы на время. Пашка любил одиночество и в глубине души жаждал уединения. Для него было желанным удовольствием набрать

побольше книг и остаться наедине с самим собой, где-нибудь в глуши, где можно свободно заняться тем, чего душа просит, без суеты и торопливости, обходясь лишь тем необходимым, что имеется в наличии, и ничего лишнего. Это придавало жизни ту беззаботность, когда можно было довольствоваться малым достатком, при этом не бедствуя и приобретая нечто большее.

Он уже присмотрел небольшой, в три окошка, одиноко притулившийся на краю села лицом к речке домик. В нём уже давно никто не жил, и он сиротливо глазел на мир пустыми, наглухо заколоченными окнами. Пашка не единожды обходил его, заглядывал во двор, но внутрь заходить не решался.

Однажды, в середине августа, он спросил о нём у продавщицы.

— Жили там дед с бабкой, но давно уже уехали к детям, — ответила она. — Да ты лучше у нашего участкового спроси, он всё знает. Вон идёт.

Пашка глянул в проѐм двери и увидел человека в форме. Тот стоял на улице и оживлённо разговаривал с двумя женщинами. Пашка не стал его дожидаться и сам пошёл навстречу. Женщины, заметив, игриво указали на него глазами и, что-то сказав милиционеру, засмеялись. Тот недовольно покосился на Пашку.

— Здравствуйте, — подойдя поближе, громко сказал он.

— Здравствуй, Паша, — кивнули женщины.

Участковый тоже поздоровался, тут же подобрался, приосанился. На вид ему было лет около сорока.

Пашка мялся с ноги на ногу, не решаясь, как спросить.

— Какими судьбами в наших краях? — строго глянул на него участковый.

Пашка объяснил, кто он и откуда.

— Знаю, знаю, — кивнул тот. — Ну и как наша деревня, нравится?

— Нравится. Я даже готов пожить здесь.

— Да-а? — делано удивился участковый. — И в чём же дело?

— Жильё ищу, — признался Пашка. — Есть тут один домик, вон там, на окраине. Хочу узнать чей.

Участковый на миг задумался.

— А-а, это который крайний? — громко протянул он. — Это тебе надо к Степаньчу, его родичи там жили. Во-о-он дом его стоит. Пойдѐм, провожу.

Погода стояла довольно жаркая. Мелкая пернатая живность, ковыряясь в земле, свободно разгуливала по улицам; разомлевшие свиньи валялись в тени вдоль забора, помахивая хвостиками и чутко шевеля ушами, готовые в любой момент вскочить и броситься наутѐк; утомлѐнные собаки, высунув языки, лениво поднимали головы и, тупо поведив взглядом, опять принимали сонное положение. Пашка, перешагивая через одного

такого развалившегося пса, нечаянно наступил тому на хвост. Тот поднял свою лохматую башку и невинно уставился сквозь него непонимающим взглядом. Было видно, что он не хочет скандала и ждёт извинений. Трусливо ощутив всей кожей чувство вины, опасливо покосившись, Пашка скорее ретировался.

— Степаныч этот проживает с женой, обоим за шестьдесят, — рассказывал по пути участковый. — Родители его жили в том домике. Лет десять, наверное, уже, как дочь забрала их к себе в город. Живы или нет, не знаю. Степаныч мужик неплохой; думаю, договоритесь.

Он на мгновение замолчал.

— Внучка иногда к нему приезжает, — понизил он голос, — хозяйничает. Пожилой зовут. Впрочем, сам увидишь.

Возле дома остановились. По кромке крыши игриво поблёскивали разноцветным полукругом деревянные серьги, резные наличники замысловатым узором красовались поверх окон, приятно радуя глаз. Участковый постучал в ворота. Вскоре на лай собаки показался хозяин — высокий худощавый рыжий мужик.

— Здорово, Степаныч, — протянул руку участковый.

— Здорово, коль не шутишь.

— Как живёшь?

— Живём не тужим, чего и вам желаем, — пристально покосился тот.

— Я вот тебе постояльца привёл. Жильё ищет. Пустишь?

Степаныч перевёл взгляд на Пашку, внимательно оглядел его.

— Сам откуда будешь?

— Из Чулымска.

Степаныч хмыкнул:

— Далеко забрался. В нашу-то глушь.

— Он на нашей речке с геологами работает, — вмешался участковый. — В общем, решай. Ему домик твоих родичей приглянулся, — он нетерпеливо обернулся, поискал глазами кого-то. — Договоритесь, а мне спешить надо.

Махнул рукой и подался в обратном направлении. Степаныч проводил его взглядом.

— Сейчас напьётся, к бабам начнёт приставать. Ты надолго к нам? — после недолгой паузы спросил он Пашку.

— Не знаю, — честно ответил тот. — Перезимуем, там видно будет.

— Домик ещё крепкий, — словно не слыша его, продолжил Степаныч. — Без хозяина, конечно, скорее придёт в упадок. Живи, — пожал он плечами, — не жалко. Не пропадать же добру. Может, приживёшься.

У Пашки радостно полегчало на душе. Он благодарно взглянул на Степаныча:

— Вы не беспокойтесь, у меня всё в порядке будет.

Тот согласно кивнул головой.

— Здесь много брошенного жилья, а в этом жить можно. Когда вселяться думаешь?

— Да хоть сейчас, — заулыбался Пашка, но через мгновение добавил: — Вот дела свои закончу, потом новоселье справлять буду.

Степаныч почесал пятернёй подбородок.

— Ну давай, давай. Может, и мне подсобишь когда.

— О чём вопрос? — с недоумением развёл руками Пашка. — Конечно, подсоблю.

— Ты обожди здесь, сейчас ключи вынесу, пойдём посмотрим.

Минуты через две они направились в сторону домика. Пройдя метров пятьдесят вдоль берега, Степаныч подошёл к воротам и открыл калитку. Зашли во двор. По левую сторону — большой навес. — Для коней, — пояснил Степаныч.

Рядом примостилась небольшая бревенчатая банька. Пашка довольно растянул губы. Рядом речка. Чего ещё надо? Далее стояли сараи. За ними простирался большой, заросший бурьяном огород. Земли здесь у каждого было более чем достаточно, и брошенные участки были большей частью не у дел.

Вошли в дом. Посередине — большая русская печь, к ней пристроена перегородка, делящая домик на две маленькие комнатки. Из мебели стояли высокий, покрытый слоем пыли, ещё старинной работы, со стеклянными створками шкаф да длинная, вдоль стола, лавка.

— Койку тебе я дам, — рассуждал Степаныч, — посуды немного найду. Дрова заготовишь, лес рядом. Трактор у нас имеется, притащим. Так что обживайся. Ключи пока будут у меня, ты всё равно в тайге будешь.

Степаныч хотел забраться на чердак, забрать берёзовые веники, которые уже чёрт-те знает сколько висят там, но лесенка оказалась довольно зыбкой, и, потоптавшись возле неё, он раздосадованно махнул рукой и бросил эту затею.

— Ещё отец мой вязал их, — с чувством лёгкого расстройства говорил он, когда шли обратно, — сейчас бы самый раз попариться.

Возле его дома они остановились, рукопожатием ещё раз закрепили свои намерения, распростались, и каждый направился в свою сторону.

После такого удачного дня Пашка был занят лишь одной мыслью — поскорее закончить работу, получить расчёт и готовить своё новое жилище к зиме.

...Как пробовали камнедробильные агрегаты, смотрели все.

Начальник участка с энергетиком ещё раз осмотрели оборудование, проверили крепление, электрокабели, весело перекрестились (при этом почему-то сплюнули) и дали команду:

— Запускай!

Запыхтела небольшая электростанция, пошёл ток, в палатке засветились лампочки, захлопал, набирая обороты, насос, и из речки по шлангам к станкам, для промывки породы, пошла вода. Включили дробилки.

Крупные куски камня с зубовным скрежетом были быстро измолоты и превращены в более мелкие фрагменты железными челюстями первого станка. В утробе второго станка они стали ещё меньше. И наконец, третий станок поднатужился и выдавил из себя в тазик лишь несколько горстей мелкозернистого шлака.

Начальник участка радостно потёр руки: дело сделано! Он записал в журнал, протянул энергетика. Тот тоже что-то черкнул. Через некоторое время станки остановили, промыли водой, свернули шланги и выключили электростанцию. К производству всё было готово, законсервировано на зиму, и до весны всё это хозяйство будут сторожить двое зимовщиков. Потом должна прилететь команда геологов с рабочими, которые и будут до холодов вести здесь работы. А пока надо ещё дожидаться несколько бортов с грузом, разгрузить их, растащить и разложить всё по своим местам.

Вечером того же дня все вместе сидели у костра. Ради такого случая ещё днём снарядили гонцов в Листвянку, и те, разгорячённые ходьбой по рыхлому осеннему снегу и лёгкому морозцу, уже вернулись, затаренные бутылками спиртного, преимущественно самогона.

...Кружка непрерывно переходила из рук в руки, в котле беспрестанно скребли ложки, челюсти с аппетитом молотили крутую гречневую кашу с маслом. Все были терпимо и дружелюбно настроены друг к другу. От шуток-прибауток на раскрасневшихся от выпитого лицах во всполохах огня весело поблёскивали глаза. Народ был доволен выполненной работой и считал своим долгом отметить это событие...

...Давно уже стемнело. Костёр, потрескивая, не спеша пожирал остатки дров. Спиртное, разбавленное в желудках изрядной долей горячего крепкого чая, ещё будоражило некоторые крепкие головы, хотя многие уже сникли и мирно дремали: кто, склонившись, клевал носом у костра, кто спал во времянке.

Пашка ковырял палкой уголья, смотрел на огонь и думал: из своих тридцати лет шесть он отработал в различных партиях и экспедициях, к жизни такой таёжной привык и возвращаться на постоянное место жительства в свой небольшой городок не спешил, где в межсезонье, помаявшись от безделья, устраивался на работу куда-либо, но долго не держался. Ежедневные походы в одно и то же место казались ему скучными, быстро надоедали, вынужденное занятие тем, к чему он не имел никакого интереса и желания, утомляло

и раздражало его, и вскоре всё кончалось одинаково: он увольнялся и вербовался к геологам...

И вот очередной сезон подходил к концу. Что делать дальше? Можно остаться здесь, зимовать, дожидаться весны и опять проходить с рюкзаком за плечами до холодов. Но будет упущено время, за которое он мог бы уже обустроиться в Листвянке.

За несколько месяцев он заработал некоторую сумму денег, пока хватит. Надо домой съездить, родителей проведать — ждут, небось. Они давно уже привыкли к его разъездам и не противились этому, знали: придёт время, сын остепенится и заживёт как все. Ведь пора уже иметь семью, детей и всё остальное, что к этому прилагается.

Пашка их понимал и старался делать так, чтобы лишний раз не тревожить родителей. А женитьба... Где она, та единственная, чтобы раз и навсегда? Он вздохнул. Огляделся вокруг. Темнота — хоть глаз выколи. Бесшумно, как призрак, пролетела сова-сплюшка, села где-то рядом.

Звёздное небо дохнуло ветерком, зашумели верхушки деревьев, костёр усиленно заморгал, во всполохах огня беспокойно закачались тени. Понизу потянуло холодком. Пашка подложил в костёр два небольших сухих ствола, запахнул бушлат и в полудрёме привалился спиной к дереву...

...Утро выдалось морозное. Облака сизым дымом густо висели над лагерем, в воздухе парил крупный снег. Было тихо. Островерхие ели задумчиво тянулись к небу и покрывались постепенно белой пушистой шубой.

Братва, после торжественного ужина и загульной ночи, едва протерев глаза, пыталась отыскать остатки «горючего». Но тщетно. Бросив эту бесплодную затею, быстро нашли надёжных гонцов и снарядили их в Листвянку. Те, поёживаясь от такой погоды, невольно зароптали. В ответ суетливо замахали руками, посыпались упрёки в бессовестности, что кому-то «всё равно надо», и, не выдержав напора «общества», гонцы сдались. — Паша, зайди на минутку.

В дверях свежерубленной избушки, облюбованной начальством для себя, в наброшенном на плечи полушубке стоял начальник участка.

— Радуйся, — засмеялся он, встречая Пашку. — Сегодня вертолёт будет, полетишь на базу. Ты же тракторист?

Пашка кивнул.

— Вот и хорошо. Надо ёмкость под солярку притащить да две бочки масла. Сможешь?

Неожиданное поручение путало все дальнейшие планы. Не зная, что ответить, Пашка неуверенно пожал плечами:

— Не знаю. Надо подумать.

— Ну, надо так надо, — согласился тот и решительно шлёпнул ладонью по крышке стола. — Давай лети на базу, там отдохнёшь и подумаешь.

Он чуть помолчал.

— Повезёшь не один, с напарником. В общем, мы на тебя надеемся. Да и бульдозер здесь нужен.

Пашка вышел.

Километров сто пятьдесят пилить придётся. Не так далеко. До Листвянки дорога не ахти какая, но имеется. На тракторе с прицепом сильно не разгонишься. Если не спеша, тихой сапой, дня за три-четыре можно доползти. Это если без приключений и поломок. А через речку Тёмная как переправляться? Наверняка брод имеется. А если зиму придётся встречать, до крепкого льда? Чёрт, что же делать? Может, плюнуть на всё, получить расчёт и остаться в Листвянке?

Не в силах разрешить сейчас этот вопрос, Пашка в раздумьях взглянул на небо: лёгкий ветерок набирал силу, тучи нестройными рядами неслись над макушками деревьев, освобождая воздушное пространство, в брешах между ними начала появляться синь неба, брызги солнца ослепительно прорывались на землю, радуя всё живое нарождающимся днём.

Пашка глубоко вздохнул и пошёл готовиться к отъезду. Там видно будет.

До базы летели минут тридцать. На борту, кроме Пашки и двоих лётчиков, находился ещё охотник с двумя лайками. Те лежали на брюхах посреди прохода, учащённо дышали и, высунув языки, с любопытством глядели на Пашку. Он протянул руку. Псы сомкнули рты и осторожно дали себя потрогать.

Вскоре показалась деревня. Небольшой таёжный посёлок, со школой, больницей и двумя магазинами (один продуктовый, другой промтоварный), скромно притулился на берегу речки, довольно широкой (однако камнем можно перебросить).

Вниз по руслу, повернув за крайние дома, берег круто поднимался, и, блеснув зеркалом студёной воды, речка исчезала за поворотом.

Местный аэропорт располагался тут же, наверху. Покружив немного, вертолёт сбавил обороты и мягко плюхнулся на бетонку. Пашка выпрыгнул наружу, с удовольствием разминая ноги. Мимо него, поджав хвосты и щурясь от шквального потока воздуха и снежного вихря, поднятых лопастями вертолёта, прошмыгнули собаки. Они подождали хозяина, и вся троица направилась в посёлок.

Подошли несколько человек с рюкзаками и чемоданами.

— Здорово, — протянул руку знакомый геолог.

Пашка помог загрузить несколько бочек с соляной, какие-то тяжёлые ящики да штук пятьдесят буровых труб.

Вскоре работа была закончена, и вся эта братия со всем своим барахлом погрузилась на борт. Вертолёт прибавил газку, взвыл на всех парах, но оторваться от земли не смог, так как был перегружен.

Он немного постоял, поурчал и, разогнавшись, как самолёт, тяжело взмыл в воздух.

База была рядом с аэропортом. Два параллельно стоящих низкорослых щитовых барака являли собой одновременно контору, кухню, общежитие и другие полезные помещения. Особняком в стороне примостился двухквартирный брусовой дом, где жило начальство с семьями.

На задах Пашка заметил бульдозер без кабины и примерно кубов в восемь металлическую цистерну, установленную на сваренную из труб волокушу. Её-то, вероятно, и предстояло тащить. Покрутившись, направился в общежитие.

Внутри никого не было. Весь народ в основном находился на участках.

Откуда-то появился заспанный шофёр, молодой парень, указал на одну из комнат. Пашка разделся и проспал до вечера.

Проснулся от шума. Где-то надрывался магнитофон, слышались голоса. Чуткое Пашкино ухо уловило звонкий девичий смех. Сон сразу пропал. Он прыгнул в тапки и пошёл на голос.

В кухне за столом, в обнимку с двумя подругами, сидел шофёр. На столе — початая бутылка водки, варёная картошка, на плите скворчала рыба.

— А вот и вновь прибывший, — растянул он губастый рот. — Долго спишь.

И подмигнул, кивая на девчонок. Те, широко раскрыв глаза, радостно уставились на Пашку.

— Присаживайся.

Шофёр разлил всем водки.

— С приездом.

Махнули по одной, потом ещё, ещё...

Девчонки смеялись, болтали, что-то шептали друг другу, недвусмысленно поглядывая на Пашку. Того натошак уже порядком развезло, он слегка ословел и тоже откровенно ощупывал их своими масляными глазами.

За разговорами и весёлым балагуром быстро и незаметно летело время. Наконец одна подруга наклонилась и что-то шепнула шофёру. Тот кивнул. — Ну ладно, — важно сказал он, — пора разбегаться. Мы с Катей пойдём ко мне, а вы с Ритой к тебе.

Он шлёпнул Пашку по плечу, и они удалились. — Ну что, пойдём, что ли? — нетерпеливо произнесла Рита, дёргая его за рукав.

Пашка повнимательней посмотрел на неё. Довольно симпатичная девчонка, лет двадцати пяти, хорошее, чистое, открытое лицо. Она неловко смотрела на него и растерянно моргала.

— Да ты не бойся, — с иронической улыбкой убедительно добавила она, — медичка я. Здесь в больнице медсестрой работаю.

Она подхватила его под руку и, укоризненно качая головой, повела в комнату.

Утром Пашка особо не спешил подниматься. Он долго ворочался с боку на бок, рассуждая, что

имеет полное право бездельничать по крайней мере неделю. Отгулов накопилось предостаточно. Рита уже упорхнула к своим больным, и он сладостно потянулся, вспоминая прошедшую ночь.

После обеда он всё же решил зайти в кабинет начальника партии.

— Наконец-то,— недовольно встретил его тот.— Я уж думал сам к тебе навеститься. Как спалось?

— Хорошо.

— Для чего тебя сюда прислали, знаешь,— сразу приступил он к делу.— Сегодня должен прибыть напарник твой, Фролов. Знаком с ним? Вместе погоните трактор.

Пашка улыбнулся. С бывшим старателем Фроловым он знаком очень хорошо. Одно время они вместе попали на один участок и не вылезали оттуда до зимы. Тот никогда не раздевался и ходил постоянно в одной и той же робе— блестящей от мазута телогрейке и таких же ватниках. Он так и спал, не раздеваясь, где придётся: летом— в тракторе, зимой— в каком-либо тёплом доступном месте найдёт укромный уголок, там и завалится. Была ли у него сменная одежда и куда он её деваёт— никто не знал. Неприхотливый к жизни человек.

Пашка заметил у него одну особенность: после бани Фролов надевал на чистое тело довольно грязное и не стиранное, наверное, с самого заезда трико, на него натягивал новые белоснежные кальсоны, во всём этом залезал в блестящие от мазута ватники и ходил так до новой бани, которая удавалась не часто. Но работал как чёрт.

Одно время зимой начальство надумало перегонять буровые на новый участок, километров за семьдесят, и Фролов получил задание за ночь срочно соорудить бульдозером через речку, метров тридцать от берега до берега, переправу. Надо было нащупывать места, где по льду могла пройти тяжёлая техника. Но лёд выдерживал не везде, бульдозер ухал передком в воду и висел задней частью надо льдом, который каким-то чудом держал эту рычащую машину. Фролов опускал лопату, трактор выравнивался, и он давал задний ход. В образовавшийся проём нагребал с берега смесь снега с камнем, благо речка была неглубокая, и всё это укатывал и утрамбовывал гусеницами. Снег, насквозь пропитанный влагой, на морозе леденел до плотности бетона, и, заделав одно место, он таким же манером продвигался дальше.

Как он умудрился не утопить трактор— непонятно, но поутру взору изумлённых рабочих предстала изогнутая дугой, довольно широкая переправа.

Пашка припомнил этот момент и невольно подумал: «С этим не пропадём».

— Всё понял?— спросил начальник и сразу добавил:— Ну, если всё, то завтра утром— за работу.

— Как завтра?— зароптал Пашка.— У меня же отгулов накопилось.

— Отдохнёшь, успеешь. Ты же видишь, народа нет, кабину некому на трактор поставить, а ты говоришь.

— Так уж и некому?

— Люди здесь долго не задерживаются, сам знаешь. День-два— и в поле.

— А один я что сделаю?

— Но что-то ты всё же сделаешь!— рубанул ребром ладони начальник партии.— А то смотри,— понизил он голос,— мы никого не держим.

Пашка ничего не ответил и вышел.

Обдумывая последние слова своего начальника, он припомнил случай, который почему-то врезался в память и стал поистине «притчей во языцех», долгое время являлся поводом для злословий и ехидных колкостей в бригаде.

В прошлом году, зимой, к ним на буровую прилетел главный инженер всей экспедиции. То ли с проверкой, то ли ещё с чем. Но ценные указания он привёз, это Пашка точно запомнил.

Работал он тогда помощником бурильщика в ночную смену, по двенадцать часов каждый день. Работы хватало. Пока бурильщик стоял за рычагами и сверлил недра нашей Родины, помбур должен был колоть дрова, чтобы держался огонь в печи помещения буровой, в топке двухметрового железного бака на улице, в который насосом из скважины подавался раствор вместе со шлаком, то есть измельчённой каменистой породой, вычерпать излишки этого шлака и заодно кидать в бак снег, который и являлся этим самым раствором.

Во время этого надо было не проспять подъём снаряда, выдолбить кувалдой керн, разложить его по ящикам, собрать и опустить снаряд в скважину и снова бежать к баку.

К концу смены так уматываешься, что еле ноги тащишь, да и пальцы на руках так скрючивает по форме черенка лопаты, что с трудом разгибаешь их.

Утром, перед завтраком, собрали всю бригаду. Главный инженер речь говорил. Речь шла о том, чтобы ускорить рабочий процесс, прибавить план, что у них там в конторе что-то не сходится— то ли дебет с кредитом, то ли наоборот. В общем, прибавить скорости в работе.

— А картошку почему не присылаете?— не в тему задал вопрос один несознательный буровик.— На консервах много не наработаешь.

Да, они там это понимают, но пока нет такой возможности, да и зима, помёрзнет всё (хотя сам прилетел пустым рейсом, мог бы мешочек прихватить). Ну а поднажать надо бы, ребята. А если кто-то чего-то недопонимает или не согласен, то таким место все знают где.

— Где?— простодушно спросил кто-то.

— В сумасшедшем доме,— язвительно пояснил главный инженер и, довольный сам собой, громко расхохотался, пристально, однако, оглядывая остальных.

Кто-то в ответ улыбнулся, кто-то ухмыльнулся, но большинство сидели с непроницаемыми лицами, осмысливая слова своего руководителя.
«Тьфу ты!» — сплюнул Пашка. — Лезет в голову всякая чушь».

Он постоял немного и направился в посёлок купить чего-нибудь съестного.

На другой день по всей стране объявили траур. Скончался самый главный начальник самого великого, гуманного и справедливого государства в мире. Пашка поначалу усиленно тужился, пытаясь выдать слезинку, уж больно родным казался ему умерший, но та почему-то упорно не хотела показываться, и, поморгав сухим глазом, он вдруг ощутил в голове крамольную мысль: а в честь чего он должен слёзы лить? Ведь умерший не доводился ему родственником, да и видел его Пашка только в телевизоре, где, судя по пламенным речам покойного, во вверенной ему стране с каждым годом что-то постоянно выполнялось и перевыполнялось, благосостояние народа всё повышалось и повышалось, с каждой пятилеткой жизнь становилась всё лучше и прекраснее.

После таких речей Пашка с недоумением оглядывался вокруг: а где оно, лучше-то? Что было, то и есть. Как стоял его серенький неказистый городишко с ухабистыми дорогами, так и стоит, ничего нового; как жил он в своём давно списанном и снесённом, судя по документам, бараке, так и живёт, лишь местные слуги народа иногда заглядывают и пересчитывают жителей, надеясь, что часть перемрёт, часть разъедется, всё меньше хлопот; как было во всех магазинах одно и то же, так оно и есть, только прилавки с каждым годом становятся всё скуднее. Стоят стройными рядами стеклянные банки с соками да кое-какие консервы. Крупы почему-то стали исчезать. От такого благополучия народ стал запасаться мешками с продуктами — до лучших времён. Тётка Пашкина целый склад у себя дома соорудила и двери навешала.

Пашка даже слегка ужаснулся самого себя, испуганно втянул голову в плечи и воровато оглянулся: не подслушал ли кто тайком его мыслей, не разгадал ли зорким глазом его преступных дум?

Навстречу попался шофёр. Пашка не усмотрел в лице у того и малейшего намёка на какую-либо печаль. Тот вёл себя довольно спокойно, но было заметно: он что-то знает, из глаз его живо сквозила некая весть и явное желание донести её до окружающих.

— Слышал? — уставился он в упор на Пашку.

— Слышал.

— Что сейчас с нами будет-то?.. — протянул тот, качая головой.

Пашка пожал плечами. Он тоже не знал, что сейчас с ними будет.

— Надо бы помянуть человека, ведь такое горе. Пашка с готовностью согласился.

В магазине было немногочисленно, но народ уже был в курсе событий и выражал мнение на главную тему дня.

— Господи, что сейчас будет-то? — услышал Пашка знакомые слова. — Ведь пропадём теперь.

— Кабы война не приключилась. Аж страшно. Вдруг Америка пойдёт?

— Да, да, не дай Бог.

— Что вы тут канитель разводите? — встрял какой-то мужик. — Накаркаете ещё. Нового правителя выберут. Мало их было на нашу шею, что ли?

Слушая, о чём судачит народ, они прикупили две бутылки водки, немного закуски.

В общезитии, с полной уверенностью, что имеют полное право достойно проводить усопшего в последний путь, напустив на лицо лёгкий налёт грусти, в котором угадывалось лишь желание выпить, благо повод подвернулся подходящий, они торжественно уселись за стол.

Только немного разговелись — ввалился механик.

— А вы чего прохладаетесь? Почему не на работе?

— Так ведь помер... — недоумённо развёл руками шофёр. — Траур.

Механик упёрся взглядом в стол и заинтересованно затоптался.

— Траур не траур, а кабину ставить надо, — мягко сказал он, поглядывая на Пашку. — Тебя завтра отправлять хотят.

— Как завтра? — опешил тот. — Одного, что ли?

— Одного, — хмуро пояснил механик. — Фролов с отпуска никак выйти не может, всё ещё гуляет. Дорогу ты знаешь, снарядим как положено, рацию дадим.

— Один не поеду, — затопорщился Пашка, — хоть убейте.

— Понадобится — убьём, — шутиливо отозвался механик. — Ты это не мне говори, а им, — иронически ухмыльнулся он, ткнув пальцем в сторону конторы. — Мне что велено передать, то я и говорю.

Шофёр покачал головой:

— Они чего там, ошалели? На дворе почти зима, техника старьё. Он что, в тракторе спать должен? Куда одного в такую даль? Ведь по инструкции не положено, ты же знаешь.

— Знаю. Палатку дадим.

— А в ней что, жара?

Вопрос остался без ответа.

— Давайте лучше товарища помянем.

Шофёр разлил всем водки.

— Царствие ему...

Чокнулись. Вспомнили, что нельзя, но уже сделано.

Механик выпил два полстакана.

— Вы это... — говорил он, закусывая, — давайте заканчивайте здесь, а то, не дай Бог, заявятся.

Впрочем...— он жалостливо посмотрел на Пашку, обречённо махнул рукой и вышел.

...До самой ночи их никто не тревожил. Начальству, скорее всего, было не до них, оно тоже справляло траур. Просидев допоздна, Пашка завалился спать.

Утром вошёл механик.

— В контору зайди.

Начальник партии сидел за своим столом. Взгляд его был туманным, под глазами висели мешки. Пашка остановился в дверях.

— Ты почему кабину не поставил?—с ходу в лоб был задан ему вопрос.

— Я бы один не сумел.

— Шофёр бы помог.

— Я ему не начальник.

— Люди ждут, а ты здесь прохлаждаешься.

Повисла пауза.

— Чтобы сегодня поставил кабину, а завтра утром отправишься, понял?

— Один я не повезу.

— Почему?

— Дорога дальняя, всякое может случиться. А кто поможет? Вы же знаете.

— Ничего не случится,—поморщился начальник.—Трактор на ходу, питание есть, рация. Что ещё надо? Я же не виноват, что Фролов гуляет. А заменить нечем. Подъедет—отправим следом.

В том, что Фролов скоро подъедет, Пашка сильно сомневался.

— Один не поеду,—упёрся он.

— Ну, опять двадцать пять!—в сердцах развёл начальник руками.—Ну что ты заладил—«не поеду, не поеду»? Надо, понимаешь ты? Люди ждут.

Он помолчал, что-то обдумывая.

— Значит, отказываешься от работы?—взглянул он снизу вверх.

— Я не отказываюсь, но один, без напарника, не поеду.

Опять повисла пауза.

— В общем, так: решай. Не повезёшь—уволю за отказ от работы.

— Увольняйте.

Пашка тоже решил. Внешне он был спокоен, но сердце уже набирало ритм, дыхание участилось. Он волновался.

Ему светила нехорошая статья. Но делать нечего. Перспектива тащиться одному по-черепашьи полторы сотни вёрст в морозную осеннюю погоду, когда зима уже на носу, его не прельщала.

— Увольняйте,—ещё раз, уже спокойнее и твёрже, повторил он и вышел.

Начальник сдержал слово и оформил приказ об увольнении. После обеда Пашка сдал казённые вещи, прицепил к рюкзаку свой походный котелок и, бренча им, направился в аэропорт.

На улице встретил своё начальство с жёнами. Те, увидев его, остановились.

— Паша, ты куда с котелком-то?—беззаботно засмеялись женщины, игриво запуская в него снежком.

Он махнул им рукой. Потом оглянулся. Они всё ещё стояли и смотрели ему вслед. Начальник партии указывал на него пальцем и что-то настойчиво объяснял. Пашка опять помахал на прощание. Они в ответ тоже.

Через час он уже летел в Краснокаменск, в главное управление своей экспедиции, за трудовой книжкой и расчётом.

Лететь пришлось на «кукурузнике». Ближайший рейсовый Як-40 будет только через сутки, но, приняв от Пашки положенную сумму денег, знакомая работница порта проводила его на Ан-2. Тот летел спецрейсом.

Шесть часов предстояло болтаться ему между небом и землёй в этом «небесном тихоходе», наблюдая, как внизу, за окном, величаво распластавшись ковром, медленно проплывала необозримая сибирская тайга, изрезанная морщинами речек и ручьёв. Ближе к Ангаре, по обе её стороны, она всё больше зарастала болезненными лишаями сплошных вырубок, связанных между собой лишь узкими короткими перешейками. Пашка работал в этих местах, добывал живицу—сосновую смолу, видел сам, да и не единожды слышал от очевидцев, что оба берега реки на всём своём протяжении усыпаны сплавленным лесом, но местным жителям не позволялось брать и употреблять его в дело. Нельзя. Государственное добро. Пусть лучше сгниёт, но чтоб никому, ибо это уже воровство. Древесины у нас много, ещё напилем. Здесь не работает навешанное народу партией и правительством изречение, что «всё вокруг народное, всё вокруг моё».

Вот пронеслась под крылом уже стоявшая на приколе огромная золотодобывающая драга, безжалостно вгрызавшаяся, пожиравшая и перерабатывавшая до наступления холодов в своей утробе весёлую чистую звонкую речку, оставляя за собой лишь безжизненную грязную водяную шлею, схваченную в настоящее время льдом. Царь земли успешно «покорял» природу, осваивая её природные ресурсы.

Наконец самолёт осторожно коснулся взлётной полосы, несколько раз легко подпрыгнул и свободно покатился, сбавляя обороты. На полпути остановился, грозно рыкнул и втиснулся в ряд между двумя огромными транспортниками.

Оказалось, получить расчёт не так-то просто. Надо ещё пройти процедуру увольнения в обществе членов производственного комитета профсоюза, чтобы они рассмотрели представление начальства и вынесли своё «резюме». Пашка знал, что это простая формальность, такой порядок, и члены комитета не пойдут против воли своих

коллег руководителей и вынесут «правильное» решение.

Его позвали в кабинет. Пригласили сесть.

За столом сидели двое мужчин и две женщины. Спросили, почему он отказывается от работы. Пашка ответил, что не отказывается, и рассказал всё, как было.

По лицам членов профсоюза проскользнула тень лёгкого замешательства.

— Я не знаю, за что его увольнять, — неуверенно пробубнил сидевший напротив него высокий мужик.

— Ведь написано: за отказ от работы, — ткнул пальцем сосед.

Женщины сидели молча и равнодушно переводили взгляды с одного на другого.

— Значит, не будем увольнять? — нетерпеливо вскинулась одна.

Было заметно, что она куда-то спешила.

— Да подождите вы, Татьяна Сергеевна, — в сердцах отозвался высокий. — Вы кем работали? — обратился он к Пашке.

— Рабочий.

Высокий мужик внимательней посмотрел в листок бумаги, лежащий перед ним.

— Да, действительно, — недоумённо обвёл он глазами остальных заседателей.

Те сразу как-то сникли; стало видно, что у них тут же погас интерес к происходящему. Они скусающе глазели, выжидая время, и чего-то ждали. Пашка понял: решение принято.

— Ну, я думаю, здесь особых проблем не возникнет, — облегчённо выдохнул высокий и добавил, воодушевляясь: — Всё сделано правильно, по закону. Изменить мы ничего не в силах, выше закона не прыгнешь, — с чувством исполненного долга выразил он сожаление. — Так что идите в отдел кадров, получите трудовую и расчёт.

— Значит, будем увольнять? — проснулась вдруг нетерпеливая женщина.

Её соседка прыснула от смеха.

Пашка вышел.

Пока в бухгалтерии начисляли деньги, он забрал трудовую книжку. В неё вклеили «две горбатых» и подписали: «Уволен за прогулы без уважительных причин».

Наконец в кассе отворилось окошечко. Сердитая женщина лет пятидесяти, сверкая на него глазами, сунула ведомость, проследила, чтобы он расписался, выхватила её, следом швырнула деньги и быстро захлопнула створку. Пашка пересчитал: что-то маловато, в ведомости больше. Вошёл в бухгалтерию. Ему объяснили, что так как уволен он за прогулы, то его много чего лишили.

— А вы расписались в ведомости? — спросила его молоденькая бухгалтер.

— Расписался.

Она осуждающе посмотрела на него:

— Сначала пересчитать надо, потом расписываться, — и обернулась к остальным: — Опять обманула.

Остальные понимающе закивали головами и бессильно захихикали.

— Вот так, — растерянно развела руками бухгалтер. — Это у неё уже не в первый раз. Рвёт направо и налево. Все знают, а поймать не можем. Жалуйтесь начальнику, мы подтвердим. Хотя он давно уже в курсе.

Как ни старался Пашка достучаться в амбразуру кассы — оттуда ни звука и ни духа: крепкие кирпичные стены надёжно скрывали своих обитателей и их тайны.

Дома Пашка пробыл недолго.

Отзвучали по всей стране прощальные паровозные гудки, провожая в последний путь отошедшего в мир иной руководителя огромной страны, и уже назначили нового. Тот оказался Пашке земляком, так как родился и проживал до начала своих славных дел и великой карьеры в небольшом сибирском городке, расположенном совсем недалеко, километрах в семидесяти.

Земляк так же был человеком престарелым, довольно болезненным, и, судя по телевизионным передачам, в которых он толкал с трибуны важные государственные речи, Пашка сделал вывод, что очередной траур не за горами.

...В его родном городке ничего не изменилось.

Великий Ильич по-прежнему маячил своим изваянием на постаменте, отрешённо смотрел куда-то вдаль и всё так же решительно и бесповоротно указывал пролетариям единственно верный путь в светлое будущее. «Ильичей» в городке стояло несколько, и все указывали в разных направлениях. Поди разберись, куда двигаться. Так и заблудиться недолго.

Осень наконец-то прочно уцепилась за землю, надёжно укрыла её белоснежным пушистым одеялом, заморозила всю ледяную поверхность, окрепла и незаметно перешла в зиму.

Уже около двух недель Пашка слонялся без дела, не предпринимая никаких попыток устроиться на работу. С его «весёлой» статьёй не каждый работодатель ещё и примет. Как бы за тунеядство не привлекли. Он погрузился в книги и весь ушёл в раздумья, всё больше склоняясь к мысли податься в Листвянку. Деньжата, слава Богу, имеются, скопил, на первое время хватит.

Родные, видя его сумрачное настроение, горестно вздыхали и старались всяческими уговорами отвлечь от тягостных дум. «Чего-чего, а работа всегда найдётся, не переживай, — сочувственно уверяли они, — тем более корочки шофёра и тракториста у тебя имеются. Специальности ходовые, не пропадёшь».

Пойдя им навстречу, Пашка ткнулся было в три организации, но безрезультатно. «Две горбатых»

надёжно охраняли его от всякой трудовой деятельности. Правда, в одном месте всё же предложили разгружать вагоны с мукой и углём, но он особо не торопился. Горб наломать всегда успеет, тем более что набирали сюда всех подряд, без разбору, невзирая на возраст, национальность, моральный облик и наличие трудовой книжки. Был бы паспорт да спина пошире, остальное приложится.

Пашка понимал, что стоит ему лишь остаться дома, как в скором времени, словно по мановению волшебной палочки, пройдёт незаметно этот отведённый жизнью кризисный период, и, по странному стечению обстоятельств, а может, по другим каким тайным причинам—он не знал, всё вернётся на круги своя, чёрная полоса сменится на белую, жизнь наладится, работа и всё остальное найдут его сами, так бывало уже не раз, и все проблемы разрешатся сами собой, надо лишь верить и приложить всего немного усилий, ведь судьба регулярно и на все случаи жизни преподносит выгодный шанс, который надо вовремя заметить и правильно им воспользоваться,—но словно какой-то бес изнутри постоянно подначивал его, никак не давал покоя, всегда суетливо сдёргивал с насиженного места и изгонял куда-то, в поисках чего-то непонятного и неизвестного. Он и сейчас мытарил его, дёргая за тонкие струны неутомимой и романтической души, высасывал по капельке волю, жёг ум и понуждал думать только о Листвянке и одиноко стоящем маленьком домике, ждавшем его на берегу реки.

Бес в очередной раз взял верх.

В одно прекрасное утро Пашка почти машинально стал собирать вещи, тщательно упаковывая рюкзак и чемодан.

— Опять уезжаешь, Паша?

На пороге его комнаты, в накинута на плечи пуховой шали, стояла мать.

Он на мгновение задержал на ней взгляд и виновато опустил голову:

— Уезжаю, мама.

— Надолго?

Он неопределённо пожал плечами:

— Как всегда, на сезон.

— Хотя бы ты уже остепенился да женился, что ли, пора уже за ум браться, дома жить. Чего там делать, в этой тайге-то? У нас тут тоже тайга имеется.

Пашка молчал.

— Документы смотри не забудь да деньги надёжно спрячь,—в сердцах покорилась мать, видя, что сына уже не унять.—Ты сейчас на автобус?

— Да.

— Чего раньше-то не сказал? Время уже сколько! Поесть не успеешь. Я сейчас подогрею.

Она убежала на кухню.

Пашка всё же успел плотно позавтракать, мать собрала узелок с едой, сунула ему, он обнял её,

попрощался, подхватил рюкзак с чемоданом и поспешил к автобусу.

— Паша, когда приедешь, напиши!

Он обернулся. В дверях, в накинута на плечи шали, стояла мать и смотрела ему вслед.

Через тридцать минут он уже ехал в автобусе в Краснокаменск, спустя несколько часов летел на Як-40 и через сутки пилил на «пазике» по зимнику в Листвянку.

...Под Новый год Степаныч решил забить на мясо бычка. В помощники позвал Пашку.

За месяц своего жития-бытия в Листвянке тот уже успел более-менее обжиться и привести в порядок своё небольшое хозяйство: почистил печь, погреб, с помощью Степаныча навозил с того берега на лесхозовском тракторе сухих стволов, распилил на чурки и большей частью уже переколол и сложил в поленницу. Смастерил крепкую лестницу и снял с чердака припасённые ещё с незапамятных времён отцом Степаныча штук двадцать берёзовых веников. Степаныч с добрым словом забрал половину, остальные оставил.

Пашка уже испробовал их на своей шкуре, испытываясь до изнеможения в баньке, по нескольку раз выбегая и ныряя в сугроб. Крепко ставленная банька на совесть, для себя, делана.

...Степаныч выгнал во двор шестимесячного бычка. Тот ткнулся к нему губами и старался поддеть шершавым языком. Степаныч потрепал его за шею и направился в дом.

Бычок погнался за ним, разыгрался, шумно втянул воздух, запрыгал и слегка боднул под зад. Степаныч хохотнул и упёрся рукой ему в лоб. Тот ещё раза два игриво ткнулся башкой.

— Ну как резать такого?—жалостливо произнёс он.—Хоть плачь.

Он вынес верёвку и стал опутывать бычка: один конец привязал за рога, другой через спину пропустил между ног, сделал какую-то ловкую петлю, натянул, дёрнул, и бедное животное молча повалилось на бок.

— Ловко,—одобрил Пашка.

— А чего валандаться?—отозвался Степаныч.— Это я у казахов высмотрел. Быстро и удобно.

Он притянул нижнюю заднюю ногу к передней, связал их вместе, сунул бычку два пальца в ноздри, приподнял голову и быстро перерезал горло.

— Посуду подставь.

— Я бы не стал пальцы в сопливый нос совать,—брезгливо поморщился Пашка, подставляя под кровь таз.—Уж лучше в задницу, там всё равно навоз.

Степаныч расхохотался:

— Да? А я думал, наоборот.

Через час туша была полностью разделана, шкура висела на заборе, куски мяса болтались на

крючьях под навесом. Часть этого добра Степаныч будет коптить, остальное заморозит.

— Внучка должна вот-вот подбегать, — сказал он, утирая руки, — студентка. Год ещё учиться.

— Кем будет?

— Учителем. К нам зову, в деревню. Ребятишек у нас полно, аж на целый класс наберётся.

Он саркастически улыбнулся.

Из дома вышла хозяйка, Дарья Петровна.

— Заходите уже, готово всё.

...Сидели долго.

Хозяйка умела делать самогон. Это был тот самый, который для себя. Настоянный на ягоде, зелёный змий по цвету напоминал коньяк, лишь слегка отдавая вкусом самогона. Закусывая свежениной, Пашка слушал хозяина и поглядывал в окно.

На дворе уже давно бело, конец декабря был снежным, но ветра сильного не было. Зимняя дорога до райцентра иногда заносилась, но силами местного лесхоза расчищалась и поддерживалась в рабочем состоянии. Два раза в неделю ходила почта, райповская машина с продуктами, да рейсовый ПАЗ гонял туда и обратно. Иногда лесовоз тяжело пыхтел соляркой, перегоняя кубометры леса.

— Дед, гостью принимай, внучка приехала, — донёсся из сеней радостно-спешный бабкин голос. — Как? — живо отозвался Степаныч. — Уже здесь?

Отворилась дверь. Пашка обернулся и увидел девушку в светлом клетчатом пальто и белой вязаной шапочке.

— Здравствуйте, — улыбнулась она.

— Ну, здравствуй, здравствуй, — обнял её Степаныч. — Надолго?

— На выходные. До Нового года ещё неделя, надо успеть вернуться.

— Ну, проходи к столу.

Она сняла пальто.

— А это вот Пашка, знакомься.

— Полина, — вновь улыбнулась она.

— Паша.

— Садись, садись, — засуетился хозяин. — Дарья, иди посиди с нами.

Хозяйка тоже присела к столу.

Было видно, что старики очень рады приезду внуки. Они не сводили с неё глаз, всецело были заняты разговором и, казалось, не замечали Пашку. Полина едва успевала поворачиваться и отвечать на вопросы, которые сыпались на неё с двух сторон. — Да подожди ты, дед, — сердилась Дарья Петровна, — пусть поест.

— Пусть, пусть, — соглашался подвыпивший хозяин и тут же задавал новый вопрос.

Пашка улыбался, наблюдая эту умильную сцену, и разглядывал Полину.

Тёмно-каштановые волнистые волосы были прихвачены в косичку, которая свисала почти

вертикально, пряди чуть напущены на уши, внизу едва заметно отсвечивали капельками две серьги. Карие глаза мерцали теплотой, из глубины их весело струился живой огонёк.

Пашка поднялся.

— Пойду я.

Он вышел из-за стола.

— Хотя наелся? — участливо спросила хозяйка.

Пашка кивнул и стал одеваться.

— Ну, спасибо тебе, Паша, — пожал руку Степаныч. — Вдвоём мы вон как быстро управились. Если что, заходи. Мать! — крикнул он. — Ты приговорила чего надо?

— Приготовила. Чего спрашиваешь-то?

— Тогда всё в порядке.

Хозяйка что-то заворачивала и клала в мешок.

— Вот, Паша, возьми. Здесь мясо и бутылочка тебе.

Пашка благодарно улыбнулся и приподнял мешок — килограмм пять будет, подхватил его на плечо и потопал к себе.

На другой день, плотно пообедав, он решил сходить в деревенскую библиотеку.

К чести признать, на такое малочисленное местное население приходилось более восьми высоких и длинных книжных стеллажей, на которых стройными рядами располагалось большое количество художественной, технической и периодической литературы. Каждый раздел был указан по интересам и в алфавитном порядке. Отдельно лежали подшивки газет.

В основном это были произведения советских и близких по духу к ним зарубежных писателей на военно-патриотическую и революционную тематику, где описывался путь становления самого справедливого в мире государства, о беспощадной борьбе между красными и белыми, бедными и богатыми, угнетённых и угнетателей во всех союзных республиках, социалистическом лагере и «загнивающем» Западе.

Была также литература наших дореволюционных классиков: Н. Гоголь, Л. Толстой, Ф. Достоевский стояли на самом видном месте. Однако, кроме Пушкина, Лермонтова и тоненькой книжечки В. Маяковского, никакой поэзии более не было.

Пашка брал обычно книги на историческую и географическую темы, любил перечитывать приключения в изложении Жюль Верна и Джека Лондона. Здесь они были доступны свободно, и, наверное, мало кто их читал, так как внешне находились они в превосходном состоянии, не потрёпаны и не помяты. У себя на родине он заранее записывался на этих авторов, и ждать приходилось не одну неделю.

Высокая симпатичная библиотекарша лет тридцати, со скужающим лицом и строгой талией, привычно приняла у него книги. Она приходилась женой местному управляющему, невзрачному

худосочному пареньку намного моложе её, с которым, по причине удалённости местности и малочисленности мужского населения, принуждена была судьбой разделить участь всех тех молодых женщин, у которых почти нет выбора в поиске своего единственного, любимого и неповторимого и которые вынуждены, чтобы не остаться старыми девами, довольствоваться тем, что имеется, в надежде, что «стерпится-слюбится».

— И как вам у нас? — встретила она его вопросом. — Не скучаете по дому?

— Пока нет, — уверенно ответил Пашка. — Как заскучаю, так уеду.

— Вы женитесь, что ли? — ошарашила она вдруг его.

— Я? — удивился он. — На ком?

— На Полине.

Пашка не знал, как среагировать на её слова, но его зацепило.

— А почему на Полине?

— Ну как же, как же, — заиграла библиотекарьша глазами, — видели, небось, как вы от неё уходили. У нас ничего не скроешь.

— Я не у неё был, а у Степаныча. Она позже приехала.

— Всё равно, дыма без огня не бывает. С чего бы наш участковый с утра околачивался там?

— Где там?

— Возле её дома.

— А при чём тут участковый? — не понял Пашка.

— Ну как сказать тебе, — перешла она на «ты». — Петро у нас холостяк, на Полину запал давно, как кот за ней ходит. Вот только не хочет она его, от ворот поворот даёт.

— Он же намного старше её.

— Ну и что? Старше не старше, а чувствам не прикажешь, — вздохнула она, — он тоже человек, — и иронически погрозила пальцем. — Так что смотри, Петро мстительный, своего добьётся.

Пашка выбрал две книги и вышел.

По пути его нагнал милицейский уаз. Посигналил и остановился. За рулём сидел участковый. Он поздоровался и пригласил рукой в машину:

— Присядь.

Пашка сел рядом.

— Работаешь где?

— Нет.

— Почему?

— Да пока деньжата имеются, хватает.

— «Хватает», — недовольно передразнил Петро. — Значит, тунеядствуешь?

— Почему тунеядствую? Мирно существую, никому не мешаю.

— Не мешаешь, — опять недовольно буркнул участковый. — Значит, мешаешь, если спрашиваю.

— Кому?

Петро недвусмысленно взглянул на него, дёрнувшись что-то сказать, но промолчал.

— Прописываться здесь думаешь?

— Пока нет, — пожал плечами Пашка. — Поживу, там видно будет.

— Значит, как женишься, так и пропишешься, — со злой иронией процедил Петро.

— В ближайшее время не собираюсь, — покосился Пашка. — А что вы всё спрашиваете?

— Служба такая.

Он помолчал немного.

— Ладно, иди, — махнул рукой. — А всё-таки чего не женишься-то? — пристально посмотрел он на него. — У нас здесь полно свободных баб, могу познакомить.

Пашка давно уже понял, что за гвоздь в заднице мучает участкового и почему он так нервно ёрзает и так старательно пытается уловить своим пытливым милицейским умом хотя бы малейший знак или намёк на то, что между ним и Полиной имеется какая-либо связь, в надежде подтвердить или опровергнуть слухи и возникшие свои опасения, не догадываясь, что тот уже в курсе почти всех деревенских событий.

С трудом скрывая кривую усмешку, Пашка вежливо поинтересовался:

— А сам-то почему не женишься?

— Это тебя не касается, — огрызнулся тот, захлопывая дверцу, — здесь вопросы задаю я, — и нажал на газ. — В общем, ты меня понял, — многозначительно посмотрел он, дёрнул скорость и уехал.

«Да-а, деревня, — оглянулся Пашка, угадывая в задёрнутых окнах любопытствующие взоры. Краем глаза заметил, как в одном по-шпионски шевельнулась шторка. — И под землёй не спрячешься».

Он поискал глазами милицейский уаз, не нашёл его, поправил шапку и направился к своему дому.

Утром, едва проснувшись, не успев толком протереть глаза, он услышал голос:

— Паша, выйди на минутку!

За окном стоял Степаныч и махал рукой.

— Ты сейчас не занят?

— Нет.

— Помоги Полине сумки донести, будь другом. Скоро автобус подойдёт, а бабка напихала столько, что мне не дотащить.

Глаза у него хитровато поблёскивали, лицо светилось добродушной улыбкой.

— Хорошо. Когда подходить-то?

— Через полчаса. Только не забудь.

Степаныч сквозанул глазами по сторонам и шустро поспешил обратно.

Вскоре Пашка уже стучал валенками о порог его дома.

— Можно?

Дверь отворила Полина.

— Здравствуй, Паша, заходи.

Она приветливо смотрела на него и мило улыбалась.

— Ну, чего ты растерялся? — шутливым голосом обратилась хозяйка. — Давай проходи, посиди с нами.

Пашка разделся, разулся и вошёл в горницу.

Проводы были в самом разгаре. Стол завален различным деревенским кушаньем и разносолом, початая бутылка «коньяка» местного разлива гостеприимно зияла открытой горловиной и скромно предлагала себя любому желающему. Рядом похозяйски восседал Степаныч.

— Ну, проходи, проходи, зятёк, — нажимая на последнем слове, прищурился он в хмельной улыбке. — Садись, — ткнул ладошкой рядом с собой, заметив, что Пашка неловко затоптался, — в ногах правды нет.

Вошла хозяйка.

— Присаживайся, не стесняйся, — заворковала она, — сейчас завтракать будем. Полина, внучка, иди, посидим на дорожку!

— Баба, ну куда столько-то? Ведь за полгода не съедим, — укорила бабушку Полина, входя в комнату. — Съеди-и-ите, — уверенно протянула Дарья Петровна, — вся зима впереди. Присаживайся давай, — решительно ткнула пальцем рядом с Пашкой.

Тот вежливо подвинулся.

Разбавив сытый желудок двумя рюмками «коньяка», он лениво закусывал и косился на Полину. Она сидела рядом и пила понемногу: делает глоток, запьёт сладким ягодным морсом, шутя ткнёт его в бок острым локотком, глянет своими ясными глазами и отвернётся, уморительно закатываясь со смеху. Пашка немного захмелел, завеселел от таких тычков, не противился и с удовольствием подставлял бочину.

— Полина, — грозила, смеясь, Дарья Петровна, — смотри, покалечишь парня, отвалится что-нибудь. — Ха-ха, отвалится — пришлём, — хохотал Степаныч, заправляя объёмистые рюмки и поднимая их.

Полина лишь весело скалила зубы и подмигивала бабке с дедом.

Наконец дед взглянул на часы.

— Пора.

За воротами они расцеловались с внучкой, Степаныч между делом шепнул Пашке, кивнув на Полину: «Обрати внимание», — сунул ему две тяжёлые сумки («Свинью они туда запихали, что ли?..»), Полина ещё раз обвила руками стариков, помахала им, подхватила лямку, и они направились в центр села, к памятнику, куда должен подойти автобус.

Вскоре они пересекли улицу, и дом Степаныча скрылся из вида.

— Не тяжело? — спросил Пашка.

— Нет.

— Когда ещё приедешь?

— Когда? — задумалась она. — Наверное, весной, скорее всего. Раньше никак не получится — учёба. — Долго тебе ещё?

— Год.

— Потом куда?

— Не знаю. По распределению, куда направят. Может, сюда попаду. Если ты ждать меня будешь, — рассмеялась она.

На остановке стояло несколько человек. Местные бабёнки, заметив их, демонстративно отворачивались, но были начеку: косили взгляды, внимательно прислушивались и о чём-то тихонько поговаривали.

— Сейчас разговоры пойду-у-ут, — шепнула Полина. — Впрочем, я не против, — пожала она плечами, — пусть говорят.

Невдалеке остановился милицейский уаз. Немного постояв, он развернулся и подъехал к остановке. Опустилось стекло, показалось лицо участкового.

— Полина, ты в город?

— Да.

— Я тоже туда. Садись, подвезу.

— Нет, спасибо, Петро, я на автобусе как-нибудь.

— Зря, а то бы быстро доехали. А это кто с тобой, провожатый? — сверкнул он глазами на Пашку.

— Это? — переспросила она, беря его под руку. — Это мой жених.

— Уже и жених, — помрачнел участковый. — Что-то много их у тебя развелось.

Он задвинул на место стекло, резко нажал на газ и скрылся за деревней.

— Пристаёт? — спросил Пашка.

— Угу. Только надоел уже. Думаешь, откуда он сейчас едет? Убабы какой-то был. А я ему что, одна из них? Да и старый он. Ты его не бойся, — внимательно посмотрела она ему в глаза, — он только пьяный грозный, а трезвый — человек человеком. Его тут все знают.

Послышался гул, и вскоре показался автобус. Пашка затащил сумки в салон, уложил их, чтобы не мешались, и присел рядом.

— Долго ехать? — спросил он.

— Два часа.

Он поправил ей белую вязаную шапочку, зачихнул пряди волос и слегка задел пальцем по носу.

— Ну, пока, — поднялся и направился к выходу.

— Паша, обожди, — она вышла вслед за ним. — Ты помогай иногда старикам, ладно?

Он качнул головой:

— Само собой.

— Ну всё, иди, — и чмокнула его в щёку.

Пашка невольно зарделся:

— А мне?

Полина зажмурилась и подставила лицо.

Он с удовольствием несколько раз прижался губами к её щекам.

Полина одарила его милым взглядом, впорхнула обратно на сиденье, помахала ручкой, двери захлопнулись, двигатель заурчал, и, поднимая снежную пыль, автобус скрылся из вида.

Маленькая древняя приземистая полуразрушенная кирпичная церквушка в полном запустении высилась здесь же, в центре, напротив памятника тем, кто с ней боролся и разрушал её. Ограждения давно уже не существовало, загаженный пустырь напоминал скорее скотный двор, чем святое место.

Этот забытый и брошенный всеми памятник старины и ещё живой и тлеющей в глубине души народной веры в Бога в настоящее время являл собой лишь облезлые стены, на которых, особенно в верхней их части, сквозь толщу осевшей грязи безбожных десятилетий, куда не добралась рука атеиста, ещё угадывались лики святых, которые, в тихом своём безмолвном уединении, отрешившись от этого мира, мирно смотрели сверху вниз на строителей новой жизни.

Когда-то в нём кипела жизнь, шла служба, православный народ, совершая грехи, регулярно замаливал их в этих стенах, сохраняя тем самым у себя и в сердцах своих потомков сами понятия греха и суда Божьего, пока не поддался всеобщему искушению и обману, не разделился на красных и белых и не заменил Бога в сердце своём на «вождей всех народов». Теперь боязнь суда Божьего сменилась на боязнь суда земного, который судит по своим мирским законам и которому подвластен не каждый смертный.

Каждый раз, проходя мимо, Пашка останавливался и невольно тянулся взглядом к этому бывшему святому приходу. Ему казалось, что стоит только на секунду закрыть глаза и снова открыть их, как всё вернётся на круги своя, появятся нарядные прихожане, и богатое сибирское село, во всей своей красе и самобытности, вновь предстанет в своём естественном, изначальном виде, словно и не было ни Октябрьского большевистского переворота, ни последующей Гражданской войны, ни связанных со всем этим дальнейших лишений и печальных событий.

Он всё никак не решался войти внутрь истерзанного храма, даже на территорию, когда-то имевшую ограждение. Какое-то непонятное внутреннее чувство удерживало и не пускало его туда, словно сторонилось чего-то, что находилось там, внутри этих поруганных церковных стен.

Пашка понял, что боится он чувства жгучего стыда, которое будет жечь и мучить его, стоит лишь сделать первый шаг, стыда за себя и всех людей, живущих рядом, которые допустили всё это, за то, что он увидит там, внутри, и чего там не должно быть никогда.

Но это же самое чувство и подвигло его сделать этот шаг. Хотелось скорее облегчить ноющий в груди груз какой-то вины, змеиным клубком свернувшейся на сердце, который травил ядом кровь, мешал свободно дышать и прямо смотреть людям в глаза. Он знал, что потом ему сразу станет легче, потому что, кроме него, этого не сделает никто.

Пашка взял лом, метлу, лопату, ступил на порог церкви и сразу увидел то, чего так боялся. «Вот он, позор человеческий!»

В нос шибанул нестерпимо едкий запах людских испражнений, которыми было загажено всё помещение, стены испещрены пошлыми надписями. Казалось, всё вокруг насквозь пропитано этим дерьмом. Он стиснул зубы и молча принялся долбить эти зловонные следы людского падения.

«Зачем тебе это надо?» — удивлялись одни, проходя мимо. Другие закрывались и спешили скорее пройти. Были и такие, которые зло шипели и демонстративно презрительно отворачивались. Только местный худой и долговязый выпивоха, живший один, которого все звали Гришкой и считали больным, уже под конец, когда внутри всё было вычищено и подметено, увидев, чем занимается Пашка, округлил глаза, хлопнул себя по ляжкам, выпалил: «Фу-ты ну-ты, ну и дела», — и с готовностью помог вытащить за бугор остатки мусора.

Пашка не был сильно набожным человеком, но от достойно выполненной работы преисполнился какой-то внутренней благодати и спокойствия и с чувством исполненного долга трижды осенил себя крестом, поклонился стенам храма и вышел.

...С каждым восходом солнца день становился всё длиннее, солнце забиралось всё выше, светило всё ярче. На Первомайские праздники проталины на южных склонах сопки сильно поредели и почти полностью исчезли, лишь местами в густых массивах леса плотный наст ещё истекал талой водой. Вся остальная тайга, особенно с северной её стороны, была под снегом. Половодье набирало самую силу.

Речка Тёмная с каждым днём всё обильнее пополнялась грязной водой, делалась мутной, пузырилась, по ней стремительным потоком неслись валежник и всякий хлам. Слабенький деревянный просевший мостик, который связывал единственную до райцентра дорогу, не выдержал напора разбушевавшейся стихии, был разбит, разнесён по брёвнышку и утащен вниз по течению. Мужики протянули от берега до берега крепкий стальной трос, закрепили его, притащили и спустили на воду состоящее из двух железных спаренных лодок и прикреплённого сверху деревянного настила небольшое плавающее средство, прикрутили его скобой к тросу и назначили капитаном Пашку. — Побудь, Паша, пока вода не спадёт. А там и мост наладим, — попросил его управляющий.

Пашка оценил такое доверие и ежедневно добросовестно перебирал трос, переправляя с берега на берег то пассажиров с автобуса и обратно, то почту, то кули с продуктами питания...

Часам к десяти утра он подходил, делал свою работу и после этого, обычно к двум, привязывал

свой корабль цепью за дерево на берегу и мог быть свободен. Иногда задерживался, прохаживался недалеко, наблюдал за пернатой живностью, уже летевшей на север, и помышлял о ружьишке, видя, как по разливам садится утка.

В один такой солнечный день он узнал Полину. Она сошла с автобуса и вместе с двумя женщинами направилась к нему.

— Ну здравствуй, паромщик, — весело поприветствовала она. — Наслышана о твоих подвигах.

— С приездом, — вежливо отозвался он. — О каких?

— Ты, говорят, священником стал? — умильно прищурившись, медовым голосом спросила она.

— Вон ты о чём, — поняв, о чём речь, грустно усмехнулся он, призадумавшись. — Не думал, что так легко можно им стать. Священники-то вроде Богу служат, а я всего лишь дерьмо людское выгреб.

Он помог дотащить кое-какие вещи, крикнул: «Держитесь крепче!» — и переправил на тот берег. — Надолго? — спросил он, когда Полина сошла с парома.

— Как получится, — пожала она плечами. — Ты всё там же живёшь?

— Там же.

— Не скучаешь?

— М-м... — соображал он, привязывая плавсредство. — Скучаю.

— А вечерами чем занимаешься?

— Да ничем, — откровенно признался он. — Книжки читаю.

— Какие?

— Всякие. Приходи, вместе почитаем.

— Может, и приду, — неопределённо ответила она. — Ты сейчас домой?

Пашка подтащил паром, покрепче затянул цепь.

— Домой, на сегодня всё.

— Пойдём, проводишь.

Она сунула ему пакет, взяла под руку, и, обходя лужи, они направились в деревню.

...Вскоре показался дом Степаныча.

— Вот они, тут как тут, — радостно всплеснула руками хозяйка. — Давайте проходите.

Она расцеловалась с внучкой.

— Паша, ну чего ты стоишь? Раздевайся, сейчас обедать будем.

В доме было натоплено, в кухне на плите пытела фляга. Маленький самогонный заводик работал исправно, производство было в самом разгаре.

— Баба, ну и запах, — поморщилась Полина, — хоть прикрой немного.

Дарья Петровна махнула рукой:

— Дед придёт, снимет.

— А где он?

— В бане.

Пашка вспомнил: сегодня суббота.

Он вошёл, сел на диван. Вскоре послышался громкий восторженный голос: «Долго не было!» —

и на пороге, в кальсонах и с полотенцем на шее, возник распаренный Степаныч.

— Ну что, паромщик, никого ещё не утопил? — добродушно пожал он руку. — А то внучку больше не пущу с тобой.

— Не бойся, — с готовностью принял тот шутку. — За неё можешь не беспокоиться, доставлю в целости и сохранности.

Степаныч понимающе усмехнулся:

— Ну-ну.

Дарья Петровна расстелила простыню, и хозяин расслабленно прилёг на диван.

Следующим в баню отправили Пашку. Он от души напарился, натянул чистые дедовы трусы, которые хозяйка предусмотрительно сунула ему, чтоб не бегал за своими, подбросил в топку дров и, прикрыв голову полотенцем, скорым шагом направился в дом.

Настала очередь бабки с внучкой.

— Вы тут смотрите без нас, — строго-настрого наказала Петровна, поглядывая на деда, — чтоб ни капли мне.

— Ладно, иди, — как от назойливой мухи, отмахнулся тот, — учить будешь ещё...

Едва за ними хлопнула дверь, он тут же вскопчил и с изрядной долей сарказма ткнул рукой на своё место:

— Прошу вас, святой отец.

Пашка отрицательно покачал головой.

Он уже привык к различным званиям церковного толка, которыми стали награждать его местные жители, особенно старушки, после того, как навёл в церкви порядок, и перестал обращать на это внимание. Одна бабуся, помнится, даже узелок с куриными яйцами притащила. Пришлось взять.

Когда дамы намылись, они с дедом были уже слегка навеселе и как ни в чём не бывало смотрели телевизор.

— Чего вы так долго? — якобы спохватился Степаныч, подымаясь. — Жаждались уже.

Хозяйка обвела их опытным взглядом, но ничего не сказала. Полина улыбнулась во весь рот. Щёки её полыхали влажным румянцем, волосы на затылке были стянуты в узел.

Женщины уже передохнули в предбаннике, остыли, наговорились и сразу стали налаживать на стол. Полина порхала перед Пашкой, искоса посматривала на него и переглядывалась с бабушкой. Та, казалось, сосредоточилась на чём-то высоком, была строга и серьёзна.

Полина села рядом. Молча выпили по одной. Степаныч налил ещё.

— Что-то сидим как на похоронах, — невесело заметил он, протягивая руку за маринованными грибами. — Хотя скажите что-нибудь.

— Как ляпнешь чего не надо, — с негодованием поморщилась Дарья Петровна и повернулась к Полине. — А вот и скажу, — решительно заявила

она.—Внучка наша учёбу заканчивает, хочет сюда приехать, деток учить. А там, может, и свои заведутся.

— От Петра, что ли?—встрял дед.

— Зачем от Петра?—спокойно пояснила Петровна, скользнув взглядом по Пашкиному лицу.—Здесь найдёт себе. Или у нас женихов нет?

— Есть,—прогудел Степаныч.—Ты, да я, да мы с тобой. Ты уж лучше прямо скажи, что хочешь их с Пашкой поженить. Чего тянуть-то?

Жених с невестой невозмутимо сидели, скромно устремив взоры на стол, и невинно жевали.

Хозяйева переглянулись.

— Дед, подлей-ка им, а не то уснут.

Пашка с готовностью поддержал хозяйку.

— Мы вот что думаем, Паша,—после недолгой паузы мягко продолжил дед.—Плохого о тебе мы ничего сказать не можем, это я тебе честно говорю, как на духу, только хорошее. Да любого спроси в деревне, все так скажут,—махнул он рукой.

— Да, да,—поддержала Петровна.

— Полина тоже хорошо к тебе относится, сам видишь, так что давайте сходитесь и живите. А там как Бог даст. Нравится тебе Полина?

Пашка посмотрел на неё. Заметив краем глаза его пристальный взгляд, Полина зарделась и на миг просияла ему своими глубокими карими очами. Да, она ему очень нравится!

Степаныч уловил важность момента и довольно усмехнулся:

— Вижу, вижу,—и поднял руку.—Ну и добро! Давайте выпьем за это!

...Сидели и смеялись довольно долго, почти до самого вечера. Уже и пить перестали. Давно уже спало напряжение, все расслабленно гоготали и говорили каждый о своём. Старики вспоминали прошедшие годы, молодые тоже, и рассуждали о будущем.

Пришло время, и Пашка засобирался.

— Проводи,—шепнула бабка Полине.

— Угу,—с готовностью согласилась та... и как ушла, так и пропала.

Да старики и не ждали, легли без неё, догадались, чем дело кончилось, ведь сами подбивали,—и в душе лишь тихонько молились: «Только бы всё сложилось...»

Бог молитву услышал.

Уже около месяца как молодые открыто жили вместе. Вся деревня знала об этом, но особо мозолить языки было не о чем, так как к Пашке здесь относились довольно доброжелательно, и народ воспринял это событие как само собой разумеющееся.

Полина готовилась к защите дипломной работы и большей частью просиживала за учебниками. Пашка раздобыл у Степаныча старенькую курковую двустолвку и тоже допоздна задерживался на переправе.

Работы к этому времени прибавилось. Время большой воды подходило к концу, речка мелела, и вскоре готовились восстанавливать мост. Потихоньку подвозился строительный материал, складировался на берегу, Пашке дали напарника, и работали они посменно: днём были паромщиками, а ночами караулили это добро. Его уже оформили в лесхозе трактористом и начисляли зарплату. Вроде как с женой живёт.

И, уже ближе к вечеру, в один такой день подъехал участковый. Дежурил как раз Пашка. Петро оставил свой уаз и направился к нему.

— Живёшь, значит?—не подавая руки, процедил он.

— Живу, значит,—в тон ему ответил Пашка.

— Ну давай вези.

Не смотря друг на друга и не говоря ни слова, они переправились через речку. Участковый сошёл на берег, остановился, пристально взгляделся Пашке в лицо, словно пытаясь запомнить на всю оставшуюся жизнь, и, не оглядываясь, зашагал в деревню. Пашка проводил его обеспокоенным взглядом, но тут же взял себя в руки: «По работе, наверное».

...Полина сидела за столом, листала книгу и смотрела в окно. Во дворе уже сгущались сумерки, вдали, уцепившись за неровный край тайги, медленно опускался бронзовый закат. Пашка до утра заступил на дежурство и, наверное, опять притащит кучу уток. Полина не любила эту пахнущую рыбой живность—с детства приелась, но Павел, казалось, не замечал этого и ел с удовольствием.

Она включила телевизор и прилегла на кровать. Щёлкнула калитка. Кто бы это мог быть? Наверное, Дарья Петровна. В сенях скрипнула дверь. Полина поднялась и пошла навстречу.

В дом ввалился участковый. Он был сильно пьян, в кармане синей милицейской шинели торчала горлышко бутылки.

— Здравствуй, Поля.

— Здравствуй,—не сразу нашлась она.—Тебе чего здесь надо?

— В гости пришёл. Не ждала?

— Нет, конечно. А зачем?

— Ну зачем в гости ходят? Посидеть, выпить. Вот.

Он пошарил пьяной рукой, вытащил бутылку, нетвёрдой походкой прошёл к столу, поставил её. Подвинул стул, уселся рядом. Полина тревожно смотрела на изрядно поддавшего участкового.

— Петро, уходи давай. Сейчас Паша придёт. Что он скажет?..

— Не придёт,—тряханул тот головой,—я знаю.

— Ну, тогда уйду я.

Полина не знала, что ей делать и как выпроводить непрошеного гостя.

— Подожди, Полина, не уходи,—в его голосе зазвучали нотки мольбы.—Обожди. Я уйду скоро. Присядь.

Она присела на край кровати.

Участковый пошарил глазами, поднял на неё туманный взгляд, хотел что-то сказать, но поморщился, словно сожалея о чём-то, небрежно махнул рукой, взял бутылку, сделал несколько глотков и поставил обратно.

— Ну скажи, чем он лучше меня?—вдруг обиженно уставился он куда-то в пол.—Я что, урод какой-нибудь? Скажи, пожалуйста, я пойму.

Полина не знала, что ответить.

— Ну что ты молчишь? Ведь накопело уже,—яростно ткнул Петро себя в грудь.

Наклонился, схватил бутылку, сделал ещё несколько глотков.

— Приехал, видите ли,—зло прищурился он, переводя дыхание,—и всё ему как на блюбочке с голубой каёмочкой. Накося!—резко согнул он руку в локте.—Выкуси! Святоша.

Петро тяжело дышал и о чём-то думал, погрузившись в себя.

— Нравишься ты мне, Полина,—вдруг обмяк он,—и я хотел взять тебя к себе. А как всё обернулось... — Другую возьмишь, Петро, их у тебя много.

Он горько усмехнулся.

— Э, да что они?—махнул он.—Кроме тебя, мне никто не нужен. Да мы с тобой... да ты бы у меня...

Он начал размахивать руками, доказывая, как прекрасно они будут жить и что у них будет, если она согласится стать его, что у него в городе имеется квартира, которая давно ждёт их, они непременно переедут туда, он сразу уволится и найдёт себе другую работу, а она может спокойно сидеть дома... В порыве своей неумной страсти и слезливой любвеобильности он подсел к ней на край кровати и всё говорил и говорил, всё больше распаляясь и входя в раж от своей пьяной болтовни, пылких слов и признания в любви...

Полина вся сжалась и молча сидела, испуганно слушая пьяного Петра, который всё больше хмелел и молотил языком что попало, не контролируя себя.

Она хотела встать и уйти, уже не веря, что Петро оставит её в покое, но он схватил её за плечи и усадил на место:

— Сиди.

— Петро, ты что? Пусти,—стала вырываться она.

— Ты будешь моей?—дыхнул он перегаром.

— Нет! Пусти, говорю!

Петро навалился на неё, подмял под себя.

— Значит, нет?—рычал он.—Значит, ему всё, а мне ничего?

Он зажал ей ладошкой рот, надавил коленом и стал рвать одежду.

— Не-е-ет...—заламывая ей руки, хрипел он, тяжело дыша.—Не так всё просто, как ты думаешь, от меня так легко не избавишься!

Полина яростно сопротивлялась, царапала ему лицо, пыталась кричать—но куда ей одной

справиться с разгорячённым спиртом и потерявшим разум от терзающей его досады и жгучей обиды стражем народа?—и она лишь бессильно билась раненым птенцом в пьяных лапах почувявшего дичь хищника.

...Расслабленный насильственной любовью, лишённый сил, Петро, раззявив рот и ослабившись в храпоте, быстро погрузился в глубокий бесчувственный сон.

Полина набросила на себя одежду, схватила пальто и выскочила из дома. Она знала, куда ей бежать. К мужу.

Пашка сидел на берегу возле костра и разделял к ужину утку. Было почти темно, на тусклом небосводе уже мерцали первые звёздочки. Он взглянул на безлюдную, освещённую месяцем дорожку и сразу приметил такой узнаваемый и родной образ своей любимой. Он сунул за голенище нож и поспешил навстречу.

— Полина, что случилось?—заподозрил он недоброе.

Всегда аккуратно уложенные волосы её были растрёпаны, взгляд заплаканный, сама она стояла жалкая и потерянная. В глаза бросились тёмно-синие разводы на шее, словно её душили. Он распахнул пальто, увидел разорванный ворот платья и всё понял.

— Кто?—спросил он, задыхаясь.

Полина подняла к нему мокрое от слёз лицо.

— Петро,—чуть слышно, виновато произнесла она.

Она рассказала всё как было. Пашка стоял, смотрел на неё и молчал. Потом вытер ей слёзы и проводил к костру.

— Побудь здесь, я скоро. И ничего не бойся.

— Ты куда?—вскинулась она.

— Я сейчас приду, ты не беспокойся.

— Паша, не ходи!—почти выкрикнула она, догадавшись, куда он направляется.

— Я скоро, скоро...—успокаивал он её, удаляясь.

Полина села, обхватила голову руками.

Пашка шёл, не замечая ни дороги, ни времени, и скоро очутился возле своего дома. В окнах горел свет. Он щёлкнул щеколдой, подошёл к двери. Сердце бешено колотилось, тупая злоба затуманила глаза. Он не знал, что сейчас будет, как и о чём разговаривать с Петром. Да и стоит ли?

Дверь резко отворилась. Перед Пашкой в упор блеснул милицейский погон Петра. От него сильно разило перегаром, он был очень пьян.

— А, ты,—хмуро произнёс участковый, увидев его перед собой.—Притащился, значит. А где Полина?

— Зачем ты это сделал, гад?

— А чтоб знала и другим передала,—единым дыханием зло прошипел Петро, напирая на него.—А ты шёл отсюда, или я и тебя достану, гнида!

Он протянул руку, пытаясь ухватить Пашку за грудки.

Тот машинально выхватил из-за голенища нож и коротко ударил им в грудь Петра, как раз в то место, где находится карман, с левой стороны. — Ты!.. — выпучил Петро глаза, но сразу как-то обмяк, закачался и без звука рухнул на землю.

Пашка вытер об него лезвие, сунул нож за голенище и, не таясь, не замечая ничего вокруг, пошёл по улице обратно.

Он возник из темноты неожиданно. Подошёл к Полине, сел рядом. Ничего не говорил, только пространно смотрел на огонь и молчал. Она поняла: что-то произошло.

— Что у вас было?

Он продолжал молчать. Она посмотрела ему на руки, потом в глаза.

— Ты убил его? — догадалась она.

Ответ последовал не сразу. Через минуту он покаянно признался:

— Да. Он сам полез, я ничего не мог поделать.

Полину не удивил его ответ. После того, что с ней случилось, она не испытывала никаких эмоций и жалости к Петру, было лишь отчаянье за Пашку и себя.

— Дура я, — всхлипнула она. — Что я наделала?.. Зачем сказала?.. Что сейчас будет?.. Ведь посадят тебя...

— Посадят, да не сейчас, — решительно заявил Пашка.

В глазах его мелькнул осмысленный огонёк. Он что-то обдумывал.

— Правильно сделала, что сказала, я бы всё равно узнал. Потом попробуй докажи, а он ходил бы да посмеивался. Ты думаешь, я бы стерпел? Чему быть, того не миновать.

Он помолчал немного.

— Ты помнишь, где дедова заимка? Ну, куда он охотиться ходил?

— Помню. Туда тропа ведёт. А зачем ты спрашиваешь?

— Пересидеть надо. Время пройдёт, там виднее будет, что и как.

Полина молчала.

— А если найдут?

— Найдут, не найдут! Не прятаться же нам вечно. Ещё неизвестно, кто виноват.

Он заметно оживился, в зрачках его лихорадочно металось отражение костра. Казалось, появился какой-то свет в конце тоннеля, временная передышка.

Это же состояние передалось и Полине.

— Продукты там имеются, Степаныч говорил, на первое время хватит. Ружьё у меня есть, не пропадём. А?

Полина что-то обдумывала.

— Надо из одежды кое-чего взять. Ведь только и есть, что на нас.

Её душа тоже металась от безысходности и тяготилась самой мыслью о возвращении домой, ибо слишком страшно и нелепо выглядело всё

происшедшее, ещё свежа была и обильно кровоточила нанесённая сердцу рана, и должно пройти время, чтобы хоть немного ослабла эта боль. Их обоим неудержимо влекло и страшно мучило лишь одно желание — убежать подальше от всего этого, остаться наедине и пережить весь этот ужас, пока не успокоятся сердца и не придут в порядок мысли. А там видно будет.

Пашка погасил костёр и отправился обратно — взять самое необходимое и кое-что из одежды. Сейчас он шёл осторожно, крадучись вдоль берега, прислушиваясь и присматриваясь к любому шороху и шевелению. Ни одной живой души. На улицах темно, хоть глаз выколи. Деревья спала мирным сном. Мёртвый Петро так же лежал при входе, вывернув руку. Пашка собрал в узел свои и Полины вещи, прихватил документы, выключил свет и так же украдкой, стараясь не попадаться на глаза, вернулся назад, где ждала его Полина.

Переждав в кустах, с рассветом они подались в тайгу и по известной Полине тропе к вечеру добрались до заветной Степанычевой заимки.

...Милиция прибыла около полудня.

Дарья Петровна зашла утром к внучке и чуть не упала в обморок, увидев эту неприглядную картину. Не чуя ног, добежала до управляющего, сообщила страшную весть и слегла. Степаныч, сам не свой, не веря своим ушам, скоро был там и всё увидел собственными глазами. Возле дома уже толпился народ. Следовательно с командой разбирались внутри и никого не пускали. Всем уже было ясно, что произошло и в чём причина. Догадаться было нетрудно. Местные жители жалели и Петра, незлобивый был человек, лишь когда перепьёт — неуправляемый, и Пашку с Полиной, ведь только жить начали, — и лишь сочувственно кивали друг другу: «Вот она, любовь проклятая...» — Что же ты наделал, Петро, — чуть слышно произнёс следовательно, осматривая труп.

Вскоре милиция закончила свои дела, погрузила Петра на подводу, и унылая серая лошадёнка не спеша потянула свой скорбный груз к переправе. — Ты, Степаныч, когда увидишь, скажи им, пусть не бегают, всё равно возвращаться придётся, — подошёл к нему следовательно. — Сейчас у них шок, отойдут маленько — легче будет. Дело тут ясное. Суд может по минимуму дать, а то и условно, как дело повернуть, ведь свидетелей-то нет. Передай.

Каждый день Степаныч ходил к речке, надеялся — весточку какую подадут или сами появятся. Он догадывался, где они могут быть, собирался сходить туда, хоть и далековато, передать то, что велел следовательно, обнадёжить маленько и убедить вернуться, ведь не навсегда же разлучат их.

Он знал: долго они там не просидят, выйдут к людям, время пройдёт, и они опять будут вместе, что бы там ни было, ведь впереди ещё целая жизнь, где ещё столько всего — и хорошего, и плохого...

Андрей Леонтьев

Последние менестрели

Кукушкины слёзки

Всё «ку-ку» да «ку-ку» — горлопанила долго кукушка,
Отмеряя другим их земной пребывания срок.
Но, к несчастью, лесник, что страдал от похмелья в избушке,
Услыхал этот звук — и нажал, матерясь, на курок.

И заткнулась навек провозвестница «многая лета»,
Не успев досчитать чью-то меру беспутных годин...
А мораль такова: если знаешь чужие секреты,
Не распахивай клюв — будет шанс дотянуть до седин.

Последние менестрели

Мы, возможно, всю жизнь о своей бы судьбе сожалели,
Если б не дал Господь бесконечную вольность дорог.
Мы идём в никуда — безымянной страны менестрели —
И свой пройденный путь отмечаем зарубками строк.

Мы идём в никуда — только Богу, наверно, известен
Изначальный маршрут, предназначенный именно нам.
И не слышит никто наших грустных и радостных песен,
И никто не пройдёт по оставленным нами следам.

Вымирает, увы, наше племя артистов бродячих,
Ведь иные слова и мелодии нынче в цене...
Но пока мы в пути — мы поём и не можем иначе,
Память в сердце храня о своей безымянной стране...

Я на мир этот странный всего лишь пришёл посмотреть,
Посмеяться, быть может, над ним с безрассудством глупца.
Но впечатался намертво в жизнь шутовской мой портрет,
На котором нельзя уловить выраженье лица.

То вовсе хохочу непонятно над кем и над чем,
То слезами горячими камень судьбы окроплю,
То наморщю «чело» из-за вороха мелких проблем...
А потом оказалось, что мир этот просто люблю.

А потом оказалось: увяз в этой жизни по грудь,
И реальности чашу мне выпить до дна предстоит.
Я на мир этот странный пришёл на минутку взглянуть —
Но на целую жизнь затянулся мой краткий визит...

● ● ●
Он хотел бы душе покоя —
И покоя хотел бы телу.
На веку повидал такое,
Что с катушек давно б слетело
Измытарившееся эго,
Если б капельку был слабее,
Если б не было оберега —
Не подковы, не скарабея,
А всего-то простой усмешки
Над собою да над судьбою.
Не желал он в ферзи — из пешки,
Увлекало его другое.
Был когда-то силен и молод,
Было удали под завязку,
Жизнь крутого любил посоло,
Лез в опасности без опаски.
Но настал момент — под раздачу
Он попал, и ещё, и снова.
И всё чаще его удача
Находила себе другого...
Он хотел бы душе покоя,
Эта мысль показалась здоровой.
На веку пережил такое,
Что имел бы на это право.
Но в желании, всем понятном,
Затаилась одна загвоздка:
Тащит что-то его обратно
С тихой улочки к перекрёстку.
И плевал он на степень риска,
Если ветер сигналил горном
И глотками, как добрый виски,
Обжигает сухое горло.
...На покой он имеет право,
Да покой для него — отрав.



Когда вдруг однажды — случайно, «внепланово» —
 Пораню я сердце об острое лезвие,
 То будут смотреть на меня как на пьяного
 Спешащие мимо прохожие трезвые.

Ступая с трудом тротуаром заплёванным,
 Как будто ногами босыми по угольям,
 Пройду я сквозь город, в мораль замурованный,
 Сгибаясь от боли, а больше — от ругани,

Что в спину вопьётся мне клювами воронов,
 Учувших кровь и с балконов летающих...
 И путь мне один — на четыре все стороны,
 Но Тот, наверху, подмигнёт понимающе —

И я устою на ногах перед взглядами,
 Свой след окропляя кровавой дорожкой,
 И вырвусь на волю из города смрадного —
 Пристанища чистеньких «ангелов» с рожками.

А после, бредя вдоль реки по течению,
 Котомку обид и усталости скину я.
 Усмешкой давясь и ища облегчения,
 Вдруг выплуну в воду ругательство длинное.

Отпустит... и рана, конечно, затянется.
 Но сколько же раз повторится подобное...
 Сквозь зубы бросаю презрительно: «Пьяница...» —
 В упавших от боли. Так просто удобнее...



Запрягли, помолились, поехали.
 Губы сжаты, и лица серьёзны.
 В многотрудной дороге до смеха ли?
 Вереницей проносятся вёсны —

Знай отсчитывай годы десятками.
 Всё быстрее повозку мы гоним.
 Обрастая в пути недостатками,
 Неприметную совесть хороним.

Нет, не сразу: по крошке, по зёрнышку,
 Как из торбы худой — под колёса...
 И темнее становится солнышко,
 И глядит исподлбья и косо.

Из крупниц, что роняем беспечно мы
 В грязь дорожную, не замечая,
 Дружно всходят ростки бессердечия,
 Умножая земные печали.

...А дорога всё вьётся и тянется,
 Седоков приближая к итогу.
 И повозка — тоскливая странница —
 Притормаживает понемногу.

Тпру-у, приехали! Вот и конечная.
 Что ж осталось за пыльной спиной?
 На полоске земли искалеченной —
 Сорняки непрístupной стеной...

Всего лишь бизнес

Горшки не боги обжигают,
 Планида смертных — ремесло...
 Роль у богов совсем другая:
 Держать в узде добро и зло,
 Следить за шатким равновесьем,
 Карать, прощать и награждать...
 Зачем же в грязь земную лезть им,
 Когда и в небе благодать?
 ...А людям в глине копошиться
 Не привыкать. Но гончары
 Всё сочиняют небылицы,
 Согласно правилам игры,
 Что, мол, горшок обжечь непросто
 И вся такая лабуда...
 Их осуждать не стоит, бросьте:
 Всего лишь бизнес, господа!

Мама

Ох, мама... смотрю в глаза твои,
 В лицо твоё постаревшее...
 И вся судьба полосатая,
 И всё за жизнь наблевшее
 Мне видятся в каждой чётчке,
 В морщинках твоих изломанных...
 Давай-ка открою форточку —
 Чтоб легче дышалось в доме нам.
 Давай-ка присядем рядышком,
 Родная моя, хорошая...
 И больно в душе, и радостно —
 Как будто вернулся в прошлое.
 Здесь время застыло намертво —
 Всё в доме твоём по-прежнему.
 Я сладкой завесой памяти
 Укроюсь от неизбежного...
 А ты говори, рассказывай —
 Я слушаю, мама, слушаю...
 Салфетка под старой вазой,
 Диванчик с накидкой плюшевой...
 Портреты: вот я, вот братец мой,
 Отец — словно жив и с нами он.
 И неторопливо катится
 Слеза по щеке по маминой.
 Ну что ты? Приляг, пожалуйста, —
 Подскочит опять давление...
 Нет, время, увы, безжалостно —
 Мы все в этом смысле пленники.
 Бежим в суете немыслимой,
 О вечном не помня смолоду...
 За окнами темень выцвела —
 Рассвет поднимает голову.
 От дождика морозящего
 Уже различимы лужицы.
 ...Над мамой моею спящею
 Невидимый ангел кружится...

Реинкарнация

Я, кажется, вспомнил! Конечно—Алиса!
 Та странная девочка из сновидений...
 И больше—ни капли напрасных сомнений!
 Фигуры—на выход! Проснулась Каисса!..
 На сцене судьбы, разрисованной в клетки,
 Под парусом тонким надежды на чудо
 Спешу я к той самой Алисе оттуда,
 Где связаны вместе потомки и предки,
 Где смешано всё—и пространство, и время,—
 Но память все прежние жизни скрывает...
 И вдруг—словно током однажды пронзает:
 Мы виделись раньше, но были не теми!
 Мы были другими с тобою когда-то,
 И мир был устроен совсем по-иному,
 Но знаю, что так же, любовью влекомы,
 Делили мы радости, слёзы, утраты...
 ...Я, кажется, вспомнил—не всё и не сразу,
 Но где-то в глубинах душевного моря
 (Где полный бардак из веселья и горя)
 Мелькнуло лицо... и послышалась фраза...
 О чём—не понять, только голос—о Боже!—
 Знакомый до самой малюсенькой нотки...
 Мгновенье б ещё... Но качается лодка—
 Сегодня штормит не на шутку, похоже.
 Того и гляди, что поглотит пучина
 Миров и веков... Но ведь мы же—бессмертны,
 И Тьме не добыть ожидаемой жертвы,
 В какие б она ни рядилась личности...
 ...А вдруг показалось? Ища компромисса,
 Бросает мне память обрывки скупые...
 Мы в жизни земной—лишь котят слепые.
 Но шепчет мой взгляд: неужели—Алиса?..



Под небесами голубыми
 Везёт меня не слишком прытко,
 Скрипя колёсами кривыми,
 Судьбы невзрачная кибитка.

Впряжён в неё усталый мерин,
 Трусит уныло и покорно.
 И мерин этот не намерен
 Менять трусцу на бег проворный.

Но не ропщу, не понукаю
 Я безответного конягу:
 Ведь жизнь, какая-никакая,
 Всё ж ковыляет шаг за шагом.

Лишь иногда, в мечте несмелой,
 Воображу, что подо мною
 Крылатый конь несётся белый,—
 И от глухой тоски завою...

Ода русскому валенку

Россия издавна гордится—
 Заметить надобно, не зря!—
 И славной «огненной водицей»,
 Что при морозах декабря
 Весьма полезительна любому,
 И «чёрным золотом», весомым
 На рынках всех иных земель,
 Матрёшкой яркою, ушанкой
 И заливчатскою тальянкой...
 Да сосчитаешь всё ужель?

В ряду предметов и явлений,
 Символизирующих Русь,
 Стоит по праву, вне сомнений,
 И обувь наша... Не берусь
 Сейчас витийствовать бесплодно
 О том, что модно иль немодно,
 Но факт, как водится, упрям:
 Давали предпочтение россы
 Подшитым валенкам в морозы,
 А летом—лыковым лаптям.

О русский валенок—спаситель
 Разнокалиберных ступней!
 Любого дворника спросите:
 Что в стужу может быть важней?
 Изобретён простым народом,
 Переживал ты с ним невзгоды,
 Знал лихие времена...
 Но, даже стоя на пороге
 Эпохи нанотехнологий,
 Не предаёт тебя страна!

О валенок! Оплот державы,
 Наидостойнейший предмет,
 Народом признанный по праву,—
 Да воспоёт тебя поэт!
 Пусть для «европ» ты экзотичен,
 Но нам удобен и привычен.
 Я верю: всем врагам назло,
 Грядущих зим заслышав поступь,
 Ты вновь—без вычурности, просто,—
 Отдашь нам всё своё тепло!

И пусть порой твоё название—
 Синоним лоха и глупца,
 Не принимай за наказание:
 Не потерять тебе лица
 От незаслуженных сравнений,
 Любимец многих поколений!
 Веков связующая нить
 Твои упрочила подошвы.
 К чему печалиться о прошлом?
 Ты жил, ты жив, ты будешь жить!

Андрей Деменюк

Отвыкнуть трудно

Другу-геологу о времени

Че Гевара де ла Серна
 Говорил мне:
 — Шер ами,
 Время, в целом, безразмерно,
 И пока ты младше керна,
 Ты костями не греми.
 Кости брошены — и верно,
 Что не нами, не людьми.
 Головою Олоферна
 Мир пусть катится в инферно,
 Ты же в сторону прими.
 В цифре спрятан Люцифер, но
 Душу этим не томи.
 Мы же меряем гомерно:
 Всё, что меньше эры, — скверна.
 Так пускай немножко нервно
 Курит Фауст за дверьми.



Я не терялся в Питере,
 ведь слава — птица зоркая.
 Иду в потёртом свитере,
 гранит бессмертья шоркая.
 Я не светился в Твиттере,
 в жж не множил ужаса.
 Но в каждой луже в Питере
 Мой облик обнаружился.
 Иду как на Юпитере:
 А где ж другие всякие?..
 И гадят чайки в Питере
 Лишь на меня с Исакия!

Ваде на Ведугу

На дважды два часа
 Запаздывает Запад.
 Едва открыв глаза,
 Я сразу выпил за
 Твоё рождение залпом
 Коньяк прошедших лет
 Кускунского разлива.
 И вновь увидел свет —
 Пусть в жизни счастья нет,
 Мы не умрём.
 Счастливо!

Питерское заразное

Какой там оппонент из Петербурга!
 Я только эхо твоего таланта,
 Я жалкий отблик лика демиурга
 В лице окаменелого атланта.
 Так стены отражают песнь ваганта,
 Чтоб возвратить подобием ответа.
 Как фи́га не подменит фигуранта,
 Так я давно не оппонент поэта.
 Я просто пациент из Питер-где-то,
 Из Питерморга или Питердурка...
 И небо я копчу, как сигарета,
 Мечтающая о судьбе окурка.

Неуместная аллюзия

Быть гениальным — неподсудно!
 Порок въедается подспудно,
 Ведь жизнь идёт путём банальным:
 Так — пить, курить, быть гениальным —
 Привыкнешь, а отвыкнуть трудно.

Другу в Африку

Я поэт, конечно, не великий.
 Я не Пушкин, и в Аддис-Абебе
 Не стою я, африканоликий,
 Головою в раскалённом небе.
 Но один еврей меня, однако,
 В разговоре с выпившим эвенком
 Сравнивал однажды с Пастернаком!
 Вот поди и утопися, Ленка!

Другу-геологу в поле

Это ж чистое инферно —
 Лишь представить, шер ами, —
 Что меж ящиками с керном
 Ты ложилась костями!
 Что страдала ты безмерно
 От восьми и до восьми,
 Как трепещущая серна
 Меж занозами с гвоздями!
 И скажу я не кошерно,
 По-французски, не для сми:
 — Положи ты, Ленчик, керн на...
 И билет в Тайланд возьми!

Стихи безответные

Ну, вот стихи... А где ответ?
 Ответа ты в стихах не сыщешь,
 Хоть напиши стихов полтыщи.
 За всё ответит сам поэт.
 За всё ответит и заплатит —
 И рассчитается сполна.
 А после, если сдачи хватит,
 Он выпьет горького вина.
 В нём истины три капли сыщёт,
 На самом дне, и станет вновь
 Кропать стихи — ещё полтыщи,
 Про Веру, Надею и Любовь.
 И не поймёшь его: про баб ли
 Иль что иное речь ведёт,
 Ведь истины — всего три капли,
 А остальное — пот и слёзы,
 Ну и, само собой, — вино.
 Ведь если б был поэт тверёзый,
 Его бы не было давно.

Питерское в никуда

Дождь, косматый, как гетера,
 На Исакий тучи вьючил.
 Я стоял у «Англетера»,
 Стих неслышно деменючил.
 Только тут ничто не значил
 Мой покровский стих уродский.
 Маяковский здесь маячил,
 И бродил нередко Бродский.
 Было сыро, было серо,
 Пахнул серой дождь осенний.
 На меня из «Англетера»
 Пепел стряхивал Есенин.
 Эфиоп с чугунной тростью
 Шёл по набережной Мойки.
 Я ж торчал там в горле костью,
 Что подобрана с помойки.
 Телефон нещадно глючил.
 Облака шептали Блока.
 Я же тупо деменючил
 Воду в ступе водостока.

ДиН пародия

Евгений Минин

Талант — под рёбра

Китайное

*Свой путь земной пройдя до середины,
 Я очутился на краю земли,
 Где море Жёлтое, где строят хунвейбины
 Дороги новые, дома и корабли.*
 Андрей Сизых

Я брёл на юг сквозь степи и долины,
 И Стену без проблемы перелез.
 Китайцев сосчитать до половины
 Хотелось почему-то позарез,
 Чтоб как-то переплюнуть Мандельштама,
 И сочинить неповторимый стих.
 Который год считаю их упрямо...
 И нет конца.
 Прощайте.
 Ваш Си Зых.

Слаботоническое

*За ивой вроде бы Ахматова?
 За мхом лесным — Мариенгоф?
 Валерий Дударев*

В поэзии не вижу толку я,
 Что для меня — недобрый знак:
 Вот Мандельштам сидит за ёлкою,
 В кустах чернеет Пастернак.
 Куда ни глянь — везде практически —
 За каждым деревцем поэт.
 И в этой роще поэтической,
 Жаль, для меня местечка нет.

Евгений Яночкин

Меня запомнит океан

Под созвездием Южный Крест

Дождь и туман — и отсутствие шанса
Выйти в Инет и услышать свой дом.
Мокнут на взрытых бульдозером сланцах
Красные доски под тёплым дождём.

В розовой глине увяз экскаватор,
Джунгли по кругу, а мы — на бугре.
Это, ребята, — почти что экватор!
Вечное лето его на дворе.

Джунгли стоят молчаливо и плотно
И зеленеют, как наша тайга.
Пахнет нагретой водою болотной,
Просится странная рифма: «снега»...

Русская база в далёкой Гайане,
«Тарпик»¹ для белых на самом верху,
Липкая глина...

Но вечер настанет —
Влажный блокнотик и тяга к стиху.

Выглянут звёзды, и грёзы слетятся
В полог москитный из разных из мест.
Смотрит на зыбкий приют чужестранца
Южный наклонный мерцающий Крест.

Прилёт гусей

На северáх в начале мая
Ещё снега... Метели вой...
Но сердце вздрогнет, замирая:
Как первый гром над головой,

Как дикий крик: «Земля! Полундра!» —
На том пиратском корабле, —
Прилёт гусей... Кружится тундра
В спящей снежно-белой мгле.

Пора домой... Сезон отмерян,
И лыжи липнут с десяти...
Там, дома, — всё, чему я верен.
Ах, тундра, тундра, отпусти!

«Пора домой!» — хлопочут крылья.
«Пора домой!» — благая весть!
И верится: за снежной пылью
Тепло, любовь и солнце есть...

Осень в Москве

Старый сквер стоит, развесив уши,
Словно подражая тут и там
Золоту гуляющих старушек,
Зелени паркующихся мам.

Осень!

Что за зрелище такое!
Раскрутилось сердце, как праща...
На скамье, средь тихого запоя,
Хочется и плакать, и прощать.

И наладить жизнь свою так просто:
Я сижу, а двадцать первый век
Обтекает мой волшебный остров
Руслами натруженными рек.

Реки улиц, стариц закоулки —
Мир разлапист, жилист и лучист.
Я держу, как городок в шкатулке,
На Москву похожий жёлтый лист.

Слякоть

Бывает, что хмарь небосклона
Придавит — да только держись! —
Когда вдруг посмотришь с балкона
На дворик, на город, на жизнь...

Повсюду тропинки-морщинки
По дряблему снегу бегут.
У серых подъездов машинки
Хозяев своих стерегут...

Седая московская слякоть!..
Бессонница ночи и дня!
Всё чаще мне хочется плакать,
Хоть всё хорошо у меня...

Мне хочется мелочно злиться
На тёплый сырой снегопад,
Дешёвеньким пивом травиться,
Про жизнь говорить невпопад,

И локти кусать поневоле
Над парочкой искренних строк,
И сыпать щепоточки соли
На совесть — надёжно и впрок!..

1. Брезентовый навес для жилья (от английского «tarp» — «брезент»).

Если бы...

Если б был я не плут,
обусловленный плотью и кровью,
Не нуждался бы в славе,
покое, питье и еде—
Я открыл бы приют
для сердец, обделённых любовью.
Разве кто-нибудь вправе
один оставаться в беде?!

Я хотел бы созвать
всех, кто слышит, любого покроя,
С массой мелочных драм
и больших неудавшихся дел!—
Их не стоит скрывать...
Я смотрел бы на вас, и, не скрою,
Я б завидовал вам
и одним среди вас стать хотел.

Я зажёл бы свечу
и задёрнул тяжёлые шторы,
Чтоб никто не мешал
нам почуять сердечную связь.
Я всего-то хочу:
без конца слушать все разговоры,
Никуда не спеша
и совсем ничего не боясь...

Пламя вздрогнет, и глаз
огоньки встрепенутся по кругу,
Чей-то вздох пролетит
как признание в чьей-то вине...
Говорите все враз,
прижимайтесь теснее друг к другу,
Чтобы не прорасти
между вами вражде и войне!

Луна и волки

В ночь, когда Луна своим сияньем
Бесконечно падала с небес,
Волки собирались на поляне
У горы, забыв уютный лес.

И качались, сев просторным кругом,
В ритмах света, страсти и тоски,
Песней, полной счастья и испуга,
Разрывая сердце на куски.

Но, отдав оброк своей Богине,
Уходили вновь в дремучий лес,
Чтобы там, в глубокой середине,
Позабить о близости Небес...

Лишь веками помнить будут скалы
Здесь, у основания гольца,
Превращенье волчьего оскала
В некое подобие лица...

Начало лета в Заполярье

За палаткой—солнечная ночь,
В уголочке—комп под образами.
В Подмоскovie младшенькая дочь
Завтра сдаст по русскому экзамен.

Там у них—фонтаны и жара,
Сто хлопот и пряники в субботу,
Ну а нам с полуночи пора
Выходить на лыжах на работу.

Хорошо взглянуть из-под руки:
Лёд на лужах радужный и тонкий,
Под кустом в сугробе у реки
Спит июнь, завернутый в пелёнки.

Океан

*К птичьему прислушиваюсь крику,
Вижу только море вдалеке.
Море ходит. Море пишет книгу.
Книгу о себе. О старике.*
Ю. Левитанский

Приду с утра на океан
И в пене мутного прибоя,
Что вечно движим сам собою,
Увижу очертанья стран.

Меж них—Колумб и Магеллан,
Все каравеллы, барки, бриги...
А волны—как страницы книги:
Хемингуэй... Аристофан...

Хранит и помнит океан
Свою премудрую работу.
Перо его матросским потом
Пропахло. Он от рома пьян,

Но помнит Веды и Коран,
Идею первой пирамиды,
Расцвет и гибель Атлантиды,
Паденье ангелов и стран...

Всех поимённо: бог, титан...
Он видел, как взрастало древо,
И как к нему ходила Ева,
И Херувима меч и стан...

И даже то, как был туман,
В тумане—смута и разруха,
И—первые полёты Духа
Хранит и помнит океан...

Не то стихи, не то роман
Я завершу на сей отметке.
Куплю у старика креветки.
Меня... запомнит океан.

Стихи об Индии

Ночь, луна, кроны пальм, и — невидимо-видимо-видимо —
Спят взгляд светлячки, светлячки по озёрным кустам.
Что ещё рассказать о далёкой загадочной Индии? —
Я ходил по её захолустным, безвестным местам.

Изнывал от жары, видел пыль, нищету и помоища,
Из ржавеющих труб, помоясь,пил плохую «пани»²,
Вопрошал про «растú»³ вездесущих индусов и — что ещё? —
Видел дом, видел снег и российского неба огни.

Видел горы Непала и Ганг вдалеке — и вынашивал
Непонятное чувство давно позабытого сна...
Я для смеха мальчишек о чём-то по-русски расспрашивал,
Тут же слыша в ответ удивлённое русское: «А?»

Видел праздных невежд, диверсантом бывал и посмешищем
«Руссиан инженер», но судить не хотел я с плеча:
«Миты́ тель»⁴, — объяснял, пот с лица утерев мокрой ветошью,
И трудяга-индус отвечал мне охотно: «Аччá!»⁵

Ночью к манговой роще мы вышли из топей из рисовых,
Там секьюрити-дед оказался на редкость речист.
Брод в реке показал, всё чего-то хвалил да расписывал,
Славил Кришну вдали деревенский охрипший солист.

А потом я сидел на пригорке — с усталости, видимо,
Вдруг увидел весь мир и себя сквозь тумана постель.
И услышал слова: намастэ́⁶, намастэ тебе, Индия!
Бог в тебе и во мне. Намастэ, намастэ, намастэ!

Жене

Давным-давно ты пела мне
О бедном розовом слоне,
И — наша ль в том вина? —
Об этой песенке твоей
С годами память всё живей,
Прозрачней глубина.

Когда со мной не дружит сон,
Топчу ногами, будто слон,
Но клетка заперта.
Он жил как все и серым стал,
Хоть много книг перелистал
О красках и цветах.

Так спой о розовом слоне,
Давай присядем в тишине,
Нам станет грустно — пусть.
Греха большого в грусти нет,
Зато присохший серый цвет
Размоет эта грусть.

.....
2. Вода (*хинди*).

3. Растú — дорога (*хинди*).

4. Тель — нефть, миты́ — земля (*хинди*).

5. Хорошо (*хинди*).

6. Я приветствую твоего Бога — почтительное приветствие (*хинди*).

Сонет

Тает зимник. Тощие берёзки,
На ухабах прыгая, бегут,
Оставляя синие полосы
На апрельском плавленом снегу.

У погоды здесь характер хлёсткий:
То аврал, а то опять загул.
Это — Север. Вид его неброский
Позабыть я вряд ли уж смогу.

Это — Русь. Пускай не коренная,
Но и здесь, любя и проклиная,
Не поймёшь, печален или рад,

Держит путь от Бога и до Бога
(Затянулась чёртова дорога)
Скандинавский греко-азиат.

На Севере

Опять мороз за сорок пять
На Севере далёком.
Не спится. Скоро будет пять.
Но не воротишь годы вспять,
Душа полна упрёка.

Болит от мыслей голова —
Старею понемногу.
Трещат смолистые дрова.
Простые добрые слова,
Придите на подмогу!

Всё будет — знаю — хорошо, —
Я это часто слышал.
А я хочу, чтоб дождь прошёл,
Прошёл над всей моей душой:
По лужам и по крышам.

Чтоб струй многоголосый строй
Мне спел про жалость, сирость.
Пусть милосердною сестрой
В мой поэтический настрой
Войдёт святая сырость.

И даст лекарства для души:
Я выпью по привычке
Весь ветер в зелени вершин,
Стук каблуков, и шорох шин,
И возглас электрички.

И мне покажется сперва,
Что все за всех в ответе,
Потом забрезжатся едва
Простые добрые слова
О подмосковном лете.

Диана Кан
Растаковская

Блинный дух и дух былинный
Поизветрились постом...
Раскалённая калина
Кровенеет под окном.

Раскалилась, словно печка,
Всласть отведавшая дров.
Баба Настя теплит свечку,
Взгляд серьёзен и суров.

Свежей сдобой тянет сладко.
Скоро Пасха. По ночам
Непоклонистая бабка
Бьёт поклоны куличам.

На муку слегка подует.
Бухнет масла дюжий ком.
И колдует, и волхвует,
И орудует пестом.

На Пасхальной на неделе
Не из нашей ли печи
Куличи в трубу летели,
Золотые куличи?

...С бабой Настею не спорьте,
Хоть она добра на вид.
«Масло пёчи́ва не портит!» —
Баба Настя говорит.

Из печи кулич достанет.
Цыкнет: «Рученьки уйми!»
И, возрадуясь устами,
Опечалится очми.

Ах, как пахнут сладко-сладко
Золотые куличи...

Что ж печалуется бабка,
Пригорюнясь у печи?..

Почему она печальна,
Если с самого утра
Благолепно-величально
Льют елей колокола?..

Не с того ли, что былинный
Дом вот-вот пойдём на слом?..

...Сгустки ягоды калины
Кровенеют под окном.



Пора отрешиться от чепухи —
Чем я, собственно, хуже?
Бросила пить, курить и писать стихи.
Пора подумать о муже.

Был ввысь устремлён белопенный наив
Ветвей, расцветающих в мае.
Настала пора — и осенний налив
Строптивые ветви склоняет.

Часами над милою Волгой-рекой
Сижу — само благонравие.
Неужто надо — за упокой,
Чтобы закончить за здравие?

Пора влюбляться негорячо,
Подонков судить нестрога.
Пора перестать подставлять плечо
Тому, кто подставил ногу.

Пора... Золотая пришла пора.
Рябины пылают гроздьи.
А там, где была я ещё вчера,
Не ждут меня нынче в гости.



Ты говорил мне пустые слова,
Не отражавшие суть:
«Вот и Нева!..» Ну и Нева?
Это не важно ничуть!

И отражались, как вещие сны,
В сумрачной невской волне
Белые ночи, чёрные дни,
Медный кумир на коне.

И провожал поезда на Москву
Город, пленявший умы.
И неотрывно смотрели в Неву
Неотразимые мы.

Только и надо — объятья разжать
Перед свиданьем с Москвой...

...Город, привыкший врагов отражать,
Не отразил нас с тобой.



Ужель тебе к лицу твоя судьба,
Ты, прежде ветром крытая крылатым,
Бревенчатая русская изба,
Обложенная сайдингом, как матом?..

Здесь синий март — протальник-зимобор —
Сменял апрель — зажги снега, играй овражки.
И, обрусевшим розам не в укор,
Вновь палисады обживали кашки.

Где этот палисад? В разгаре дня
Я помню, как, от зноя неподвижны,
Заморские гортензии тесня,
В нём безраздельно царствовали пижмы.

Красавишны, царевишны мои,
Форштадтским ветром венчаны на царство,
Судьбой своей с моей судьбой сродни,
Они так любят мне во снах являться.

В растерянности на ветру стою
И думаю: «Зачем пришла? Не знаешь?..»
...Родной Форштадт, тебя не узнаю!
И ты меня узнать не поспешаешь.



Спеша из ниоткуда в никуда
И увозя с собой чужие жданки,
Встречаются ночные поезда
На Богом позабытом полустанке.

Два фирменных, два скорых вдаль спешат...
И встретятся ль ещё на свете белом?
Лишь две минутки рядом постоят
Под семафорным бдительным прицелом.

Покуда пассажиры крепко спят,
Наговорившись и напившись чаю,
Ночные поезда стрелой летят,
И время, и пространство побеждая.

Я выйду в тамбур, молча закурю.
И задохнусь от приступа бессилья.
Вот так однажды и любовь мою
И время, и пространство победили!

Прижмусь к стеклу разгорячённым лбом
У сумрачной эпохи на излёте.
И взгляд, что до озноба мне знаком,
Поймаю вдруг в окне купе напротив.

Сорвётся с губ непроизвольный вскрик,
Сигналом тепловоза заглушаем...
И тронутся составы в этот миг,
И мы навек друг друга потеряем...

И заметёт мой путь усталый снег
На роковом последнем повороте,
В пространстве русском растворясь навек
У сумрачной эпохи на излёте.



Караван-Сарайская — не райская!
Улочка горбата и крива.
Но цветут на ней сирени майские —
Так цветут, что кругом голова!

А неподалёку Растаковская
(Баба Настя так её звала) —
Улица с названием Казаковская
Муравой-травой поросла.

Так живут — без лести, без испуга! —
Приговорены, обречены, —
Улочки, что в центре Оренбурга
Детские досматривают сны.

Им не привыкать! Иль это снится мне:
Жили-выживали, кто как мог,
Хлопавшие ставнями-ресницами
На ветрах неласковых эпох?..

...Дерзости училась я у робких
Улочек, знакомых наизусть...
Железобетонные коробки
Вытесняют из России Русь.

Сторона моя обетованная —
Оренбуржье! Всё ты тут как есть!
Дремлющая Азия саманная
И казачья яростная спесь.



Осерчавшая вьюга бранится
В тесноте родовых курмышей...
Не впервой ей в казачьих станицах
Выпроваживать пришлых взашей.

Я не пришлая, бабушка-вьюга!
Почему ж мне нисколько не рад
Свои ставни захлопнувший глухо
Оренбургский угрюмый Форштадт?

Ну так что ж?.. И на этом спасибо,
Родовой звероватый курмыш.
Я такая ж, как ты, неулыба,
Да и ты-то хорош, пока спишь.

Непроглядью родной, непробудью
Ты меня не жесточь, не морочь.
Без того посторонние люди
Истерзали мне душеньку включь.

Ты пойми, я смертельно устала
На разлучной чужой стороне
От радушных улыбок-оскалов,
Что не тонут в банкетном вине.

...Месяц-серп кровянится на небе,
И сугробы встают на пути...
На Пикетную улочку мне бы
По фуршетным бульварам дойти!

Александр Табунов

Счастливая лопата

Опыт комментария к биографии А. Я. Гурова (1872–1932),
родоначальника амурской археологии*Памяти деда моего, русского казака, посвящается*

Чем больше воды утекало в Амуре, тем выше, обнажённой становился его левый берег. Песчано-глинистый, крутой, почти отвесный, густо утыканный гнездами ласточек.

Местное учительство наверняка приводило туда, под обрыв, ораву за оравой. Посмотри-ка, детвора, из чего состоит почва, на которую взрослые жители «пересажены» царским режимом. Но для вас-то, ребят-казачат, почва эта уже коренная. Родная земля.

Да, как бы ни ворчали почтенных лет служивые, а жизнь в новом крае менялась. Всё менялось. Природа. Люди. Нравы. Песни. Речь. Незыблемой казалась только сопка верстами семью западнее станицы. Одна-единственная в здешних местах высотка, она гипнотически притягивала взоры, будоражила воображение, застревала в памяти догадками да вымыслами.

Так слагались легенды, предания. Вот, к примеру: будто бы давным-давно сюда наведалься какой-то полководец. Огляделся — и крепость построить велел. Повинуясь, насыпали огромный холм, оградив его макушку надёжными рвами, фортами. Землю при всём том воинство шапками таскало. Отсюда, дескать, появился повод к названию городища. Почему бы и нет. А может, клад несметный под сопкою сокрыт? Лежит в болотце до поры. Ждёт искателя-копателя удачливого.

...Мне Приамурье наше, как и весь Дальний Восток, невозможно представить в отсутствие Поярково. Само Поярково — без вида на Шапку-гору. А что за диковины в недрах её, первым прояснил Алексей Гуров. Это он, археолог-любитель, делом всей жизни своей доказал: дороже знания на свете кладов нет!

Непрост был путь к знанию, непрост. В автобиографии Алексея Яковлевича сказано об этом откровенно:

«Родился я в 1872 году марта 15-го дня в станице Поярково... Константиновского станичного округа от... бедняков-казачков, переселившихся на Амур из Забайкальской области в 1858 году и осевших

на постоянное жительство в станице Поярково. (Здесь и далее примечания, сокращения, вставки в ломаных скобках и т. п. мои. — А.Т.)

По достижении <мною возраста> десяти лет родители меня отдали учиться в местную станичную школу с трёхгодичным курсом <обучения>. По окончании школы я помогал отцу — сеяли две-три десятины хлеба.

В 1888 году я был командирован учеником в г. Иркутск, учительскую семинарию. Предварительная подготовка для поступления моя была очень плохая, но несмотря на это меня приняли в первый класс, но потом по малоуспешности исключили из такового».

Не вдохновляющее, честно говоря, начало. И что же?

«По приезде в Поярково <в> 1890 г. я стал готовиться к учительской работе и поступил в Поярковскую школу для занятий с первой группой (первый год обучения)».

Назначение довольно солидное, ибо как раз в тот год станичное правление из Константиновки перенесли в Поярково, которое, таким образом, встало во главе станичного округа. И, видимо, отнюдь не «малоуспешны» были занятия начинающего просвещенца, ежели фамилия Гурова-учителя даже и век спустя удерживалась в памяти поярковских старожил. Факт этот зафиксирован в трёхтомной «Истории Михайловского района», чьим административным центром и является ныне Поярково. В дальнейшем Алексей вёл уроки в Димской и Чесноковской школах, тоже казачьих. В итоге он отдал учительствованию целое десятилетие, за исключением одного года службы во 2-м (по иным источникам — в 1-м) казачьем полку, в нестроевой команде. Здесь его должность — писарь по хозяйственной части.

«В 1901 г. оставил учительскую службу, поступил в Управление водных путей Амурского бассейна, на первую дистанцию третьего участка в качестве десятника при работах по обстановке рек. В 1912 году, там же, зачислен младшим техником

с производством самостоятельно работ по рекам Амуру, Буре и Селемдже.

В 1914 г. по своему личному желанию оставил службу в Управлении водных путей».

Так—скромно, однако с чувством собственного достоинства, и деловито—повествует он о себе. Роковой тот год, как и последующие, для него насыщен переменами: кругом-то бурлит.

«В Поярковой <с 1914-го> занимаю должность наблюдателя метеорологической станции и водомерного поста. Причём в этом же году население избирает меня станичным казначеем на три года. В течение этих лет получаю нагрузку председателя совета Поярковской бесплатной народной читальни и председателя правления Поярковского кредитного товарищества. В 1917 г. избран председателем станичного исполнит<ельного> комитета. В 1922–23 гг. служил в Поярковском волисполкоме заведующим столом ЗАГС. В 1924 г. избран членом правления Поярковского общества потребителей «Надежда», в должности председателя. В 1925 г.—председателем правления Поярковского кредитного товарищества. С 1-го сентября 1928 г. вновь<ь> принимаю должность наблюдателя Поярковской метеорологической станции и корреспондента Дальневосточной геофизической обсерватории».

Ну как тут не воскликнуть: люблю молодца за ухватку! Ведь за что ни брался бы— всё у него на лад. Вот как объясняет подобное ведущий амурский «казаковед» В. Н. Абеленцев—старший научный сотрудник областного краеведческого музея:

«По грамотности положение в Амурском казачьем войске обстояло лучше, чем в большинстве крестьянских сёл. Учителя, как правило, имели своё хозяйство. А. Я. Гуров (первый амурский археолог) многие годы работал учителем и имел возможность почти профессионально заниматься научными изысканиями. В советское время окончание трёхклассной дореволюционной школы официально приравнивалось к шестилетке».

Отчего же тогда в школьных стенах Алексею Яковлевичу тесновато стало?

По следам энтузиастов—академики

Гуровское жизнеописание содержит ответ и на это:

«Время же, проведённое мною в Иркутске, не пропало даром: я часто посещал местный музей и прослушал там несколько лекций, читанных Д. Клеменцем, о каменном веке в окрестностях г. Минусинска...»

Потомок мелкопоместных дворян Самарской губернии, Д. А. Клеменц получил высшее образование в Казанском университете. Но вот в Санкт-Петербурге—недоучился, так как состоял

в народническом кружке «чайковцев», после разгрома которых охранкой эмигрировал в Западную Европу. Несколько раз нелегально возвращался на родину и, конечно, был арестован. Суд приговорил его к якутской ссылке. По дороге заболел, Дмитрий лечился в красноярской тюремной больнице. Местом окончательного отбывания срока ему определили Минусинск. В Сибири приступил он к научным занятиям, и притом разносторонним: проявил себя как археолог, этнограф, географ, геолог, музейный деятель.

В момент их с Гуровым иркутского знакомства Дмитрию Александровичу—около сорока лет, и он—управляющий делами Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического общества (ИРГО). Человеку со столь пассионарным темпераментом да жизненным багажом, ему не стоит никакого труда разжечь в незадачливом казённокоштном семинаристе интерес к археологии. Тем более—усваивать её на практике на первых порах можно чуть не в самом Поярково. Рядом ведь Шапка-гора, уже привлекавшая внимание геолога И. А. Лопатина и востоковеда П. И. Кафарова (о. Палладия). В полёвых дневниках последнего на многих страницах отражена история этносов, обитавших по берегам Амура в VIII–XIV столетиях. Бытует мнение, что и славный отечественный путешественник Н. М. Пржевальский начинал свои походы в районе амурской Шапки.

Между тем девятнадцатый век уступал колею веку-преемнику, для нас теперь тоже минувшему. Непроходимые леса вдоль великой реки на десятки вёрст к северу отодвинула русская пашня. Рос хлеб, и с ним—станции, хутора, заимки, сёла, города.

«С широким освоением Приамурья и Приморья связаны дальнейшие археологические исследования в бассейнах Амура, Усури и Раздольной, предпринятые Н. Пржевальским, И. Лопатиным, Ф. Буссе, В. Кропоткиным и А. Фёдоровым. В низовьях Амура первые разведки производили Л. Штернберг, В. Арсеньев. На Сахалине трудился выдающийся зоолог и первооткрыватель палеолита в Костенках И. Поляков. На Среднем Амуре подобные работы проводили по поручению Академии наук С. Широкогоров и его сотрудник А. Гуров».

Это—из выпущенной в Хабаровске книги академика А. П. Окладникова «Олень золотые рога».

С кем-то из названных здесь людей соприкасается Гуров лично. Про других—слышит либо читает. Но, так или иначе, опирается на совокупный опыт предшественников и современников. «Работу свою по изучению местной археологии веду с 1899 г.—припомнит уже на закате дней.—Благодаря службе своей в Управлении водных путей, я хорошо изучил берега Амура от Поярковой до

Екатерино-Никольска и собрал много коллекций по археологии, каковыя передавались мною в Благовещенский, Хабаровский музеи, а также увозились и в Петербург».

Нет, Алексей Яковлевич явно скромничает. Именно его, одного из первых фондообразователей, находки легли в основу археологической коллекции Амурского облмузея (АОМ), которая сейчас насчитывает порядка девяти тысяч единиц хранения. Увы, с началом первой русской революции успехи музейщиков пришли в упадок, если не в запустение, а возобновились лишь с открытием регионального отдела Общества изучения Сибири и улучшения её быта. Весьма долго музей был закрыт для публики, тематические подборки экспонатов — разрознены, да и, случалось, попорчены. 28 октября 1910-го стали оформлять новый акт приёма документов. Прежде всего туда занесли не что иное, как археологическую карту левобережья Амура, составленную Гуровым. Создал он её по заказу и на средства музея.

Тут она и хранится поныне. А фрагментарная копия — в Поярково: тамошний районный музей одно время состоял в структуре АОМ в «ранге» филиала. Заведующая филиалом Н. П. Лягина писала в местной газете, что даже на этой частице гуровской карты видны значительные поисковые наработки на территории села Дим (а там и в Чесноково, как мы уже знаем, Гуров наш казачат обучал) и в димских окрестностях. Кроме того, зафиксированы располагавшиеся неподалёку селище в устье реки Завитой, стоянки на острове Полудённый, Чесноковское городище «Шапочка», Куприяновское и Калининское городища, могильник у Дубового мыса, что в пяти километрах от того же села Калинино (в прошлом — казачьего посёлка Никольского, названного по имени первого военного губернатора Амурской области Н. В. Буссе), Новопетровское городище, поселения около озёр Богомоллово, Перебоево, Симоново.

В целом же на карту нанесено более шести десятков древних памятников. Составитель не только описывал, но и частично раскапывал их. В 1902-м таким раскопкам подверглась Шапка-гора. Как отмечает его последователь, первым средневековую крепость детально осмотрел сам Гуров. Затем — дело было в августе — он работал здесь на пару с Г. Ф. Белоусовым, членом Приамурского отделения ИРГО, и они извлекли «глиняный кувшин с узким дном», несколько костяных и железных наконечников стрел, фрагменты керамики.

По мнению археологов-профессионалов, это городище довольно полно описано Алексеем Яковлевичем в цикле статей, помещённых как в амурской периодике (Благовещенск), так и в сибирской (Тюмень). Публикации сослужили добрую службу, поскольку позже городище посещалось вновь и вновь — и специалистами, и дилетантами, не

говоря уже о кладоискателях. К примеру, в 1910-м его обследовал и обстоятельно описал консерватор (хранитель) Амурского музея Е. В. Гонсович. А через полвека...

«Никогда не забуду октябрьское утро 1961 года. Накануне поздно вечером мы приехали к большому холму под названием «гора Шапка», расположенному в шести километрах от старого казачьего села Поярково. Много легенд сохранилось у местных жителей об этом холме. <...> Житель Поярково казак Иван Сафронович Измаилов даже написал об этой крепости стихотворение. <...> Строки простые, бесхитростные, но важно, что и на заре нашего века крепость волновала местных жителей. Какова судьба её создателей? Разгадать загадку и приехала наша небольшая экспедиция».

Речь — о Дальневосточной археологической экспедиции (ДВАЭ). Автор только что цитированных строк — один из благосклонно выбранных её руководителем в подручные. Недавний студент-амурец. Будущий академик.

«Тогда меня и несколько моих товарищей пригласил к себе в экспедицию выдающийся исследователь древних культур Азии Алексей Павлович Окладников. Мы его знали по ряду книг и статей, которые случайно попали в нашу институтскую библиотеку, — говорит А. П. Деревянко в своей книге «Ожившие древности. Рассказы археолога». — Помню, меня крайне удивило, что экспедиция будет работать в нашей Амурской области. Где-то там, далеко... это понятно, а здесь, в местах, близких и знакомых с раннего детства, ничем не примечательных, что же можно найти?»

Оказалось — да, можно. А что конкретно, давайте посмотрим во втором выпуске шестого тома «Записок АОМ» (1970 год), где А. П. Деревянко в соавторстве с его другом и коллегой Б. С. Сапуновым опубликовал статью «История археологических исследований в бассейне Среднего Амура»:

«...На поверхности горы, окружённой валом, всюду располагаются углубления землянок. Они имеются не только на самых вершинах, но также и на склоне, иногда довольно крутом. <...> Землянки города квадратные, глубиной около 1,5–2 м. При шурфовке они дали средневековую керамику, фрагменты костей животных (лошадь). По орнаменту и форме венчиков керамика близка к чжурчжэньской. О том, что холм естественного происхождения, свидетельствуют найденные на нём каменные орудия. Племена каменного века — малочисленные, располагавшие лишь примитивной техникой — не могли насыпать этот гигантский холм».

Далее в этой пространной, очень содержательной и теперь, пожалуй, уже хрестоматийной статье сообщается, что с 1961 по 1965 год отряд ДВАЭ на

Среднем Амуре раскопал и частично обследовал более полусотни памятников, относящихся к каменному веку, и свыше сорока — к бронзовому и железному. Именно в этой статье Гуров назван — пусть и в кавычках, условно пока — первым амурским археологом. И здесь же, кстати, приведены самые подробные на тот момент сведения о его жизни. Сведения, во многом совпадающие с автобиографией Алексея Яковлевича.

Проблема в том, однако, что сама эта биография до поры до времени полнотой не отличалась.

Цена собственной позиции

И тут пора бы слово доброе молвить о Т. А. Холкиной, с которой мы дружили со студенческих времён. В конце минувшего века она заведовала музейным отделом и не упускала ни малейшего шанса выявить нечто новое относительно Гурова — столь обаятельным стал однажды и навсегда в её глазах светлый образ его.

В 1992-м выпустили очередной сборник информвестника «Амурский краевед». В нём-то Тамара Алексеевна сожалела, что хотя деятельность археолога-любителя получила заслуженную оценку в трудах А. П. Окладникова, А. П. Деревянко и Б. С. Сапунова, но многие факты его биографии оставались неизвестными. Доступ к ним приоткрылся, лишь когда управление КГБ по Амурской области разрешило историкам изучить «Дело № 699 по обвинению контрреволюционной казачьей повстанческой организации в Михайловском-на-Амуре районе двк». Проще говоря, показало материалы допросов группы крестьян-бедолаг, в основном бывших казаков из Поярково и Дима. Проходил по этому делу и Алексей Яковлевич, враз наделённый ролями «фактического идеолога» антиколхозного движения и, паче того, инициатора создания подпольной организации.

Оказывается, ещё в 1922 году военно-полевой суд в селе Архара судил его как отца белого офицера, в 1928-м нарсуд в Поярково — за растрату казённых денег. В 1931-м поярковская же комендатура ОГПУ подозревала Гурова в хранении золота. Оправдан. Оправдан. Освобождён. И, как мы помним, по-прежнему пользуется непререкаемым авторитетом у земляков. Его избирают, назначают, ему доверяют. Но 23 марта 1932-го за ним приходят ещё раз — теперь последний.

Таков хронологический контур холкинской находки, дольше полувека пребывавшей за семью замками. Там же, в спецхране, первоисточник держат и сейчас. Но опытная музейщица успела снять подробную копию, которую коллеги постепенно ввели в научный оборот.

«Начало делу дал донос одного из жителей села Поярково <...>, — писал старейшина амурских историков-краеведов Н. А. Шиндялов. — Воспитанный

в духе бдительности, к чему постоянно призывалось население, он сообщал в милицию, что когда шёл по селу и приблизился к группе о чём-то говоривших бывших казаков, те вдруг замолчали. Определённо, сообщал доносчик, они замышляют контрреволюцию».

Гуров представлялся Николаю Антоновичу таким:

«Это был грамотный казак, увлекался археологией. Будучи учителем местной школы, со школьниками проводил многочисленные археологические исследования и составил первую археологическую карту побережья Амура. Им была собрана уникальная коллекция археологических находок, переданная в областной музей. Это был казак, не отдававший предпочтения ни красным, ни белым. Но его сын, бывший прапорщик, в прошлом участник карательного отряда, естественно, оказался за Амуром. И этого было достаточно, чтобы А. Я. Гурова объявить руководителем повстанческой организации».

Другой наш краевед, отставной офицер-силовик, в эксклюзивной беседе со мной, однако пожелав оставаться инкогнито, подтвердил:

— Гуров — не активничал. Но на него имели виды в белоэмигрантской среде. А для тех же поярковских казаков он — оселок. Если уж, мол, такие люди, как Гуров, не приемлют Советы, то что же нам, простым смертным, делать? А человек этот просто собственную позицию имел. И довольно трезвый взгляд на обстановку. За портфелями не гнался, на митингах не выступал. Но зато сын его...

Конец прошлого века — отнюдь не лучшее время для исторических изысканий в нашей стране. Они сдерживались, в частности, идеологическим противостоянием, и вот в газете «Михайловский вестник», на малой родине Гурова, появилась, к примеру, статья «Кого «демократы» реабилитируют». Об одном из фигурантов дела № 699. Там же по случаю 125-летия со дня рождения нашего героя прошла публикация, целиком посвящённая ему, но выдержанная в явно недоброжелательном тоне и под столь же своеобразным, как и предыдущая, заголовком — «Археолог-самоучка». Обратим внимание на последнее слово. К чему бы выпячивать подобные нюансы-обстоятельства? А проще простого: кто не с нами, тот против нас.

Лишь через добрый десяток лет, в 2005-м, у доцента Благовещенского госпедуниверситета С. А. Головина, в его работе «Дальний Восток в 20–30 гг. XX века. (Аспекты репрессивной политики)» нахожу беспристрастный и внятный вывод:

«В условиях насильственного преобразования амурской деревни казачество снова стало рассматриваться местными органами власти как реакционная сила, способная на организованное сопротивление. Для предотвращения возможного сопротивления казачества в марте 1932 г. усилиями

местных органов ОГПУ фальсифицируется дело о контрреволюционной казачьей повстанческой организации в Михайловском районе (районный центр с. Поярково). В результате доноса в Поярково было арестовано 28 человек. 30 апреля 1932 г. тройка при ОГПУ ДВК приговорила 22 человека (А. Я. Гурова, П. К. Номоконова, Д. И. Пинегина и др.) к расстрелу, шесть человек — к различным срокам тюремного заключения. Процесс по делу казаков с. Поярково дал ход репрессиям против остальной части амурского казачества».

В мае, пятого числа, Гурова не стало.

Почерк-то знакомый... «Не печатать»

Реабилитирован он был только в 1990 году. А дело жизни его досталось — по наследству как бы — Г. С. Новикову-Даурскому. Столь же целеустремлённому, неустанному и в итоге успешному энтузиасту-наукуюлюбу, именем которого наречён Амурский областной музей.

В один вот уж точно прекрасный день бывшая сотрудница этого учреждения Н. А. Комарова любезно передала мне подборку документальных сведений, «нарытых» ею, ко всему прочему, в областном госархиве. Таким-то образом и уяснил я, что в урочный час Григорию Степановичу доставили сопроводительную записку следующего содержания:

«Гр-ну Новикову-Даурскому.

Уважаемый товарищ!

На письмо Ваше от 12 Апреля с/г... посылаю Вам... автобиографию, фотографическую карточку и 11 шт. вырезок статей и заметок, писанных обо мне, вырезки по минованию надобности прошу возвратить мне.

С почтением А. Гуров

1929 г.

Мая 20 дня.

с. Поярково».

Предыдущим летом получатель сей записки помогал А. П. Георгиевскому, преподавателю ДВГУ, а в прошлом выпускнику двух петербургских вузов — университета и археологического института, прибывшему сюда в этнографо-диалектологическую экспедицию. Собранные материалы учёный обобщил в очерке «Русские на Дальнем Востоке. Говоры Приамурья (бывших Амурского и Зейского округов ДВК)». Там засвидетельствовано:

«Г. С. Новиков-Даурский непосредственно участвовал в поездке от начала до конца».

Предварительно обследовали 174 селения в девяти районах, реализовать же замысел целиком — помешало сильное наводнение.

Стихия бушевала и на далёкой от нас Неве. Обратимся вновь к статье А. П. Деревянко и Б. С. Сапунова:

«Обширные археологические исследования на Амуре были проведены в 1915–1916 гг. экспедицией под руководством известного антрополога и этнографа С. М. Широкогорова при активном участии А. Я. Гурова.

Коллекция, собранная экспедицией, насчитывает более 4 тыс. номеров. Но, к сожалению, во время наводнения 1928 г. в Ленинграде подвалы <Эрмитажа>, где хранились коллекции, были затоплены и все этикетки утеряны. Осталась только одна коробка, на которой обозначено: о-в Урильский. В дневниках и описи, составленной Широкогорым, не указаны географические названия, а место сборов обозначено римскими цифрами. Но, тем не менее, значение этой коллекции велико. Исследования последних лет <вернее — 1960-х>, проведённые на Амуре, позволяют большую часть материалов довольно точно распределить по пунктам».

Как Питер не удивишь наводнениями, так старому амурскому казаку не привыкать к ударам судьбы. Ещё до революции умерла его жена, оставив ему четверо сыновей и три дочери; в материалах допросов говорится ещё о двух племянницах, воспитывавшихся, по-видимому, в его же семье. Женился опять, взяв особу десятию годами младше себя.

По тем же свидетельским показаниям, он «в прежнее время служил в водном управлении. Поднажил капиталчик. Построил два приличных домика, один из которых увезли в Красный Яр» — крестьянское село недалеко от станицы Поярково, пострадавшее в Гражданскую войну от набегов сводного белогвардейского отряда. Так оплатился Алексей Яковлевич за провинности командовавшего тем отрядом старшего сына своего. Лишившись добротного крова, Гурову приунуть бы, а он — кличет партнёров для новых раскопок. Уже в черте Благовещенска. О целесообразности коих и оповещает через газету «Амурская правда».

Вопреки обыкновению, на сигнал никто не реагирует. Год спустя, летом двадцать четвёртого, некто Ёрш-Еращенко, учитель, официально обращается к членам Географического общества, требуя не отворачиваться от этой публикации:

«Долго следил я за тем, кто же откликнется на столь интересное сообщение, да так и не дождался. В г. Благовещенске при 70-ти тысячном населении, при существовании там Музея, Научно-Экономического Общества... не нашлось ни живой души, чтобы, ну хотя из простого любопытства, проверить сообщение т. Гурова».

Да, опала властей отзывалась на его жизни всё жёстче, всё больней, но теперь, в двадцать восьмом, словно и сама природа ополчилась против

археолога-любителя. Каким же самообладанием надо вооружиться и—выстоять в такого рода испытаниях! Понимал, значит, что не в споре истина-то рождается. Что этика—выше политики.

И тут вдруг заочная встреча с Новиковым. («Даурский»—вначале псевдоним литературный, затем почётное дополнение к настоящей фамилии, награда за вклад в дальневосточную культуру.)

До недавних пор считалось: якобы к изучению археологических памятников Приамурья этот человек приступил, когда сопровождал Георгиевского в поездке по области. Формально—так. Что же до сути, то зачем нужен окольный путь (с Амура... на Амур через посредство учёного из Приморья, да ещё и завязтого языковеда в придачу), если искомое—рядом? «Искомое», или творческий импульс для Новикова,—это наглядный пример Алексея Яковлевича, достаточно именитого—а стало быть, небезызвестного Григорию Степановичу—уже и тогда, в 1928-м. И что?

На мой взгляд, влияние Георгиевского на становление Новикова как археолога не столь велико фактически. А кивнуть на авторитет Георгиевского понадобилось Григорию Степановичу, чтобы как-то замаскировать, приуменьшить (но отнюдь не скрыть) роль Гурова, подвергавшегося политическому ostracism. Ложь во спасение. Тем самым и его имя для нас, потомков, уберёг, и обрёл возможность опираться на достижения предшественника. На учёном совете АОМ по случаю 125-летия со дня рождения Гурова профессор Благовещенского педуниверситета Сапунов сказал—и «Амурская правда» с его слов тогда же подчеркнула,—что при раскопках на Среднем Амуре академик Окладников пользовался гуровской археологической картой. Как мне представляется, пригодилась ему и научная работа Новикова «Материалы к археологической карте Амурской области», содержащая многочисленные добавления к той же карте Гурова.

С другой стороны, вне всякого сомнения такой факт: именно сотрудничество с Георгиевским побудило Новикова к систематическому изучению местных говоров. Постигать их основы Григорий Степанович начинал в канун Первой мировой, до переселения на Амур. Много позже, в автобиографии, отметил предпринятые им «в последующие годы ряд поездок с целью... записи фольклорного материала». Работу проделал громадную. Это она—базовый источник «Словаря русских говоров Приамурья», изданного тридцать лет назад стараниями группы учёных-лингвистов Благовещенского и Хабаровского пединститутов и мгновенно ставшего библиографической редкостью. По моей просьбе вот что поведала Л. В. Кирпикова—одна из составительниц академического издания:

—Талантливый исследователь, талантливый самоучка, родился он в Нерчинске, под Читой, но с 1914 года обосновался в Благовещенске и оставил

по себе добрую память в делах своих—богатых экспозициях и фондах Амурского областного музея. В обширнейшем новиковском архиве—свидетельства разносторонних интересов этого поистине замечательного человека. Мы знаем его как археолога и историка, публициста и краеведа, написавшего более трёхсот научных работ. Составил он и картотеку амурских слов. Около восьми тысяч карточек! Хранятся они в областном госархиве—фонд 958. Кропотливо, слово по слову, накапливал Григорий Степанович собрание, в котором отразилось лексическое своеобразие амурских говоров первых послереволюционных десятилетий.

В 2003-м Лидии Васильевне с её коллегами по-счастливилось всё же обнаружить «Словарную картотеку Г. С. Новикова-Даурского». Можно ли почерпнуть из этой книги что-либо археологическое? Вроде бы нет. А в действительности? Не сразу, но догадываюсь... увеличить ксерокопию рукописной биографии Гурова. Отчётливей откуда различимы стали примечания, вставки, тоже рукописные, однако принадлежащие никак не Алексею Яковлевичу. Н-да. Впрочем, почерк показался мне знакомым.

В «Словарной картотеке» даны—также ксерокопически—образцы карточек, сделанных нашим краеведом с 1913 по 1934 год. И по написанной в 1929-м гуровской автобиографии прошла та же рука! Я журналист. Не текстолог. Но и при этом тотчас узрел и узнал почерк новиковский. То есть нашёл себе наконец-то самый что ни на есть первоисточник. Да, один из первоисточников, которыми подтверждается: два археолога-самоучки не только знали друг о друге, но и контактировали. Вероятно, и воочию встречались.

Что бы ни содействовал их знакомству, ясно как день, что свой комментарий к гуровскому жизнеописанию Новиков готовил наитщательнейше. И довольно долго. Свидетельством тому—ссылки на перечень материалов, отобранных для первой научной работы его по археологии, которая увидела свет в 1930-м. Комментарий как таковой состоит всего-навсего из девяти строк, но каждая дорожка стоит. Смотрите сами:

«А. Я. Гуров сопровождал чл<ену> Р. Г. О-ва гр. Фед. Белоусову в его научной поездке в 1902 г., по специальной командировке отделом Р. Г. О., для археологической разведки по побережью Средн. Амура и проверке сообщения об открытиях А. Я. Гурова в части археологии.

Также <участвовал> в экспедиции <супругов> С. М. и Е. Н. Широкогоровых в 1916 г.

А <лексеем> Я <ковлевым> открыто несколько месторождений золота на Амуре. См. об этом указанные под №№ 10 и 15 корреспонденции в списке литературы в 1-м вып<уске> Записок Благовещенского музея».

Про экспедицию шестнадцатого года — немногословно. Какие-нибудь полстроки. Внесены они существенно видоизменённым и, кажется мне, похожим на гуровский почерком. Чернилами другого цвета. И, надо полагать, в иное уж время. А всё-таки внесены. Хотя ведь С. М. Широкогоров по воле НКВД числился в рядах тех, кто подлежал немедленному аресту в случае обнаружения. Популярное в научных сообществах за кордоном имя Сергея Михайловича десятилетиями оставалось под запретом в нашей «отдельно взятой стране». Однако Гуров-то набирался опыта и знаний не у кого иного, как у Широкогорова, а Новиков — у Гурова. Им, людям старой закалки, наверное, даже в голову не приходило, как можно отступить от наставника. Срам это. И таких людей — не перекуёшь.

Из черновых записей музееведа Т. А. Холкиной, покойной ныне, явствует, что «у Новикова-Даурского есть в начале дела <бумажная> полоска, срезанная снизу». А там — о том, что Григория Степановича в бытность его работником музея (то бишь не ранее 1927-го) посещал сотрудник иноконсульства. И что пресловутые органы считали Новикова политически неблагонадёжным. Для себя Тамара Алексеевна «раскопала» это уже в прошлом веке. Уточнить же, о каком «деле» речь, не успела. Скорее всего, имела в виду факт, в наши дни общеизвестный, — содержание Новикова под пятимесячным арестом в конце тридцатых. Из-под стражи был отпущен восояси: лично его антисоветскую деятельность следователям доказать не удалось. К слову, известно также, что он поддерживал идею автономии Сибири. Ещё в 1918-м целый номер своего журнала «Записки любителя» посвятил проблемам Союза сибиряков-федералистов. (Сокамерникам Гурова в 1932-м тоже усердно припоминали их идейные позиции... времён Гражданской войны.) Да и при «царском режиме» Григорий Степанович почти не выходил из-под надзора полиции.

Третий века (ровно столько же, сколько и Гуров «мой») отдав служению археологии, покинул нас Новиков на восьмидесятом году жизни. Её коллизии освещает благовещенский краевед Н. П. Рудковский, чей документальный рассказ «Неутомимый искатель» напечатали к 125-летию со дня рождения Григория Степановича. Делает это Николай Петрович задушевно и достоверно. Да так подробно, что и прибавить, казалось бы, нечего. Но уже в следующем, 2007 году «Амурская правда» объявила: найден последний дневник человека, имя которого носит АОМ. Вот ключевой отрывок из газетной сенсации:

«Амурское книжное издательство запланировало в 1960 году выпуск его очерков по истории. <...> Книга вышла в 1961 году, когда Григория

Степановича уже не было в живых. Рецензентом выступил профессор БГПИ, с которым у Новикова-Даурского были расхождения во взглядах на многие вопросы Гражданской войны, революции 1905 года. На часть очерков Малышев наложил резолюцию: не печатать. Интересно было бы найти эти отклонённые рецензентом работы».

«А у Гурова-то при последнем аресте изъяли записную книжку — может, и она... отыщется?!» — думаю, бывало, перечитывая тот репортаж.

Вместо послесловия

Пока думал так на этот раз, рука моя к мобильнику тянулась. Набираю номер О. К. Мамонтовой, опытейшего в наших палестинах литературного редактора, ветерана бывшего областного издательства.

— Работа с рукописью очерков? Нормально шла. Конфликтов не помню. Их и быть не могло, — отвечает Ольга Константиновна.

Личные дневники не предназначены для публичных. И вообще, давайте, читатель, подумаем вместе.

Исход пятидесятих. Незабываемая «оттепель». Что с нею содеялось, прекрасно известно: кончилась так же, как грянула. Применительно к более раннему периоду знакомый уже нам историк С. А. Головин пишет о «механизме политической власти, не уверенной в своей социальной базе и потому вынужденной вносить раскол в единство общества в целом, в отношения между его нижними стратами в частности, с целью расширения и укрепления собственной социальной основы». Так было и в дни предпечатной подготовки брошюры Григория Степановича: рецензент столь же подневолён, как и автор или редакторы. В свой черёд, над ними — цензоры, а над теми — неисчислимая армия других надзирателей. Потому-то и Ольга Константиновна, чего только не пережившая на своём веку, полагает естественным для тех лет размолвки между Г. С. Новиковым-Даурским и В. П. Малышевым. По-моему, она права.

Итак, сборник «Историко-археологические очерки. Статьи. Воспоминания» вышел. И шестой десяток лет исправно работает, привлекая всё новых и новых читателей. Разные времена — разные вкусы. Мало кому сегодня любопытно отношение Григория Степановича к некоторым действующим лицам и личностям отжившей своей эпохи, равно как и к событиям прошлого века. Но зато научную часть его «Очерков» академик А. П. Окладников прозорливо назвал путеводителем для будущих поколений археологов Приамурья.

За поколениями дело не стало. Что особенно отраднo, состоят они уже по преимуществу из местных, доморощенных кадров, первооснова которых — студенческий научный кружок,

сформировавшийся в Благовещенском пединституте (ныне университете) сразу после полевых работ дваэ легендарного 1961-го. Тут более чем уместно вспомнить, что лекционный курс по археологии тогда читал вышеназванный В. П. Малышев. Прежде он участвовал в экспедициях в Средней Азии, познакомился там с А. П. Окладниковым, а позднее договорился с Алексеем Павловичем насчёт его сотрудничества с амурцами.

Вузовский кружок перерастает в общество археологов. Создаётся также Благовещенская лаборатория Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН; один из окладниковских воспитанников, Б. С. Сапунов, возглавляет её вплоть до 2005-го. А двумя годами раньше возникает Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. Ведущий отдел здесь — археологический.

Директор центра Д. П. Волков, прочтя черновой вариант этого моего материала, в целом одобрил его. И на конкретном примере охотно подтвердил непрерывную преемственность поколений амурских археологов:

—...Что касается последних исследований, то это, в частности, работы моего отряда 2009–2012 годов на Шапке. Есть несколько публикаций по этому поводу. Если кратко, ситуация такова. Городище на горе Шапка имеет несколько уровней фортификационных сооружений, разделённых на две части — внешние и внутренние. Помимо этого, у самой структуры городища также две части. Одна, по всей видимости, жилая, другая — производственная. В хронологическом диапазоне культурные слои на памятнике представлены так. От эпохи неолита — осиноозёрская неолитическая культура (III–II тысячелетия до н. э.) — участки слоя, насыщенного артефактами в виде вкладышей мясных ножей и каменных орудий по обработке шкур и мяса. Далее — раннее средневековье — найфельдская

группа мохэ (VI–XI века н. э.) в виде жилищ полуподземного типа с высокой плотностью размещения. И — период чжурчжэньской эпохи (XI–XII века н. э.). Он представлен наземными конструкциями и производственными площадками, скорее всего связанными с производством стекла и металла (по крайней мере, на том участке, где мы проводили раскопки). На сегодняшний день, — заключил Денис Павлович, — работы на Шапке пока приостановлены. Возможно, позже вернёмся к этому памятнику. Он, знаете ли, ещё много интересного для науки таит.

Не будучи археологом, напряжённо вникаю в смысл этой информации, для журналиста особо ценной, так как она — из первых уст. И вдруг... Представилось мне, будто бы, с азом грешным вместе, монологу молодого учёного сам Алексей Яковлевич внимает.

И любо ему, что при всех наших теперешних невзгодах казачество не забыто, восстаёт из пепла, словно Феникс, а наука — не застаивается! Что уже в год образования центра-имярек Д. П. Волков со товарищи выявили близ Шапки-горы поселение каменного века, наименовав его «Поярково-1». А вскоре за 140-летием со дня рождения А. Я. Гурова — хотите верьте, хотите нет — фонды АОМ пополняются уникальной албазинской коллекцией. Свыше четырёх тысяч экспонатов, доселе находившихся в Новосибирске, в хранилищах Института археологии и этнографии СО РАН. Торжественная передача их уже состоялась. Возможным же это сделалось во многом благодаря директору института А. П. Деревянко. Появившемуся на свет, кстати, в какой-нибудь сотне вёрст от малого отчества Алексея Яковлевича и отметившему ныне собственное 70-летие.

Здесь покуда конец моего из осколочков собранного, безыскусного, но почтительного рассказа — поклона славному казаку-археологу.

Сергей Смирнов

Пельмени по-чукотски

Сырычанская дорога

— Ну что, потанцуем? — послышался Борису мужской голос, сопровождаемый плеском мутной волны и военным «Синим платочком».

— Почему бы и нет? — это ответил с некоторым вызовом женский, перекрикивая сдуваемый речным ветром вальсок.

Сквозь захватанное стекло иллюминатора Боря Седых увидел белёсую палубу плашкоута, приспособленного под пристань, и две пары сапог, скользящих по затёртым доскам, защитного цвета юбку и форменные брюки. Полукольцом стояли люди, встречали катер.

«Откуда они здесь взялись?»

Ещё одна пара, вальсируя, вошла в круг. Ослепительный свет северного солнца делал доски причала белыми, и вальс тоже был почти белым. Небольшие частые облака пролетали над берегом и привалившимся к нему катером, выбрасывая перед собой стремительную тень.

...падал с опущенных плеч...

Чуть в стороне, лёжа на отмели правым бортом, покоилась ржавая стальная коробка замолкшего навеки парохода, длинная его труба была покрыта схватившейся в уголь копотью. Мелькание облачных теней создавало иллюзию покачивания тупоносого уродца, как будто он всё ещё был на плаву. По носу проступало название, которое старательно подновляли, видимо, каждую навигацию, — буквы разного размера вылезали одна из-под другой, и Боре удалось прочесть: «Дзержинский», «Калинин», «Молотов», «Сталин».

...и обещала

синий платочек сберець...

За пристанью валялся экскаваторный ковш, до половины вросший в мерзлоту, и вверх, в небо, уходил деревянный тротуар, утыкавшийся в покосившиеся ворота с натянутой колючей проволокой. — Эй, скиталец! Заявлявай ночевать, конечная!

Боря Седых потёр заспанное лицо, надел сапоги и потянул к себе объёмистый рюкзак: водка, консервы, хлеб. Маленький геологический отряд искал золота на Сырычанской низменности и ждал сейчас техника Бориса Седых, как ждут первого луча солнца после полярной ночи.

На палубе никого не было, хрипела громкая связь, хлопал на ветру обтрёпанный вымпел колымской гидробазы.

«Опять всё проспал», — подумал Боря, ступая на безлюдный плашкоут, — ни встречающих, ни вальсирующих. Полусгнивший тротуар отозвался смачным чавканьем, проваливаясь в тундровую жижу под Бориными сапогами. Путь его лежал туда, на восток, в сторону Сырычана, куда летом можно было добраться только пешком, по бывшему зимнику, который накатывали через низменность ничего не боявшиеся шофера-самосвалщики — лишь бы путь был покороче! Полярным летом движение тут совсем замирало: кому охота гробить машину на колдобинах и промоинах старой разбитой насыпи, объезжать не пропуски по раскисшей тундре, форсировать реки ненадёжными галечными перекатами, минуя расшатанные мосты?

Но дорога на Сырычан все-таки была: её строили заключённые, дальстроевские первопроходцы, укладывали метр за метром, километр за километром пробивались через тундровые хляби к Сырычанскому массиву, изъеденному шотельнями до самого металлоносного нутра, которое со временем поисчерпалось; тогда разработки бросили, а дорожная насыпь, искалеченная колёсами и гусеницами, размытая дождями и весенними водами, измерялась теперь сутками езды и неделями ходьбы, оставаясь, быть может, единственным на земле следом от многих из них, её строителей.

Боре Седых шагало легко, сапоги печатали в пыли чёткий пупырчатый след. Боря ещё не взмок под рюкзаком, не натрудил плеч, и ему было хорошо. В так шагам болталось над синим вечерним хребтом сплуснутое солнце, вдоль сопки неумоимо тянул ветерок, шевелил белёсую придорожную траву, сдувал гнус. А от пристани до базы всего-то сорок километров.

«Ну чем не Европа? — спросил сам себя Боря и сам же ответил: — Совсем не Европа. Чукотка!»

От этого странного, если крепко вдуматься, непонятного слова, скорее созвучия или звука, — Чукотка — Боре стало беспокойно, он остановился; шмыгнув носом, огляделся по сторонам, но не смог, не успел перехватить чужого взгляда, лёгшего, как ему показалось, на спину тяжёлой царапающей

ладонью. Боря Седых не испугался — вернее, сделал вид, что не испугался, и постарался вести себя непринуждённо.

Ну что, спрашивается, может делать одинокий путник, остановившись на пустынной дороге? Он может сесть отдохнуть, смахнув пот со лба и сбросив ношу. Вытряхнуть камешек из сапога. Да просто перекурить, наконец. Потому что глупо пугаться неизвестно чего — не конкретного, реального, а так просто — слова, произнесённого вслух.

Не бывало с вами такого? Со всеми бывало, вот и с Борей Седых случилось. И он сел на сланцевую плиту у обочины, сбросил рюкзак с продуктами, вытер вспотевший лоб, потом, не оглядываясь особо, стянул пыльный сапог, отчего на голенище остался след мокрых пальцев, разматал влажную тряпку и задумчиво встряхнул её, как бельё перед просушкой, и только потом, откинувшись на прохладные камни и закулив, осторожно оглядел притихший пейзаж.

Всё было спокойно под солнцем, и Боря, покуривая и пригревшись в затишке, закрыл глаза.

И опять ему подумалось про Европу и про то, что не хватает для полной идиллии жужжания мух на солнцепёке; почудилось ему сквозь эту пелену, что с той стороны, откуда он пришёл, по дороге катит жёлтый клуб пыли, а перед ним, посверкивая стёклами, — чёрная машина, которая при ближайшем рассмотрении оказалась старым покореженным рыдваном с квадратными крыльями. Господи, таких машин Боря не видал никогда.

Пыль осела, с правого сиденья выбрался небольшого роста плотный дядька в сапогах дудочкой, необъятных синих галифе и голубой майке в обтяжку, на голове — синяя же фуражка. И сделал этаким жест рукой: мол, прошу!

Седых протиснулся назад, плюхнулся на разогретую солнцем кожу, отчего рыдван жиденько заколыхался и заскрипел рессорами.

Худощавый водитель с прямой спиной, одетый в офицерскую шерстяную гимнастёрку, красиво курил, на высокий лоб свисала короткая косая чёлка. Дядька в майке сел впереди, громко хлопнув дверцей. Осевшая было пыль заискрилась, подсвеченная наклонными солнечными лучами.

Дядька яростно чихнул, и они поехали.

Поскольку попутчики не произнесли ни единого слова, то и Боря посчитал себя необязанным заводить разговор, а стал смотреть вперёд. Но там, странное дело, ничего не происходило: хребет стоял на своём месте, слева и справа холмилась низменность, двигалась только пыль, струями убегающая под колёса.

— Так тебе куда, парень? — спросил, наконец, худой резким поставленным голосом. — Мы до Сырычана не едем.

И протянул начатую пачку папирос.

— На пятьдесят восьмой километр, там геологи стоят. Знаете? — беря папиросу, ответил Боря.

— Гм, — неопределённо сказал дядька в майке и глянул на худого.

Тот молча крутил баранку. Боре были видны только пучок незагорелых морщинок и затвердевшая скула над петлицей с одной шпалой.

— А вы на рыбалку, что ли? — решил поддержать разговор Боря.

— Ага... на рыбалку... — после некоторого молчания ответил дядька. — Или за грибами, — добавил он. — Нам всё равно.

И снова глянул на водителя.

— А не боитесь там стоять-то, на пятьдесят восьмом? — ни с того ни с сего вступил в разговор худой.

Он извернул шею и цапнул Борю неприятным цепким взглядом.

— А чего? Нормально! — беспечно сказал Седых.

— Ну-ну.

А колымага всё плыла и плыла по насыпи, спускаясь в долины и вползая на косогоры.

«Чего там бояться? — размышлял Боря. — Место как место». Но всё-таки странный этот вопрос не шёл из головы: а может, и есть там что-то такое, скрытое? Вообще-то и эти двое не нравились ему, непонятные они какие-то были, словно из другого мира или времени. «Главное, чтоб везли пока, — думал Боря. — А кто они такие — какая мне разница?» — Холодает, — сказал дядька, — дай-ка там...

Боря нашёл за рюкзаком гимнастёрку со спотытыми петлицами. Такую же носил Борин дед, Степан Галактионович, она хранилась у отца в шкафу как семейная реликвия, а самого деда Боря никогда не видел, только на фотографии. Под гимнастёркой оказались потёртая полевая сумка и карабин, засунутый между кузовом и сиденьем.

Дядька облачился в гимнастёрку и сразу утратил домашний простецкий вид.

— Давай отсюда начнём, что ли... — сказал он и неопределённо махнул рукой.

Худой выключил скорость, проехал ещё немного по инерции и остановился посреди дороги.

— Всё, парень, прибыли, — худой потянулся, закинув руки за голову, а дядька нацепил портупею, крест-накрест.

— Счастливо, — сказал Боря, — с грибами-то.

Оба попутчика уже на него не смотрели, и он, прилаживаясь к рюкзаку, захрустел сапогами по обочине и уже не мог, конечно, слышать, как худой, показав в улыбке зубы, сказал:

— Ну ты и сморозил — за грибами.

— Да ладно, он спит на ходу.

...Проснулся Боря так же легко, как и заснул. Окурки, превратившийся в кучку пепла, погас. Боря улыбнулся, вспомнив, как курил во сне чужие папиросы.

На насыпи огляделся и увидел в пыли отпечатки своих сапог и поверх них след автомобильных шин. Но дорога в оба конца была пуста.

— Эх, балда, проспал попутку.

Однако огорчился он не сильно — такую свежесть нёс над землёй воздух, такую вдруг почувствовал в себе радость и силу от ощущения простора и свободы.

— Ой да болит сердце! Да ой да сильно ло-омит гру-удь! От тоски-печали да никуда не де-ётся! — во весь голос заорал Боря, и заброшенная дорога, прислушиваясь к словам песни, повела его дальше, к Сырычанскому мосту.

Справа с нарастающей крутизной поднялись дикие голые сопки, вывалившие к подножию тяжёлые языки осыпей; слева открылась вогнутая чаша Сырычанской низменности, охваченная на горизонте полукольцом синих гор, по клыкастому их гребню катился, не торопясь, солнечный овал. Низменность была подёрнута дымкой, едва заметно струящейся в остывающем воздухе. Сквозь неё загадочно проблёскивали излучины рек и зеркальные осколки озёр. Неясные, многократно повторённые странные голоса неведомых существ, хлопанье крыльев и хлюпанье лап по глинистым отмелям, шум текущей к океану, в никуда, воды, шелест трав, пригибаемых ветром, и скрип грибов, вылезающих из-под земли, — всё, всё это и тысячи других незнакомых и непонятных звуков, слившись в мощный единый фон, превратились в тишину, которую наблюдал и слушал Боря Седых, шагая по Сырычанской дороге.

Густые бурые тона всегда готовой к зиме тундры довершали впечатление дремучей первозданности, как будто не появился ещё на земле человек, не вышло ещё из этих вот болот порочное случайное семя. И страх, страх перед этой грядущей возможностью ошутимо витал над Борей Седых, проходил, оглушая, сквозь мозг и сердце. И сейчас же Боря ощутил себя частью того таинственного шевеления, что угадывалось за полупрозрачной завесой вечерней дымки, скрывающей там, в глубине, нечто невообразимое, хранящее в себе память тысяч и тысяч поколений живших и живущих, боявшихся и боящихся.

Да, Боря знал теперь, что происходит на Сырычанской низменности, чувства обострились, как у дикого животного, но он не смог бы, даже если бы его попросили, облечь это знание в слова. Пахнуло мускусом и солёной кровью, нутряным жиром, протухшей рыбой, предсмертным потом и сырым мясом, — языческим первобытным страхом, сделавшим всё вокруг пронзительно прозрачным, а каждую уходящую минуту — последней...

Справа, на бесконечном склоне, показалась россыпь сложенных из плитняка бараков, прижатых небом; колючая проволока на упавших от старости столбах, одинокие сторожевые

вышки — на щебнистом увале росли и ширились размытые временем силуэты прошлого, из которого связующей нитью протянулась в настоящее насыпь Сырычанской дороги.

Это и был пятьдесят восьмой километр, откуда до моста оставалось совсем немного.

Боря шагал и шагал, поднимая облачка пыли, и вспомнил вдруг, как маленький мальчик Бобка в коротких штанишках и заштопанных на коленях чулках пробирался во вражеский тыл, сжимая в руках деревянное ружьё. Под кроватью было темно и душно, вдали, у самой стенки, поблёскивали стёкла вражеских биноклей.

«В меня целятся, — со сладким замиранием сердца думал Бобка, — а я не боюсь, я вот их сейчас...»

Деревянный приклад вздрагивал от выстрела, и Бобка полз дальше, туда, где между кроватью и шкафом падал тонкий луч света. Там жили главные Бобкины враги — серые длинноногие пауки, никогда не сдававшиеся без боя. Бобка смело подполз к самому шкафу, выставил вперёд ствол с гвоздиком-мушкой.

— Огонь! — скомандовал Бобка.

В темноте что-то блеснуло, паутина с треском разорвалась, и из чёрной щели вывалился пожелтевший кусок картона, на котором Бобка увидел своего отца, только почему-то в военной форме. Бобка дунул изо всех сил на портрет, чихнул несколько раз и спросил из-под кровати:

— Пап, а ты был красным командиром, да? А ружьё у тебя настоящее было?

Отец взял картонку, смахнул с неё пыль.

— Ты где нашёл?... Вот это...

Бобка ткнул ружьём в сторону шкафа.

— Это же... Борис, это же твой дед. Я уже думал — потерялся портрет.

— А он уже умер? — спросил Бобка.

— Наверное...

С тех пор маленький Бобка очень гордился, что у него появился дед, да не простой, а командир Красной Армии. Он ходил по двору, выпятив грудь, а дома подолгу рассматривал портрет человека в военной гимнастёрке с петлицами и радостно думал: «Вот какой у меня дед, настоящий!»

...От воды тянуло холодом, река глухо перекачивала камешки, ныряла под мост и струилась дальше меж низких берегов, увводя взгляд в глубь Сырычанской котловины. Боря с удовольствием пробухал сапогами по сухому дощатому настилу. Тёплые, высохшие до звона брёвна загудели в ответ. Седых постоял, опершись на перила и глядя с моста вниз. Ему послышался гулкий перестук топоров, визг наскочившей на сучок пилы, большое дыхание людей у негреющих костров, их голоса.

— Эй, Сыч, закурить дай!

— Бог подаст.

— Ах ты, гнида! Ну ничего, кончилась твоя лафа. Каменотёсы в карцере сидят, сопли на кулак мотают.

— Заткнись, иуда. За буханку хлеба проданся.

— Тебя не спросил. Теперь твой черёд настал, похаркаешь кровью. Мы-то здесь, под боком, тесненько сидим, а до него — уляля! — далеко, как до Бога. Вот сам и проси, чтобы разрешил тебе хотя бы до зимы дожить.

— Подонок ты... Тебе бы помолчать, а мне не слушать.

— Помолчать?! Ты, блевота, пользуешься, прихоть свою справляешь, а как же мы? Как?! Я не хочу, чтобы меня песцы глодали, а он, каменный, вечно над нами возвышался! Понял?!

— Геть, придурки! Буде брехаться! Айда робить, литер, капитан йидыть!

...Темна была речная вода под мостом. Сырычанская низменность втягивала её в себя, сопротивляющуюся, петляющую, и, казалось, ждала и его, Бориса Седых, чтобы одурманить запахом карликовой клейкой листвы, заплести ноги жёсткой болотной травой, — подчинить себе и увести в таинственные шевелящиеся глубины.

Боря плюнул в воду и, съехав на пятках с насыпи, пошёл вдоль реки пружинящим на мху шагом. Скрюченные ветки припавшего к земле кустарника зашуршали по голенищам сапог, терая листву, а сбросив тяжесть человеческой ноги, долго распрямлялись. Настоявшийся за день горький воздух клубился тяжёлыми ароматами разбросавших семена растений, дурманил голову.

Отдыхая на сухом пригорке, Боря вглядываясь в ту сторону, откуда пришёл, пытаясь мысленно проследить свой путь. Нет, ни разглядеть, ни проследить его не удавалось — видны были только отдалившаяся к горизонту насыпь и искажённый крохотный силуэт повисшего в воздухе моста, окутанного паром и нереального в своей отдалённости. Теперь низменность окружала Боря со всех сторон, шуршала, шелестела, журчала, вскрикивала, тяжело дышала в лицо, и лёгкий парок с Бориных губ мешался с этим её дыханием, вспыхивал в солнечных последних лучах золотистой каёмкой. Размашистые тени скользнули над головой, и Боря неясно увидел больших грузных птиц в отливающих золотом перьях — бесшумным клином прошли они над самой землей и всколыхнули застоявшийся туман.

«Где я? Что со мной?» — подумал Боря, но готового ответа не возникло, а тревожное мелькание изорванных в неверном свете теней заставило ещё раз оглянуться вокруг, всмотреться в каждый оживший в этом свете бугорок. Всё было странно, непонятно, искажено, и только высоко вверх Боря Седых, вздрогнув от неожиданности, разглядел

неяркую одинокую звезду, помаргивающую слабым зелёным лучом, слабым, но пробившим пустоту космических пространств, чтобы соединиться с Бориным взглядом.

— Вот чёрт, ботинок порвался... — сипло пробормотал кто-то рядом.

В полумраке торопливо зачавкали шаги, сопровождаемые приглушённым звоном металлических звеньев, потом послышался короткий собачий взлай, и несильный, сразу же увязший в тумане голос спросил что-то не по-русски. В ответ ему глухо донеслось:

— Это я — Сыч... Ушёл, видишь...

— О-ёй, совсем плёхо! — запричитал нерусский голос. — Капитана приходи, оленя стреляй, Сычанка ищи... Плёхо...

— Ах, чёрт, ботинок...

И опять непонятный переливчатый цепной звон.

Боря Седых, окаменев, вслушивался в эти негромкие голоса, один тонкий и испуганный, другой хриплый, с тяжёлым придыханием, но спокойный. Они становились всё тише и тише, удаляясь и плывя, словно пряди тумана, — слов разобрать уже нельзя было, — звучали ещё некоторое время, отовсюду откликаясь эхом, и смешались, наконец, со звуками затихающей низменности. Боря осторожно встал, потоптался на месте, вслушиваясь, вглядываясь. Тишина... С удивлением увидел Седых затянутае лишаемником кострище, зелёный от окалины чайник, пробитый пулей, опрокинутый чугунный котелок с оторванной дужкой, растрескавшиеся от мороза, дождя и солнца полозья нарт, и рядом — по-женски изящную фарфоровую чашку, белеющую во мху среди оленьих черепов и рогов, объединенных мышами.

Каким-то странным, непостижимым образом связан был этот ночной разговор с полустёртыми следами брошенного стойбища, медленно, но уверенно поглощаемого тундрой.

«Сколько раз тут ходил, — подумал Боря, — а не видел».

Подслушанные голоса утратили уже свою реальность, растворились в темнеющем воздухе. Были ли они на самом деле, эти человеческие голоса, выплывшие из свиста ветра и ушедшие с прощальным лучом солнца, — были ли они?

Боря чертыхнулся про себя, задев простреленный чайник, хрустнул угольком давно прогоревшего костра и двинулся дальше.

До палаток оставалось совсем немного, но вокруг по-прежнему было тихо, горький туман верховой тундры сменился сырой вонью болота.

На лагерь Боря вышел точно. Как во сне, увидел он палаточные каркасы, распрямившие деревянные рёбра, открытые навстречу подступающему холоду и мраку. Из вытоптанного замусоренного

мха торчала бесполезная мачта антенны с обрывком провода. Боря сел под тускнеющим небом на нары, сколоченные из досок, сплавленных по ручью от Сырычанского моста, и огляделся вокруг, не веря глазам. Нары были те же, но палатки не было, будто с выброшенного на берег кита содрали шкуру, оставив голый скелет, и Сырычанская низменность шевелилась, ворочалась вокруг, чувствуя близкую добычу.

Никакой записки или знака он не обнаружил. Пугающее присутствие медведя-людоеда сразу отошло на второй план, когда Боря представил изорванные штормами паруса «Летучего голландца»...

«Тьфу ты, чертовщина... Не бросили же они меня»,—устало думал Боря Седых, лёжа на шершавых досках. Меж рёбер каркаса заглядывала ему в лицо знакомая уже зелёная звезда, по-прежнему яркая и такая же далёкая.

«Случайность? Да... Всё сплошная случайность»,—думал Боря.

—Нет, случайностей не бывает,—ответил ему кто-то,—все события закономерны, потому что связаны между собой...

—Ты где опять витаешь, Седых?—встрял ещё один голос.—Проснись! И попытайся запомнить!

Голоса были знакомые, ему даже показалось, что это вернулись его товарищи, геологи.

«Что—запомнить?»—хотел спросить Боря, но, как ни силился, губы не слушались, безвольно расплзались, звук никак не мог вырваться наружу и обрести смысл.

—...запомни, сынок, запомни, у тебя есть ещё надежда пережить всё это. Мы шли сюда очень долго, и нельзя было никак бросить эти чёртовы шины. Понимаешь, в них была наша жизнь, её мы толкали впереди себя, и называлось это «автопробегом». В конце каждого дня—а кто скажет, сколько их было?—мы зажигали застывшую на морозе резину и пытались отогреть хотя бы руки. Кожа не чувствовала огня и вздувалась пузырями... Слушай, сынок, хотелось умереть, да, поверь мне... хотелось спасения от жизни. Слышишь?!

Небесные капли упали Боре на лицо. Некоторое время он лежал, соображая, где он и что это происходит вокруг, и сквозь шорох начинающегося дождя опять услышал:

—Проснись, Седых... ищи нас на правом притоке Сырычана. От старой насыпи пойдёшь вверх по течению до скального прижима... запомни.

Теперь-то точно это были они, по непонятным причинам оставившие его товарищи.

Голоса стихли, и Боря тщетно напрягал слух, хотя не мог поклясться, что слышал их наяву.

—Да, и ещё... Увидишь человека в тундре—не подходи. Не подходи, слышишь?! Чукчи за геологами

охотятся. За твою правую руку им на фактории спирту дадут, патронов. Такой приказ вышел, чтобы беглым и на свободе жизни не было. Ну всё, бывай... до встречи.

Всё смешалось и перепуталось: сон был пугающе реальным, а действительность слишком фантастичной, чтобы поверить в неё. Боря отломил горбушку, сунул её в рот: хлеб оказался настоящим.

Под дождём делать в брошенном лагере было нечего, и Боря заторопился обратно, к Сырычанскому мосту. Скоро шаг пришлось сбавить: мох не торопился вытолкнуть Борин след, а у Бори уже не было сил ходко переставлять ноги. Воздух, насыщенный влагой, был неестественно плотным, капли, стремительно вырастая из него, оставались висеть над землёй среди других таких же капель, напоминая мыльные пузыри, и лишь попадая на лицо и одежду, стекали вниз; на смену вечернему туману пришла всепроникающая небесная сырость перегруженных водой облаков, внутри которых блуждал рассеянный тусклый свет. Сырычанская низменность молчала, и Боря слышал только гулкие шлепки падения неимоверно разросшихся капель.

Сухой бугор с остатками стойбища Боря не нашёл, пройдя, быть может, в пяти метрах от него, но теперь Боря сомневался во всём: а было ли оно вообще, стойбище, населённое непонятными голосами и звуками? Может, это бред? Или способность памяти хранить то, что никогда в ней не отражалось, а застряло где-то в извилинах хромосом, хранящих и прошлое, и настоящее, и будущее?..

Сначала Боря услышал тревожный перестук валунов в реке, а потом разглядел покачивающийся зев Сырычанского моста.

«Вот я и дома»,—машинально подумал он.

Доски моста почернели, но были сухими на ощупь и жадно вобрали воду с мокрой ладони. Журчание речных струй оглушало, таило в себе множество неожиданных звуков, которые вырывались вдруг из сумбурного клёкота на свободу, дробились и множились, перескакивая среди брёвен. Вытерев лицо пропитанным влагой рукавом, Боря Седых принялся за работу. Проржавевшие гвозди легко отпускали прильнувшие друг к другу доски. Настругав лучинок, как учил отец, Боря достал спички, чиркнул пару раз—сырая спичка выдала длинную стремительную искру и погасла. Сгорбившись над кучкой щепок и чувствуя коленями глубокий холод, источаемый мокрыми блестящими валунами, он, наконец, зажёт спичку, и тоненькая голубая струйка дыма, скручиваясь жгутом, уплыла к дырявому днищу моста. Вялый костёр постепенно разгорелся, разогнал висящую в воздухе морось и запыхал прозрачным

беззвучным пламенем. Привалившись к листовничному бревну, Боря следил воспалённым взглядом, как мерцающие облачные клубы вытягиваются в нити и, набирая скорость, улетают под мост, словно в печную трубу. Скоро от мокрой одежды пошёл робкий парок, но Боря уже дремал, склонив голову на грудь, и снилось ему, что со всех сторон протянулись к его живому костерку серые от въевшейся грязи руки, ловили непослушными пальцами перебегающие среди досок язычки огня, сбоку на углях стоял большой жестяной чайник.

—...Как фамилия-то, говоришь? Военный бывший? Нет, всех не упомнишь, на пересылках людей очень много было... Хотя постой... вроде был у нас Седых в «автопробеге», помню, из Сибири, что ли, но мы его между собой Сычом звали... Молчун был, каких мало. Сидит, палочку какую-нибудь строгаёт: то зверь невиданный получится, а то лицо человеческое. И смотрит поверх нас, глаза прищурит. Чего он там такое видел? Сопки да тундра, ну река эта, а он смотрит и смотрит. Непонятный был. Или запоёт вдруг, всегда одну и ту же: «Ой да болит сердце...» — любимая у него была. Я её нигде ни до, ни после не слышал, вот ведь — с ним пришла, с ним и ушла... И работал он не как другие, со злостью какой-то, будто брёвна эти или сама земля виноваты в чём-то были. Не сходился ни с кем особенно, так и жил сычом, за это Сычом его и прозвали, обижались, значит, почему он не такой, как все. Один особенно домогался, Уляля его звали за присказку, из блатных, синецветных, хотя и сидел по нашей статье, по политической. Вы, говорит, вейсманисты, интеллигенты недобитые, пустили всё на самотёк, вот вы его и создали, кошмар этот. А это вам и наказание, а меня, мол, за что? Обижен на весь свет был, закладывал потихоньку неблизких и близких. А начальником служил у нас на лагпункте капитан по фамилии Сенотрусов. Лихой был капитан — выправка, всё: спина прямая, чубчик аккуратный, пронзительный взгляд, а курил только «Герцеговину Флор». Да-а... Где уж он её доставал — не знаю, может, и махру втихаря покуривал, но вот такой был даже в мелочах, везде портреты, цитаты. Ну и службу, само собой, нёс, но не как пёс цепной, на чужие куски и подкачки не кидался, издевательства не допускал, провинился — получи, особенно если норму по кубам не дашь. На других зонах, бывало, как ни крутись, а морда не понравилась, так и сгниёшь в «Индии» — в карцере, значит; а у капитана — нет, хоть мы и бесправные люди, каторжане, одним словом. Однако и он этого Уляля недолюбливал, а тот всё норовил подшестерить, в доверие втереться — очень ему хотелось над фраерами встать, пожить взятяжку. Но капитан понимал всё и начал его потихоньку опускать. Тогда Уляля стал клинья под капитанова заместителя подбивать, фамилия

у него, помню, странная такая была — Евсюляк, да, лейтенант Евсюляк. И вот он-то, Евсюляк этот, рожа красная, холёная, стал синебрюхому за доносы хлеб давать буханками или на лёгкую работу ставить. Капитану-то, конечно, не больно нравилось, что в его делах, как в белье, копаются. А может, просто слишком разные они были, характерами не сошлись, не знаю, — короче, начался у них разлад. Доходило до всякого: и рапорта писали, и оружием трясли, но службу несли исправно. Видать, обычное это дело, когда псы в упряжке грызутся, но свою заботу знают — везут хозяина. И вот как-то по весне, только бугры из-под снега вылезли, приходит наш Сыч с работы — а худой весь, небритый, лицом почернел, в глазах блеск лихорадочный, — и просится по личному делу на приём к капитану Сенотрусову. Кое-кто сразу подумал, что тут дело нечисто, но чтоб так открыто! Да и мы-то ещё с «автопробега» его знали — кто там не сломался, здесь-то уж как-нибудь, — ну и к нему сразу, молчун ведь: мол, случилось что? А он: не волнуйтесь, ребята, дело я одно, говорит, задумал личного свойства, мол, одного меня касается. И пошёл. Вернулся он только на следующий день, глаза совсем бешеные стали, но видно, что доволен, папиросным дымом весь пропах — у нас после махры на эти вещи нюх тонкий. А когда на работу его не вывели, тут уж все серьёзно призадумались: что он там такое удумал? И нам, товарищам его, не по себе стало: неужели ошибались в нём, не раскусили? Да, были такие мысли, чего греха таить...

Говоривший замолчал, зашуршал волглрой бумагой, и кто-то сыпанул ему махры в тоненькую трубочку «козёй ножки». Тихо шипели дрова в огне; темнота надвинулась, обступила плотной стеной узкий кружок, освещённый колеблющимся светом костра; чуть слышно шумела вода в чайнике. Сквозь полудрёму Боря силился выхватить из тишины обрывки человеческой речи.

— Не трожь его, — услышал он наконец, — пусть спит, умаялся сегодня.

От этих слов Боре стало хорошо и уютно, как в детстве, когда мать накрывала его ватным одеялом и проводила ладонью по едва отросшему ёжику волос: «Спи, завтра новый день будет».

Но сейчас, проваливаясь в сон, он успел подумать только одно: «А смог бы я пережить всё, что услышал, если бы родился на тридцать лет раньше и попал сюда не по своей воле?»

Зэк Сырычанского лагпункта по кличке Сыч, а когда-то давно — комкор Седых Степан Галактионович, шёл впереди нестройной шеренги заключённых.

На утренней проверке капитан Сенотрусов сам зачитал разнарядку на работы, и Сыча перевели из привычной мостовой бригады в каменоломню,

которая находилась на правом притоке Сырычана, сразу за прижимом. Там днём и ночью ухала баба, которой дробили камень для насыпи, в просторечии её называли «кишкодёркой». Тот, кто выполнял тройную норму, получал четвертушку чайной плитки, пропади она пропадом! — но без цифиря работать там было трудно.

И выходило так — что для всех совсем уж показалось странным, — что Сыч сам напросился туда — такая вот простенькая, но тщательно продуманная Сычом уловка, чтобы скрыть истинное назначение перевода. Объяснять что-либо товарищам по бараку он не хотел, да и не мог — тайна уже не принадлежала ему одному, а была государственной.

Тяжело переставляя ноги, он вспоминал свою чукотскую жизнь, которая началась шесть лет назад, когда ночью раздался в их квартире на Кудринке осторожный, даже какой-то неуверенный звонок, и жена пошла открывать дверь, а он начал спокойно застёгивать пуговицы на кителе, думая о предстоящих ночных манёврах, а не о том, что патрон загнан в канал ствола и давно готов исполнить то, что задумал комкор Седых в случае ареста. Они и тут сумели обмануть его, обвести вокруг пальца, ночных дел мастера, — наградное оружие уже не принадлежало ему.

Спускаясь по лестнице в окружении синих фуражек, он даже не оглянулся на силуэт жены, тёмный в ярком дверном проёме, нисколько не сомневаясь, что это недоразумение разрешится в скором времени, и не держал обиды или раздражения на арестовавших его людей.

Где-то там, наверху, всегда, даже ночью, светило солнце, и туда стремились все его мысли, существо и душа. И комкору Седых было совершенно ясно: Сталин не мог отдать такой приказ! Он просто ничего не знает об этом! Не знает!

Всё! И точка на этом!

И потом, проходя тюремными коридорами и забранными колючкой проходами пересыльных лагерей, комкор не терял надежды. Но не было, не было такой возможности напомнить Ему о себе, доложить, как бывало в минуты простого человеческого разговора, что вот, Иосиф Виссарионович, оторвали меня от дела, впереди военная игра, а может, и военные действия, армию готовить надо, готовить серьёзно, а времени уже нет! Даже передать свои мысли по этому поводу ни письменно, ни устно нет никакой возможности! Не доходят письма! А уж разговаривать, тем более просить о чём-то «вохру» — бессмысленно, потому что она выполняет приказ, Ваш приказ, товарищ Сталин, и не может она его не выполнять... хотя конкретно обо мне там нет ни единого слова!

Тут у него в голове начиналась путаница, а мысли опять возвращались к той ночи и, набегая друг на друга, неслись по замкнутому кругу. Но однажды комкору Седых удалось разорвать их

закольцованный бег: он придумал, как напомнить товарищу Сталину о своём существовании! А капитан Сенотрусов поддержал его!

Шеренга серых бушлатов, нагруженных инструментом, вышла на берег Сырычана, под негнушима подошвами закрипела галька, и Сыч начал думать о второй части своего плана. На мысль эту, сам того не подозревая, натолкнул его когда-то сосед по нарам, бывший царский полковник.

«А за ударный труд стахановский, — говорил он, — на Индигирке дают буханку хлеба и справку об освобождении — ты понял?! — сажают в брезентовую лодку и под оркестр пускают по реке: выживешь так выживешь. Такая вот справедливость. И проплывает счастливцев под огромным чёрным утёсом, за которым резкий поворот, и река притекает почти к тому месту, откуда счастливца отпустили, только он этого не знает, от счастья голову потерял, и не догадывается, что жизнь его оценивается теперь ровно в один килограмм сырой черняшки. В один килограмм! Потому что редко кто начинает от своей буханки сразу под утёсом откусывать. Растягивают, впереди же дальняя дорога к океану... А за поворотом стрелок голодный сидит, и лодку нужно на склад вернуть, ведь скоро опять кто-нибудь в стахановцы выбьется... Ты понял?!»

Прошли речную косу, Сыч начал подниматься в гору, на прижим, и когда они дошли до самого верха, он скомандовал привал. Зски побросали инструмент, кто присел на мёрзлую кочку, кто на сланцевую плиту. Сыч глянул вниз, на Сырычанскую низменность, которая оказалась так обширна, что дальние склоны её и сопки терялись и были недоступны глазу. Лишь сбоку, почти под ногами, можно было разглядеть неправильный прямоугольник зоны с серыми полосками баракков. Рядом, спрятавшись в складках местности, крушила камень «кишкодёрка».

— Ну что, мужики, начнём, — сказал он. — А то времени у нас осталось мало.

Так день проходил за днём; Сыч водил свою бригаду, и молчал, и веточки свои резать перестал — новая работа отнимала все силы. По лагпункту поползли слухи, их пускали те, кто ходил в камноломню, что Сыча и ещё четверых водят куда-то в сторону скального прижима, на дробилке они не появляются, а кто-то видел, что с высокого чёрного утёса свисает верёвочная люлька и в ней человек. Слухи разрастались, но толком никто ничего не знал. Говорили, будто собираются бить штольню внутрь горы, что Сыч нашёл золотую жилу в метр толщиной, и как только докопается до неё — получит досрочное освобождение. Всем верилось в это, потому что во что-то нужно было верить.

Сыч молчал.

Однажды бластные из другого лагпункта подослали к нему своих людей, вертлявых и черноглазых,

с «пёрышками» в рукавах, — вдоль трассы лагерей было достаточно, через каждые пять-десять километров, слухи дошли всюду.

— Ну как, Сычара, — спросил его одноглазый парламентар, — будем социально близкими? Что там у тебя на обмен жизни есть — желтизна, сверкальцы, глазки зелёные или ещё какие бебелы? Ты, главное, подноси, а мы пристроим. При теле будешь и всём остальном. Будь спок! Или?.. Сам чухай!

Тут бывший комкор вспомнил дальневосточные степи.

— В штыковую никогда не ходил, крыса?

И так сжал руку одноглазого пониже локтя, что тот согнулся набок и выронил из рукава нож.

— Понил, понил, будь спок!

И исчез, как не было.

Свидетелей, как говорится, не нашлось, а Сыч по-прежнему молчал и только всё больше и больше худел. К капитану Сенотрусову его больше не вызывали, и сам он на приём не просился. Те, что работали с ним, пока молчали.

Снег уже сошёл к тому времени, на низменность прилетели первые птицы, солнце не заходило, и можно было не бояться, что оно сядет. Пришла настоящая весна, хотелось двигаться, лететь, да просто идти куда глаза глядят. Наступило время побегов, и эски, и конвой ждали, кто же сделает это первым. Старички, кто на своей шкуре и костях испытали — и не по одному разу, — что такое побег, не завидовали молодым, которые собирались той весной в бега по первому разу.

— Некуда тут бежать, ребята, некуда! В лесных лагерях есть ещё какая-никакая надежда, а здесь — нет её! — говорили они.

Конвой тоже прекрасно это знал...

Облава, охота, погоня, загон, травля... Везде и во все времена беглый был вне милосердия. Ни один хищник не будет издеваться над своей жертвой, а высшее существо не может без этого.

Погоня — это было любимым делом Евсюляка, на которое он собирался по-охотничьи: надевал старое обмундирование, оружие чистил, ну и руководил загонщиками тоже он. Да и тем, кто не думал бежать, за колючей проволокой было несладко: лейтенант держал в постоянном напряжении, устраивал ночные проверки и обыски, само собой, обыскивал перед и после работы, а к бригаде Сыча проявлял особое внимание. Грузная его фигура в широченных галифе постоянно маячила то на самой зоне, то у наружных ворот. После обыска Сыч на всю бригаду получал тяжёлые долота, ломы, кувалды, а — кладовщик потом всем рассказывал — Евсюляк осматривал инструмент, задавал каверзные вопросы, пытался на «понял-понял» вывести, чем же занимается молчаливый Сыч. Но тот каждый раз мрачно отвечал, что капитаном Сенотрусовым запрещены какие-либо разговоры на эту тему. Евсюляк отступал.

Уляля ночей не спал, с разрешения лейтенанта шнырял по баракам, вынюхивал и выводывал. Было удивительно, что Евсюляк сам ничего не знает. Это, видно, здорово его бесило, и он отыгрывался на тех, кто первый попадал под руку.

Все понимали: долго так продолжаться не может.

Зашумел на углях чайник, заплелся кипятком в огонь. Люди зашевелились, подвигаясь поближе к ослабшему пламени костра. Кто-то загремел кружками, кто-то подхватил чайник, а рассказчик опять неторопливо зашуршал «козьей ножкой», и ему опять, не скупясь, сыпанули махорки. Кружку Боря поставил на песок, нагнулся, вдохнул еле слышный запах брусничного листа, потом достал из рюкзака буханку хлеба, нарезал её толстыми упругими ломтями, по очереди передавая их в темноту.

Недолго и неглубоко думал лейтенант Евсюляк, следовал хорошо проверенным наработкам и понять даже не мог, как раньше до этого не додумался.

За буханку хлеба Уляля донёс капитану Сенотрусову на Сыча: дескать, выходят за зону, свободу почуяли, готовят побег! Вот и вся премудрость! Никто так и не узнал, было ли там что-нибудь на самом деле, да и неважно это, главное — Евсюляк своего добился, капитану пришлось закрыть работы на прижиме, а тех, кто там работал, посадить в карцер. Только Сыча он вернул, рискуя головой, обратно в мостовую бригаду, с формулировкой «до выяснения обстоятельств», но под давлением Евсюляка был вынужден одеть его в кандалы...

Ну вот и не выдержал однажды комкор Седых.

— Слышь, парень, в одну из вечерних проверок вдруг топот, крики — никак сбежал кто, думаем. Хватились — точно: он! Ах ты, думаю, молчун, домолчался... К людям надо было, душу излить, облегчить душу-то, а он всё «ой да болит сердце» своё заведёт... Вот оно, русское: молчит и терпит, терпит и молчит, душа и не выдерживает на разрыв... Эх, Сыч, Сыч, снизошло и тебе спасение от жизни, осталось тебе впереди самое страшное, а может, и не страшное уже, как знать, но то главное, от чего сердце болело и что заставило под пулю его подставить. Непонятым он был, непонятым и остался... А наутро капитан с лейтенантом поехали к чукчам за мясом, хотя обычно это делал кто-нибудь из младшего состава. И тогда мы поняли, что не жить Сычу, если сам капитан взялся за это дело и даже облаву не стал устраивать, чтоб обойтись без свидетелей. Вернулись они через два дня, вымотанные, в глине перепачканные. Даже то, что мы их видели таких, было им, наверно, всё равно. Солдаты напоказ вытащили из машины оленью тушу, но и так уже всё понятно было. Опять они дружно свою упряжку из болота вытянули.

— А что же секрет-то?—спросил кто-то.—Что же они там делали, на утёсе-то?

— На прижмем весь смысл и обнаружился, хотя сколько мы ни смотрели, ни выискивали—ничего на этом утёсе не было: ни дырки какой, ни ещё чего. Что за чертовщина, думаем, не деньги же они там чеканили. Так вот, как-то утром идём мы на работу—всех тогда в каменоломню водили, потому что сыпали насыпь уже в следующую долину, а первый снег как раз выпал... праздник это был... когда-то...

Яркий свет обжёг глаза, и некоторое время Боря ничего не видел, кроме ослепительного белого сияния, а потом... Снег! Выпал первый снег! И сразу всё—ночной разговор, пальцы, собирающие тепло костра, страшный капитан и непонятный Сыч—всё это осталось там, за чертой, разделяющей свечение снега и тьму, затаившуюся под мостом, лёгшую поперёк реки чёрной галечной полосой. Боря смотрел вокруг и не мог оторвать взгляда: каким прекрасным, обновлённым стал мир, окрашенный в три бесконечно простых цвета—белый, чёрный и синий! Но вдруг каким-то особым видением Боря различил за этой внешней простотой тысячи и тысячи оттенков и полутонов, вобравших в себя всё буйство и многообразие земных красок...

Долго стоял так Боря Седых, сжимая в окочевшей руке кусок серого, плохо пропечённого хлеба...

Согреться ему удалось только на ходу. Корявая цепочка Бориных следов петляла по насыпи—первые следы на первом снегу. Казалось, что уже был в его жизни такой момент: и белизна, и размытая неживая насыпь, и рябые после снегопада островершие сопки, и примолкнувшая в ожидании тепла низменность. Чувство узнавания было настолько острым, что Боря как бы сверху, с птичьего полёта, явственно увидел крохотную человеческую фигурку, замершую на острие собственных следов,—Сырычанская дорога звала его в глубь горного массива, где начинал свою беспокойную жизнь говорливый Сырычан и его многочисленные братья. Кто знает, сколько бездомных бродяг заносило в эти места случайным ветром и куда брели они, но Боря Седых не был теперь обычным транзитным пешеходом, потому что прожил один день своей жизни так, как жила многие годы заброшенная Сырычанская дорога, собрав жизни и судьбы своих строителей в одну несчастливую судьбу.

По склонам, обращённым к солнцу, снег уже осел, начал подтаивать, чернеть, набухая водой, и Боря заторопился, прибавил ходу, словно боясь опоздать. Вчерашняя пыль превратилась в жидкую грязь и медленно стекала в промоины, на низменности чёрными кляксами обнажились

бугры, очертания далёких гор заколыхались в восходящих струях воздуха—неуловимая в своей постепенности жизнь продолжалась.

У моста через правый приток Сырычана Боря свернул в тундру, где едва присыпанный снегом чёрный утёс грубо рвал серое полотно реки, заставляя русло извиваться и вскипать белыми бурунами. И тогда Боря, чувствуя, что не успевает, побежал. Снежная каша забулькала, захлюпала, пытаясь задержать и без того неуклюжий бег. Шум порога то нарастал, то удалялся в едином ритме с пульсирующим звоном в ушах, и Боре стало казаться, что не вода, запутавшись в чёрных камнях, а перемешанная с тающим снегом мутная кровь бьётся в подножие утёса. Хватая ртом воздух, Боря с размаху повалился в мох, истекающий розовым, и сквозь красную пелену, застилающую глаза, увидел на чёрном обрыве неясный человеческий профиль, подчёркнутый лишь тонкими мазками испаряющегося снега,—только немеркнущий взгляд пристально и холодно светился из глубоких каменных глазниц.

— Успели, успели всё-таки,—задыхаясь, шептал Боря.—Успели...

К вечеру Боря Седых разыскал палатки геологов и, еле живой от усталости, вполз в ту, где дымилась печка.

Наваждение кончилось, растаяло, как этот неизвестно откуда взявшийся августовский снег. Сырычанская низменность осталась за увалами, скрывшими и мост, и полуразрушенную лагерную зону. Стихия улеглась, под палаточным брезентом пили водку, запивая чаем, негромко говорили. Боря захмелел, согрелся и начал дремать.

Кто-то рассказывал, как они переносили базу, как смывал берега ополоумевший Сырычан, как нашли они под отвалившимся куском дёрна останки человека—видимо, беглого зэка, потому что кости рук остались в ржавых кандалах, а в черепе была дырка от пули. Но Боря уже ничего этого не слышал, волна снова качала его, а катер постукивало о привальный брус плашкоута, с которого доносились звуки полузабытого вальса и перестук кованых каблучков.

Пельмени по-чукотски

Безвременно ушедшему

Константину Воскресенскому

С середины августа погода сломалась: зарядили дожди со снегом и просто снег без дождя, небо спустилось к самой земле, и его разорванная серая плоть клочьями неслась над побелевшей тундрой. Ручьи наполнились мутной стремительной водой, выхлестывающей на поворотах из обложенного сползшей дерниной русла, сырой пронизывающий ветер мотался по долинам, трепал пожухлую траву, намокшие перья из разорённых птичьих гнёзд

и набухший брезент палаток — не было конца его полёту. Вместе с ветром летел снег, падал, набивался во все щели и углубления, таял, и снова падал, и летел, и снова таял.

Так продолжалось две с лишним недели, и ровно семнадцать суток чадила и коптила, почти не переставая, жестяная печка с продавленными боками, пуская из покосившейся трубы короткие пунктиры искр, ослепительных на фоне чернильных снеговых туч.

За эти семнадцать суток махового безделья шлиховой отряд, состоящий из Кеши, Паши и Фёдора Ивановича Шаляпина, истрепал две колоды карт, выкурил ящик папирос и успел опухнуть от нездорового сна и бесконечного чая. Уже всё было переговорено, начиная со счастливого детства и кончая нынешним неудавшимся сезоном.

—...будь она неладна, эта погода, план по шлихам уже не выполнить, и никто, конечно, не сделает скидки на метеоусловия, и в коридорах экспедиции опять, как после каждого сезона, будут большие разговоры, что шлиховой отряд опять не дал плана, ох уж эти романтики, всегда у них погода виновата, а у других, наверно, южный берег Крыма, и продукты вовремя, и почта, и забрасывают, и с лагеря на лагерь перевозят тоже вовремя...

И так они день за днём перемалывали одно и то же, и каждый раз заново переживали, а потом кто-нибудь, Кеша или Паша, выглядывал наружу, шурша обледеневшим брезентом, и долго смотрел куда-то и крутил головой: что там, на небесах? — а кто-то обязательно кричал, что надо двери закрывать, что на дворе, чай, не май-месяц, и, возможно, даже кидал чем-нибудь в ватный выставленный зад. И каждый раз наблюдатель, вползая в дымное и холодное нутро палатки, делал загадочный вид, протыкал заскорузлым пальцем дым очередной папиросы и начинал:

— По-моему, что-то происходит...

Но ничего не происходило. Палаточная крыша вздувалась и опадала, как бока большого уставшего животного, тяжёлая кожа-брезент провисала между рёбрами.

Фёдор Иванович по поводу погоды не высказывался, но тоже частенько выбирался наружу и, обтерев слезящиеся от постоянного дыма глаза, подолгу простиавал на раскисшем снегу, оглядывал близкий нечёткий горизонт, прищурившись, высматривал что-то — и иногда ему везло: облака расступались, открывая недалёкую перспективу низменности, уходящей куда-то вверх, в небо, где чёткими штрихами висели едва различимые силуэты гранитных останцов, «каменных людей».

Налетал ветер, заделывал облачную брешь, и Фёдор Иванович опять смахивал наверхнувшуюся слезу и, постояв немного, возвращался в палатку, начинал шуровать в печке, откуда сразу же вылетало пахнущее дёгтем облако серебристой

зола, и, поскольку сам он ничего не произносил, кто-нибудь не выдерживал:

— Как там?

— Опять балбесов разглядывал? — добавлял Паша. — Смотри у меня!

— Угу... — думая о своём, бурчал Фёдор Иванович.

Безделье и непогода угнетали его, скучным и ненужным становилось зябкое взвешенное существование, напоминающее неуклюжее и замедленное шевеление коллекционного жучка в коробочке, пришипленного к вате. А ведь где-то там, далеко и наверху, стояли «каменные люди», прикрыв от солнца тяжёлые шелушащиеся веки, молчаливые и потому мудрые. Они, казалось ему, прошли на земле свой положенный путь, пока не остановились на самой высокой горе, где всегда было солнце, а ветер сух и неприметен.

Вот только что они оттуда видели, кроме его крохотной фигурки, Фёдор Иванович не мог представить, ему очень хотелось увидеть это самому — ведь связь с ними, с «балбесами», уже была установлена, они звали его к себе. Однако путь его ещё не был закончен, он, видимо, не заслужил ещё покоя и солнца, и не мудрость, а усталость пока тяжелила ему веки.

«Не пустит, — думал Фёдор Иванович. — Ему бы только карты месить да о похождениях своих рассказывать. Как у них просто всё: работа — это не волк, десять лотков отмыли — хорош на сегодня, есть норма! Снег выпал — ещё лучше; отмели, косы под воду ушли — глаза под лоб и на боковую, в тряпки. И спят часов по двенадцать воронкой вверх. Ах, эта бессонница! Ведь могут и по пятнадцать...»

Нет, о том, чтобы отпроситься у Паши на денёк, сходить через две реки, в непогоду, к каменным останцам, он даже не думал.

«Куда там, ни за что не пустит», — так размышлял Фёдор Иванович, переворачивая в печке сырые тлеющие поленья...

А потом — ну что потом! — чертилась новая пулька, или Фёдор Иванович доставал свой обшарпанный фанерный чемодан, называемый в обиходе «кейсом», на который он с особым удовольствием и грохотом вываливал костяшки домино. Играл Фёдор Иванович профессионально, с чувством и расстановкой, была это такая же работа, как и всё, что должен выкопать, скайлить или перетащить рабочий съёмочного отряда.

Начальник Паша, перебирая кости, больше помалкивал, равнодушно считал очки и так же равнодушно мешал костяшки; ему не нравилось проигрывать.

Кеша быстро заводился, лихо бил в фанерное дно чемодана и азартно кричал: «Гитлера давай!»

Иногда они пели, пригубив «розовой воды», тогда уж шаляпинский баритональный бас звал их души за собой:

— Сла-авное мо-оре, священный Байкал!

Мороз продира́л по коже от шалыпинского баса. Вот только слишком отчётливо ощущалась тогда нехватка женского общества, кое-где сверби́ло. А так джинн сидел в своей бутылке и особенно не вякал, глазки строил.

Было у них и несколько обязательных ежедневных занятий, которые Фёдор Иванович, как самый старший по возрасту, называл казённым словом «жизнеобеспечение»: тепло («Ну, кто сегодня пилу точит?»), питание («Тушёнки-то три банки осталось!») и связь.

— «Избг'анник», «Избг'анник», я «Избг'анник-один», — картавил Паша в микрофон. — Мать твою... — добавлял он, отпустив тангенту.

Эфир трещал и свистел, и на всей земле не было порядка и солнца.

Спать они ложились рано, набив жестяную печку мокрыми дровами и развесив вокруг неё сырую тяжёлую одежду. Паша первым забира́лся в спальный мешок, как бы показывая собственным примером, что сейчас положено делать, тушил слабый огонёк керосиновой лампы. Некоторое время все трое возились, устраиваясь, сопели, разыскивая в темноте оторванные завязки и нагревая пропитанный влагой спальник, замирали там, чувствуя, как выходит, вытекает из них тепло, покалывает в суставах. Сквозь мрак подступали тогда незнакомые, усиленные тишиной звуки: течение близкой воды, царапанье ветра в низкорослом кустарнике и шипение холодных углей за жестяной дверцей...

На восемнадцатый день Фёдор Иванович проснулся среди ночи от невнятных голосов. Спросонья никак нельзя было разобрать, кто, что и почему. Обрывая завязки, он испуганно вскинулся и понял, что это бормочет треклятая рация.

— Фу ты, — вытер Фёдор Иванович вспотевший лоб, — ититская сила.

Потусторонние голоса, искажённые ночной атмосферой, дырявили тишину, выплёскиваясь из микрофона, словно морские волны.

— Где стоишь? Стоишь где? — рокотал механический бас.

— Бу-бу-бу, — ответил эфир.

— Понял, понял. Завтра принимай практикантов. Завтра вечером, — Фёдор Иванович узнал голос Сухова, главного геолога.

— Бу-бу.

— Он мне сотню должен, — сказал Паша, — ещё с пг'ошлой осени.

— Два, две, двое... Студентки, сту-дент-ки... девушки, — Сухов там, видимо, покраснел уже от этих «девушек», потому что заявлял сейчас об этом всем полевым подразделениям, раскиданным в радиусе пятисот километров, торопился и не знал, как сказать попроще, покороче.

— Сотню?... — переспросил Кеша с интересом. — Какую сотню?

— Бу-бу. Пью-у-у.

Рация замолчала.

— Ты пельмени по-чукотски ел, Иннокентий? — спросил Паша.

— Не-ет, — Кеша лежал в мешке, торчали только стоящие дыбом волосы. — А при чём здесь пельмени?

— А пг'и том, что пг'актиканток на восемнадцатую линию повезут. А это г'ядом, понял?

Паша выключил рацию и перед тем, как прикрутить фитиль, посмотрел на Фёдора Ивановича долгим взглядом, в котором читалось превосходство молодого и сильного над немолодым и слабым.

— Понял, — ответил Кеша из мешка.

А Фёдор Иванович молча полежал, потом напирал папиросы и громыхнул спичечным коробком. Немного погода окурков прочертил в темноте оранжевую траекторию, из мешка послышался тихий смех, и всё стихло до утра...

После завтрака Паша свернул толстенную самокрутку, задымил, как камчатский вулкан, и кинул:

— А что, Кеша, не посетить ли нам тестя нашего, товаг'ища Сухова?

Кеша деловито достал топоснову, померил спичечным коробком.

— Для бешеной собаки это не крюк.

Махорочный дым медленно колыхался и уползал в сторону выхода. Фёдор Иванович сложил грязную посуду в ведро и полез в спальный мешок досыпать, а Паша с Кешей, по очереди макая бритву в горячий чай, побрились, переоделись в болотники и, мешая друг другу, полезли наружу. — Гитару забыли, — сонным голосом сказал Фёдор Иванович, — кентавры...

Кеша вытащил из-за печки старенькую гитару и стал заворачивать в плащ. Потом, немного подумав, оторвал красную матерчатую завязку от пробного мешка и привязал её к грифу, получился бант. Фёдор Иванович завозился, выпростал руку за папиросой и сказал, мечтательно глядя в потолок: — Помню, в молодости велосипед всегда с собой возил; в деревне какой-нибудь станем, я гармошку к раме, в седло — и покатыл, обслуживал, так сказать, в радиусе дневного переезда...

— К чёрту, — сказал Кеша, — у нас серьёзно.

К месту они добрались часа через три с половиной — плутанули по дороге и вышли к суховским балкам с противоположной стороны. В лагере было тихо и безлюдно, в двух балках топили — серый дым прижимало к земле ветром, пахло угольной копотью, как на запасных путях железнодорожного вокзала.

Шурфовщик дед Шанхиза, спустив с нар ноги в толстых вязаных носках с продранными пятками, громко зевнул, лязгнул железными зубами и пошёл ставить чайник.

— Чего не сидится-то?

— Да так... — сказал Кеша, заведя глаза к потолку. Гитару он оставил снаружи.

Многозначительно помолчали.

— Циклон, говорят, аж с самой Аляски к нам пришёл, — сказал дед Шанхиза, глядя в окно и почёсываясь. Опять зевнул. — Радикулит вот разыгрался...

— А я рецепт знаю, — Кеша смотрел, как по оконному стеклу медленно ползёт муха, доползает до определённого места и срывается. — Берёшь сырое яйцо, кладёшь его в эссенцию...

Паша закурил и начал трясти под столом ногой. — Как-как, говоришь? Яйцо?! В эссенцию?! — переспросил дед.

— Ну да. Когда яйцо полностью растворится, грамм сто масла туда — и втирай, пока глаза на лоб не полезут.

— Всё хорошо, — огорчённо сказал дед. — Только где теперь яйцо достать? Сейчас же не сезон.

— Ты ж ветеран, орденоседец, по связи запроси, пришлют...

— А куда же остальные г'азбг'елись? — не выдержал наконец Паша.

Дед всыпал в чайник пачку чая и ответил:

— Петька Краснов со товарищи трактор утопили, охотнички, вытаскивать поехали, к Медвежьему Логову... А вот и чай, не чай — человечиче.

— Мяса бы сейчас неплохо, а, стаг'ый? — сказал Паша.

— Не бегают нынче мясо-то, от Петьки попряталось. Он до самого побережья все сопки прочесал. Пятую врубит и гонит как ошалелый. Из пяти карабинов — считай, пятьдесят пуль. Трёх-четырёх возьмут, а десять подранков уходят: гоняться-то за ними некому, самогон у Петьки — семьдесят градусов, тут же падают, снайперы хреновы.

— Что-то намуд'ил ты тут, дед, без мег'ы. У нас вон на том же Медвежьем, где останцы г'анитные, «кекуры», люди пачками пг'оппадают, а ты — подг'анки! Ког'оче, мясо нужно позаг'ез! Для пельменей.

— По-чукотски, — добавил Кеша со знанием дела. — Нету, родные, нету. Угощу я вас, возьмите вот настойки, раз в такую даль припёрлись. Золотой корень, без обману, на семидесятиградусной!

Дед Шанхиза, покряхтивая, прошаркал в угол и достал из хлебного выючника тряпичный сверток.

— Мутняк го-орни-ий, — пропел дед.

Через окно было видно, что из соседнего балка вышла светловолосая девушка в телогрейке и, помахивая пустым ведром, спустилась к речке.

— Годится, — сказал Паша. — Спасибо. Давай ещё чайку.

Дед, сопя, загремел кружками, а Паша, сунув бутылку в карман, не торопясь загасил папиросу, встал и, не закрыв за собой дверь, тут же загремел сапогами по трапу.

Кеша с дедом Шанхизой молча пили-отхлёбывали чай из дымящихся кружек ещё примерно с

полчаса. Кеша прислушивался к звукам со стороны соседнего балка. Муха, упавшая в пустую кружку, звонко жужжала и мешала ему слушать.

— У нас на Рыгтынане, — начал наконец Кеша, — лиса живёт с лисятами...

— Кто там с кем живёт? — спросил, входя, Паша.

— Лиса-огнёвка, с этими... с...

— С евг'ажками, что ли?

— Ну, евражек-то мы давно уже съели!

— Чёг'т, действительно съели!

Глаза у деда Шанхизы медленно полезли на лоб.

...Они вышли из балка, точнее, ссыпались по трапу, стуча сапогами, как молодые жеребцы, — и сразу завернули за угол, не было уже мочи терпеть. Гитара была на месте, ветер трепал красный бант, а запах угольной гари не напоминал больше тоскливую заброшенность тупиковых путей узловой станции.

— Всё в пог'ядке, — сказал Паша, — идём в гости пить чай.

— Чай?... Опять?! — переспросил Кеша.

Практиканток звали Таня и Рита. Нары были застелены синими казёнными одеялами с чисто женской аккуратностью. На столе у окна из бутылки торчали крохотные цветы полярной гвоздики, рядом звонко тикал будильник.

Залоснившиеся свои телогрейки Паша с Кешей выбросили за дверь, в тамбур, но снимать грязные сапоги наотрез отказались — портянки месяц не стираны — и неловко переступали у порога. Рита, невысокая угловатая девушка, бросила им мокрую тряпку. Паша сел у двери на вьючный ящик, а Кеша, как человек с гитарой, на единственный табурет.

Тряса каштановыми кудряшками, Таня во всю гремела кружками, ежеминутно одёргивая пёстрый халатик и поправляя очки на остреньком носике. Она несколько раз открыла и закрыла стол, вышла зачем-то в тамбур, спросила Риту, где хлеб, где джем и «куда ты дела чайник?». Видно было, что всё лежит и стоит на своих обычных местах и что настоящая хозяйка здесь Рита.

Сначала разговор никак не клеился, и они долго, по десятому — или сотому? — разу, обсуждали циклон, пришедший «с самой Аляски», потом Кеша начал что-то про работу, но Паша, перебив его и возбуждённо похохатывая, рассказал анекдот про то, как геолог пришёл к начальнику метеостанции узнать, холодная будет зима или тёплая. Заспанный начальник долго чесался, прикидывал что-то в уме, потом просветлённо вскинулся, подбежал к окну и, раскрыв форточку, сказал: «Видишь, чукча хворост собирает? Значит, холодная».

Анекдот попал в струю, все облегчённо посмеялись, а тут и чайник закипел. Таня бросилась заваривать, и все внимательно смотрели, как она кладёт чай маленькой ложечкой и режет хлеб прозрачными ломтиками.

— Как-то это не по-полевому, — съязвил Паша.
— А мне и не надо... по-полевому. Это вы всё на коленке режете, — кивнула она на засаленные брезентовые Пашины штаны. — Огромными кусками.

Паша штанами своими гордился, ни у кого таких не было — от добротного лесорубного костюма. — Большому куску г'от г'адуется! — парировал он. — Большой рот! — добавил Кеша. — И мы приглашаем вас на пельмени. По-чукотски.

— А как это — по-чукотски? — спросила Рита.

— Вот п'идёте — узнаете!

— А отец у меня, между прочим, геолог, — Таня произнесла фразу с явным вызовом. — Главный геолог, — и, выдержав паузу, добавила: — В одной африканской стране.

Кеша взял гитару, провёл по струнам пальцем. Гитара совсем не строила.

— У нас три поколения геологи, — сказал он. — Дед ещё в двадцатых годах начинал. Я его отчёты читал, последний — тридцать пятого года.

— А почему последний? — Рита, видимо, любила задавать вопросы.

— Что — почему? Непонятно, что ли?

— Он умер потом, да?

Рита взяла кружку и начала осторожно в неё дуть.

— Может, и умер, не знает никто.

— По-моему, так не бывает, — Таня прикурила от зажигалки и выпустила клуб дыма в сторону Паши. Ему пришлось отмахнуться от него рукой. — Должны были похоронку прислать!

— Как же, как же! — издевательским тоном сказал Паша. — И г'об с телом ге'оя на мате'ик пег'еп'а-вить. На лафете! Дощечку с номе'ом тут ставили, на могиле глубиной в полмет'а — и всё!

— Этого не может быть, — невозмутимо изрекла Таня.

— Да ладно вам, — сказал Кеша, — вот вам другой разговор.

И запел песню про двух бичей, которые сидят в заваленной снегом палатке и вспоминают, как ходили в Москве в театр, а там был буфет с пивом, а здесь одни некультурные бичи с домино и преферансом.

— На ящик водки — банка шпрот, вот натюрморт! — орал Кеша, лупя изо всех сил по струнам.

Потом в песне бичи заговорили про горячую воду из крана, про фикус, эстамп, и развод, и оставленных на материке жён и милых дам, которым один привёз снегу в чемодане, а другой «в бутылке утренний туман», за что первый бич тут же обозвал его болваном, тот ответил «брезентовым профаном» и получил:

— А сам не мылся десять лет! Ну ферт!

Кеша перестал кричать и тихо поведал, что через пять дней спустился, наконец, вертолёт, бичей накормили, помыли и опять послали в поле, «ещё на год».

Девушкам эта песня показалась очень весёлой, Таня даже поперхнулась дымом и, согнувшись, долго кашляла, продолжая смеяться.

Обстановка как-то разрядилась, они о чём-то ещё поговорили, глядя в приоткрытую дверцу печки, где слабо трепыхался синеватый огонь, спели даже одну общеизвестную песню, но со словами было плохо, а на чай налегать было — опасно, поэтому Паша с Кешей, напомнив про приглашение и распрощавшись, выскочили в плотный сырой сумрак и тут же завернули за угол.

— О-о, — простонал Паша, — наконец-то!

...Проснулись они от настойчивого шума воды: в горах таял снег, и река неслась мимо палатки серой морщинистой лентой, выплёвывая к порогу хлопья грязно-жёлтой пены. По брезенту дробовыми зарядами хлестал дождь.

— Ого, — сказал Паша. — Полундг'а. Пг'идётся лодку с собой бг'ать.

— На себе тащить? — с тоской спросил Кеша.

— Надутую потянем. Надутая легче.

Они быстро собрались, а Фёдор Иванович, выставив из мешка нос уточкой, курил и с интересом наблюдал за сборами.

— Рейнджеры, ёполтак, зелёные береты, — закашлявшись, сказал он, — бейте в глаз, чтоб шкуру не попортить.

— Молчи, Шаляпин. Чтоб к обеду тесто замесил!

— И баню натопил!

Фёдор Иванович щёлкнул окурок к печке и спрятался в мешок с головой.

— Бедные, бедные твари... — послышалось оттуда.

Резиновую трёхсотку тащили по очереди. По снегу она шла с шорохом, по мокрому кустарнику — с визгом и скрипом. В лодке лежали два ружья, вёсла и оцинкованное ведро, время от времени позвякивающее дужкой.

Выглянуло внезапно солнце, осветив мокрую искрящуюся тундру. Казалось, она выгнет сейчас мохнатую спину и отряхнётся, как собака. Плоские невысокие облака проносились над ней, задевая вершины таких же двухмерных холмов, между которыми в мелких берегах петляла река, смывая косы и унося вниз, к морю, редкие золотые песчинки.

Засвистели крыльями, зачирикали-запели какие-то мелкие птицы. Где-то далеко призывно закричал журавль, кто-то ответил ему, а рядом, в зелёной прибрежной траве, два раза крякнула шилохвость. — Вот они, норы, — задыхаясь после быстрого шага, сказал Кеша. — Покурим?

Пока они курили, засев в низкорослом кустарнике полярной ивы напротив песчаного бугра, изрытого лисьими норами, снова заморосил мелкий, пробивающий одежду дождь.

— Хг'ен они тепег'ь вылезут...

— Кто, Рита с Таней?

— Да какие Г'иты, какие Тани?! — выкрикнул Паша, с досадой разглядывая мокрый бугор.

«Ну, завёлся начальник. Азартный!» — с уважением подумал Кеша.

Он уже раньше видел огнёвок на этом бугре, целый выводок: облезлая мамаша и два щенка с набирающими цвет и объём шубками.

«Неужели стрелять будем?! — с ужасом думал Кеша. — Если столько прошли — значит, будем...»

Паша смотрел на бугор с таким же тоскливым лицом.

— Слушай, на кой чёт'т нам эти... бабы? — и, затаившись, добавил: — Без пельменей обойдётся! — Конечно, да и эти вряд ли... вылезут... — осторожно ответил Кеша.

— Ну, пошли тогда, посмот'им...

Они перешли речку вброд и взошли на бугор. Везде виднелись вывалы жёлтого песка и чёрные дырки нор.

— У них навег'няка есть запасные выходы, — с надеждой сказал Паша.

— Ну да, как в театре, — быстро откликнулся Кеша.

— Но мы их всё г'авно достанем!

— Давай водой зальём!

Кеша вспомнил книгу из детства, где отважные охотники заливали водой волчьи норы. Тогда было очень много волков, и все они питались овцами. Тогда с волками и боролись основательно.

— Хорошо, что я ведро в лодку кинул! Кидаю, знаешь, а сам думаю: зачем? Вот, оказывается, и пригодилось.

Кеша сбегал к лодке и, зайдя в ближайшее к бугру болотце, черпанул ведром.

Паша в это время зарядил оба ружья. Одно, курковое, положил себе под ноги, а с другим встал в позу стенового стрелка.

— Ну, мать вашу... Давай, Иннокентий!

Когда первое ведро с горловым урчанием ушло в нору, Кеша отскочил в сторону и долго и внимательно наблюдал за полем битвы.

Ничего не произошло. Тогда он сбегал за вторым и с шумом влил его туда же. Немного подождал и побежал за третьим.

Паша стоял, не шевелясь, как памятник охотнику, а Кеша бегал туда и обратно, скинув промокшую телогрейку. От него валил пар.

Потом они поменялись местами, потом ещё раз.

Добычи не было.

— Гитлег'а давай! — рычал Паша в азарте.

— Двести пятьдесят один! — бормотал, сбивая дыхание, Кеша.

Вода кончилась, и ему приходилось глубоко вдавливать ведро в мягкое дно болота.

— Ничего, Иннокентий! Дуг'емаг'у больше вычег'пывать пг'ишлось!

Наконец, окончательно потеряв терпение, Паша выхватил из кармана рюкзака ракетницу и стал стрелять в плещущуюся в норах воду.

Битва проиграна. Огнёвки обманули их, заранее покинув затопленное паводком жилище.

Обессиленные, под моросющим дождём, охотники устроились в полусудтой «резинке» и стали резво отгребаться от берега — путь неблизкий. Сначала течение было слабым, а потом, усилившись двумя притоками, подхватило, закрутило, понесло, и Паша с Кешей, увлечённые новым занятием, с гиканьем помчались вместе со стремниной, размахивая вёслами, как индейцы в пироге, и даже скатились с небольшого водопада, отчего настроение поднялось ещё выше. Лодка черпала воду мягкими бортами («Гондон!») и задевала дно на перекатах («Камни, конец!»). Но всё это было им нипочём, как и мокрая одежда с сапогами, полными воды, — каждый в душе надеялся, что вот-вот покажутся из-за поворота две их сиротливые палатки, а возле них... нет-нет, на той стороне реки — ведь лодки в лагере больше нет, чтобы перебраться, — на той стороне реки станут видны две женские фигурки в ярких лыжных шапочках (почему в ярких? почему в лыжных?)... — Тог'мози, ё...

Лагерь они проскочили метров на двести, ручей со странным названием Рыгтынанвеем превратился здесь в ревущую, вполне серьёзную реку со стоячими пенными гребнями поперёк русла.

— Ух ты-ы...

Серая волна обдала их ледяной водой, вздыбилась лодчонку, и они оба оказались в объятиях взбесившейся реки. Дыхание перехватило, под ногами была пустота, но «резинка» всё-таки не перевернулась, и они успели ухватиться за мокрые скользкие уключины. Выпучив глаза и открыв рты, Паша с Кешей, не сговариваясь, не в силах произнести ни слова, гребли к берегу, пока стрелень не сбросил их с себя и они не почувствовали внизу опору.

Цепляясь скрюченными пальцами за траву, Паша с третьего раза первым выполз на берег, помог выбраться Кеше и втащил лодку.

— Ху-у! — выдохнули оба.

— Ни хг'ена себе пельмешки!

— А мы не за хлебушком ходили?

Едва отдышавшись, изображая бег на негнущихся ногах, они, как орангутаны, ввалились наконец в палатку, оборвав в очередной раз завязки, и увидели, что она пуста.

Печка была ещё тёплой, и на ней, на двух камешках, стояла закопчённая кастрюля с крышкой, из-под которой свисал язык засохшего теста.

— А вот это действительно пельмени!

— По-чукотски! — уже с особым знанием ответил Кеша.

Несколько минут они катались по спальникам, регоча утробным смехом, не в силах произнести ни единого слова. Затем, похрюкивая, переоделись в сухое. Кеша раздул угольки в печке и подбросил

в неё так, что через десять минут она была готова к отправке на околоземную орбиту,—огонь вылетал из раскалившейся малиновой трубы, и от этого над ней стояло марево. Паша притащил лодку, ружья оказались в ней, а ведро и вёсла унесло.

— А где же всё-таки наш певец? — мрачно и озабоченно заметил после этого Паша. — Не евг'ашки же его съели!

— Может, на охоту ушёл?

— С чем?

Они чифирнули, заварив в кружке целую пачку. Съели банку тушёнки без хлеба, после чего осталось ещё две, и, распаренные, вылезли наружу покурить.

Дождь прекратился. Серые ватные облака поднялись, уплотнились и сдвинулись к югу, открыв на севере узкую полоску розоватого неба. Надвигалась ночь.

Искры папирос сносило ветром, было холодно, но они стояли молча, повернув лица к догорающей заре, чувствуя на лбу и щеках её слабое тепло.

Когда последние лучи солнца, ушедшего за горизонт, отразились от облаков и осветили рассеянным светом промытую до последней складки низменность, Кеша ощутил неуловимые изменения, скорее даже флюиды или невидимые волны, заполнившие вдруг пространство и принёсшие с собой чувство беспокойства. Тундра странным образом ожила, хотя никаких изменений Кешин глаз заметить не мог. Он подумал о Фёдоре Ивановиче, да, вот так: где же Фёдор Иванович? — не помня его настоящего имени, — ведь он где-то там, на этой пугающей равнине, среди этого неверного света, из которого в любой момент может появиться, выдвинуться...

— Медведь... — тихо, непослушными губами сказал он. — Ёп... Паша, медведь...

— А вон ещё один! — ослабившись, хохотнул Паша. — И вон! И вон! Их тут целое стадо! — радостно закончил он.

— Да? Где?

И Кеша действительно увидел, что тундра зашевелилась, задвигалась множеством тёмных, вполне отчётливых силуэтов; самые ближайшие к ним тени оказались рогатыми... Да... да это же...

— Олени! — облегчённо выдохнул Кеша, а про себя подумал: «Мясо!» — но вслух этого не сказал, потому что они весь день искали его, мясо для пельменей, но теперь он уже сомневался, что это вообще нужно было делать.

Ночью сквозь сон Кеша слышал знакомый басок Фёдора Ивановича, который рассказывал что-то про муку и евражек, а Паша картаво выговаривал ему злым голосом. Затем в палатку пролезло что-то мокрое, напевающее себе под нос арию из неизвестной Кеше оперы, остро пахнущее псиной и ношенными портянками, — это Шаляпин, сняв сапоги, шевелил в темноте сопревшими пальцами, жмурясь, как кот, а потом нашарил за печкой коробок с сухими спичками, прикурил, осветив нутро палатки каким-то багряным мефистофелевским светом, и, блестя глазами, пророкотал:

— Вам привет от «каменных людей», вьюноши! У них там светло и чисто!

Он блаженно откинулся на спальник и пустил толстую струю дыма в провисший потолок палатки.

— Так жрать хочется! Ну, где ваши пельмени?

«Он же к балбесам своим каменным ходил, чокнутый!» — подумал Кеша и, не ответив Фёдору Ивановичу, опять уснул.

Татьяна Секлицкая

Наташкин рай

Я стояла перед воротами Наташкиного дома. Ворота были добротными, высокими, без единой щёлочки. И дом — большой, бревенчатый, с узкой аккуратной завалиной и бело-голубыми ставнями на окнах. Палисадника рядом с домом не было. Раскидистые тополя и молодая черёмуха росли прямо перед окнами, создавая тень и таинственность.

Я не решалась открыть ворота по одной простой причине: боялась индюков. Правда, во дворе жила ещё злющая собачонка Лада, но она сидела на цепи и днём по двору не бегала. Лада уже учуяла меня и начала погавкивать, а я всё медлила, с содроганием вспоминая, как в прошлый раз, дня три назад, бойко вскочила в ворота, намереваясь быстренько пробежать мимо собаки к крыльцу. Но не тут-то было! На моём пути стояли три большие чёрные птицы. Они подняли красные головы и посмотрели на меня. Вдруг одна из них странно и тревожно забормотала, превратилась в огромный шар и поспешила ко мне, угрожающе размахивая красной «соплёй», свисающей с клюва. В ужасе я бросилась обратно к воротам, захлопнула за собой калитку и убежала домой.

Наташка потом сама пришла ко мне и рассказала, что птицы эти называются индюки, что приехала из деревни тётя Лена, сестра её мамы, и привезла сюда своё хозяйство, потому что она решила перебраться к нам в город насовсем. Тётя скоро купит дом на соседней улице и заберёт туда своих индюков.

И вот теперь я стояла у ворот и гадала: забрала она своих ужасных птиц или ещё нет? В другое время я бы просто подольше не приходила к Наташке, подождала бы, пока она сама меня не уговорит к ней прийти, но сейчас это было выше моих сил.

Июнь постепенно приближался к середине, и яблони в Наташкином саду, наверное, уже цвели вовсю. А мне никак нельзя было пропустить это зрелище, потому что оно было самое прекрасное, что я когда-либо видела за свою короткую жизнь. Я верила всерьёз, что рай, про который мне как-то рассказывала бабушка, выглядит точно так же, как сад за Наташкиным домом.

У нас и у всех наших соседей были просто огороды. На них выращивали овощи, два-три куста малины или смородины, кое-кто решался обзавестись яблоньками. Но яблонь в огородах было

мало: трудно их выращивать в нашем суровом климате. А у Наташкиных родителей был настоящий сад. Имелись там, правда, и грядки с овощами, и смородина, и малина, но всё это терялось в обилии яблонь...

Наконец я решилась потянуть за щеколду и чуть-чуть приоткрыть ворота. Лада тут же залилась звонким лаем. Я осторожно просунула голову в образовавшуюся щель и оглядела двор. Индюков не было. Но зайти во двор я всё же опасалась. Лада свалась с цепи у крыльца и захлёбывалась лаем.

Стараясь перекричать собачий лай, я громко позвала:

— На-та-ша-а!

Наташка тут же выскочила на крыльцо.

— Таня, проходи! Не бойся! — крикнула она радостно: она всегда была мне рада.

— А индюков нет? — на всякий случай спросила я.

— Нет! — замотала головой Наташка.

Сопровождаемая залиvistым лаем, я прошла по дощатому тротуару к крыльцу и сразу же спросила: — В сад пойдём?

Моё желание для Наташки — закон. Сколько ей доставалось из-за меня — страшно вспомнить! И в угол её ставили, и гулять не пускали, и без сладкого оставляли, и даже пороли... А виновата во всех её проказах была только я, сама бы она ни за что на них не решилась. Наташка смотрела на меня как на божество, хотела одеваться как я, говорить как я, думать как я. Для неё было счастьем помочь мне и сделать что-нибудь для меня. Конечно, я пользовалась её обожанием, но иногда мне это надоедало, и я на время покидала Наташку, играя с другими девочками, — благо, что в подругах у меня никогда недостатка не было.

— А ты со мной позавтракаешь? — вопросом на вопрос ответила Наташка.

— Нет, я уже ела. Тётя Катя дома? — на всякий случай поинтересовалась я.

— На работе.

Ну и прекрасно! Без неё лучше. Тётя Катя — Наташкина мама. Она работала телефонисткой, была всегда очень нарядной и красивой, говорила высоким голосом с капризными нотками и читала нам с Наташкой нотации с одним и тем же началом: «Ната, доченька, так воспитанные девочки не поступают...» И бросала на меня такие

красноречивые взгляды, что сразу становилось понятно, для кого это всё говорится.

С моей мамой у тётки Кати была какая-то давняя ссора, и они не разговаривали. В нашем доме Наташкину маму называли почему-то Ягодкой и говорили о ней всегда в ироничном тоне. Но ко мне тётка Катя относилась довольно благосклонно, позволяя заходить во двор и в дом, что другим девочкам с нашей улицы категорически запрещалось. — Ну выпей хотя бы молока, — начала канючить Наташка.

— Сказано, не хочу!

— Тогда и я не хочу, — обречённо вздохнула она и надула свои и без того толстые губы.

— Не хочешь — значит, пошли в сад, — я не собиралась её уговаривать.

Но Наташке, видно, хотелось есть, поэтому она вдруг вспомнила:

— А мне вчера Люба дала почитать сказки Андерсена.

Знала она, чем меня заманить!

Люба — это Наташкина одноклассница, она жила на соседней улице. У её родителей была отличная библиотека, только они книжек никому на дом не давали, а вот Наташке как-то удалось выпросить. Этих сказок в школьной библиотеке я так и не дождалась, а во взрослой, куда я записалась ещё весной, их не было.

— Где книга? — сразу заинтересовалась я.

— А ты со мной позавтракаешь? Ну пожалуйста, Таня!.. — и Наташкины голубые глаза тут же наполнились слезами.

— Ладно, — сдалась я, — молока попью, но только полстакана.

И мы пошли в дом. Здесь было тихо и прохладно. На столе у окна желтела тарелка с пшённой кашей, стояли бутылка молока и миска, накрытая белой салфеткой. Со стены кокетливо улыбалась всем входящим иставляла полное голое плечо итальянка с гроздью винограда в руке. Картина называлась «Итальянский полдень», но мне не нравилось это название, и я всегда придумывала для красивой итальянки разные имена, которые одновременно служили названием картины и отражали моё настроение. Сегодня я назвала её Лукрецией.

Наташка сразу же налила мне в стакан молока и откинула салфетку с миски. В ней лежали пироги. — Тань, бери пирог, — предложила она.

— С чем пироги?

— С творогом.

— Наташа, ты же знаешь, что я с творогом не люблю! Вот попью молока — и всё. А ты ешь давай.

Наташка обречённо натянула салфетку на миску, села за стол и начала ложкой ковырять в тарелке с кашей. Я взяла стакан, устроилась поудобнее рядом с ней на маленьком деревянном диванчике и, медленно глотая молоко, стала разглядывать

изученную уже на сто рядов Лукрецию. Мне ужасно не нравился грязноватый цвет её платья, да и виноград не вызывал аппетита. И я решила, что, судя по этой картине, в Италии в полдень довольно сумрачно, не то что у нас, в Сибири.

— Наташка, — спросила я, — ты хочешь жить в Италии?

— А ты?

— Я первая спросила!

Наташка на мгновение задумалась, потом склонила набок светловолосую голову и ответила:

— Я — как ты!

Ну чего же я хотела от неё услышать? Можно было и не спрашивать.

— Ясно. Книгу-то покажи, — напомнила я.

Наташка положила ложку, сползла с диванчика и принесла из детской большую, почти новую книгу.

— Скажи «честное слово», что без меня читать не будешь, — попросила она, спрятав книгу за спину и умоляюще глядя мне в лицо своими голубыми глазами.

— Конечно, не буду, — успокоила я Наташку, — только картинки посмотрю, пока ты ешь.

— Честно-честно?

— Честно. Давай! — я протянула руку.

Наташка отдала мне книгу, а сама снова принялась ковыряться в каше. Чтобы не видеть Наташкиных мучений, я стала быстро листать страницы и читать названия сказок. Чаше попадались знакомые: «Гадкий утёнок», «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева»... А вот незнакомая — «Волшебные калоши», и ещё — «Девочка со спичками», совсем коротенькая сказка, а эта — «Русалочка», длиннющая какая! Картинки чёрно-белые, мелкие, но всё равно интересные.

— Ага! Ты читаешь! — вдруг услышала я Наташкин голос.

— Да не читаю я!

Когда же она закончит есть, в конце концов?! Почитать охота, аж глаза чешутся! Я взглянула на тарелку. Там ещё оставалась добрая половина каши.

— Ты быстрее можешь? — моё терпение уже заканчивалось. — Скоро уже обед, а мы ещё в сад не ходили.

— Ну мне же неинтересно одной есть. Давай я тебе тоже каши положу.

— Нет, — я тут же нашла выход, — давай ты будешь быстро есть, а я тебе прочитаю вслух коротенькую сказку.

Толстые Наташкины губы расплылись в улыбке:

— Ага!

И я начала читать сказку «Девочка со спичками». К окончанию чтения Наташка честно доела свою кашу и выпила стакан молока. Сказка нам обоим не понравилась: конец её был трагическим и безнадёжным. Настроение у нас испортилось, и Наташка сказала:

— Ну что, пошли в сад?

— А книгу давай с собой возьми, — предложила я.

Наташка согласилась.

Попасть в Наташкин сад совсем не просто. Сначала нужно пройти по дорожке рядом с собачьей конурой между верандой и ящиком для угля, затем обойти дом через загончик для поросят и куриный дворик, и там, за калиткой, уже ждали нас цветущие яблони.

Наташка взяла пирог и пошла загонять Ладу в конуру. Этот процесс был освоен ею до автоматизма: нужно было бросить в конуру что-нибудь вкусненькое (в данном случае — пирог) и, когда Лада войдёт туда, чтобы взять это и съест, быстро вставить в отверстие конуры свою попку, перекрыв Ладе обратную дорогу. Удивительным было то, что Лада всегда велась на обман, хотя мы проделывали с ней этот фокус почти ежедневно.

Пока Наташка закрывала меня своим телом от собаки (или наоборот), я, прижимая книгу к груди, проскочила мимо веранды к летней кухне и остановилась у калитки поросячьего загончика. В загончике мирно похрюкивали два поросёнка, стояло алюминиевое корыто с грязной водой, земля вокруг него была изрыта, истоптана и мокра так, что больше походила на болото. Через это поросячье «болотце» до второй калитки лежали в ряд кирпичи и доски, по которым с грехом пополам можно было добраться до куриного дворика. Главное, чтобы расшалившиеся поросята не ткнули тебя с разбегу грязным пяточком и не опрокинули в чёрное месиво. На всякий случай мы с Наташкой выдернули из поленицы по палке и только потом открыли щеколду загончика.

Поросята сразу же обрадованно захрюкали и поспешили к нам навстречу. Пока Наташка закрывала за собой калитку, я отталкивала палкой нахальных поросят, стараясь, однако, чтоб им при этом не было больно. Кое-как мы добрались до второй калитки, ведущей в куриный дворик, при этом поросятам всё же удалось несколько раз задеть нас мокрыми пяточками и извозить наши голые ноги грязью.

Перед второй калиткой Наташка вдруг остановила меня:

— Ой, Тань, я забыла! У нас теперь петух клювучий... тётя Лена отдала. А старого папка зарубил...

Я растерялась. Но желание пройти в сад одержало верх над страхом быть атакованной «клювучим» петухом.

— У нас же палки есть, — успокоила я Наташку. — Отобьёмся как-нибудь.

Отталкивая ногами надоедливых поросят, мы стали в щёлочку наблюдать за курами и, выбрав момент, когда петух отошёл в дальний угол дворика, быстро вбежали в калитку. Пока Наташка закрывала за собой щеколду, я орала не своим голосом: «Кыш-ш! Кыш-ш!» — и размахивала палкой.

Перепуганные куры бросились в разные стороны, теряя перья и ошалело кудахта. Петух сначала остолбенел от неожиданности, потом опомнился и со всех ног бросился защищать своих подруг. Но мы с Наташкой уже были возле калитки, ведущей в сад, моментально выскочили и захлопнули её перед самым клювом петуха. А тот потопал для острстки ногами, встряхнулся и звонко закукарекал, празднуя победу.

Вот мы и в раю! Вверху — голубое, пронизанное золотыми солнечными лучами небо, внизу — свежая ярко-зелёная трава, а посередине — бело-розовое душистое кружево цветущих яблонь. Моим первым желанием было броситься к ближней яблоне и окунуть лицо в прохладные, чуть розоватые цветы, вдыхая их нежный аромат. Но Наташка вдруг спросила:

— Хочешь посмотреть цыплят?

И только тут я заметила квадратное ограждение из серых, плотно пригнанных друг к другу досок, находящееся посередине сада. Оттуда слышалось многоголосое цыплячье попискивание. Мы оставили палки у калитки, подошли к ограждению и заглянули вовнутрь. Жёлтые цыплята бежали вокруг большого блюда, на котором лежал комок пшённой каши, и пищали. Грязная алюминиевая миска в углу была опрокинута: в неё, по-видимому, наливали для цыплят воду.

— Ой, они пить хотят, — озабоченно сказала Наташка, наклонилась через ограждение, достала миску, и мы пошли к чану за водой.

Чан, вкопанный в землю под яблоней у самого забора, был всегда полон. Наташка зачерпнула в миску воды, отнесла её цыплятам, потом мы вымыли ноги, которые нам измазали поросята, и я наконец-то подошла к ближайшей яблоне.

Она гудела, как телеграфный столб, от жужжания множества пчёл. Я осторожно приблизила лицо к ветке и стала вдыхать особенный, чуть сладковатый её аромат. Ко мне подошла Наташка, и мы начали обходить одну яблоню за другой, как бы совершая странный обряд приветствия. Мы рассматривали цветы, сравнивали их цвет и размер и всё нюхали и нюхали, опасливо поглядывая на пчёл, кружащихся рядом. Наконец мы выбрали самую красивую яблоню, сели под ней на траву и раскрыли книгу Андерсена. Полистав её немного, я предложила Наташке почитать сказку «Русалочка». Она согласилась:

— Ага! Только ты читать будешь — ты лучше читаешь.

Ну, это уж само собой! Я же старше на целых восемь месяцев, да и в школе дольше училась, чем Наташка. И под монотонное жужжание пчёл я принялась читать эту прекрасную и очень грустную сказку. Но в конце сказки к горлу подкатил комок, мой голос начал предательски дрожать, и на фразе: «Её нежные ножки резало как ножами,

но она не чувствовала боли — сердцу её было ещё больней» — он сорвался, и я заплакала. Наташка, шмыгая носом, прошептала:

— Читай дальше.

— Не могу... Ты читай, — и я передала ей книгу.

Наташка глубоко вздохнула и мужественно продолжила чтение, но, дойдя до слов: «...стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить её», — не выдержала и зарыдала в голос. Поплакав немного, мы продолжили чтение, передавая друг другу книгу, всхлипывая и вытирая ладонями мокрые щёки и носы. Конеч сказки нам обоим снова не понравился: принцу досталась любимая принцесса, а Русалочка вдруг превратилась в какую-то непонятную «дочь воздуха» и при этом осталась довольна своей участью. Ерунда! Я закрыла книгу и предложила:

— Давай в «Русалочку» играть.

Мне захотелось немедленно переделать сказку так, чтобы все герои стали счастливы. Наташка согласилась:

— Давай. А как?

— Пойдём к чану!

Мы положили книгу на завалинку у дома и пошли играть, по дороге собирая всё нужное для игры — сухие веточки, щепки, травинки и цветочки. Чан с водой стал для нас морем, большая щепка была кораблём, прутик — принцем, травинки — русалками, перевёрнутый цветок лапчатки — принцессой, а для Русалочки мы пожертвовали цветком яблони. Но только началась наша игра, как со стороны соседского огорода послышался громкий сухой звук, похожий на хлопок, от которого мы с Наташкой вздрогнули.

— Это, наверное, доска какая-нибудь у Черноусов упала, — успокоила я Наташку, и мы продолжили игру.

Сначала наша игра почти не отличалась от авторской версии, а потом меня понесло: сами собой вдруг появились новые герои, и сюжет изменился до неузнаваемости. Стало так интересно, что мы забыли и про сад, и про цветущие яблони, и про пчёл — мы были уже далеко, на берегу моря, среди скал и древних замков с принцами и принцессами... — А вы что тут делаете? — вдруг неожиданно услышали мы и оглянулись.

Это был Наташкин старший брат Санька. Он неслышно перелез через забор из соседского огорода и подошёл к нам.

— Играем мы, разве не видишь? — сказала Наташка капризным тоном, очень похоже копируя свою мать.

— Слышали, Юрка Черноус застрелился?

— Как застрелился? Насмерть? — бестолково спросила Наташка.

— Врёшь! — я подумала, что это просто злая шутка. — Он вчера только из армии пришёл... У него и ружья-то нет! Оружие в армии оставляют.

— Он у отца взял охотничье, на стене висело у них... Потом вышел в сени и в сенях застрелился. Да вы разве не слышали выстрела? Тут же рядом... — Санька, видимо, не шутил. — Там народу у них теперь!.. Скорая приехала... А вы тут сидите! Пошли посмотрим.

Я вдруг вспомнила тот странный хлопок, что испугал нас с Наташкой. Оказывается, звук выстрела очень похож на звук удара доской о землю. Всё равно не верилось. И чего бы ему вдруг понадобилось стреляться? Парень он был весёлый, симпатичный, все старшие девчонки с нашей улицы на него заглядывались...

И игра, и грустная сказка, и цветущие яблони тут же были забыты. Мы направились к забору, и Санька помог нам выбраться из рая.

Аркадий Маргулис

Истинный звонарь

За городом — древняя, как сказ праотцов, развилка: все её дороги ведут к храму, и каждая из них — излюбленная. Феликс выбирает окольную, сначала через Червлёный лес, а после — отлогой пустошью. Вышнегорский храм взмывает над стоялым покосом, отовсюду зрим, даже в непогоду греют душу купола.

Неприкаянная осень, лес в оцепенении, настожен, дик и пока что зелено-жёлт, в обглоданные просветы, изрешечённые стволами, мокро вглядывается небо. Простуженную листву вскоре пробьёт кроваво-рубиновое крапление — как раз об этом начистоту шуршит опадь.

Утро, зародыш — всё, чему быть. Одновременно светло и пасмурно, по-осеннему покойно и странно. Феликс придерживает сына за ручки, Филипп на его плечах — тихоня. Локоны мальчика — золотые нити, пахнущие жнивьём, их жаль стричь, так шёлково невесомы. Растёт себе паренёк без мамочки, ликом — весь она.

Лесная тропа, по-змеиному изворачиваясь, выныривает на опушку напротив храмовых ворот. Сегодня праздник: Феликс спешит к заутрене, калитка уж настезь — значит, батюшка загодя здесь. Феликс снимает Филиппа с плеч, ведёт к звоннице. Поднимается по ступеням на площадку к колоколам, приветливо поддерживая сына. В любом человеке здравствует наследие поколений: перебиваются, препираясь, добро и зло. Филипп — радужная надежда Феликса. Может быть, его душа воспротивится злу. Не зря, не зря говорил батюшка: «А ведь Филипп — истинный звонарь». Отсюда ближе к небу — даже ветры смиренны в Божьих браздах. Феликс сажает мальчика на табурет под старинными часами, под маятником, расталкивающим в стороны мгновения. Опускает гири часов, взводя механизм. Затем затягивает потуже пояс — памятный отцовский, надевает перчатки, скрывающие ладонь и оставляющие чуткость пальцам. Взявшись за бечеву, раскачивает било, язык Басистого Матвея — так прозвал Феликс колокол-исполин. Амплитуда всё свободнее — до первого касания, после гремит удар, рвётся наружу, и затем величественно плывёт непрерываемый звук, накрывая Червлёный лес тягучей плотностью, заставляя подпевать стволы, ветви и стебли жнивья. Басистый Матвей — седовласый

старище, на его веку многая лета и поколения звонарей. В согласии Басистый Матвей коротает время с Феликсом, пропуская через себя боль и радости маэстро.

Супружеское счастье Феликса оказалось скверной пробой. Исчезла озорная зеленоглазая Хельга — бледнокожая пушинка, Хельга — золотистая дымка. Унесло в туман студёное течение жизни. Кто знает, вернётся ли?

Не важно, чья вина: так или иначе, а оступился. Суров церковный устав, отстранил батюшка Феликса от служения звонарём. Лишь иногда, по добrote, но больше из житейской необходимости, доверял колокола. Феликс прибил к стройке, освоив труд подсобника. Как ни крути — единственный кормилец в семье, все на руках: мать-старушка, сын-младенец, брат-инвалид. Работать приходилось неистово.

Донимали злые, как змеиное жало, пересуды — не увернуться. Разве отобьёшь охоту хулить? Заглазно шептались: чужое у Феликса от Хельги дитя. Молва — губительное болото, ненадёжный рот, прожорливое брюхо и редко когда спасительное убежище. То-то и оно, лишь двоим известно, что и как было, да ещё Анне — матери Феликса.

Сколько лет тому, не всякий вспомнит, звонарём на колокольне Вышнегорского храма управлялся Фёдор — служил толково, ни шагу без Божьего знака. По молодости, вернувшись в родные околицы, не задетый ни штыком, ни пулей, ни осколком снаряда, ходил холостяком. Любопытное по тому времени звание: что девок нетронутых, что томящихся молодцов, что суровых опытных вдов в каждом жильё по две, на мужчин же спрос великий, а Фёдор всё один. Сказывалась беда — болезнь, привязавшаяся в окопной жизни. Скорее душевная, чем внутренняя, — но дерзкая, неподкупная. Хуже, что медицина оказалась слаба. Не совладала. Признаки недуга грозили неумолимо: кожа вспухала, наливалась гноем, пузыри нестерпимо болели, затем лопались, в нерв обнажая кровоточащее мясо. Язвы заживали мучительно, а уж рядом появлялись новые. Мало-помалу заговорили в округе. Захороводила сплетня: Фёдор жених заваливший. И, по-всеми, малахольный: не

зря шастает по Червлёному лесу — видать, с нечистью знается. Злословили даже соседи. Не всегда, правда: случалось, сердобольно советовали лечиться, на моря съездить и на грязи. Фёдор запил, но спохватился. Зацепила его Аннушка, соседская девонька, умница и красавица, послушная родительскому указу. Здесь же, у подгнивших воротец, и надоумила Фёдора податься в Вышнегорский храм. Слыхивала от батюшки Тихона, что звонарная служба — ближайшее благословение от Бога. Звонарь по Божьему духу душою чист и звонок — а приржавелый металл не звенит. Больше ничто не поможет. Фёдор наслушался речей девушки и отправился к батюшке. Священник расспросил что хотел, да и благоволил принять в звонари — как раз тогдашний колокольный старец, обесилев, на покой испросился. Но прежде отослал в Еговическую обитель к тамошнему искуснику поучиться. Письмо сопроводительное составил. Отбыл Фёдор со святым благословением и месяц спустя вернулся. В ответном письме нахваливал Еговический настоятель Фёдора: вырос-таки из истого ученика в истинного звонаря.

Фёдор прижился на колокольне, и жизнь его потекла иначе, легче. Оттого, что болезнь стала хиреть, затаилась, а там и вовсе покинула окрепшее тело. Начисто зажили язвы. Фёдор даже возмужал наружно, сбросив с десятков отдалённых старческих лет. Аннушка радовалась искренне, ведь и её души забота. А он с чистым сердцем позвал замуж. Она согласилась, испросив родительского благословения. Знали Фёдора сызмальства по нынешний час и возражать не стали. Справили свадьбу; с год спустя, в положенное время, родился Феликс, за ним погодком — слабенький здоровьем брат.

Времена кривились смутные. Среди ночи, в предрассвете, увезли батюшку Тихона из храма в тюремные казематы неразговорчивые люди в одинаково цивильных костюмах. Да и следующего батюшку пережил Фёдор. Остался по Божьему усмотрению цел. Миновала его горькая чаша «врага народа». Уж при последнем священнике, отце Егории, выпало ему поручение в отдалённый северный приход. Много слышал о том приходе Фёдор. Сказывали, твёрдая там церковь, но с изьяном. Кривотолки Фёдора не пугали, мнил, что звонарю ересь не страшна. С покойною душой подался в намеченные пределы. Нравы тамошние показались проще, чем строгости Вышнегорского батюшки. Канул в Лету месяц побывки, но Фёдор домой не заторопился — запала ему в сердце конфузливая дева из церковного хора. Видно, не доставало среди колоколов Вышнегорья подголоска с хрустальной напевностью Дарьи. Исхитрился лукавый бес.

Вскоре отправил Фёдор Анне заказное письмо, слёзную просьбу, подкреплённую документами о разводе. Что ж, чему быть — не миновать, хоть помри. Анна, помучившись, послала согласие. Остался Фёдор с Дарьей. Но к звонарной службе его уж не пускали. Жил он теперь, опасливо озираясь, будто не узнавая себя в окрестностях. Видно, понял, что не снискал высшего поручительства на венчание раба Божьего Фёдора рабе Божьей Дарье. А когда минуло несколько лет, вдруг занемог. Явились муки, боль проедала внутренности до стонов, до безудержных слёз. Доктора, сколько ни бились, помочь не могли. Даже диагноз оставили под вопросом. Прописали вызывающие помрачение и сон болеутоляющие пилюли. Фёдор стал быстро сползать ко смертному одру. Дарья позвала батюшку исповедать и причастить грешника. Фёдор пребывал в забытии, но, почувствовав священника, горестно вздохнул и запричитал, облегчая душу. Исповедь — безгласная тайна; видел батюшка, как шевелились губы Фёдора, испрашивая прощение Божье и у Анны с Феликсом. Бог оказался рядом. Но родные — более чем неблизко: не услышали.

Дарья написала о скорбных обстоятельствах Анне. О болезни, о зубовном скрежете и что-то о бесах Червлёного леса, истязających Фёдора. Анна немедленно засобиравшись и Феликса снарядила — парню к тому времени тринадцатый год подвигся. Анна торопилась застать Фёдора живым и ещё вынашивала хорошую мечту, что одумается он, увидев возросшего сына. Приехали к Дарье, да не застали Фёдора. Только что положили во гроб, попрощаться не поздно.

Но попрощаться с Фёдором Анна отчего-то не решалась. Попросила у Дарьи взять что-нибудь из Фёдоровых вещей. Дарья позволила. Берите, ответствовала, что приглянётся, покойника в живые не вернёшь. Велела Анна Феликсу зайти в дом, в комнату, где Фёдор последний вдох принял, да и выбрать что захочется от отца. Феликс пробыл с минуту и вышел, прихватив с собой старенький томик Священного Писания и потёртый пояс звонаря. Ремень тут же втянул в брюки. Закрыв до отказа. Поначалу и Фёдор был столько же тушист.

И всё же Анна вошла в дом Дарьи, чтобы проститься с Фёдором. Подошла к гробу, хотела поцеловать покойника, простить. Но взглянула и чуть не сомлела. На зеленовато-жёлтом челе виднелось ядовито-рубиновое крапление, взятые сизым тлением язвы. Отступника настигла старинная болезнь. Вернулась к нему, ненасытная, и свела в могилу. Начистоту прошуршала о том осенняя опадь.

Анна всхлипнула, не заголосив. На отпевание и погребение не пошла.

На всё воля Божья.

Свежую могилу последним покинул Феликс.

Алексей Вульфов

Спой, Марко!

Приходил день, и начинали думать: «Пора поехать к Марко». Обычно по весне, когда солнце затевало сильнее припекать и звонче гремели птицы. В усталости от забот и сует всё более светлым намерением становилось — поехать к Марко. Поднимали трубку аппарата и звонили друзьям; те горячо, энергично соглашались. Но вереница непрерывных дел в гуле города, в крике его трамвайных звонков и клаксонов ещё долго держала дома, пока, наконец, не собирались семьями, с картонками и поклажей, и не ехали поутру на Западный вокзал. Прибывали загодя; встречались с объятиями и поцелуями под башенными часами, увитыми по верху циферблата старинным вензелем с двумя летящими навстречу крупнощёкими ангелочками. Женщины были радостны и улыбки, одеты в длинные клетчатые платья с бантами, в широких шляпках. Дети — в костюмчиках для выхода в гости — необычайно возбуждены и хлопотливы по каждому поводу. Мужчины в светлых полосатых пиджаках в клетку и узких брюках вышагивали лаковыми ботинками, элегантно держали на локтях лучшие трости, на головах несли весёлые кепи с помпоном.

Плоский короткий паровоз, похожий на маленького циклопа, нарядно отливал на солнце чёрным лаком и звучно цедил паром во все трубки. Под отдалённые его вздохи и солидный гул вокзала мужчины, немного задержавшись, выпивали у прилавка по кружке тёмного пива, глубоко топя в густой пене подстриженные усы, затем приветливо кивали молодому, искренне улыбкивому буфетчику, энергично подавали знак болтавшим женщинам, которые крепко держали за руки детей, и неторопливо подавались на перрон к вагонам-каретам. Впереди шествовал носильщик — нескладно громадный, похожий на молочника в своём широком белом фартуке, с большой корзиной и саквояжем на плече и картонками в руках. Он сам сдавал вещи в багажный вагон, а пассажирам приносил обширные квитанции, напоминавшие купюры. Забрав их и расплатившись, мужчины отыскивали глазами открытую дверь в свободное семейное отделение. По случаю не скупилась на второй класс, ехали своей компанией; солидно располагались на диванах, вначале говоря только о новостях и делах. Дети всё вокруг рассматривали

и на всякое, даже незначительное, впечатление восклицали: «Ух ты!» Женщины — необычайно аккуратные и ухоженные — доставали из корзин булочки, пирожные и ситро. Колокол истово бил, кондуктор выкрикивал отправление, жалостно и резко свистел его свисток, пронзительно отвечало ему тонкое восклицанье паровоза — начиналась дорога. Горячие белые облака вначале пытались скрыть от глаз тянувшуюся черепицу крыш большого города, а вскоре под кивающими проводами разворачивались крестьянские бахчи, плетни, подсохшие дороги, хутора. Мужчины солидно толковали о своём, женщины с семейной радостью смотрели на них, не забывая салфетками утирать губы детям, которые ели пирожные и болтали ногами.

Наконец, спустя примерно час езды, под дружный стук колёс и перезвоны сцепов кто-то из детей кричал, тыча пальцем: «Горы! Горы!» Тогда один из мужчин поднимался, хватал старомодную плетёную рукоятку и немного приспускал окно — оттуда вместе с живым гулом дороги и вздохами врывался, как счастливая птица, всё охватывая собой, такой просторный и ароматный воздух, что все невольно вскрикивали от радости встречи с ним. Это был воздух как будто иной планеты — чистоты и вечного счастья. Сама весна влетала с ним в вагон! «Можно, мы высунемся? Можно, мы высунемся?» — кричали дети. «Можно, но только один раз», — строго разрешали матери, потому что от дыма розовенькие лица и воротнички нарядных рубашек сразу становились тёмными, да и маленький осколок угля, не дай Бог, мог попасть ребёнку в глаз. «Довольно, довольно», — хмурились мужчины, отрывая от окна восторженных детей. Вместо порхавших косынок пара над составом теперь висели тяжёлые сгустки коричневого дыма, похожие на гигантских шмелей, — паровоз тащил в гору с резкими частыми выдохами, вагон шёл медленно и гулко, словно покорная телега. Начinalи собираться, с заботой оглядывая, не осталось ли что-нибудь на диванах. За окном сёла, поля и бахчи виднелись уже внизу, в мелькавших просветах между панцирями скал, вдоль дороги громоздились большие упавшие камни, причудливо вздымались зелёные склоны предгорья. Нужно было выходить на предпоследней станции.

Дверь отворялась, и они успевали сойти — единственные со всего поезда; мужчины быстрым шагом подходили к багажному вагону и принимали вещи, отдав квитанции в чью-то ловкую руку; сразу звучал свисток, и вагоны за их спиной разгонялись под жёсткое уханье паровоза. В наступавшей тиши несказанно пахло ранними цветениями и горной прохладой, нагретыми рельсами, сладкими невидимыми родниками. Мужчины закуривали сигареты и шли, поигрывая тростью, к первому же дому у полустанка, там стучали по калитке. Из глубины двора выбегал любопытствующий, очень подвижный человек в тапках, доисторических шароварах и гусарской рубашке. Ему объясняли, что нужны лошадь или мул, чтобы подняться наверх. Человек часто кивал и при этом тщательно рассматривал приезжих горожан. Вскоре он уже выводил из ворот ласковую белую кобылу, на которую поперёк седла, вначале перевязав, грузили поклажу. Женщины прятали шляпки в картонки, открывали зонтики, брали детей за руки, мужчины, уплатив хозяину, хлопали кобылу по гладкой шее — и они выходили на узкую тропу, которая шла посреди бахчей и затем тянулась витиевато в гору между камней, уже обросших первой травой и какими-то особенными бирюзовыми цветами. Они устали бы идти вверх, если бы не великолепная красота местности вокруг, полностью поглощавшая внимание. Горы отливали и слепили лоском наклонно лежавших лесов, резко вычерченные склоны их словно какими-то волшебными смолами отливали на солнце. Вдохновенными кларнетами дудели над травой первые жуки, свистели птицы, словно дорвавшиеся до инструментов одержимые музыканты.

Трава глядела в глаза особенным юным отливом, который бывает лишь в эту пору состоявшейся весны. Гулко kloкотали скрытые от глаз ключи, из них вытекали стеклянные ручьи, незаметно пропадавшие в нежных камнях. Наконец каменная тропа круто поднимала всех на крохотное плато и вела к одинокой крыше с потемневшей от старости черепицей, к плетёным сараям, густо обваленным соломой, к громко галдевшему хлеву, торчавшему на косых жердях выше всего двора. Вдоль плетня на поляне перед домом носились наперегонки молодые козы. За двором далеко тянулись извивы виноградника и стоящие чёткими рядами ещё голые сливы и яблони, только начинавшие зацветать. Сняв с кобылы поклажу, мужчины пару раз хлопали её по шее и отправляли обратно, что кобыла и выполняла с полным пониманием и спокойствием. Здесь, с этого плато, окружающая красота казалась какой-то невероятной, буквально выдуманной неким без меры одарённым и восторженным художником.

Забыв про усталость от подъёма в гору, озирались по сторонам, взмахивали руками и оживлённо

болтали. Женщины с удовольствием покрывали плечи тёплыми платками, потому что наверху прохлада воздуха была резче. Все старались что-то узнать с высоты, видели отдалённый дымок возвращавшегося поезда, который ходил сюда только раз в день, различали отдельные россыпи крыш хуторов и с удовольствием слушали, как концертную музыку, плывший издали печальный полуденный удар колокола церкви, строго тянувшей к небу перст с середины равнины. Так глядели они и глядели без усталости, всё чему-то громко восхищаясь, как вдруг сзади слышались топающие шаги тяжёлых крестьянских башмаков, и сильный, глубокий, но певучий голос звучал властно и ласково одновременно: «Эге! Дорогие гости к нам пожаловали! Приятно, приятно! Милости просим!» Это подходил к ним из дома своего Марко. Радостно обнимались с ним мужчины, женщинам целовал он ручки, а детей смешливо хватал пару раз за кудри. Они шли во двор под сколоченный по какому-то немыслимому расчёту навес сложнейшей геометрической формы, укрытый горами прокопчённой соломой. Под навесом огромный стол стоял из бука, вдоль стола тянулись гладкие лавки.

Марко был в серой крестьянской рубашке навыпуск, перепоясанной синим поясом, в аккуратных шёлковых шароварах без цвета и в стоптанных башмаках. Огромные каштановые кудри его, как щедрая трава, вздымались над головой, мягкими струями лились усы и борода. Нос остро сколоченный, скулы выпуклые, а глаза голубые-преголубые, будто вот такие вешние небеса над горами сияют. «Эгей! — кричит Марко в глубь двора. — Гости приехали!» Как мягкий шарик, выкатилась мамочка его, тихая ласковая женщина возрастом ближе к старости, в таком засаленном халате, что страшно было и глядеть на него; халат был цвета, который нельзя определить простым словом. Из глубины двора несло непрерывное бляенье. «Я сейчас принесу вам зелень, сыра и вина, а дети пусть играют с козочками, они у нас не бодаются», — лёгким голосом сказала она, таинственно улыбаясь, и больше с этого момента не произносила ни слова. Дети тотчас же устремлялись за ограду, а взрослые по дубовым доскам, уложенным во дворе поверх грязи, тянулись под навес вслед за Марко, который взмахивал впереди огромными руками и что-то с радостной силой в голосе громко говорил им. Пока гости, разойдясь по комнатам, переодевались в прихваченное с собою платье для пикника (ибо неприлично было им представать на вокзале в одежде, не подходящей для выхода в свет), матушка скоро несла блюдо с мелко нарезанным белоснежным сыром, усыпанным первой созревшей зеленью с огорода и невесомым горным щавелем. Переодевшиеся гости восприняли это блюдо на фоне мудрого дерева стола как какое-то творение живописи и восхищённо вздохнули.

А Марко, приплясывая и хлопая себя по бокам, подмигивал мужчинам, о чём-то шептал им на ухо, устремляя озорную синеву глаз на женщин, которые грозили пальчиками и обворожительно улыбались, любуясь красотою колечек кудрей и щедрой бороды Марко, его громадными длинными руками и трудовой шириною ладоней.

Горожане быстро привыкали к запаху молочных сывороток и козьей шерсти, продолжая с восторгом озирая высившиеся горы с ледяными вершинами, которые всё яснее просматривались в наступавшем предзакатном тоне. Дети у плетня гонялись за козлятами и восторженно кричали. Марко вносил какие-то необыкновенные хлеба, напоминавшие лебедей, сладко замаринованные перцы и томаты в глиняных блюдах. Наконец, ещё раз подмигнув и поднеся палец ко рту, на цыпочках отправлялся он к погребу. Дивный ветер летел с гор, простора вешнего и духа цветений полный, — ветер счастья. Под навесом было прохладно и пахло старой соломой, словно самой древностью. «Ту-ту-ту! Ту-ту! Ту-ту!» — изобразил Марко кавалерийскую трубу и вносил на торжественно поднятых ладонях два потных бочонка. От них исходил восхитительный запах погреба — его сокровенной прохлады, живительной прогорклости сладости. Матушка, неуклюже катясь, словно надувной мяч, со звоном ставила на стол кое-как протёртые старомодные бокалы из толстого стекла (должно быть, полученные ею в подарок на свадьбу), несла графин со свежим соком из прошлогодних яблок, укладывала сильно накрахмаленные салфетки и полотенца. Марко не говорил, а на радостях трубил, как труба.

Вино, наполнив воздух ароматом немислимои терпкости и густоты, громко булькало, падая в бокалы из бочонка, словно сквозь какое-то щедрое горло. «Вам повезло, — говорил Марко, заговорицки подмигивая. — Вчера прирезали молодого барана — клянусь, он был курчав, как древнегреческий бог! — и будет сегодня у нас свежее тушёное мясо с лапшой и приправами». — «О!» — восклицали все и счастливо, звонко чокались. Женщины, выпив, жеманно отщипывали сыр, краснея на глазах, мужчины смаковали губами после выпитого стакана и были от вкуса вина в таком восторге, что выражали его не громко, а тихо, с неподдельным изумленьем. И действительно, это было очень доброе домашнее вино пронизательно-рубинового цвета. «Белое будем пить, когда мясо», — кратко распорядился Марко на правах хозяина. Как шуметь начинало чудесно от вина в висках — словно самой вешнею листвою! — и огромный прилив сил налетал полноводным прибоем. Подбегали дети и сосредоточенно пили сок, матери гладили им кудри и прижимали к себе, а дети стремились вырваться и убежать, потому что всё, буквально всё было им здесь чрезвычайно любопытно. Из

глубины двора начинал доноситься вкусный дым из печи.

После второго приветственного тоста и бокала мужчины сбрасывали пиджаки и бантики, расстёгивали рукава рубах и, положив руки на плечи Марко, вдохновенно болтали с ним, как с заслуженным старым приятелем. Звенел третий бокал, приближалось веселье, каждый глоток итожил неповторимую прелесть момента. Но пока они только обретали настоящую радость, которую пусть нечасто, но хотя бы иногда должен обретать непременно каждый человек на свете, и лишь полчаса спустя чудесного разговора без умолку и вспышек смеха кто-то из мужчин, наконец, растроганно говорил: «Спой, Марко! Спой!» И все подхватывали: «Да, да, спой, Марко! Спой чудесные бабушкины песни!»

Марко тайно ждал этой просьбы. Устремив сие глаза свои к багровевшим к вечеру вершинам гор, темнеющему бархату луговых трав и первым благодатным теням на склонах, он прокашливался, вставал и, отведя назад разлапистые руки, покачив головой, начинал — негромким, но удивительно ровным и основательным голосом: «Ийшла девь-еченька речыци, и-и-ийскала бро-оду...»

Хлопают все — тут прибегают слушать и дети, а Марко, положив ладонь на грудь, солидно кланяется. «Ещё, ещё! Спой про господаря и крестьянку!» Отхлёбывает Марко ещё немного вина, опять назад отводит руки и трубит, как тромбон: «Был в стране той грозный господарь!» А затем с актёрски-умилённым лицом лепечет ласковой флейтой: «И была там при хуторе молодая крестьянка, краса её как горные цветы и речной яхонт; и увидал её тот грозный господарь, и полюбил, и полцарства назначил ей в приданое, дядёв-опекунов не убоявшись». На припеве взрослые прихлопывают, а Марко солидно, неторопливо меняя движение, опять идёт в танец и хлопает себя по плечам да по коленкам: «Спойте, хлопцы-парубки! Спойте и вы, прекрасные девицы! Спойте о том, как господарь выбрал крестьянку и сделал кралей».

Мужчины громко и с большой душой подпевают припеву, становясь у стола доблестно и солидно, будто воины, и когда образуются согласия звуков, так и тают от удовольствия. «А теперя вот эту!» Марко суровеет лицом, сжимает кулаки и вдруг трубит с такой мощной вещательной силой, что в женщин тот голос пробирается до самой неприкосновенной глубины, заставляя их влажнеть и стыдиться: «О отважный воевода! О могучий вождь народа! Ты зовёшь в священный бой. Каждый рыцарь твой — герой!» И мужчины подхватывают припев с яростными раскалёнными глазами: «Не печалься о нас, мать! Будем как один стоять за святую нашу землю, за родную сторону». — «Спой, Марко, как птаху журавель полюбил», — щебечут женщины сразу, как только заканчивается эта

песня, и Марко поёт, игриво изображая, будто артист театра драмы, то птаху, то журавля.

Он притоптывает и прихлопывает в ладоши, и все подтягивают ему припев. Все песни поёт он от начала до конца, точно выводя каждое слово; матушка знает, как не любит он, когда прерывают песню, и не допускает никогда этого. Дотянув до конца, доливает он из опустевшего первого бочонка по бокалам вино и начинает, высоко согнув в локте руку с бокалом и освещая потемневший кров сияющей синевою глаз, любимый свой тост: «Ньет ётро бе кáнса!» («Нет родины без песни!») «Ньет!» «Ньет!» — восклицают все и чокаются стоя, со светом в глазах, глядя по макушкам детей, тоже ровно стоящих у стола, как взрослые. Марко продолжает тост и немного затягивает во вдохновении развитие мысли, распарившись, но тут... тут матушка его неслышно, как клубок шерсти, вкатывается с громаднейшим оловянным подносом на руках, еле держа его на тряпке в горошек. А на подносе том... «О!» — восклицают все и всплещивают руками. И сто́ит такое того, чтобы прервать всякие речи, всякие мысли, любой рассказ — и даже пение. Там, на подносе, стоит закопчённая чугунная сковорода с бараниной — сознание не потеряйте от горячего пронзительного духа её, — бараниной, тушенной в особых травах; а рядом горшок с распаренной лапшой из ячменной муки, обсыпанной юным сельдереем, искрошенным в зелёный песок, и ещё малые плошки, а в них горячие фруктовые соусы и горные чесноки! «Браво... браво, браво!» — начинают кричать все и аплодировать, словно в Национальной опере, и матушка, которая за всё время так и не произнесла ни одного слова, но ходит с такой улыбкой, что обо всём, что нужно, каждому говорит, глиняные миски ставит. «Неплохо нам?» — чинно вопрошает Марко, приклонив голову и подняв брови. «О, о!» — что же ещё может услышать он в ответ?

Темнеют совсем горы, меркнет на них оранжевый бархат, гуще, с резкой чистотой для дыхания, к ночи холодает. Далеко-далеко внизу одержимо голоса крикливые трубы пастухов, созывающих отары. Женщины достают тёплые душегрейки, а мужчины так разгорячились от мяса, вина и пения, что и холода не замечают, знай трескают за обе щёки и только одни буквы, а не слова произносят. С ними степенно ест и Марко, медленно жуя, будто обдумывая, каждый кусок, и, отправив его к себе в утробу, всякий раз подытоживает: «Добре. Вот это добре». Настаёт было тишина, разве что матушка, перекаtywаясь вдоль стола, как ласковый клубок шерсти, каждому протягивает то одну, то другую плошку с соусами, чтобы попробовали их все непременно. В ответ слышит она только тихий сладостный стон и бряцанье вилок. Первыми изнемогают, откинувшись, женщины: «Ну всё, больше мы не можем». — «Какой ужас — я сегодня,

наверное, прибавила не один фунт!» Вино сверкает золотыми солнцами в бокалах. «Этот мускат нужно пить под мясное», — властно говорит Марко, но налито каждому только по полбокала, ибо такое погребное вино очень коварно — от него, перебрав, лишается разом незаметно человек движений, памяти и рассудка. «О-о-о!» — трубят мужчины, как слоны, и толкают от себя пустые тарелки с застывшим жиром.

Рубахи их давно расстёгнуты на три пуговицы, открывая горячую грудь и нательные кресты. Становится совсем темно и зябко, свежий набегающий холод пахнет снегом вершин так, как пахнет зимой. Дети ползают по полу и пускают друг к другу искусно разрисованных деревянных лошадок на колёсах, изображая язычками стук копыт. «Добре спели мы, — говорит Марко, маленько вместе со всеми отдышавшись. — Но не думают ли дорогие гости, что мы лишь на такое способны? Матушка! А ну принеси сюда цимбалы». Все аплодируют, зная, что Марко сыграет добре. Маленько отхлебнув ещё вина, Марко не спеша берёт палочки — и вдруг стремительно пробегает ими по струнам, делая словно взрыв серебряных брызг. А после широкими тремоло ведёт мелодию, и все подпевают знакомому напеву. Марко ещё раз бросает руки на струны, раздаётся новый взрыв — и тут один из мужчин вскакивает и кричит: «Мой танец! Мой танец!» Матушка бесшумно проходит и зажигает на ночь ещё пару осветительных плошек с маслом. Она так же непрерывно улыбается, всё про всё понимая, и молчит. Марко вновь ударяет по струнам цимбал, и уносит с них из-под его пальцев на сей раз словно тёплые струения, — но каково же разошёлся танцор! Будто и не ел он столько! Все вскидывают на него изумлённые глаза; Марко, как опытный музыкант, ловит каждое движение, пытается вперёд разгадать каждое его дыхание, взбрызгивает хрустальные глиссандо на верхних нотах под каждый хлопок ладош, выколачивает лихое тремоло под каждую фигуру каблуков.

Танцор весь мокрый, брызжет вокруг себя пото́м, как фонтан, и выделяет такое! Счастливицы смотрят на него дети; с изумительной восторженностью глядят и любуются им вконец разгорячённые женщины. А Марко — о, под его пальцами шторм разыгрался на океане цимбал, и уже не серебряные, а золотые, изумрудные, сапфировые брызги мечут ложечки из-под его ладоней, высоко взмывают в такт вдохновенные кудри. Танцор на последнем всплеске замирает, растворив объятие, в которое немедленно бросаются обе женщины. Марко, отодвинув цимбалы, встаёт и уважительно похлопывает его по спине. «Поглядите на него! Поглядите только на него!» — торжественно приговаривает он. Танцор — мокрый, как рыба, выпрыгнувшая из воды, — принимает аплодисменты и поцелуи женщин в щёчки, затем

подходит к столу и поднимает стакан с вином: «Я хочу сказать... я хочу сказать тост, дорогие друзья... Вот вы, многоуважаемый крестьянин, знахарь и музыкант, почтенный господин Марко, сегодня сказали нам: нет родины без песни... А я хочу сказать... Позовите сюда детей...» — «Но они играют в комнате в деревянных лошадок». — «Они уже устали, их не нужно трогать». — «Вы слышали, что я сказал вам? Позовите сюда детей».

Позвали детей. «Хорошо... Теперь я продолжаю. Я просто хочу развить и немножко переиначить ваш тост, любезный хозяин господин Марко. Ньет канса бе отро — нет песни без родины — вот что я хочу сказать. Песни и мотивы наши, быть может, не самые лучшие на свете. У каждого народа на земле свои есть песни, и не менее замечательные. Но наши ни на какие другие больше не похожи — простите, я говорю просто. Я поднимаю бокал за наш край, который породил эти песни. За наш родной край, за нашу отро». И все со слезинкой в глазах сомкнули бокалы в один удар, словно удар колокола. Совсем уже было темно, на горах тут и там зажглись отдельные огоньки хуторов, далеко внизу слабыми расплывчатыми пятнами светились посёлки, куда привёз их поезд. Горы вокруг почти скрылись с глаз и незаметно засыпали, напоминая о себе лишь добродушно громадными в ясной мгле силуэтами темнее ночи. Мужчины вышли к калитке, надев заботливо взятые женщинами свитера, и тихо о чём-то говорили, обнявшись за плечи.

Казалось им в этот час, что вечно будет длиться их молодость. Женщины раздевали и укладывали детей, которые мгновенно засыпали, а после и сами переодевались в сорочки, ложились, приятно ёжась, под толстые деревенские одеяла, набитые козьей шерстью, и начинали ждать мужей. Общим семьям отведено было по крохотной комнатёнке с затейливыми полукруглыми окошками. «Я и представить... то есть я даже и представить себе не могла, милый, что ты на такое способен... Как ты танцевал! Как хорош ты сегодня был собою!» — шептала и обнимала танцора восхищённая супруга, счастливо пылая глазами во мраке комнатухи и обещая муженьку пресладостную награду...

Они ведь были совсем ещё молоды! Утром их солнышко разбудит, бляенье коз и невероятно проникновенная свежесть в раскрытом окне. Смущённо войдут они, сперва полив друг друга на ладони из употевшего ковша студёной водицы и всласть умывшись, в маленькую горницу, где, увитая гвардейскими лентами и живым плющом, на белёной стене висит фотография отца Марко, строгого человека с загнутыми усами, одетого в форму кавалериста. Потихоньку выберутся они во двор, жмурясь от солнца и ослепительно застывших молний ледников на вершинах гор,

пылающей зелени склонов. «Эге! Вот это сони! Я уже успел коз выпasti и подоить и овощей на-тушить вам на завтрак и с собой в дорогу, матушка сделала творог! Прошу завтракать. Матушка кофе вам сейчас сварит». Все идут опять под навес, переговариваясь тихо, с улыбкой. Приносятся горячее кушанье, тёплый хлеб кусками, крепкий сыр белым крошечком, и Марко, осенившись крестом и произнеся: «Благослови, Пресвятая Божья Матерь», — широко проводит ладонью над столом, предлагая начать.

Все едят молча и чинно, женщины шаялами укрыты, потому что поутру весной в горах прохладно, солнце ещё не весь воздух доверху прогревает. Дети спокойны, едят как взрослые и не шалят, хотя один из них сказал громко: «Мы совсем не хотим уезжать». Все уже почувствовали лёгкую печаль приближающегося возвращения в будни. Марко говорит: «Тому из вас, кому нужно, я дам с собой снадобья. Я знаю, кому что нужно. А вы, милая молодница, — говорит он одной из женщин, — поговорите с матушкой о том же, не обделим и вас». Сильно покраснев, женщина кивает, и действительно потом идёт к матушке, и о чём-то шепчется с ней, и та выносит ей какой-то допотопный флакон из тёмного стекла, заткнутый марлей, и гостя очень её благодарит. «Не хочу торопить вас, дорогие гости, однако поезд, сами знаете, в нашу глушь идёт всего один, а ведь вам завтра на службу. Пора собираться».

Мужчины встают, один из них протягивает ему деньги за угощение, приют и лекарства; Марко берёт их, подмигивая: «Кошт крестьянину не помешает», — и, никогда не считая, кладёт в широкий карман своих исторических шаровар (у них в стране не принято погостить без подарка или какого-то иного благодарного вспомоществования). Женщины, немного припудрившись, берут за руки детей и в другую руку по картонке; мужчины, вновь одетые с городской щеголеватостью, безупречно подтянутые, протянув детям трости, долго жмут Марко руку и обнимаются с ним, а затем подхватывают корзины и саквояж. «Благослови, Пресвятая Дева! До новой встречи!» — «Храни вас Господь», — наконец произносит и матушка лёгким голосом со своей всезнающей улыбкой. И домик Марко остаётся у гостей за спиной — ведь всё когда-то кончается.

Годы ещё прошли, и разразилась в их стране тяжкая война, о каких доньше ни в песнях не пели, ни в сказах не слыхали. Настали кровь и скорбь; солнце — и оно сделалось тёмным. Всё рассеялось и разметалось на долгое время, и многих не стало. И ни одной не уцелело души, не познавшей ужаса и горя. Однако наступил конец и такому лихолетью. Долго, поднимая непроницаемую пыль, гребли тракторы громадные камни руин, долго ещё люди, воровавшие ломом в развалинах и кирпичных

остовах домов, как в корнях гигантских сло-
манных зубов, находили ислевшие останки,— но
однажды на углу улиц Поющего Словья и Рат-
ной Славы появилась свежестеклённая будка
с булочками и пирожными, в которой округло,
как на рекламе, улыбался счастливый буфетчик,
и через весь город побежал со звонами трамвай.
И вот как-то поздней весной вдруг стало ясно, что
надо бы съездить к Марко.

Поезд из-под залатанной прорехи дебаркадера
вокзала с уцелевшими часами и ангелочками ходил
туда теперь составленным не из вагончиков-карет,
а кое-как латаных пугманов некогда фешенебель-
ного Трансевропейского экспресса времён кайзера
Вильгельма. В купе стояли старомодные кожаные
диваны, имелись индивидуальные лампы, из кото-
рых давно ни одна не горела, а под столиками в ва-
гонах «для курящих» были привинчены глубокие
пепельницы из поцарапанного дюрала. Двери купе
и столик сплошь исписаны карандашами солдат,
которых куда-то возил этот поезд. В основном это
были начертанные имена девушек и женщин, хотя
попадались и скабрёзности, изображения каких-
то обнажённых русалок. Поседевшие мужчины
закуривали сигареты, а дети—кстати, это были те
самые мальчишки, точнее, уже крепкие юноши—с
завистью смотрели на них. Пару дней при отцах
придётся им потерпеть без курева. Женщина—да,
одна осталась женщина, другая в самом конце
войны при обстреле погибла,—раскладывала на
много повидавшем столике варёные овощи, кол-
басу, булочки, ставила бутыл с молоком и изо
всех сил старалась угодить всем. Поезд начинал
подниматься в гору под учащённое дыхание то-
варного паровоза, густо валившего коричневым
дымом с крупной изгарью. По отдалении от города
многое было почти таким же, как встарь,—здесь
сильно не бомбили и мало применяли артиллерию.
Разве кое-где проплывал сгоревший пустоглазый
дом или валялись разбросанные взрывом мотки
провода на месте оружейных складов, изредка
попадались обгорелые танкетки с крестами, по-
хожие на окаменелых ящеров. Но вот и эти виды
кончались. Поезд вдоль горного склона подходил
к предпоследнему полустанку, пробежавший по
коридору кондуктор со везнающими глазами
громко возглашал об этом.

Взрослые собирались, мальчишки надевали
кепки и футбольные куртки. Маленький радио-
приёмник на стенке вагона с накалом распевал
голосом Эдит Пиаф. Сыновья брали корзины и
шли вслед за родителями коридором к тамбуру.
В проходе вздымалась весенним ветром сквозь
приспущенные окна прежняя роскошь—не сти-
ранные, наверное, со времён Вильгельма алые
гардины со следами табачных ожогов. Проводник,
покосившись на орденские планки, прикреплён-
ные к пиджаку одного из мужчин, почтительно

открыл на остановке дверь и аккуратно выбросил
старомодную лесенку с раскладными ступеньками.
Отцы спустились, подали руку женщине, следом
спрыгнули юноши.

Солнце и ясное небо! Запах юных цветов и
трав! Сверкающие горы! Глядит в глаза после
города первый живой цветок! Всё как было всег-
да! Юноши запротестовали против того, чтобы
нанимать кобылу (сил у них, что ли, нет?!), взяли
корзины и, велев родителям двигаться впереди,
пошли вслед по знакомой тропе, болтая о своём.
Шли подольше, чем в прежние времена, с пере-
дышками, но, наконец, поднимались. Марко стоял
во дворе, опираясь на плетень, и внимательно
глядел на них. «Эге! Гости пожаловали! Будет и
нашему дому счастье!»—воскликнул он. Лицом
Марко стал морщинист и волосами не то чтобы
совсем сед, а так, будто первые густые пороши
пролегли накануне большого снега. Пробежали
и по бороде седые струи. На длинной рубаше его,
как всегда одетой навывпуск, была медаль—врагу
здесь сильно сопротивлялись, и Марко помогал
партизанам. Похоже было, что с медалью этой
Марко никогда не расставался.

Вот вышел он со двора и руки для широкого
объятия развёл. Первой обнял он женщину—во-
лосы её были крашены каштановым цветом фран-
цузского производства, чтобы скрыть седины,
но вообще она казалась почти не изменившейся,
разве что стала чуть полнее и рыхлее. Потом подо-
шёл к одному из мужчин и долго подержал его за
плечи, тихо произнеся: «Обязательно её помянем».
Взглянул на орденскую планку и сказал, поглядев
ясно: «Слава героям». Потом осторожно двумя
руками пожал руку другому. Одну руку—потому
что вместо другой был пустой рукав... «Главное—
живой»,—с улыбкой, но и с тяжёлой непокорной
грустью в голосе почти одновременно произнесли
они друг другу. Затем Марко крепко, подчёркнуто
мощно пожал руки юношам и наподдал каждому
кулаком по плечу, воскликнув: «Вот это молодцы!»
Пригласил всех в дом, приняв корзины.

Вошли под всё тот же навес—и тут увидели на
стене рядом с отцом-кавалеристом фотопортрет
матушки, увитый тем же плющом и прикреплён-
ным сверху искусственным цветком. Портрет был
в двух углах обрамлён наградной Почётной Лентой.
Матушка всё так же улыбалась с портрета своей
тихой всемудрой улыбкой. «Она кровь сдавала в
госпитале для раненых,—негромко начал говорить
Марко.—Ей бы надо было и себе хоть немнож-
ко оставить, доктора уговаривали, кровь брать
отказывались, а она ведь у меня такая горячая,
сами знаете,—ни в чём удержу не знает. Вот и не
хватило ей немного силёнок жить дальше. Там же,
в госпитале, забрал её Господь». Матушка глядела с
фото как ласковая Мадонна, что-то утешительное
говоря глазами.

Гости молча смотрели на фото и всё так же тихо улыбались. «Обошла ведь меня,— продолжал говорить Марко.— Я-то кто— простота деревенская, а про неё сам главный маршал написал в приказе...» Марко взял с какой-то укромной полки довоенную коробку из-под шоколадных конфет, осторожно вытащил из неё гербовый лист с большой печатью и стал читать вслух: «Приказ по Народной Армии номер 4375... За проявленное мужество и самоотречение посмертно наградить крестьянку Магдалину Пражескову орденом Ратной Славы второй степени с присвоением воинского звания гвардии капрал. Капрал...» — ещё тише засмеялся он, но больше ничего уже не говорил, а, отвернувшись, быстро спрятал лист и начал хлопотать, собирая угощение, пока гости слёзку утирали. Выставил и вино, и сыр, и свежую зелень, и солёную козлятину, и начал было затевать горячее блюдо, барашка прирезать собрался, но его единодушно остановили, предложив лучше поскорее присесть со всеми за стол. И Марко не отказался. Он разлил вино—это было чудесное яблочное вино,—все встали: «Вечная память погибшим. Да примет души их Господь. Спасибо им за нас. Помянем».

Юноши глаза опустили, чтобы не видеть блеска влаги в глазах своих неустрашимых отцов. Детям тоже налили вина немного по такому случаю. Выпили, поели сыру, а потом говорили тихо и неспешно, всё больше о пережитом. Юноши строго и ровно сидели за столом, не смея вставить слово в разговоры взрослых и не полагая возможным покинуть их. Как же похожи! Боже, как похожи были они на своих отцов! Марко ещё разлил вина полные бокалы, озорно подмигнув юношам, и после звонкого соударения стекла все до дна с радостью выпили за победу. Мужчины отёрли усы; наконец, кто-то из них сказал: «Ну что же, вспомним твои слова, Марко: нет родины без песни». Все сразу подхватили: «Спой, Марко, спой!» — «Вместе споём», — ответил он. Пели негромко, каждый углубившись в себя, не переглядываясь; женщина тоненько подтягивала сверху. Попытались подпевать и юноши, но они плохо знали слова и потому больше улыбались и потихоньку мычали, как телята. Пели про любовь, про свадьбу с приданым в двадцать коней, про то, как Маричка по воду шла и повстречалась ей на тропинке парни: «Дай напиток нам воды...» Много всякого лирического пели и, конечно, военные со слезинкой. Величественно темнели к ночи небо и горы, беспокойнее набегал холодающий ветер, трепал на взрослых поседевшие кудри. «Марко, сыграй на цимбалах».

Принёс Марко и цимбалы, положил их перед собою на стол, долго с лаской глядел на них, гладил струны, провёл пару раз тяжёлыми пальцами снизу вверх, создав глубокий тёмно-серебряный звон, этакое многомудрое сладко-хмельное взбурление...

Но играть ничего не стал, лишь несколько раз ещё поударял палочками по натягу струн, пристально внимая мистическому, как вешняя пучина, расплыву каждого звука,—и все с удовольствием тоже прислушивались к этому родниковому таинственному звону, который был так гармоничен покойному полумраку в доме и на улице. «Ладно, пойду сварю кофе, да после выпьем ещё вина», — сказал Марко, отложив цимбалы, и направился во двор на кухню. Ничего у него тут не изменилось за войну, всё осталось как при матушке, разве что самой её не было. Стемнело совсем — побыли ещё за столом под тусклым фонарём, немного попели песни, какие-то уж совсем негромкие. Настал тот момент, когда люди громче молчат, чем говорят. Мужчине, потерявшему руку, стало зябко, женщина принесла из дому пуховую шаль и укрыла ему плечи, и он не противился. Юноши, наконец, покинули стол и вышли за калитку поглядеть на суровые силуэты ночных гор, на чёрную долину почти без огней, на нездешний простор, который был так созвучен их юности — казалось, она была одно целое с этим простором. «Как думаешь — полюбит она меня?» — спрашивал один другого, стараясь крепить непослушный голос. «Кто же знает! — рассмеялся другой. — Этих особ никогда не поймёшь до конца. А вот ты возьми и сделай так, чтобы полюбила!» — «Легко сказать. Ты видел, какие у неё очи?» — «Очи как очи. Нормальные очи». — «Я руки наложу на себя». — «Лучше пиши стихи».

Утром, попив кофе, все, кроме Марко, оставшегося хлопотать по хозяйству, с удовольствием пошли пройтись по тропе вдоль склона, обозревая немыслимую красоту вокруг. Тропа вела к дальним сараям и овечьим гумнам с соломенными крышами, неизвестно как притулившимся на крутом склоне посреди белёсой лысины поля, впечатанной в ярчайшую зелень опадающей еловой поросли. «Как жаль, что нет её со мной, что она это не видит!» — вдруг сильно и громко, во весь голос, заплакал один из мужчин, но его быстро успокоили. Он тщательно вытер лицо и усы платком, смущённо приговаривая: «Просто и не знаю, что со мной. Я вижу эти горы и не вижу... Всё, всё, иду, простите...» Здесь, в таком месте, казалось, что совершенство земного мира никак не тронут; горы сияли лоском неприкосновенной чистоты и первозданности, в которой сотворил Господь эту отрешённую твердь. Их грандиозные вознесения с отдалённо мерцающими в небесной вышине блистающими льдами чуть ли не говорили вслух, почти зримо улыбались в солнечный день. И как прекрасны были луга и заселённая земля внизу с наставительным пальцем колокольни посредине! Как насыщенные, словно на картинах художников-жизнелюбцев, тона цветов, сплошь ярких, облитых солнцем, благодатно пёстрых! Как хорошо идти

было среди смеющихся лаковых камней и юных растений, как бы летя в просторе! Казалось при взгляде кругом: нет, нет в мире зла! Не может его быть в таком мире...

После прощального кофе все, обнявшись сердечно с Марко, потянулись к калитке, чтобы успеть к поезду. Марко с обычным благословением пошёл провожать их и, выйдя за калитку, окликнул одного из юношей, рядом с которым была мать, и они подошли к нему оба. «Когда приедете в город,—неожиданно сурово и даже грубо заговорил Марко,—отведите сына к врачу, пусть ему просветят грудь, он нехорошо болен. А это отдай мужу, пускай пьёт по ложке каждый день, иначе у него будут желчные камни»,—он протянул посерьёзневшей женщине бутылочку, обвёрнутую листом школьной бумаги в клетку и по-деревенски перевязанную тесёмкой. На следующий же день протестующего парня, который прекрасно себя чувствовал, сводили к врачу и обнаружили признаки тяжёлой лёгочной болезни, которую, благодаря своевременному обращению, удалось хотя и неприятно и хлопотно, но довольно скоро вылечить.

Постепенно за Марко укрепились известность знахаря, к нему кое-кто ездил из города, он определял болезни и как мог лечил людей либо требовал обратиться к врачу. Он бережно помнил всё, чему научила его матушка, помнил все её науки и советы, готовил и хранил травы и лекарства, как учила она. И ещё очень доверяли ему люди потому, что он веровал в Бога. «Вера помогает человеку не бояться неизвестности»,—убеждённо поучал он, что твой философ, незаметно улыбавшихся горожан. «Вы всё не женитесь?»—спрашивали у него. «Монашество»,—то ли шутя, то ли серьёзно отвечал Марко. И никогда слова гордого не говорил о себе и не пересчитывал полученной платы за приют и лечение. Всегда, бывало, каждого чем-нибудь свежим угостит, с друзьями и пошутит, песни попоёт. Марко все их помнил, и цимбалы иногда в руки брал, даже в одиночестве.

К нему однажды приезжала столичная экспедиция из университета, и три дня подряд, вконец изнурав Марко, который и не успевал коз спокойно подоить, и не выпастить ему было скотины нужно скотину, записывали они от него песни и наигрыши на цимбалах, вежливо, но настойчиво требуя петь и играть ещё и ещё. Он и сердился на них страстно, даже негодуя, и говорил, что по миру они его пустят и что совершенно не жалко им его,—ни в какую: глядят внимательно сквозь очки умными глазами и не мытьём, так катаньем исполнять его заставляют. Он и поругает их, и бросит цимбалы—коз доить уйдёт, а после вернётся и скажет: «Ну что, не хватит ли нам? А я вот, пока доил, вспомнил ещё одну песню—не знаю, может, скучная?...» А они прямо так и встрепенутся,

и тянут к нему руку с микрофоном. Вечерами он беседовал с ними, вспоминал войну, и они всё усердно писали—и на магнитофон с двумя железными катушками, и в блокноты, и карандаши их стрекотали, как кузнечики в июльской траве. Полюбился ему преподаватель их—очень строгий, седой, молчаливый, сутулый, настоящего учёного вида, в круглых серебряных очках, в полевой ветровке, в которой похож он был на некоего видного военачальника. Он подавал команды ученикам неизменно тихим, но непрерываемым голосом. Марко нравилось видеть, как усиленно скрывал он свою фанатическую привязанность делу, которым занимался, нравилось его утомлённо-вдохновенное лицо, широкая задумчивость, солидность. «Вот настоящий профессор»,—полагал о нём Марко и всё норовил дать ему повкуснее сыра, а тот с замечательно сдержанным поклоном и улыбкой глаз благодарил его. И студенты были своего учителя достойны: красивые, аккуратные, вдохновенные, интеллигентного облика девушки и парни, с серьёзными размышляющими глазами, полными не показного, а внутреннего достоинства,—милые дети, все как один влюблённые друг в друга,—и виды гор, звонкий воздух и небеса—чистые пространства!—их любви тут очень помогали...

Итак, имя Марко стало известным; пассажиры, проезжая его полустанок, иногда говорили: «Здесь неподалёку в горах живёт Марко».—«Тот самый?»—«Тот самый». Звали его выступить с цимбалами в городе на самой главной сцене—он отказывался, ссылаясь на хозяйство, требующее внимания от ранней зари и допоздна, да и люди могут прийти с какой-нибудь заботой. Однажды прибыли к нему из города господа с кинокамерой, в кепках, во всём кожаном, среди которых старшим был сильно нервничающий пространный человек в длинном и тоже кожаном пальто и кепи, пахнувший дорогим одеколоном. Начали было снимать на плёнку дом и его самого—но Марко вдруг отказался и даже попросил прекратить съёмку. Уж как его жалостно упрашивали: и восклицали, заламывая руки, об ущербе, и главный человек вконец разнервничался так, что речь утратил, задохся,—Марко ни в какую. «Легенда легендой быть и должна, а не явью»,—сказал он загадочно, а они, обидевшись, приняли это за гордость и, кофе не попив и не попробовав даже свежего сыра, уехали, губы поджав, молча собрали киноаппарат и лампы...

Между тем время бежало и бежало. Старшим взрослым постепенно стало слишком трудно подниматься к Марко в горы, да и вообще срываться в путь; они постарели. Юноши, напротив, ещё выросли и стали солидными молодыми мужчинами, устроившимися на службу. По-прежнему они дружили между собой, встречались, готовились

семьянниками стать. Однажды решили они в выходные дни поехать со своими девушками на загородную прогулку и вспомнили о Марко. «Нет родины без песни!—воскликнул один из них в телефонную трубку.—Поехали к Марко!»—«Как же сразу мы не догадались? Как давно мы не были у него! Поедем, и девушек с ним познакомим».

На вокзале, где встречались они всё под теми же часами с летящими ангелочками, ожидал их уже не паровик времён кайзера Вильгельма, а комфортабельные вагоны электрической железной дороги. Всё в них было полукруглое—и окна, и крыша, и спинки диванов, и элегантные плафоны, и подлокотники кресел. Они пахли голубым лаком; в тамбурах, напоминавших вход в порядочный отель, призывно светили тёмно-медовым светом выпуклые лампы. По случаю были взяты билеты во второй класс. Легко и невесомо, словно сторонне, поезд понёс их в пригороды вдоль всё той же оранжевой черепицы крыши; вскоре они и вовсе перестали замечать дорогу.

Они были очень рады предвкушению ожидающих впечатлений, да и очень увлечены были друг другом. Молодые люди надели костюмы для пикника и шляпы в тирольском стиле, а девушки нарядились в длинные платья и кофты под крестьянок—правда, скорее, не настоящих, а словно из спектакля театра драмы. По перрону они шли со своими ухажёрами под руку—в те времена для того, чтобы взять порядочную девушку за руку или за талию, требовалось немало поухаживать за ней. По дороге к поезду молодые люди чинно выпили по кружке пива, как в своё время их отцы,—у той же самой стойки и, кажется, даже у того самого буфетчика, разве что сильно, прямо-таки художественно поседевшего, с загустевшими серебряными усами, с двумя как будто прибранными белоснежными сугробами на голове. Репродуктор над буфетной стойкой вещал приятную мелодию голосом популярной всемирно певицы, которая буквально щебетала, как чувственная птица.

В дороге опрятные приветливые буфетчицы провозили по вагонам тележки со съестным и мороженым—но путешественники попросили только булочку, пару тубиков джема и по бутылке соку. «Кто же ест перед визитом к Марко?!—смеясь, восклицали парни.—Он так накормит, что живот от одного прикосновения может на части разорваться, словно передутый мяч».—«Нам бы не нужно этого»,—зажеманились девушки, пользуясь возможностью таким образом сделать акцент на своих отменно стройных фигурах, выразительно обтянутых в талии фасоном платьев, выполненных под старину. Девушки излучали изумительную румяность и нежность. Иногда они что-то сосредоточенно поправляли на одежде своих сопровождающих—в жестах их не было ещё той ласково-нарочитой небрежности,

которая отличает опытных любящих жён, однако уже присутствовала хоть и чуть застенчивая, но явная уверенность несомненных невест. «О!—захохотали парни.—Вы не удержитесь там от еды; мыслимо ли!» То и дело по вагону проходил кондуктор, похожий на метрдотеля, в тёмно-голубом мундире под цвет поезда и золотистых эмблемах, напоминавший штаб-ротмистра необычайно аккуратной выправкой, бескрайне довольный своим служебным положением. Он важно и горделиво, как диктор государственного радио зачитывает сводку правительственных сообщений, возглашал остановки—не громко и не тихо. Опустили окно; тёплое брожение воздуха весны и одновременно первая тяжёлая свежесть воздуха с приблизившихся гор, волнуясь, ворвались в вагон вместе с обнаружившимся грохотом колёс. Было необыкновенно просторно и счастливо вдыхать такой эфир, утопая в глубоких диванах, обитых лакированной кожей. Аромат в окне был необыкновенно созвучен их молодости! Девушки взяли счастливых, но солидно сдерживающих себя парней под локоть и с любопытством рассматривали надвигающиеся горы, не забывая при этом другой рукой полужаметным вскидывающим жестом укладывать на место озорную чёлку. Колёса, казалось, заколотили чаще и дружнее. Поезд понёсся по начавшемуся подъёму, не снижая скорости, с напряжённой ровностью хода; торжествующе гудели его моторы, уверенно держа высокий тон. Наконец кондуктор объявил их остановку. Они поднялись, застегнулись и, смеясь и болтая, пошли в тамбур, мягко растворяя двери с позолоченными створками. Как же быстро они доехали!

Тот же тихий пустой перрон встретил их, и всё тот же склон, под которым остро высились крыши немного разросшегося посёлка. И тот же необъятный воздух, блаженная влажная пасмурь, щедро напитанная брожениями и пученьями весны. Кругом колотили какие-то молотки, звонко лаяла собака во дворе, где обычно брали лошадь, липко и остро пахло дымными кострами, в которых жгли подсыхшую прель. Над головой в небольшом тумане гудели неслышимым гудом горы. Напряжённый ветер качал первые расцветшие одуванчики, свежую и густую до темноты траву, кудри кустарников на склоне. Они постучались во всё тот же дом и попросили лошадь, дамское седло и стремяна—им дали это за приемлемую плату. Как и всегда, лошадь поклядисто побрела вверх по тропе; то и дело не без кокетливой опаски на неё залезала то одна, то другая девушка, каждой из которых, разумеется, тщательно помогал поклонник. Они хоть и упыхались подниматься, но всю дорогу хохотали и всячески валяли дурака, с восторгом глядя на разворачивающуюся долину и близящееся облачное небо.

Вот из-за последнего козырька горы быстро открылась ограда дома Марко и крыша под тёмной черепицей. Они постояли чуть-чуть, отдышались и пошли к калитке. Лошадь с абсолютным спокойствием пару раз поклонилась и побрела домой. С радостью узнали они изрядно обветшавший, но ещё целый навес, под которым, как и всегда, ожидало их весёлое пиршество. «Поклонитесь ему от нас», — со слезинкой в глазах напутствовали отцы, и молодые люди с радостью готовились выполнить их поручение. Было очень тихо, прохладный ветер налетал с долины и шевелил траву и первую нежную листву яблонь и слив у плетня. Небо и далёкие ледники на горах затянуло равно-серым, и синева только чуть угадывалась в отдельных неясных расплывах облаков. Ни звука не раздавалось из дому (должно быть, Марко загонял скотину), разборчиво шелестела лишь несказанно яркая трава. Они постучали по сухим доскам калитки и весело окликнули: «Эгей! Эгей, Марко!»

Несколько раз пришлось им стучать, пока, наконец, на дорожке не показался из глубины двора ровно вышагивающий незнакомый человек. Увидев его, молодые люди впервые опомнились: ведь не было слышно запаха скотины! Человек подошёл к калитке. На вид был он не молод и не стар, не низок и не высок, не тучен и не тощ. Несколько одутловатое лицо его немного темно. Трудно было предположить национальность этого человека: азиатские, прямо-таки монгольские скулы и чернота волос соседствовали с острым семитским носом и кавказской чувственностью губ. Голубоватые неморгающие глаза его были совершенно славянскими, а выдвинутый на самый передний фланг подбородок навевал ассоциацию со средневековым рыцарством. Волосы его были завязаны в короткую косичку, только что входившую в моду. Он был в модных брюках в обтяжку, кедах и простецкой спортивной куртке. Человек пару раз сдержанно склонил голову в знак приветствия.

«Нам нужен Марко», — поздоровавшись, произнёс один из молодых людей. «Господин Марко больше не живёт здесь», — вежливо ответил человек глухим голосом. «Но... подождите... послушайте... он нам нужен... может быть, вы...» — «Повторяю, — держа безукоризненную стройность осанки и при этом сохраняя полную раскованность, разборчиво произнёс человек, но с такой засушенной прогорклостью в голосе, которая совершенно не располагала к продолжению разговора, — его тут больше нет. Участок и всё, что на нём находится, принадлежит мне». — «Но... вы не могли бы нам сказать, как его найти... может быть, где-то поодаль?» — «Нет, этого я сказать вам не могу, не знаю». — «Мы никак не ожидали...» И действительно, разум отказывался принимать известие о том, что Марко здесь нет. По всем

правилам Марко должен был находиться здесь всегда. Наступило молчание, во время которого человек с любопытством разглядывал из-за калитки молодёжь, наблюдая её растерянное огорчение. Он покуда не отходил от ограды. «Ну что же — пойдём?» — тихо спросила одна из девушек. Другая прошептала: «Погоди». Молодой человек, первым обратившийся к новому хозяину, поглядел пару раз исподлобья, потом отвёл глаза и тихо сказал: «Простите... мы по дороге сюда ничего не ели, потому что думали, что нас накормит Марко. А теперь, пока шли, очень проголодались на свежем воздухе. Не найдётся ли у вас что-нибудь перекусить?» — «Мы заплатим», — сказал другой, тоже вначале взглянув исподлобья. Новый хозяин дома, будучи человеком не слишком общительным, жил здесь всё-таки преимущественно отшельником и новых людей, тем более городских, что было совершенно ясно по их виду и поведению, встречал нечасто. Соблазн общения для него, хуторянина, был довольно велик, да и законы гостеприимства никто в горах пока не отменял. «Входите, — сказал он, сдвигая колодку на калитке, оставшуюся со времён Марко. — Покуда побудьте на дворе, я сейчас к вам подойду».

Молодые люди вошли на знакомый двор, пропустив девушек вперёд. Везде было аккуратно убрано, земля отчётливо исчерчена бороздами от грабелей. Тропинки между домом и двором были хорошо натоптаны и присыпаны битым кирпичом вперемешку с горными камушками. Возле мрачного зева печи и совсем завалившегося хлева бойко поднимался на пару этажей деревянный каркас какого-то возводимого строения. Бывший загон для коз весь был завален досками, рядами свежего кирпича и корытами для приготовления раствора. Двое безмолвных суровых рабочих без облика и возраста что-то копали лопатами.

«Интересно всё-таки узнать, где он...» — «Какое это теперь может иметь значение?..» — «Почему?» — «Он должен быть здесь и только здесь. Нельзя представить его себе в другом месте», — тихо переговаривались молодые люди.

Темнело и холодало, облака густели и опускались, зелень леса и травы на горах становилась серой. Далеко наверху отрешённого каменел хрусталь ледников. Девушки запахнулись в платки. Они подошли к плетню и глядели на прекрасный вид долины и склонов гор с луговыми отсверками. Но и тут обнаруживались большие изменения: от черепичной россыпи посёлка, поверх которого всё так же глядела в небеса глава старой церкви с медным шпилем и крестами, тянулся вверх по самой пологой части склона горы рядок аккуратных металлических столбов, похожих на фонари. Тут и там стояли строительные вагончики, лежали громадные барабаны с толстой проволокой и кабелем. Вдруг резко затарахтел на всю долину

какой-то компрессор или трактор. Рабочие на вершине склона буквально в миле от них оживлённо монтировали на фундаменте очередной столб. Это было невероятно: горы всегда представляли недосыгаемыми, чуть ли не волшебными, а теперь всё это оказывалось доступным, пешеходным. Можно было разглядеть на верху столба перекладину и металлическое колёсико.

«Здесь строится горнолыжный курорт европейского, а быть может, и мирового значения,— пояснил новый хозяин дома, бесшумно подошедший к ним.— Видите— вот это рабочие прокладывают канатную дорогу, а может, даже и фуникулёр. Говорят, подъёмную машину прилетит опускать вертолёт— вот бы посмотреть. Там, наверху, где кончаются столбы, скоро построят большой отель и кемпинги. Но их всё равно там на всех не хватит, нет места, поэтому много туристов будет селиться по таким ранчо, как моё. Видите— вот уже идёт от моего дома туда дорожка, я специально сам натоптал её. Сейчас делаю капитальный ремонт и скоро открою тут маленькую гостиницу и трактир». Как все люди, живущие отшельнически, он очень скоро забыл о своей чопорности и довольно охотно болтал с гостями, хотя с сохранением солидной назидательности. Странно звучало в тишине гор, как рабочие громко переговаривались и хохотали. Радиоприёмник с ближнего вагончика доносил крикливое мяуканье какого-то безутешно счастливого дискленда. «Я предложу вам сыр, жареную колбасу и кофе,— сказал новый хозяин дома.— Много платить не придётся. Кстати, ближе к вечеру, если захотите, можете сходить во-о-он туда, в здание правления стройки, там у них есть кафе и небольшой клуб, сможете выпить ликёра и станцевать буги-вуги». Молодые люди молча рассматривали пейзаж и стройку. «Располагайтесь вот здесь,— хозяин указал на стол под навесом, за которым происходили пиршества с Марко,— больше пока нигде. Через несколько минут я принесу вам поесть». Он уже, пожалуй, и не хотел, чтобы они уходили.

Молодые люди прошли через милый рядок начинавших зацветать яблонь и слив. Постояв перед навесом, они вошли в дом и осторожно заглянули в горницу. «Вот здесь он принимал нас. А здесь висело фото его отца и затем матушки. Матушка у него умерла, всю кровь солдатам отдала»,— наконец, сказал один из молодых людей девушкам, показав на пустую стену. «Располагайтесь, располагайтесь смелее,— почти приветливо позвал новый хозяин со двора.— Я уже несу всё». Он быстро разбросал по столу тарелки и ложки, поставил блюдо с хлебом. «Вы чем-то огорчены? Мне известно, что

прежний хозяин дома был довольно именитый человек, о нём, говорят, даже в городе знают. Вы близко знакомы с ним? Он, кажется, был знахарь? И ещё я слышал, что этот человек хорошо пел и плясал?»— спросил он гостей, увидев, что они не садятся за стол и с грустью оглядывают старые деревянные столбы и стены. «Да, мы его знали с детства».— «Это тот самый навес, под которым...»— произносили молодые люди отдельные слова.

Новый хозяин направился на кухню и там, шевеля четырежды согнутую щёлкающую колбасу на сковородке, вдруг сильно задумался. «Тот самый навес... тот самый...»— шептал он. Озарение догадки вдруг охватило его тёмное лицо, и он воскликнул, обращаясь сам к себе: «А я ведь хотел уже сносить его! Как же хорошо, что не успел! Это будет именно тот самый навес. Одним только этим я привлеку к себе на тридцать— нет, на пятьдесят процентов гостей больше! Немного подправить столбы, где совсем криво, ошкурить, тонко обдать лаком, сохранив при этом всю аутентичность,— и пожалуйста, господа, под тот самый навес! Наряженный Марко будет встречать вас в народном костюме. Я найму для этого какого-нибудь деревенского бездельника за ничтожную плату. На отдельный столик положим цимбалы, они— надо же!— лежат, пылятся в доме, я хотел снести их в музыкальный магазин и отдать за гроши. Идиот! Цимбалы мы отгородим верёвкой и будем выдавать за бесценный экспонат и неслыханную редкость. Непременно неслыханную!— ха-ха!— а кто что знает? Меню— соответственное. Никаких излишеств— всё деревенское, то самое! И повара лишнего держать не надо для салатов и десерта. Поставим на полках старую посуду— её тут в доме полно, я, сумасшедший, чуть не выкинул все эти огромные сковороды и чаши, какие-то нелепые плоски, расписанные цветками и петухами! Старо как мир— но, главное, завлекательно и вообще совершенно то, что нужно!» Он не забывал при этом аккуратно перекладывать лопаткой стрелявшую, как пулёмёт короткими очередями, колбасу с боку на бок, а затем ловко перебрал её на блюдо, не уронив и капли жира на пол. «Стоп!— воскликнул он и чуть не упустил из рук блюдо с колбасой.— А я, оказывается, не так уж глуп. Я даже знаю, как назову свою таверну»,— с силой прошептал он, и тёмное лицо его счастливо озарилось в полумраке, как от близкого факела у пирата, отыскавшего клад. Крупные зубы сверкнули всполохом счастья; он поднял палец и, дикарски полая глазами, словно раздутыми угольями, с яростью восхищения произнёс: «Она будет называться так: „Ньет отробе канса!“— „Нет родины без песни!“»

Анатолий Грешилов

Последний день вакаций

Странствия Секундино

Его бывший сокурсник, ангольский негр Антонио, так и не приновился к гололёду. Раз или два за зиму, а бывало и чаще, он и сам падал на скользком тротуаре. Вставал, стряхивая вместе со снегом нечто накопившееся и лишнее. Вот грядёт вторая зима в Сибири, а он ещё ни разу не распластался. Так помыслил Леонид на крыльце мужского общежития и, тут же позабыв, широко зашагал по первой позёмке.

Под уличными часами, показывающими семь сорок, вошёл в хмурое здание с декоративным аттиком. Улыбнулся вооружённому часовому, напевающему что-то тягучее, и побрёл на свой этаж. Караульный буркнул:

— Этот всегда лыбится, когда пропуск кажет.

— Они все поначалу улыбаются. Маладой, нэ привык ещё, — снисходительно отвечал старослужащий, продолжая мысленно сочинять ответ на недавнее странное письмо от зазнобы из далёкого аула и не решаясь поделиться с напарником утренней загадкой: куда подевались его пронумерованные казарменные тапочки и полотенце «Н» (для ног), висевшее, как положено, на нижней перекладине кровати спинки?

— Чудэс.

Когда начальник бывал зол или сосредоточен, кожа на его моложавом лице будто натягивалась на невидимом проволочном каркасе. Несколько дней назад с таким лицом он отбыл в командировку, поручив своему заму Фоке регулярно и ежедневно кормить кота Базилио, остававшегося в холостяцкой квартире.

Сегодня Фока опять явился с влажными глазами и в офицерских сапогах, надеваемых в редкие вылазки на «объект». Неприкаянно потоптался по комнате. Скользнул взглядом по Лениным бумагам и заверил:

— Нормальный ход.

Воздев щетинистый, обычно гладкий, как яблоко, подбородок, бросил в пространство:

— Я на объект!

Вышел, твёрдо ступая на каблуки. Женщины понимающе переглянулись, качнув над кульманами входящими в моду вавилонями «тюльпан».

После обеда неожиданно вернулся начальник. Сев в свой угол за сейфом, быстро писал.

Наверное, отчёт. Заметно выпирал проволочный каркас.

Распахнулась дверь, впуская вальяжно врывающегося Фоку.

— Ку-ку!

Сотрудница, сидевшая напротив двери, не улыбувшись в ответ, кивнула на сейф. Фока встряхнулся, вытянулся, решительно шагнул на середину комнаты:

— Привет, старик! Ты уже вернулся?

— Угу. С объекта? Как там мой кот?

— Кардинально! Две котлеты в день!

— М... да? Даже две? Так почему ж он плитуса погрыз?

Фока взметнул кустистые брови, крупно наморщил угреватый лоб, изображая выпученными глазами крайнюю степень изумления:

— Не знаю, старик!

Не стуча каблуками, сел за свой стол, оставив на полу неопрятные кляксы.

После сообщения по радио об успешном продолжении полёта космической станции в курилку заглянул Фока. С видом заговорщика кольнул Ленино ухо:

— Был звонок, завтра едешь вот по этому адресу. Я толком не понял, какой-то учётный стол, что-то про постановку на учёт к пятнадцати часам. Возьми паспорт и военный билет.

Когда пассажиры междугородного автобуса, обменяв картонные пропуска на алюминиевые жетоны с выбитыми цифрами, миновали домик КПП, низкое солнце искрило свежий ночной снежок на затейливых крышах пригородных садовых домиков и хрустальные куржаки придорожных тополей, а ветер свободы волновал подол енисейского тумана, цеплявшийся за колючий заиндевший «периметр».

От вокзала до центра решил прогуляться пешком, отметив, что из сонного утра своего городка, проехав всего-то несколько десятков километров, оказался на сухом асфальте без следов снежной крупы, обдуваемый чужим непрерывным ветром, от которого на мерцающем солнце слезятся глаза. Спешат по делам немногочисленные прохожие. Леониду немного совестно и непривычно фланировать вот так, без цели, мимо запылившихся за

лето витрин полупустых в рабочие часы магазинов. Оглядываясь на своё отражение, не раз замечал в стороне одну и ту же серую фигурку. Неожиданная, странная и новая для Лёни мысль—купить цветы женщинам-коллегам по работе—и твёрдая уверенность, что это неспроста, заставили повернуть за угол.

Вот сквер, а вот киоск. Рядом с ним в сухих молочных бутылках открыто стоят яркие жёлтые, белые, красные букеты!

— Красавец, это то, что ты ищешь,—услышал голос ниоткуда и, не разбираясь в других цветах, уверенно уложил на дно сумки узнаваемые ярко-красные розы на стройных зелёных стеблях, завернув в любезно одолженную газету.

Слышал от кого-то, что сибирские цветы не пахнут, поэтому безмолвную ухмылку темноглазой цветочницы на его вопрос: «Почему не пахнут?»—воспринял как исчерпывающий ответ: «А то сам не знаешь».

Вернувшись на проспект и продолжив променады, вскоре внял приглашению рисованного от руки плаката на открытие выставки пленэрной живописи, устроенной внутри недействующего собора. Пожилая билетёрша велела снять шапку. Да он и сам бы снял своего «зайца». Народу было неожиданно много. Выделялись молодые люди, похожие на студентов,—и все с чёрными бабочками. Людской глухой говор не заглушал ксилофонное пиано густой капели под худой крышей в алтаре, где стояли тут и там мятые жестяные и совсем новые эмалированные вёдра. Лёню заинтересовали старые фотографии начала века, подкрашенные чаем. Узнал городскую панораму набережной. Прошлой осенью пил пиво с Валентином вон на том крутом склоне, на тёплой лавке у деревянного домика, похожего на будку путевого обходчика. А там, через дорогу, когда-то были купеческие конюшни, и навоз свозили как раз на этот склон. Кто-то дунул в затылок и пропел фальшиво:

На заветной скамье я не встречу уж больше рассвета,
И записки о встрече я твоей не прочту.

— Валентин! Во совпадение! И ты тут.

— Они все,—Валентин ткнул большой палец за ухо,—мои знакомые, божьего! Приглашают отметить. Если временем располагаешь...

Не ожидая ответа, повернулся к странному рыжему балахону-пончо:

— А где ваши картины? Хочу насладиться.

— У меня пока только раскраски, вон там,—девушка с большим бантом на хвосте близоруко щурилась, устремив прямые ресницы в сторону жестяной капели и обнажив передние заячьи зубы с заметной щербинкой посередине.

Спустились по какой-то улице, издали провожаемые уже знакомой серой фигуркой. За мостом,

в магазинчике без окон, присевшем на перепутье, купили несколько бутылок водки и хлеба. Лёня заикнулся было о закуске, но некто высокий успокоил:

— Всё же есть. Лук, сало, картошка.

— А чеснок?

Леонид поддался общему смешливому настроению, словно в ожидании забавного праздника. Солнце слепило, будто ранней весной, а не поздней осенью. Бывают осенью дни, очень похожие на весенние. Что-то мерцает в бездонной сини. Капля из облака или нерастающая градинка? Всхлипывал рыжеватый грунт переулка, подсовывая под войлочный ботинок округлые камушки: «Ну-ка, двинь-ка!»

Убогие строения «Шанхая» казались декорациями забавного спектакля с актёрами в бабочках. Пока ещё не решил, быть ему актёром или зрителем. Держа сумку так, чтобы бутылки не помяли цветы, распахнул демисезонное пальто и уже не застёгивал до самого места.

Широкий, но без огорода, двор ощутимым уклоном подтолкнул к фамильярно ударявшей по пяткам и спицам двери деревянного домика без цоколя и крыльца со странно изогнутыми, будто татарские сабли, сосульками под низким карнизом. Пол внутри тоже с уклоном; луковица, скатившись со стола, навсегда исчезла под железными ножками-костылями одной из четырёх коек.

Пока медленно растапливалась печь и чистилась картошка, опорожнили бутылку и открыли другую.

Сидевший напротив, в неумело заглаженном до блеска пиджаке, так что отпечатались кругляшки монет, не вытащенные при глажке из кармана, вяло, будто раздавая карты перед возобновляемой игрой, заговорил о кубизме. Прервав монолог, длинный привычно возразил:

— Начальные экзерсисы по курсу начертательной геометрии, простые объёмы без смысла и символов.

Включившись в игру, разом загалдели все. Лёня, разомлевший от жара близкой печи, добросовестно выслушивал спорящих, неизменно соглашаясь с доводами последнего, допуская всё же, что неуловимая истина где-то в середине или вообще в другой системе координат.

Голоса всё громче, а речь—чеканнее и короче: — Виброцвет! В абстрактном искусстве отсутствует образ, поэтому оно и безобразно!

— Твой соцреализм—кровосмесительный плод революционного авангардизма, совокупившегося с академической реакционностью!

— Да! Я за вооружённый нейтралитет формы и содержания, но не за квазиединство формы и функции!

Нелестно упомянув некоего мэтра, «вытершего кисти о холст» и выставившего на обозрение, заговорили о литературе.

В беседу вдруг вторгся угрюмо и, казалось, благоговейно молчавший доселе Валентин:

— Люди и женщины! А нельзя ли базлать как-то попонятнее, а то я в замешательстве. Конечно, холсты испещрив, можно поизображать из себя ван-гогов. Объясните сиволапому, какого... и какие такие первоисточники. Или вот о «священной корове постмодернизма», момент, я шас...

Давя ноги рядом сидевшим, вывалился наружу вслед за ржым пинчо.

— Будем считать реплику этого альфа-самца первой записью в книге отзывов на нашу выставку, — длинный снял через голову бабочку и бросил за спину. — Какой он, на хрен, русский писатель? Это европейский миф! Им так удобно — представлять нас его рефлектирующими героями. Если мы так-вы, с их точки зрения, — многое объяснимо. А как ещё можно управлять его героями, говорят они, оправдывая тиранизм культа личности.

— Оставьте Федьку в покое, поиски истины о добре и зле интернациональны.

— А вы тоже — окопались там в своём «ящике»...

— О каком ящике речь?

— Наверное, Пандоры.

Хорошие ребята эти художники, думал Леонид, неуверенно скользя по подмёрзшему тротуару, вытирая платком остатки блевотины на подбородке, щупая щёку, которую длиннорукий визави нечаянно в споре небольно ткнул алюминиевой вилкой, и вспоминая сидевшую наискосок девушку с горизонтальными короткими бровями над удивительными глазами и самодельным бархатным ободком в волосах. Досадно, но так и не решился перемолвиться.

Вновь объявившаяся серая фигурка, теперь уже впереди, нырнула в двухэтажное здание. Судя по номеру на деревянной стене, и ему туда же. Навстречу из приоткрытой двери прямо на тротуар выплыла женщина в накинутах на бугристые плечи пальто.

— Молодой человек, помогите — замок заело.

Молодой человек снисходительно хмыкнул, зацепился карманом за дверную ручку, смело и пружинисто ступая, мигом одолел пригласительный марш мокрой и пахнущей хлоркой деревянной лестницы. Успев заметить в причёске чёрную ленту, что почему-то всегда нравилось и волновало его, с силой крутанул плоскую бронзовую головку ключа, торчащего из двери, ожидая тугое скрипучее сопротивление заржавленного механизма. Ключ не повернулся, но незапертая дверь с номером «11» отворилась без толчка, явив широкую комнату с домашней мебелью. В простенке двух маленьких

окон — трельяж с тумбой и настенные часы, показывающие ровно три.

— Это кабинет номер одиннадцать?

Голубоглазый, восседавший за круглым столом, откинулся на скрипнувшую спинку стула:

— Почему вас по «кремлёвке» вызвали? А где ваш багаж? Да вы рассланитесь. Надеюсь, уже адекватны после застолья?

— Багаж? Мне никто ничего про то не говорил...

— Мы уже доложили в Центр о вашем убытии нашим бортом, — голубоглазый взглянул на часы. — Точка невозврата — семнадцать сорок. Мы только выполняем распоряжение по линии нашего ведомства о незамедлительном прибытии имярека. А в столице встретят. Вот шпаргалка на всякий пожарный.

Лёня стремительно и панически трезвел, слушая бред незнакомца.

Он уже подался назад, намереваясь сбежать, но тут в зеркале одновременно отразились хозяйка и знакомая фигурка, вышедшие из соседней комнаты и ставшие за спиной.

— Чай, кофе?

— Время ещё есть, — добавил его «проводящий», потирая ладошки. — Та ты ни паникуй. На службе оформят как командировку на курсы. Развеисси. — У меня же сроки по работе на носу, кандидатский минимум, потом эта... как её... да и вообще... что за ахинея?! Может, потом как-нибудь?

В пустом депутатском зале — изысканный аромат трубочного «золотого руна», оставленный спутниками генерала, которых только что увели на посадку.

Через сумеречный витраж видна их вереница, бредущая, будто по минному полю, по следам стюардессы, повторяя все её зигзаги. На долгие звонки в дверь со стороны общего зала ожидания никто не подходит, дежурная куда-то отлучилась. Леонид вернул цветастое издание с фотографиями, переданными станцией «Венера-10», на журнальный столик, с трудом высвободился из объятий тучного кресла и, уже почти ничему не удивляясь, впустил в помещение для vip-персон совершенно пьяного Валентина.

Вбежала дежурная, не закрывая за собой дверь:

— А вы что же?! Бегом за ними, шибче, шибче!

И заковыляли приятели, гонимые чьей-то неведомой неумолимой волей, сталкиваясь и разбегаясь, глотая матерящимися ртами ранние невинные снежинки.

Москва умывала гостей в утренних сумерках мелким освежающим дождиком-невидимкой. Ориентируясь от метро по записке голубоглазого, легко вышли на нужное ампириное здание и торцевой подъезд с резной дубовой дверью. Туда

и направились, немного помыкавшись в скверике вблизи Третьяковки под голым деревом и расчавшись одной расчёской.

Гостиница, куда получили направление, мимикрировала в обычной жилой высотке, за обыкновенной дверью с очередным квартирным номером. Вошедшему предстаёт длиннющий коридор с ковровой дорожкой и дверями по сторонам.

У схемы метро — полнеющий крепыш с фанатным хвостиком на затылке и полотенцем на плече. Футболка в широкую жёлтую полоску делает похожим на шмеля одноклассника Петьку, на частых студенческих пирушках неизменно исполнявшего на своём баяне «На заветной скамье» и распределённого после диплома в Минск.

Вот уж тополь отцвёл — белым пухом осыпался с веток, заметил дорогу, запорошил тропу.

— О, и ты тут. И ты!

— Вся пятьсот первая комната в сборе. Ещё бы Антонио сюда — и полный комплект. Заметили, здесь у нашего номера тоже номер пятьсот один? — Не к добру это.

В «уютном» номере на четверых на стене у шкафа — радио, под ним две розетки — для радио и электрическая. Над последней — крупная табличка с жирными буквами: «Радио в электророзетку не включать!»

— Какой дурак будет включать радио в электросеть?

Позже вошёл без стука (а может, и стучал, да только шумели за столом) некто, назвавшийся Куратором. Предложил знакомиться с Москвой, начав с Мавзолея, пока решается, к какому ведомству их прикомандировать. Велел всем посетить стоматолога. Говорил что-то о прививках, правилах профилактики, пообещал провести какой-то инструктаж, рекомендовал мыть на ночь ноги холодной водой. Уходя, окинул взглядом каждого, задержавшись на Петькиной причёске. Потом он исчез, оставив в памяти гладкое фарфоровое лицо, чёрные, будто крашенные, волосы и неестественно чистые белки глаз. Кто это был, осталось загадкой. Да и человек ли это был?

После первых экскурсий Валентин в разгар крамольных споров издавал предостерегающий звук, подражая офицеру из Мавзолея на площадке лестницы, ведущей посетителей вниз, чья служба состояла, видимо, в том, чтобы через короткие одинаковые интервалы времени в гробовой тишине резко синуть по-змеиному: «Тсссс...»

Прошло несколько вальжных дней блаженного отсутствия мыслей и обмена липкими взглядами с горничной Полиной. Вынужденное безделье пугало опасением, что потом за это придётся отчитаться или долго оправдываться. Как-то в

разгар застолья пригласили дам из соседнего номера. Так вышло, что Леонид остался наедине с «девушкой с веслом». Так назвал он про себя крупную белокожую спортсменку, походившую на алебастровую парковую скульптуру.

«Мысли она читает, что ли?» — подумал он, когда услышал:

— Ломай меня, как весло.

Наконец с ними определились, прикомандировав к в/ч 44708 (10-е Главное управление Генштаба ВС СССР). В «десятке», пестрящей генеральскими лампасами, кадровик, почему-то в штатском, ознакомил с распоряжением прибыть в Ташкент, в п/я 1380, к майору с двойной фамилией.

— А Ташкент — это где?

— Чем юморить, лучше кипятильником и тушёной в Москве запаситесь. Не в двухсотой секции гума, конечно. Рекомендую кооппродмаг по пути от театра Красной Армии напрямик к метро или наоборот.

Выключатель радио не работал, и поэтому на ночь приходилось выдёргивать вилку. Утром в день отъезда Лёня, включая радио, перепутал розетки. В недрах чёрной пластмассовой коробки что-то пыхнуло и, неестественно чётко выдохнув короткое злое ругательство, смолкло навеки.

— Вот это мастодонт! — Леонид подумал вслух, когда их с толпой смуглых студентов-регбистов (так они себя называли), явно не соблюдавших спортивный режим и говорящих с акцентом, по бетонному полю аэродрома Ташкентского самолётостроительного завода подвели к гиганту с пятиэтажным дом. Во всеядное квадратное хайлице под двухкилевым хвостом «Антея» (Ан-22) загоняли армейские «Уралы» с зачехлённым кубом на месте кузова. Друзья переглянулись.

— БМ-21?

— Она самая, сорок стволов.

Реактивная установка залпового огня «Град» была знакома лейтенантам запаса, и не только в теории (три года военной кафедры в институте и летние сборы). Сопровождавший майор махнул рукой: — Идите к носу в кубрик на нижней палубе.

— Что он сказал?

Наконец два десятка пассажиров разместились в трёх небольших герметичных пассажирских отсеках, на верхнем этаже рядом с кабиной лётчиков и на нижнем — с кабиной штурмана. Скороговорный майор Виталий поведал что-то о люке спасательного плота и о правилах аварийного покидания по наклонному тоннелю. События развивались по какому-то изуверскому сценарию при полном отсутствии понимания смысла происходящего.

— Ну хоть кто-нибудь объяснит мне, что происходит в последнее время?

Сосед-регбист, выглядевший старше остальных, протянул стакан:

— Пссс... я Алик, вообще-то я... (не расслышал, то ли Альфред, то ли Альфонсо, а может, даже и Адольфо). Не говори при летунах — «последний», только — «крайний». Согласись.

Валентин тоже смочил глотку и возопил:

— А всё-таки зачем я здесь и куда это вы все?!

В ответ хохотнули:

— «Советико» больше не наливать!

В Алжире после дозаправки долго не выпускали на взлётную полосу. Путешественники опасались досмотра набитого боевой техникой и боеприпасами самолёта. Если местная таможня поднимется на борт, все будут арестованы за контрабанду оружия и остатки дней проведут в местных подземных казематах.

— Транзи не досматрива, — убеждал себя майор Виталий, от волнения глотая окончания слов.

На борту туалета не было. Когда в очередной раз выходили «под крыло», хмельной Валентин повздорил с густобровым, с ослепительной улыбкой, красавцем Рафаэлем. Даже успели обменяться толчками в плечо. Но вот проскрипели английская речь диспетчера, предвещающая скорый взлёт, и ответ «goget». Под рёв двигателей Алик поведал, что все они — кубинские добровольцы, проходившие подготовку в Крыму, в учебном центре «Перевальный», и направляются в бывшую португальскую колонию на помощь ангольской революции и её лидеру Агостиньо Нето.

Потом туго сцепил указательные пальцы рук: — Валентино! Русский и кубинец — дружба навек. Согласись.

Позже поведал, что в Африке личные имена табуированы. Духи, узнав настоящее имя, — заберут душу.

Для общения и вообще «для атмосферы» решили сменить имена на испанские. Выбирая на слух из перечисляемых Аликом, Валентин после долгих метаний перевоплотился в Амброзио, Леонид стал Секундино, а Педро логично сменил Петра.

Весь полёт сопровождаемые американским истребителем, после двух посадок на дозаправку, через сорок минут после пересечения экватора с погашенными бортовыми огнями, чтобы не заметили в ночи садящийся самолёт и не обстреляли с другого берега реки Конго, из Киншасы (Заир), мягко приземлились в аэропорту Браззавиля (Конго). Неловко ступая под чёрным небом с неузнаваемыми аляповатыми звёздами, несентиментальному Секундино хотелось благодарно прикоснуться к швам и заклёпкам летающего исполина с двойными винтами. Память долго хранила его бортовое имя: «СССР-09334» (с 1987 года — в экспозиции

музея ВВС в Монино). Всех прибывших провели в дальний ангар военные в опереточной форме: высоченные туфли с длинными козырьками, малиновые рубашки и зелёные брюки.

Жёлтые брезентовые мокасины под зелёными обшлагами здесь, в этой парилке, неоспоримо уместнее войлочных ботинок, которые Секундино брезгливо выбросил бы, но не Лёня. Тот на какое-то время вначале впредсволил бы в спортивную сумку, набитую тушёной.

Некто, въехав в ангар на помятом алюминиевом «лендровере» без верха, с громко играющей «Спидолой» на сиденье, на чистом русском велел экипажу прекратить разгрузку и доставить спецгруз и сопровождающих в ближайший на побережье порт Пуэнт-Нуар. Там ждёт кубинское судно «La Plata» до Сан-Паулы (Сан-Паула-ди-Луанда, она же Луанда). Моложавый, но с проседью подполковник хмуро возражал. Мол, ты, тёзка, сам знаешь, тамошняя полоса не рассчитана на приём сверхтяжей. И прошлый раз, облегчая вес, пришлось доставлять по одной установке в четыре рейса. А если надо в Луанду, то почему не сразу в эту Луанду? Там условия идеальные, две полосы, осевая подсвечивается ночью, и даже космические многоразовики садятся.

— Борис Петрович, Центр категорически против. С Анголой нет официоза, и до одиннадцатого ноября по решению ООН она — суверенная территория Португалии, а та входит в НАТО. А ещё учти канун заключения договора ОСВ-2. В конце полосы стоят два кубинских танка. Если она окажется короткой, самолёт вытащат из грунта.

Бугор (как мысленно обозвал незнакомца Секундино) вдруг поманил к себе:

— Не забыли мои приёмы?

— ?

— И как на велосипеде записки от Томи возили?

Секундино ахнул. Ну конечно, это же тот давнишний ухажёр старшей сестры, служивший тогда в «конторе» (КГБ). А он, пятнадцатилетний оболтус, был у них «амурным почтальоном». И однажды попросил показать ему приёмы борьбы, желательно болевые. На что Борис взял его за средний палец и, сгибая в обратную сторону, поставил на колени: «Все болевые приёмы — движение, обратное естественному. Запомни этот женский приём, и с тебя будет достаточно».

Леонид надолго затаил в себе обиду. Не за то, что стоял на коленях, а за то, что сравнили с женщиной.

Ночью в Африке, в удушливой жаре ангара, набитого африканскими комарами, впивающимися на лету, как хищные птицы, не имея ни малейшего понятия о смысле своего здесь пребывания, неожиданно встретить земляка, который тут всеми командует и наверняка в курсе всего, — это ли не удача?!

— Я тружусь в посольстве. По шифротелеграмме ваша миссия и статус не указаны, но вменено обеспечить прибытие в Луанду. Она в осаде проамериканских сил, и если бы не кубинские волонтеры... Да вы по новостям и газетам и сами всё знаете. Исход гражданской войны будет ясен на днях. И какого... вам-то там?

— Смешно, но у нас тот же вопрос и в тех же выражениях. Так это вы должны были (Секундино назвал фамилию) встретить нас?

Инструктаж Бориса: воюют за власть три партии. Социалистической ориентации — мпла Агостиньо Нето, поощряемое нами. Другие две патронируют США, юАР и Заир.

Это руководимые в основном неграми уНИТА (лидер — Савимби) и ФНЛА Холдена Роберто. Названия и лозунги у всех трёх звучат одинаково. Каждый пятый комар — малярийный. «Делагил» не помогает. Одолжу «Камохин». Шестнадцать таблеток по схеме, если что.

— А ноги мыть на ночь холодной водой?

— Что-что? Да, и муха це-це.

Так же, без огней, приземлились один за другим два борта. Это кубинский батальон особого назначения, изображая загоравших на Карибах отпускников, направляется в Луанду для спасения пассионарной столицы, получив разрешение на посадку у португальского специального представителя через его приятеля, ангольского командира Сето. Борис, с его слов, лично знавший и Сето, и португальца, разрешил экипажу «Антея» с пятнадцатиминутным перерывом вырубать на взлёт вслед за «отпускниками».

В Луанде шёл проливной ночной дождь. Самолёт разгружался у ангара военно-воздушной базы №9. Команданте Гондин переодел прибывших в серо-зелёную камуфляжную униформу с ярлыками «FAPLA» (Народные вооружённые силы освобождения Анголы) без знаков различия и удобные высокие хромачи. Всем раздали оружие и снаряжение без ограничений. Из головных уборов на выбор — берет, военная кепка или тропическая панама. Желаящим — чёрные очки, сигареты «Лигерос», сигары, репеллент и даже маскировочный грим. И уж вовсе странный атрибут — нашейные платки, как у киношных кабалеро. Кроме АК с подсумком и тремя магазинами, Секундино прихватил два пм, причём один в потаённой кобуре для ношения под мышкой.

Узнав от толмача Алика, что на два кубинских экипажа приходится четыре установки залпового огня, без колебаний велели перевести команданте просьбу о назначении их отдельным расчётом. По распоряжению майора Гондина советские «асессоры» в составе батареи из трёх «Градов» убыли на заранее подготовленные позиции где-то в семи километрах от Кифангондо. Кому быть командиром

расчёта, кому крутить пусковое, а кому рулить, предложено было определиться самим.

Без прелюдий кончилась ночь, будто раздвинули шторы над красными холмами. Чёрное превратилось в золотое, золотое в красное, и грянул день. На пути к казармам Гран-Фарни водитель Секундино выжимал на пятой из «Урала-375» все его девяносто. Три глотки покрывали рёв восьмицилиндрового двигателя:

Полюбил тебя тот, может, старше, а может, моложе,

Полюбил тебя крепче и нежнее, чем я.

Только образ твой милый мне по-прежнему душу тревожит,
И волнует мне память этот сад и скамья.

Холмы Кифангондо застывшими волнами скаываются в просторную долину, перечёркнутую крест-накрест тугим луком реки Бонго и стрелой шоссе, нацеленной из Кашито на Луанду. В пересечении — автомобильный мост. Горизонт правого берега пухнет возвышенностью Кал, откуда бұхает дальнобойная заировская батарея. Из-за хорошо видимых в бинокль строений фазенды с высоченными плантациями банановой травы ртутными шариками выкатывается дюжина по-французски элегантных бронеавтомобилей «Панар», сопровождаемых «лендроверами» с установленными на них безоткатными орудиями вместо верха. Под прикрытием лёгкой бронетехники колонна из ангольской пехоты Холдена Роберто, португальских наёмников и заирских батальонов заполняет всю ширину двухпутной дороги и обширных пропашин обеих обочин до самых болот.

Если наступающие перейдут реку (последний этап операции «Саванна») — дорога на столицу для них будет открыта, и тогда над Луандой взвощётся флаг с тропическим галу негру (чёрным петухом) на фоне восходящего солнца, взамен перекрещенных мачете и шестерни.

Бомбы, сброшенные ширококрылым фронтовым бомбардировщиком ВВС юАР «Канберра» над левым берегом с полнопрофильными окопами обороняющихся фаппловцев и двух сотен «компаньерос кубанос», упали далеко от цели, высоко взметнув обширную топь, кишащую крокодилами. Рвутся мины, вспахивая землю в форме морских звёзд, и снаряды, оставляющие округлые воронки.

В сизом дыму, окутавшем редколесье у фланговых окопов, мелькнули согбенные силуэты бегущих с поля боя и пропадающих за редкими неохватными стволами недавно по-летнему зазеленевших «лимонадных» деревьев (баобабы). Когда четыре непробиваемых колеса передового «Панара» с 90-миллиметровой пушкой уже приблизились к береговым устоям моста, вдруг разгневалось небо и наполнилось воющим роем смертоносных пылающих игл, вмиг покрывших

всю ширь правобережной равнины сплошным ковром разрывов под усиливающиеся раскаты грома. Вскипает красная ангольская земля (не из этой ли почвы сотворён Адам — «красный человек» по-еврейски?) проснувшимся вулканом, дыбятся терракотовыми клубами над саванной, гася нещадное солнце Чёрного континента. Колонна наступающих войск стала идеальной мишенью для падающих вдоль дороги сильно вытянутым эллипсом ракетных 122-миллиметровых снарядов.

Через несколько минут после полного первого залпа по квадрату установки покинули временный огневой рубеж. У поляны пункта перезарядки прибывшие для заряжания ангольские бойцы в заговорённых ожерельях и браслетах в ожидании техники разбрелись, стреляя птиц из «фишек» (рогатов) и отлавливая змей на пропитание.

— Слушай мою команду! — заорал командир третьего расчёта Амброзио, метнув мокрую от пота панаму на рогатый крюк бампера, опутанного травой и цветами. — Салабоны! Все ко мне, мать вашу! Делай как я!

Он откинул брезент с долговязых ящиков.

— Пустые складывать «лесенкой», так с них будет удобно заряжать!

Солдаты виновато переглядывались, толпясь за статичным офицером в белых перчатках.

— Они языка ни хрена не понимают!

— Я переводить! — послышался голос со знакомыми интонациями. — А где Петка? Я его тоже заказал. — Антон! Ты здесь, дома, в Анголе?! А говорили — где-то в Союзе оставался.

Кто-то крикнул:

— Авьяу! Авьяу! (Самолёт!) *Puta que pariu (norm. ругат.)!*

Совсем близко рвануло. Так близко, что заложило уши, и оттого не слышен последовавший за взрывом гул самолёта, свист, ввики и шлепки осколков. Все инстинктивно плюхнулись наземь. Напуганное стадо зебр беззвучно миновало поляну, обгоняемое некими существами, похожими на собак, но с копытами. На смену раскалённому воздуху с песком и запахом гари качнулся и поплыл не сухой и неверный, а плотный и осязаемый, будто где-то тяжело вздохнула дальняя, иная природа совсем не здешних мест своим грустным мыслям. Возник леденящий юго-западный ветер с морозящим дождём над крутым качинским берегом, творящий бивнеобразные сосульки под карнизом домика без цоколя. Зрительная память вернула короткие горизонтальные ниточки бровей над прозрачно-синими зрачками цвета известковой побелки с малым добавлением синьки, которой мать каждое лето «освежала» стены в доме. Встретился с этим взглядом всего лишь на миг, но смутное предчувствие неотвратимости чего-то обоюдного, что предначертано и достигнет помимо

воли и желания, заставит сопутствовать и соперничать, ломая планы, привычки и даже, страшно сказать, убеждения, обратилось в уверенность и обуяло страхом: «К этому я ещё не готов, пусть это будет потом как-нибудь, не сейчас».

Перевёрнутым отражением кривых сосулёк — наклонные пальмы рядом с лачугами у окраин верхнего города чужой столицы, выросшие под устойчиво дующим океанским пассатом.

Заряжающие, понукаемые экипажами, забегали у забрызганных грязью платформ. На земле остались лежать ангольский первый лейтенант (старший лейтенант) в неуместно белых перчатках и Амброзио. Антонио, примчавшийся только что на бронетранспортёре, сидел возле них на корточках, распирая узкие джинсы плотными ляжками.

Снарядов, доставленных россыпью, хватило только на две машины. Когда, не уложившись в семиминутный норматив заряжания почти втрое, «сыны Катюши» выдвигались на новые огневые позиции, сообщили о полном разгроме и бегстве врага благодаря залпу 40-ствольных «Монокашито» (БМ-21 «Град»). Повстанцы готовили добытую утром дичь и кусочки змеиных тел без шкуры, снятой чулком.

Антонио, забирая на свой бэтээр тяжело раненого Амброзио, велел ангольскому водителю на «ровере» с двумя запасными канистрами, закреплёнными над торцами переднего бампера, и забавным буквосочетанием «SEX» на квадратном номере доставить Секундино и Педро в отель. Не пугая райских птиц, петляя по грунтовке и просекам меж влажных кустов, похожих на крупные фикусы (растущие не из бочки, которую невольно высматриваешь), и пальмовых рощиц, преследуемые любопытными обезьянами. Мимо круглых хижин, голых детей и женщин, у которых из одежды только бусы да соломенные юбки. Совсем как в «Клубе кинопутешествий». Два пигмея, похожих на ожившие мумии, уступив дорогу, деловито заспешили по своим делам. Хорошо бы увидеть экзотические танцы аборигенов под там-тамы. Думается, они с радостью для нас устроят праздник с национальным колоритом. Ведь мы для них старшие братья и помогаем освобождению после пяти столетий рабства.

За поворотом, у дерева с медовой колодой (улей), резко тормознули. Внушительных габаритов негр с чёрной курчавой бородой в сопровождении двух пигмеев, где-то как будто уже попадавших на глаза, указывая направление стволом автомата, приказал выйти из машины и отобрал у пленников оружие, не встречая сопротивления. Водитель быстро лопотал:

— Мама До... папа Буа (африканские божества-покровители)... квача (унитовцы)...

Гигант ненадолго отлучился в заросли, а вернувшись с двумя другими, похожими на него как близнецы, сунул Педро пистолет и что-то приказал, тыча в фалловскую нашивку над нагрудным карманом водителя, поставленного на колени. Видя нерешительность Педро, направил на него китайский АК-47, изображая пальбу. Педро передёрнул затвор и вздрогнул, выстрелив в водителя, возможно, неожиданно для самого себя. Бородач упёр взгляд в Секундино, рывкнул, указывая ему под ноги, схватил за кисть и резко заломил.

— Борис Гаврилыч, — ляпнул Секундино, ухнув на колени.

Широконосый сморщил лоб, вмиг став похожим на внезапно потемневшего Фоку. Пучил розоватые белки, забыв отпустить руку и будто прислушиваясь к предупреждающей змеиной трещотке за дурно пахнущим кустом с лиловыми листьями.

— Парис Каврилытс?

Секундино выдернул ладонь и крикнул визгливо:

— Да! Да! Борис, да ещё и Гаврилыч!

Африканец заспешил в редкие кусты. Секундино вдруг осознал, что жизнь его каким-то непостижимым образом связана с магической силой этих двух слов, и всё бубнил не переставая, будто зубрил и боялся забыть:

— Борисгорилыч... Борисгорилыч... Борисгорилыч...

Сутулая фигура в антимоскитной маске приблизилась, отобрав по пути пистолет у Педро, и пропела сипло:

— Без нияких документив прихерачил алиментив, вот як оно було! Да-да! Цо пан хце (что хочет пан — польск.), слушаю уважливо. Об чём лай, хлопэць? Ссориться с твоим паханом не резон. Базлай шустрее, а то у нас на хвосте, fode se... frango assado (порт. *ругат.*).

Не поверив и прервав откровения молодого специалиста из Сибири, инкогнито поинтересовался: — А кто начальник первого отдела? О, так! Мы с ним корешились по молодости. Привет ему от... с экватора. Газовать умеешь? Давай прямиком на тот солитёр (кивнул в сторону мрачной тёмно-зелёной громадины одинокого дерева, похожего на ель), а дальше по бушу (лесу) и берегом по течению. Напарник твой пока у нас потомится. Обернётся вскорости.

До выезда на бетонку британский полноприводный вседорожник, лишённый запасных канистр, легко объезжал озерца и омуты, во множестве образовавшиеся в наступивший сезон влажного лета. Вдоль переполненной реки с патлатыми пальмами по илистым берегам, плюющимися лягушками, чёрным кайманом, устраивающим гнездо для кладки, енотом-ракоедом, махнувшим

из-за термитника полосатым хвостом, будто жезлом, пауком с детскую голову на висячих плодах павианьего хлеба.

Кажется, он всё в той же, ещё студенческой, рубашке в коричневую клетку, и рабочее место у него — что его бывший угол в общежитии. И привычка у Антонио та же — указательным пальцем плющить широкий нос к вытянутым губам, упираясь большим в подбородок.

— Раны у Валентино плохие. Немного того — и отправят в Союз. Ох, Леон, а какие сестрички в кубинском госпитале! Ммм... а какие у них «центры тяжести», лучшие на всём побережье! Сегодняшний вторник (одиннадцатое ноября) станет нашим национальным праздником. Ночью Нето провозгласил независимую Народную Республику Ангола. От имени мпла (Народное движение за освобождение Анголы). Уже признаны Союзом.

— А я слышал от Алика, что какой-то Робертино (Жозе Жилмор, он же Холден Роберто, лидер ФНЛА — Национального фронта освобождения Анголы) и Жнец (Жонес Савимби, лидер унита — Национального союза за полную независимость Анголы) объявили то ж самое от имени какого-то своего блока где-то в джунглях.

— Роберт алкаш, а бармалей Жонес пусть буквари сочиняет, это у него получается. После боя под Кифангондо мы перешли в наступление на Кашито, теперь мы здесь хозяева.

Секундино потрогал давно не бритые щёки:

— Антон, а зачем я тут? И так резво?

— Это Любовь. Ну, Фелишку ты знаешь.

— Любка Величко? Из параллельной? Как не знать!

— Я с ней женюсь.

— Это как-то... неожиданно. Я, конечно, знал, но чтобы до такого дошло... Ты же вроде плотно общался с... как её... Яхименко.

— С Ехидненко я разошлись. Любовь мне говорит: от жениха на свадьбе иметь всё племя, а от невесты — голяк. Вот мы порешили вас троих заказать, с кем я жил, на свадьбу. Гости от невесты. Её желание — мой закон. Я вице-министр по делам... эээ... кому сэ диш ису... как это по-русски?.. По прованс, да, по делам в провинциях, почти как ты и «наколдовал», помнишь? Вызов персональный: «для работы по профильному образованию». Для ускорения от бюрократизма оформил у директора DISA (Служба безопасности фронта мпла) Луди (полковник Луди Кисасунда).

— Так это всё она? А где она? Я бы этой... из-за неё пропустил сдачу кандидатского минимума.

— Она в Гаване. Фиеста там будет по католическому обряду. Это будет хорошо. А ты в аспирантуру?

— Да это я так. Поэтому-то, наверное, в Москве и гадали: почему вдруг именно эти три придурка срочно понадобились некоей африканской

секретной службе? Но отнеслась к просьбе дружелюбной стороны снисходительно. У меня, кстати, пакет для вашего доктора.

— Для Нето? Дай.

— Пардон, предупреждали строго: лично в белы, то есть чёрны, руки.

Дзынькнул телефон.

— Quem fala? (Кто говорит?—порт.)

Антонио долго беседовал, мешая португальские, испанские и французские слова с русским матом. — Сантуша помнишь? Он тогда в Баку учился и в футбол играл. Приезжал к нам в общагу с командой «Нефтьчи».

— Когда у тебя мясо сгорело?

Секундино воспроизвёл комичную матерную ругань двух иностранных студентов на ломаном русском.

— Он теперь наш министр по иностранным делам. Кстати, жена тоже белая, русская, Мария. На твои дорожные чеки не разгуляешься, вот бери кванзы (деньги), что-нибудь надо покупать.

Рабочий кабинет доктора Нето и приёмная с секретарём располагались рядом с его жилыми апартаментами. Скованно державший себя в начале высокой аудиенции, после куки (сиса—местное пиво) и рома Секундино заговорил громко и уверенно, не по-светски перебивая скромного хозяина:

— Я, как одинокий лось, забрёл в дебри и стою тут среди вас!

Пока Антонио и Сантуш с женой пытались перевести эту фразу на португальский, Секундино пыжился взглядом остановить секундную стрелку на шкафообразных напольных маятниковых часах. А потом хлопал ладонью по бритвенным лезвиям, притёртым вертикально в стол, под дамский взвизг. Никто не рискнул повторить, хотя все без промедления согласились, что легко врезанное в стол лезвие запросто само складывается пополам под резким ударом ладони.

У отеля темнокожие подростки под конвоем надменного негра-полицейского прошествовали к контейнерам помойки, неся в ладонях свежий кал. Очевидно, стриженный зелёный газон с сухим фонтаном был использован шалунами не по назначению.

В ожидании вояжа на остров Свободы, не скрывая оружия, бродил Секундино по прекрасной столице, прозванной кем-то африканским Парижем, опустевшей после панического бегства белого населения. На улицах—брошенные автомобили и разинутые пасти разграбленных магазинов. В опустевшие дома португальцев кое-где вселяются бездомные. Темнокожие местные, несмотря на зной и духоту, не по-городскому обременены мешками, узлами, корзинами, детьми,

привязанными широким платком, плотно прижимающим лицо к спине (не оттого ли так широки носы?), а то и вовсе кто петухом, а кто и козой. Алик предостерёг от покупки резных фигурок из чёрного дерева, которые могут навредить хозяину, пальмового вина и рекомендовал не носить на себе ничего блестящего.

Нет воды, её находят прямо на улице в канистрах Красного Креста; электричества нет, да и все розетки—для плоских вилок. По вечерам в отеле дают свет от генератора, и тогда можно включить кондиционер.

Теперь, после 11 ноября, из окна номера сквозь ветхую марлю можно наблюдать заходящие в развороте на посадку транспортно-десантные Аны. И в их числе—добрые знакомые «Антей», совсем новые турбореактивные Ил-76 с аэрофлотовской расцветкой, а ещё—старенькие пассажирские «Британики» с армейским контингентом Кубы.

Камарады Секундино и Алик с термосом куки, дивясь и следуя местному обычаю у мужчин и женщин мочиться где придётся и не таясь, спустились от белой часовенки кладбища Санта-Круш к далеко простирающейся полукруглой эспланаде пустынной набережной со стеклобетонными ультрасовременными высотками. Остались позади кружева галерейных и террасных решёток, майолика медальонов и картушей с вензелями на фронтонах ярких особняков с открытыми башенками-белведерами наверху, предназначенными, наверное, для вечерних упоений прохладой влажного пассата. Брили вдоль обширной бухты, овеваемые дыханием океана с пьянящим привкусом антиколониального сопротивления, пота, песка и соли.

Стоя на фоне хорошо различимой старинной крепости, венчающей вдали зелёные холмы, опутанные серпантинной дороги, Алик, в васильковом берете, помеченном на мозаичном тротуаре посольского Мирамара грифообразной птицей (плохая примета, по словам самого меченного), философствовал, делая в словах смешные неправильные ударения:

— У каждого есть скелет в шкафу. Убийство ангольского солдата-фапловца советскими военными специалистами, незаконно находящимися в чужой стране, снято на киноплёнку. Ассессор Секундино стоит там рядом с палачом Педро. Как соучастник. — Не, наоборот, я был на очереди...

— Псс... Можешь доказать? Нет. Согласись? Я могу заработать на сенсационном сюжете, продав таблоидам, да ещё в канун подписания договора ОСВ-2! Непредсказуемы масштабы скандала и все негативные последствия для тебя. Да, вербую. Но никаких расписок кровью. Оплата услуг достойная—на константной основе. Оклад—как у вас говорят. В обмен на банальную информацию

с охраняемой территории. Кстати, Педро элегантно пошёл на контакт после передачи ему хорошего качества цветных фото, на которых он онанирует в туалете гостиничного номера.

— А где он, бедолага?

— По информации координатора Джо (Джон Стоквем, ЦРУ, США), был заложником у разведчиков «буффало» (батальон наёмников юар «Гиена»). Солдаты удачи пытались обменять его на своего головореза. Закончилось перестрелкой. В Йоханнесбурге, в холодильнике. В морге. Теперь обмениваются трупами через посредников. Прими соболезнования, всё же он был амиго.

Секундино, плохо спавший ночью из-за обгоревшей шеи (вот для чего в казарме Гран-Фарни предназначались шарфики), воя котов и нескончаемого треска цикад, ещё звучащего в левом ухе (правое плохо слышит после близкого взрыва), тайком убедившись, что предохранитель снят, бравировал показным спокойствием:

— Умеешь ты убеждать. Сейчас бы мороженого из «Пассажа» цумовского. А премии у агента бывают? Шеф, накапай из термоса.

— И холодную войну вы нам проиграете. Мы с тобой ещё узреем падение «Римской империи».

Обгоняя сколопендру, по стандартному военному камуфляжу «вудленд» армии США с ангольскими нашивками и следами птичьего помёта прошлись тупые пулевые шлепки. Секундино посторонился, пропуская катящийся термос. Не глядя, выстрелил в голову лежащего на животе резидента и зашагал по «зебре» длинных теней вдоль двойной шеренги высоченных кичливых пальцев в белых «гетрах», размышляя о самом себе: «Вот, оказывается, ты какой, Секундино! Вот, оказывается, как можешь. Лёня—нет, он бы не решился».

Вспомнилось, как Педро всё пытался выяснить у Алика, что означает звук «пссс...», часто им произносимый, а вскоре заразился и запсыкал сам.

Сдёрнул панаму, ширкнул тыльной стороной ладони по наметившейся бородёнке и, оглядевшись, не имеет ли веских оснований застрелить ещё кого-нибудь, высек искры очередь по плоским валунам, где теоретически в последних лучах уходящего в океан солнца вполне могла затаиться пара пигмеев—платных охотников за бледнолицыми европеоидами.

Даже с двумя дозаправками—кажется, в Гвинее-Бисау и Барбадосе—трансатлантический перелёт через несколько часовых поясов не показался долгим. Покинув тройные синие кресла туристского салона, Секундино и вице-министр остаток пути просидели на каких-то плетёных корзинах в соседней просторной выгородке с убранными креслами, устроив стол на зелёном армейском ящике. За переборкой грузового отсека в цинковых саркофагах,

накрытых кубинским флагом и стянутых страховочными сетками,—забальзамированные тела погибших братьев по оружию. Где-то среди них и барбудос Рафаэль, наспигованный стальными шариками ракетного снаряда «Кентрон».

Заглядывали простодушные и улыбчивые лица, показывали крепко сцепленные указательные пальцы. Похожие на кинозвёзд стюардессы авиакомпании «Cubana» Лилия и Габриэла угощали ромом «Гавана Клуб» и сами угощались московской тушёной. Антонио толмачил новость, принесённую квартирной (дитя мулатки и белого) Габриэлой от радиста: Фидель, лично провожавший добровольцев в Анголу, приезжая в порт за рулём советского джипа, поздравил всех с удачным завершением операции «Карлотта». Героев-победителей в сражении под Кифангондо благодарит за подарок первому съезду партии. Их ждут отдельные бунгало при отеле на побережье курорта Варадеро. Возможно, главнокомандующий будет встречать их рейс.

На ощупь доставал консервы со дна спортивной сумки. В газетном комке—плоские, но всё ещё яркие розы на длинных проволоочных стебельках, обвитых полосками зелёной бумаги. Абсолютно уверенный, что покупал эти цветы живыми, только и смог произнести:

— Они бумажные!

Антонио, помаявшись, перевёл пару стихотворных строк из книги доктора Нето «Sagrado esperanza» («Священная надежда»), подаренной Секундино с автографом автора—будущего первого президента Анголы:

Настало утро нашей надежды.
Я уже не жду, я тот, кого ждут.

Под взглядом по-испански непроницаемых очей квартиронки зреет ощущение нереальности происходящего. Секундино даже поинтересовался, не она ли продала ему эти бумажные цветы из пустых молочных бутылок. В ответ, призывно жестикуюлируя, его повели в кабину экипажа. Протиснувшись мимо столика штурмана с картой, в кресле второго пилота обозревал с высоты крейсерского полёта палубные огни круизных океанских судов, следующих из Европы в Америку или обратно. Где-то там, за правым окном фонаря, в густой темени горизонта с дальними грозowymi разрядами,—Бермудские острова и места залегания на дне легендарных Атлантиды и «Титаника». Неугомонная бортпроводница увлекла в своё служебное гнёздышко. Каждый «нырок» весьма подержанного «Bristol-Britannia» отзывался сильной болью и звоном в ушах. Когда борт «клюнул» в очередной раз, неловкая Габриэла пала роскошной грудью на нехитрую голову «русиш», осыпав плечи кольчужными кудряшками из-под чёрного ободка и оцарапав щёку черепаховой брошью:

— *Perdone... me hace el favor* (простите—*исп.*).

Жарким ноябрьским утром 1975 года у второго трапа, что ближе к хвосту, затёкшая нетвёрдая нога икающего и бормочущего Секундино ступила на островную твердь земного рая.

Без нияких докумэнтив
При... алимэнтив...

Антонио вычмокивал почему-то гимн враждебного движения:

Когда вернёшься домой в Луанду—
Становись под знамя уНИТА,
Чья правда, словно радуги цвет,
Предвечна и не забыта!—

и сетовал:

— У нас тридцать семь, а здесь живут в среднем восемьдесят лет.

Секундино встрепенулся:

— Мы уже не ждём, мы те, кого ждут.

По бетонному полю аэропорта имени Хосе Марти к прибывшему рейсу 101 подкатывал открытый ГАЗ-69 с загорелым бородачом в тёмно-оливковой форме за рулём.

На свежем снегу у крыльца мужского общежития ещё не вычищенными от закордонной грязи ногтями ощупал через пальто оформленные в Москве командировочные документы и свидетельство об отличном окончании месячных курсов повышения квалификации. Глубоко втянул сухой морозный предновогодний воздух и какой-то прашурной памятью клеток учуял тончайшую испарину будущей оттепели, до которой ещё почти полгода. Дар такого предчувствия тепла, которым стал обладать, присущ только ему одному. Думая так, Леонид прошагал до угла и распластался на скользком тротуаре. Это бывает раз или два каждую зиму.

— Вот и этот уже не улыбается. Остепенился мабудь, Леонид Ефимович.

Старший по званию молча приподнимался на носках, досадуя на привязавшуюся с утра мелодию:

Значит, вышло не так, как мечталось и снилось когда-то, Значит, ты не ждала, значит, зря переписка велась. Я тебя не виню—нелегко ждать три года солдата, Но друзьям напишу я: ты меня дождалась.

Почему, думал старослужащий, я всё время размышляю о ней, а не о службе, и кто такие эти сомнения (в грузинском нет заглавных букв), которые, как она пишет, стали часто посещать её? Хо, а не те ли это кацо из Цхалтубо, куда она ездила к...

— Слышите, товарищ сержант? Я говорю, надо бы ему сказать, чтобы фотографию на пропуск сменил, коли решил носить бороду. Или побрился. Так ведь?

Последний день вакаций

— И да, и нет. Опося всех медкомиссий—собеседование. Актывый зал. На сцене президиум. Перед ними я. Голый. Генерал мою папку взял. Сколько метров по прямой, спрашивает, пролетит самолёт от точки начала снижения под углом тридцать градусов с высоты сто метров до касания с землёй? Отвечаю: глиссада двести метров. Тот рывкнул: мой!—и одну из бумажных стопок нарастил на сантимет. Вот так и попал в стропы. В «войска дяди Васи». Как «почему двести»? Ну, катет против угла в тридцать градусов равен половине гипотенузы. — С виду порядочный. И причёска. А поведение самурайское, скаженное—клейма ставить негде. Какой же ты по правде?

— Характеризуется положительно: энергичен, но глуповат, пьёт много, но с отвращением.

— Секьюрити клубным больничные «выписал». Кому работать? Вот и замени их, будь любезен. В дембеле с мая маешься. Говоришь—вакация (отпуск, каникулы.—*лат.*), а по мне—ваханалия! Лбом зеркала бить! Иногда один ошибочный пазл—и судьбу как жаба языком слизнёт!

— Определиться-то желание есть, но выбрать не могу между девелопером, коллектором или параекклисиархом. Что посоветуете?

— Уже утро. Конь хочет баиньки?

— Конь хочет покурить, и я ещё на гитаре не играл.

За балконной дверью пахнет мокрыми досками. В окне, как в аквариуме, опрятная чужая комната, освещённая холодным энергосберегающим светом, горевшим всю ночь. В дальнем углу—велотренажёр и совершенно не скрипучее ложе. Хозяйка, в чём-то сугубо домашнем, поперечно-полосатом с яркими плавниками-карманами, прихватив блюдо с арбузными корками, уплывает в коридор. Пискнула (или показалось?) внутриквартирная трубка домофона. Кто-то открыл дверь подъезда контактным ключом и поднимается сюда? Проворно напялил цивильный прикид, летние «берцы», валявшиеся в прихожей рядом с громадными мужскими ботинками (подумалось: не «каменного» ли «гостя»?), и, вернувшись на лоджию, вспорхнул на угол бетонного ограждения:

— Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три, кольцо! Купол!

Последождевой аэрозоль уходящего лета благоухал умиротворяющим парфюмом свежескошенных трав. У ограды детского сада кудлатая листва одинокой берёзы со скальпированной корой и порубочной меткой, чуть более полувека назад кормившая собой майских жучков в светлом березняке посреди глухой тайги, аплодировала побегу безбашенного прыгуна мелким безудержным тремором, подстрекаемая ласками западного ветерка. Неотличимый от редких физкультурников, Илья бодро миновал стадион, намереваясь, не мешкая, пересечь парк. Дома подремать, надеть

тельник, парадку, значок с пламенеющей крылатой греной (фугасная граната.— *сленг*) и неуставной—с летучей мышью, припрятанный перед дембелем в фольгированном тюбике зубной пасты. Сегодня же день пророка Илии и вдв. Но потянуло пройтись меж не сеяных сосен в стороне от аллей, по дорожкам, натоптанным ещё первостроителями города Реализованной Утопии с остатками мощения из кирпича на ребро.

На прибрежной террасе у открытой полуротонды—белоколонной прелюдии пляжа городского озера—натурный мастер-класс для юных воспитанников «художки» и нескольких любителей в летах, дерзнувших ни свет ни заря постичь волшебство лазеровой дымки, когда исчезают границы и различия между водной гладью и небесной твердью, будто кто-то для забавы перевернул мир, как песочные часы, ненадолго обращая время вспять. Знакомый из числа любителей, в ярко-жёлтой бейсболке с эмблемой Дня города, сутулится над питьевым фонтанчиком, наполняя собачью миску водой для разведения красок. Учительница в белых леггинсах и чёрных очках, похожий на дорожный знак перехода для слепых, утверждала, стоя в тени колоннады у центральной секции ограждения, увешанной амбарными замками, молодожёнов:

— Эта воздушная линейная перспектива отсель и до самого окоёма на том берегу гасит насыщенность цвета, тушует очертания. Идите от общего впечатления к детали, как у импрессионистов.

Илья, к своему удивлению, впервые оказался здесь после возвращения в пенаты. Отметив, что светлые пряди эндемично загорелого миловидного педагога повторяют контур стилизованной лепнины листьев аканта на композитных капителях колонн, и пытаюсь одолеть всегдашнюю робость перед незнакомыми, называя это «человекобоязнь», мысленно представлял себе: вот скажет он сейчас без улыбки: «А вы тут прямо как... раз, два, три... восемь... как девятая колонна. И самая при этом элегантная. К сожалению, только что озвученное вами—трансцендентно для моего понимания». — «Это комплимент?» — ответит она, а он: «И да, и нет. Обусловлено выбором между Сциллой реалистичного и Харибдой сюрреализма,—и добавит трафаретное:— Не считите за обценность (непристойность.— *лат.*), но готов спорить, что не позднее позднего вечера мы сольёмся в экстазе! Отсель и до самого окоёма!»

— Диназаврия, приветик! Это ты поймала вчера букет невесты? А чё, дура, рано ушла? Зря! Парни исполняли танец маленьких лебедей. Мы с утра по новой, кончай преподавать, едем!—вещал севшим голосом одутловатый увалень, с трудом высунувшись из окна на крыше автомобиля, подкатившего от декоративной аркады кафе «Торнадо» по тротуару вдоль брутальной металлической ограды

из прокатного сортамента (послеремонтная реинкарнация изысканной классической балюстрады), ставшего колесом на люк колодца впритык к бетонной урне, пережившей чуму перестройки, с пластырем объявления о круглосуточном массаже на дому.

Двое в спенсерских жилетах, распахнув багажник, принялись метать петарды в сторону водоёма, соревнуясь в дальности. Вытиравший пальцы о прямые борта британского бренда и громко уверявший, что бросать надо под сорок пять градусов, как в артиллерии, но чьи поджиги не летели дальше зелёного откоса, извлёк из недр вездехода какой-то булыжник. Неловкие резкие махи рук, запутавшихся в перекинутой через плечо атласной трёхцветной ленте свадебного свидетеля, испуганный вопль, хлопок—и оливково-зелёный эллипсоид покатился по нарисованной на асфальте спортивной стрелке в самый центр тесного детского полукруга.

— Граната! Лягте! Лечь!—невнятно скомандовал утранным голосом сержант запаса РРПДП (разведроты парашютно-десантного полка), широко шагнул, будто оттолкнулся левой ногой от обрезка борта самолёта, устремляясь в бездну, и пал ниц у ног «цыплячьей» бейсболки, накрыв собой РГД-5.

В последние четыре секунды, которые дарит граната до взрыва, узрел серый рычаг запала в клейкой слизи языка жабы. Наверное, прав был Большой Босс, учившийся вместе с Платовым (псевдоним студента Путина в Академии внешней разведки) в Балашихе, рекомендовавший поступать в Рязанское училище РВВДКУ. Не внял. Хотя наколку с ночным враном (летучая мышь.— *церк.-слав.*) на фоне луны на правом плече (весенний призыв) делать не стал. Не оттого, что с этим не берут в курсанты. Тогда всё сложилось бы иначе? Всегда ведь симпатизировал милитаристу Гильберту Вольцову (Дитер Ноль, «Приключения Вернера Хольта»). Вот только гипертрофированные тульи фуражек ассоциируются у гражданских с опереттой и военными переворотами в колониях. Случай с «соплящей медузой» (вытяжной парашют) и откровения с «десантным батюшкой» (полковой священник), тоже прыгавшим со всеми, побудили подать документы в Томске. Теперь выходит—зряшно? А хозяину великанских зимних ботинок в прихожей надо было законсервировать их на лето: пропитать растительным маслом—и в пакет. Так мыслилось ему, но не отдельными словами или иероглифами, а единым импульсом. Или корпускулой?

По бомбе ползут розовые змейки. Малиновая паутина трещин багровеет и утолщается. Обжигаясь, сунул вздувающийся обтекаемый корпус в тряпку, забытую на парапете, и метнул снаряд из «пращи» метров за сорок в сторону «невястного колдуна» (ветровой конус) спасательной станции

на противоположном берегу. Чуть дальше фисташковой кромки воды с бахромой из мелкой пены и лохм водорослей, аки восьмой сын Иессея, арфист и оруженосец царя Саула, — камень-гладыш в Голиафа из Гефа. Под углом в сорок пять градусов.

Корпевшие за мольбертами и битюг в «люке танка» молниеносно превратились в обездвиженные живые скульптуры — достопримечательность пешеходных бульваров, страждущие восхищения правдоподобием и монет праздных туристов. Пряткие «жилеты», пытаясь стремглав перемахнуть «балюстраду», дабы укрыться под откосом, зависли, как на стоп-кадре, едва касаясь серого поручня из четырнадцатого швеллера.

Неспешно опадающий в расходящиеся волны «айсберг» водной глыбы нехотя отпускал на волю раскалённый рой стальной рвани, устремлённой вразброд со скоростью пешехода. Несколько осколков, вопреки тактико-техническим данным об убийном пределе наступательной грены метров двадцать пять, миновали полосу пляжа и на излёте достигали террасы. Илье, сбивавшему их пятернёй, как осенних мух, один винтообразный штампанул чело и срикошетил в собачью посуду, зло пшикнув парным облачком в физиономию пишущего эти строки. Ещё один бацнулся в цоколь подковообразной площадки лестничного спуска аккурат под «девятой колонной», обращённой в воскового манекена, экспонирующего публике картонку с этюдом. Было бы неучтиво уйти, не «украсив» подвернувшимся карандашом уголок её живописи в технике «а-ля прима» корявой вязью номера своего телефона и школьным прозвищем (оно же — его армейский позывной) «Самурай», почти повторив автограф на стене казармы натовской базы в Гори, захваченной в кампании по «принуждению к миру» в августе две тысячи восьмого русскими десантниками.

— Буду жив? Ум за рамки, — беззвучно восклицал Илья, убегая трусцой, а задержавшись и вновь не утолив жажды у пятого от пляжа питьевого фонтанчика с остекленевшей струйкой, услышал догнавший его перевёртыш-палиндром собственного голоса: «И к маразму? Вижу дуб».

Почему всё глобальное случается с ним у той ротонды, где витает особое ощущение неба? Школярю, для краеведческого реферата, в архивных чертогах проектного института познавал историю строительства этого грациозного полуциркулярного бельведера (красивый вид. — *ит.*) по шаблонам, нарисованным в натуральную величину Русаковым, Лебедевым и старшим архитектором Алексеем Васильевым в далёком пятьдесят девятом году.

У ворот на Парковую наконец-то закончился сюр с остановкой времени: побежала стрелка, дохнул эфир, вернулись шумы автодороги, где-то там, позади, задвигались «уличные статуи», рухнули «жилеты» в сорные травы откоса, и, разделяя время, петухом вскричал смеховызов мобильника, да так требовательно и пронзительно громко после — долгой-предолгой — сотой доли секунды абсолютной тишины от момента падения на фугас, что слышно было «отсель и до самого окоёма», высвечивая сообщение: «Вы зачислены слушателем отделения подготовительного годичного платного, прибытие семинарию Томск, пр. Ленина, 82, не позднее...»

— С матушкой Диной сподобились прочесть твой опус. С умилением. Достоверно? И да, и нет, — так недавно ответил сочинителю отец Ильи из отдалённого прихода, трогая на лбу едва заметный шрамик. — За осколок спасибо, вот тебе в обмен, — протянул нечто, напоминавшее одновременно стеклянную витую свечку, худоногий гриб-поганку и струйку питьевого фонтанчика.

Игорь Дуардович

Улыбка на крючке

Евгений Минин. Погоня за ветром. Избранное
(Библиотека Иерусалимского журнала). 2012.— 212 с.

Название нового стихотворного сборника Минина «Погоня за ветром» отсылает к строчке из Книги Экклезиаста и связано с проблемой «ниче-го-не-вечного»: «Я видел всё, что делается под солнцем, всё—суета, и всё—погоня за ветром» (Эккл. 1:14)¹. Кроме того, сборник начинается стихотворением «Экклезиаст», и это вкпе с многочисленными реминисценциями к ветхозаветной книге, встречаемыми в дальнейшем, указывает на то, что в философии Соломона автор находит поддержку. Человек обсыпает себя блёстками («Ах, как важны нам звания и ранги») и уходит в непроглядную тьму, человек бесконечно мал («Но мы—элементарные частицы») и поэтому топит себя в оправданиях. Изменять что-либо бесполезно—алчность и страха, пошлость и похоть, война и вожжи-подлецы, нищие, бездомные и богатые были всегда: «Породистым всегда найдётся дом, / А остальным—ночлежка на помойке». Мысли царя Соломона поэт произносит как собственные, и в то же время: «Не поверю ничьим советам, / пусть они из уст Соломона». Полностью жить по Книге Экклезиаста не удаётся, тем более что неукоснительное соблюдение некоторых заветов может содержать парадоксы: «А я всё бегу от тебя, суета, / К манящему жизни огню». Выходит, суета—не жизнь или не настоящая жизнь?! В конце концов, бег от суеты порождает ту же суету, отражённую в рисунке стиха:

Роман, стихи, пародия,
и всюду ритм стыка,
бессмертная мелодия:

спе-
ши,
спе-
ши,
спе-
ши-
ка.

(«Давно не ездил в поезде»)

В «Погоне за ветром» лирика рассредоточена тематически. Это, по сути, книга избранного, таково соотношение нового и старого и настолько полно и системно представлены важнейшие мотивы, объединённые рефлексией о времени. Стихи о малой родине («Помнишь ли в краю далёком / обо мне ты, городишко?»), поэте и поэзии («Поэты бывают глобальные, / Спасённые и убитые»), семье и быте («Сбегать за селёдкой и мукой, / суп сварить, детей забрать из школы») или стихи, посвящённые мировым конфликтам—арабо-израильскому противостоянию («раздымился в бомбёжках север») и другим. Любовь к систематизации проявляет себя в ряде разделов, каждому из которых соответствует один или несколько мотивов, жанр или что-либо ещё.

Мало кто знает: в жизни поэта был огромный период, когда он не писал (1975–2000). Даты в «Погоне за ветром» нигде не стоят, но между некоторыми стихами пропасть в четверть века. Этим порой объясняется разница в мироощущении, эмоциональности, что-то может показаться театральным, особенно по современным меркам. Из молодости в своей поэзии Минин сразу перешагнул в старость. Быть может, поэтому его поэзия настолько афористична, притом иногда до мелочей—афористично звучат названия («Номо hominі—кто?», «Жизнь, как петарда...»), а назидание может содержать в чём угодно («И краткий в назидание / афоризм гудка»).

Отношение человека ко времени всегда было трудным, противоречивым:

переводим время зимнее на летнее
переводим время на дела пустые
а потом минуты бережём последние
и тогда доходят истины простые
(«переводим время зимнее на летнее»)

Впервые по-настоящему осознав, что такое смерть («всё остаётся во вчера»), человек обычно старается не думать о пугающих процессах (старении, танатогенезе), а если и думать, то подходить к этому философски: «Всё сложилось удачно на свете. / Всё протчалось своим чередом».

1. Существует множество переводов текстов Библии, поэ-
тому где-то вместо «погони за ветром» написано «ловля
ветра» или «томление духа».

...Тебе, живущий в Иерусалиме,
Грешно влюбляться в города иные,
В их шпили, башни или купола.
Переведи-ка взгляд с небес на землю —
На ней, неплодородной, каменистой,
Когда-то множество мужей великих
Следы свои оставили.
И ты, всю эту землю получив задаром,
Благовари судьбу и провиденье
И Элогиму шли слова молитвы,
Чья вечно над тобой простёрта длань...
(«...Тебе, живущий в Иерусалиме»)

Минин откровенен и кажется объективным. Он задевает за живое других и сам же вместе с другими оказывается на крючке собственного остроумия.

ДиН пародия

Талант—под рёбра

Ясно—это стихтворенье
Вызовет любви закат,
Так что сразу сыпь в варенье
Всякий ядохимикат.
Но и проще есть решение:
Милый, не считая за труд,
Прочитае стихтворенье—
Тут и милому капнут.

4. Старая одежда.—*Авт.*

Галина Пичура

В унисон:

грустная ирония писателя и жизни

О книге воспоминаний и рассказов Елены Литинской
«От Спиридоновки до Шипсхед-Бей»

Совсем недавно вышел в свет сборник воспоминаний и рассказов поэта и прозаика Елены Литинской «От Спиридоновки до Шипсхед-Бей». Я держу в руках эту книгу и рассматриваю рисунок на обложке... Небоскрёбы Манхэттена. И вдруг, словно родившись из воды, появляется таинственная женщина в символической короне победительницы. Кого и что она побеждает? Себя саму или мир вокруг? В этом облике есть и мудрость, и смирение, и упрёк, и мольба, и вечная женская тайна. Это — картина Ланы Райберг «Манхэттенская Нефертити».

Как следует из самого названия сборника, произведения, вошедшие в него, охватывают длинный временной отрезок жизни автора и его героев.

Тема эмиграции и адаптации в новой стране здесь не единственная, но значительная и связующая. Однако эта книга — нечто гораздо большее, чем просто сборник эмигрантских рассказов и воспоминаний.

Это — тонкое и глубокое психологическое исследование судеб и характеров, их противоречий и многообразия, выполненное удивительно деликатно по сути и по форме. Авторская манера Е. Литинской как прозаика отличается лаконичностью и намеренным аскетизмом формы. Она избегает пышных фраз и надрывности переживаний. В то же время это — отнюдь не рассудочная проза, когда авторы, хорошо владеющие словом, свысока рассуждают о надуманном либо повествуют о трагичности чьих-то судеб, изображая боль и сострадание, которых никогда в действительности не испытывали.

Отсутствие подлинных болевых точек у авторов всегда заметно чувствующему читателю, и никакие трюки остросюжетности или попытки заглянуть в недостижимую для большинства тайну жизни богатых и знаменитых не могут компенсировать эмоциональное мелководье и душевный внутренний покой писателей. Наличие ран, пусть даже внутри внешнего благополучия (ибо писатель всегда живёт внутри и снаружи, но внутри

больше), — это не достаточная, но необходимая составляющая писательского таланта.

Творчество Елены Литинской сполна оплачено и обеспечено фондом жизненных испытаний. Но главное даже не в этом...

Мы все когда-то были детьми и верили в добрые сказки. Тот вечный детский протест против несправедливости мира, контраст желаемого с действительным и жестоким с возрастом бледнеет у большинства людей: компромисс, ласково называемый мудростью, сглаживает острые углы трагичности мироощущений, притупляет нервы, меняет зрение, да и сами критерии добра и зла...

И враг на друга стал почти похож,
И фальшь — уже дипломатичность вроде.
Иммунитет к страданью обретя,
Мы впредь невосприимчивы и к счастью...¹

Писатель с иммунитетом к чужой боли не может хорошо писать. Невосприимчивость к несправедливости мироустройства равна профнепригодности в литературе и в искусстве вообще.

Елена Литинская не обрела иммунитет к страданиям, но и не утратила способность видеть смешное в грустном и наоборот. Ей удаётся жить, одновременно наблюдая за жизнью со стороны. Глубоко и остро чувствовать. Смеяться над собой — даже тогда, когда больно. Прощать жизни «плохой характер», принимая её без прикрас, с иронией, самоиронией и благодарностью.

В прозе этого автора нет интриг из жизни знаменитостей и олигархов, стрельбы и погони гангстеров, эротического натурализма или мучительных разгадываний кроссворда «кто же всё-таки убийца?».

Тем не менее, герои её произведений вызывают настоящий эмоциональный отклик, доверие и сострадание, а читателя обмануть сложно.

.....

1. Из стихотворения Галины Пичуры «Предательства почти привычный вкус».

Тема «маленького человека» в литературе имеет глубокие корни и традиции. Писатели разных эпох тяготели к исследованию душ и судеб простых людей, находя в них лабиринты драматичных проблем, вечные темы и страсти.

Писать о простом крайне сложно. Уйти от стандартных поверхностных украшений прозы вглубь, веруя в то, что какая-нибудь старуха, домработница, заурядная иммигрантка—это источник серьёзных тем для писательского и читательского познания и сострадания,—значит, любить человека как такового и считать его тайной, достойной отражения в литературе. Это под силу лишь тому автору, чей нерв остро реагирует на чужую боль, а пульс совпадает с сердцебиением героев его произведений.

Сборник состоит из двух частей: воспоминания и рассказы.

В юности я не любила читать воспоминания. Вокруг кипит и бурлит реальная жизнь, а тут вдруг... чьи-то давно умершие родственники... Это—так же, как при просмотре альбомов с чужими фотографиями: приходишь в гости, ничего не подозревая, а хозяйва всё тянут с закуской и живым общением и норовят показать фотографии своих бабушек-прабабушек, дедов, внуков, племянников,—словом, кошмар. И попробуй не восхитись! Хотя уже не помнишь, кого как зовут и кто кем доводится хозяину, но терпишь и улыбаешься. Так было лично со мной очень давно, когда любая была, ставшая чьей-то историей, пусть и недавней, казалась мне навсегда потерявшим свою актуальность старым комодом с ржавым замком, при попытке открыть который можно было не только напрасно потратить время, но и поранить руку, и надышаться нафталином содержимого.

Мы все меняемся: не только к сожалению, но иногда и к счастью. Пронзительность непоправимого в наших судьбах навсегда уносит беспечность и эгоизм молодости. Историей становятся не только наши родные прародители, мамы и папы, но и одноклассники, и мы сами. Тучи забвения застилают и наши небосклоны. Потребность воскресить память о родных приходит к нам обычно с личным опытом потерь.

Сегодня, когда моя молодость далеко позади, а навсегда ушедших родных больше, чем ныне здравствующих, я замечаю, как безмерно дороги мне люди, которые были знакомы с моими родными когда-то.

Жил человек и умер. Да, фотографии остаются почти в каждой семье. Но что ещё остаётся от души, покинувшей этот непростой мир, души страдавшей, любившей, мечтавшей?

Нередко остаются дети и внуки, и это—здорово. Ну а сам их родитель? Кто посмертно защитит его

от сплетен и кривотолков, а главное—кто спасёт от забвения?

«Немного театра в холодной Москве»—это увлекательное путешествие в историю своей семьи. Внучка—о знаменитых прародителях...

Это—яркий рассказ о нескольких поколениях, насыщенный переживаниями и событиями, связанными с историей России, Польши и Аргентины. Нам предлагаются не «чужие фотографии», а родные: в них невозможно не узнать и наших бабушек, дедушек, их соседей, эпоху, схожие проблемы и переживания,—свою историю, которая, как всем известно, течёт не только в направлении прошлого, но и неожиданно возвращается. И, увы, не всегда только покроем брюк и юбок.

Я уверена, что и пожилым, и людям среднего возраста, и молодым, боящимся опоздать на дискотеку, эти воспоминания покажутся интересными. Это—хроника, художественная хроника, хотя я не уверена, что такой жанр существует. Но для меня он есть.

Автор рассказывает о своей семье с нежностью любящего человека (внучка, дочка, племянница) и одновременно с отстранённостью очевидца-наблюдателя, пытающегося сохранить объективность оценок и максимально достоверно передать то, что ещё совсем недавно дышало юностью и любовью, страстями творчества и страданиями испытаний.

В своих воспоминаниях Е. Литинская воскрешает судьбы родных ей по крови людей, внёсших серьёзный вклад в мировую историю искусства.

Но будь «герои» этих воспоминаний неведомыми миру инженерами, швеями, бухгалтерами и учителями, это был бы, тем не менее, сильнейший рассказ-фотография о трагедии польского и советского еврейства, о судьбе еврейского театра, о «великом изобретении» коммунальной квартиры, где в очереди в туалет могли рождаться и конфликты, и романы, а уж на кухне—целые кланы нового вида родства: не дети, не внуки, не сёстры, не братья, а куда неизбежнее—соседи по коммуналке.

Но так случилось, что персонажи этой истории—не безвестные люди, а те, чьи имена вошли во все значимые кинотеатральные справочники мира. Автор приоткрыл дверь в личную судьбу своей семьи, пригласив нас туда, куда бы мы никогда не попали, даже прочитав сухие исторические справки.

Вот набрала я в Google «Хевель Бузган» и мгновенно получила не только краткую биографию, но и просьбу: «Если Вы располагаете дополнительной информацией, то, пожалуйста, напишите письмо по указанному адресу или оставьте сообщение для администрации сайта».

«Да,—грустно вздохнула я,—мало кому из нас суждено прожить свою жизнь так, чтобы потом,

по прошествии многих лет, потомков просили сообщить о нас дополнительные сведения».

«Немного театра в холодной Москве» — это не только памятник ушедшим, но и щедрый подарок читателям. Умелое перо рассказчика, отражение интереснейших поворотов судеб героев повествования, живые образы, выписанные с фотографической точностью, но с погрешностью на любовь «фотографа», — всё это приковывает внимание и не отпускает до самой последней строчки.

Нафталином не пахнет. При всём соответствии фактов и образов реальности, воспоминания читаются как художественное произведение с интригующим сюжетом, очень зримым и кинематографически притягательным.

«Два года в деревне, или О том, как наша семья осваивала сельское хозяйство» и «Минорная мелодия Мажорова переулка» — воспоминания автора о своём детстве, которое совпало с послевоенным прошлым СССР. Ещё нет и тени будущей эмиграции... Есть мама и папа, подруги и соседи. Безоблачная жизнь глазами ребёнка.

Эти воспоминания объединены хронологически и тематически (детство и школьные годы), а также интонационно, так как автор вспоминает о тех годах, когда ему было ещё неизвестно, что жизнь сложна и несговорчива. А потому и авторские впечатления об этом периоде — нежные, мягкие и добрые.

Маленькие дети далеки от политики. Они постигают её через игры, вид из окна, настроение взрослых, имея уникальную возможность беспечно радоваться жизни под опекой любящих родных.

Первые месяцы иммиграции отражены в воспоминаниях «Бренда-Броха» и «Моя подруга Алекс». Вокруг — Америка, та самая: далёкая и недостижимая, вожделенная, многоликая и контрастная, проклинаемая и воспеваемая мировым разногласным хором... Впервые ходишь по настоящей американской земле, и кажется, что смотришь кинофильм о ком-то другом. А сам ты пока ещё у себя дома, в Москве, в Питере или в другом городе, где всё привычно и знакомо, где живут твои друзья детства и где все прохожие говорят на твоём родном языке.

Но кино не заканчивается. И начинаешь понимать, что в этом киносценарии ты — главный герой, которого судьба забросила на другую планету, да ещё с маленьким ребёнком на руках, и нужно выжить во что бы то ни стало.

Обе истории передают растерянность первых дней пребывания в Новом Свете. По-другому тикают часы, по-другому плывут облака, по-другому выглядят прохожие, но всё так же хочется благополучия и даже счастья.

В воспоминаниях о Бренде-Брохе за уютным столом коммунальной квартирки Нью-Йорка, под дымящуюся картошечку, рыбу и свежий салатик,

автор повествования, получивший статус официальной беженки из СССР, встречается с избалованной благами цивилизации капитализма дамой, оказавшейся... убеждённым членом американской коммунистической партии, пожилой еврейкой по имени Эстер.

В критические моменты одиночества и беспомощности каждый случайный бродяга на пути воспринимается возможным другом, способным подбодрить и вселить надежду: о магическом превращении прохожей женщины в подругу и почти в члена семьи, а потом обратно в прохожую — рассказ-воспоминание «Моя подруга Алекс».

Рассказы, вошедшие в сборник, можно условно разделить по тематическим и хронологическим (время действия в рассказах) категориям. Но хронология и тематика в данном случае сплетены воедино и едва ли подлежат чёткому формальному разделению: большинство рассказов так или иначе раскрывают тему иммиграции, в условиях которой происходят все коллизии описываемых историй. Герои действуют в новой для них стране как в новой реальности, и сам автор тоже прошёл этот путь. Родство иммигрантской проблематики героев и автора, знание темы не понаслышке во многом обеспечило рассказам убедительность и зримость.

Однако сам автор, как иммигрант третьей волны (70-е годы двадцатого столетия), далеко не всегда совпадает хронологически со своими героями: рассказы сборника описывают столь разные судьбы и волны иммиграции, что при всём своём желании автор не смог бы жить одновременно во всех этих эпохах. В «Истории болезни», например, американская актриса Айрис играет роль русской балерины, иммигрантки первой волны, а Хана из «Королевы Фар-Рокавея» пережила холокост, побывав в концлагере и став американкой уже в 50-е годы. «Откровение Оксаны» высвечивает судьбу украинской иммигрантки, которой удалось выиграть грин-карту в 90-е годы.

Большинство героев остальных рассказов — беженцы-иммигранты 70–90-х годов. Однако иммигрантские судьбы героев Е. Литинской далеки от трафаретного сходства, начиная от мотивов отъезда из стран своего гражданства и способов попадания в США и заканчивая жизненными дорогами.

Проза Литинской отличается многослойностью и сжатостью. Рассказы в большинстве своём — недлинные, но ёмкие. Ёмкость их, как правило, достигается не обычным способом художественного путешествия автора в далёкое прошлое героя за его многочисленными поступками от рождения до самой смерти, а несколькими выразительными штрихами его облика, речи и поведения. Иногда может возникнуть даже недоумение от простоты

сюжетной линии рассказа-фотографии, в котором, казалось бы, ничего нет, кроме удачного мгновенного снимка внутреннего образа героя. Однако после прочтения таких «малособытийных» рассказов в памяти надолго остаётся яркий, понятный, типичный и задевающий читателя характер.

В одном из таких рассказов («Держись, Анюта!») вроде бы ничего не происходит: ну встречаются две подруги на утренних оздоровительных пробежках и параллельно обмениваются новостями, эмоциями, взглядами. Но в этой неброской будничной и легко узнаваемой рутине прозаического общения, жалоб на судьбу, мужа, сварливую и почти выжившую из ума маму обе героини раскрывают себя и свои характеры сами, а не через авторские ремарки. Читатель расслабился, он приготовился к отдыху и наслаждению шутилкой словесной пикировкой героинь, но тут рассказ неожиданно обрывается смертью старенькой матери одной из них. Той самой матери, о которой героиня ещё вчера говорила с нескрываемым раздражением как о тяжком бремени... И вот судьба освободила её от этого бремени. Трудно после прочтения включить телевизор и посмотреть «Новости». Что-то происходит внутри... Ведь матери есть или были у каждого.

Другой чертой прозы Е. Литинской является сюжетная открытость финала, что встречается во многих её произведениях. Словно жалея огорчить читателя однозначной неизбежностью развязки, она оставляет возможность додумать её самому. В то же время во многих случаях присутствует и иная тенденция автора — завершать сюжетный ход повествования неожиданным обстоятельством или поступком героя. Ничто не предвещало смерть родного человека в рассказе «Держись, Анюта!», как ничто не сковывает читателя предсказать дальнейшую судьбу героини рассказа «Её выбор». Обе эти истории не поражают уникальными сюжетами и приключениями. Но каждая из них заставляет глубоко задуматься о жизни.

Галина, героиня рассказа «Её выбор», — пожилая нелегалка из Украины, сбежавшая в Америку от ужасов семейных отношений, побоев мужа, нищенства и неустроенности, чтобы помочь дочери и внучке материально выжить. Сколько таких судеб в США! Чем, казалось бы, они могут заворожить писателя? Однако Е. Литинскую привлекли в этом сюжете именно типичность и будничность «банальной трагедии». Свои трагедии не бывают банальными, а вот чужие... Смотри для кого... Образ Галины — это образ никем не оценённого женского подвига: жить в разлуке с родными, зарабатывать в чужой стране уборками чьих-то домов и квартир, пребывая в плену у одиночества и личной не востребованности, чтобы спасти от нужды своих детей и внуков. И даже получив предложение выйти замуж за обеспеченного

добропорядочного бывшего соотечественника в США, искренне привязавшегося к ней, героиня не считает себя вправе сделать шаг навстречу своему благополучию: скоро выйдет из украинской тюрьмы её муж. Он ей не нужен, но он этого пока не знает и надеется на новую жизнь, обещает бросить пить... Больно его огорчить. А как же дети и внуки? Они ждут её подарков и денег... Они привыкли к её помощи! А чужой малыш, которого она вырастила как нанятая нянька, но который успел полюбить её как бабушку! И опять читателю предлагается подумать вместе с героиней рассказа над предложением: выйти замуж или не выходить, предпочесть долг или своё право на счастье.

Очарование сюжетного многозначия рассказов Литинской ассоциируется с открытым окном и лёгким ветром: колышется штора, свежий воздух просится в комнату, в судьбу, во внутренний мир...

В одних рассказах автор направляет свет в единственную цель, в других — свет может перемещаться на многие проблемы, лица и даже поколения.

Многоплановыми по количеству поднятых проблем, противоречий и вечных тем являются, например, такие рассказы, как «История болезни», «У станции “Конечная”», «Фанечка, или Монолог иммигрантки», «Откровение Оксаны». Эти рассказы объединены трагичностью женских судеб, столь не похожих друг на друга, ибо «каждая несчастная семья несчастлива по-своему». Но было бы слишком поверхностно сузить проблематику этих рассказов до термина «женские судьбы», ибо это — не просто яркие биографии, но и вечные темы.

Вера и неверие в Бога, сострадание и чувство вины, совесть и попытки освободиться от её навязчивого присутствия, одиночество, непредсказуемость человеческой судьбы, относительность и преходящая суть благополучия, его коварный нрав... Но и это не исчерпывает проблематику прозы Е. Литинской. Абсолютно невозможно перечислить каждую тему и подтему вошедших в книгу произведений. Да и зачем? Однако считаю важным остановиться на теме психически больных людей и их трагического существования в обществе так называемых здоровых, традиционно относящихся к таким больным с высокомерным насмешливым презрением. Эта тема — основная «мелодия» сразу трёх рассказов книги: «Откровение Оксаны», «Колдовство» и «История болезни».

Тема предприимчивости и ловкости в сочетании с трудолюбием и некоей авантюристкой — одна из составляющих рассказа «Фанечка, или Монолог иммигрантки». В целом это — ещё одно полифоничное произведение о жизни иммигрантской семьи. Фанечка пыталась схватить жизнь за горло ещё в СССР, не без успеха изображая из себя, еврейки, актрису-цыганку. Америка пробудила аппетит другого масштаба, и азартная дама не

просто смогла поймать свою американскую удачу, но и поддержать её в руках. Однако удача сопротивлялась и в итоге не только вырвалась из цепких рук героини, но и жестоко отомстила... Между почти никогда не ценимым нами скромным счастьем настоящего и вечной погоней за большим неожиданно может пробежать горе, наступить старость или атаковать болезнь — совершенно наглая гостья, которую трудно не впустить, хотя её никто никогда не зовёт.

Теме неизбежной старости и ужаса одиночества посвящён рассказ «У станции „Конечная“». Сварливая, плохо видящая и слышащая одинокая старуха, коих миллионы на Земле, проявляет свой жуткий характер... Читателю видна лишь внешняя поверхность пресловутого айсберга, а контуры многих скрытых подводных тем лишь угадываются: дряхлость тела и вечная молодость души, бесконечность воспоминаний, которые никому не нужны... Материнская преданность и любовь, эгоизм взрослых детей и их великая неблагодарность.

Полифоничность многих произведений сборника сочетается с их удивительной кинематографичностью, что было уже не раз отмечено выше. Но вот ещё один выразительный тому пример: история знаменитой преуспевающей голливудской актрисы Айрис, которая вскоре после родов получает блестящее творческое предложение. Айрис предстоит глубоко вжиться в образ главной героини сценария, написанного по мотивам реальной судьбы знаменитой русской балерины, потерявшей рассудок в результате предательства любимого. Трагизм этой судьбы сплетается воедино с судьбой самой исполнительницы, словно какие-то высшие силы выразили свой протест против лицедейства, предостерегая актёров играть безумие, ибо оно отделяется от психической нормы тончайшими и хрупкими субстанциями.

Историей женских судеб на иммигрантском небосклоне является и рассказ «Жаркие разговоры за чаем». Рассказ чем-то созвучен в моём восприятии горьковской пьесе «На дне». Ещё одна зримая история американского варианта коммуналки или общежития. Три женщины совершенно разного возраста, интеллекта, происхождения и жизненных устремлений оказываются соседками, или, как это звучит в США, руммейтами. Неудовлетворённость жизнью и униженность своим положением нередко рожают агрессию и мешают великодушию поселиться в их жилище надолго. В рассказе нет главных и второстепенных образов: он раскрывает характеры трёх женщин, чьи судьбы — иронично предсказуемы и нет. Но в данном случае предсказуемость — безусловное достоинство рассказа, в котором тонко подмечены закономерности самой жизни и её неизбежный нрав.

Сборник «От Спиридоновки до Шипсхед-Бей» — череда судеб и характеров. Хана — «Королева Фар-Рокавея», одного из районов Нью-Йорка, где в описываемые годы у прохожих запросто могли сорвать с шеи золотую цепочку среди белого дня, — не только продолжает здесь жить сама, но и зазывает сюда приличных людей из других частей Нью-Йорка, чтобы они своим присутствием облагородили этот обиженный Богом район, поскольку с ним связаны самые лучшие воспоминания её молодости. Она пережила холокост, но пережить переезд в лучший район ей трудно. Есть такие люди на Земле: они прорастают корнями в почву отношений с предавшими их друзьями, супругами, правительствами... Они живут в экологически запрещённых для проживания зонах, рискуя умереть преждевременно, но ничего не меняют. Преданность данности.

Тема оккультизма и колдовства не имеет гражданства и не зависит от образования. Нередко и ярые материалисты в моменты сильных душевных потрясений обращаются к колдунам, гадалкам, знахарям. В рассказе «Колдовство» автор погружает читателя в таинственный мир непознанного. Этот рассказ противоречив по своему жанру: то ли мистика, то ли сказка, то ли фантастика... А вдруг реализм? А уж с философией и подавно проблемы: тут уж точно не подойдёт фраза «человек — кузнец своего счастья». Однако автор предлагает читателям самим определиться с жанром. Рассказ — потрясающе интересный! Если есть реинкарнация душ, о чём пишут уже и учёные, то кто знает — может, мотивы и причины обмена душами намного шире, чем принято думать? Вот ещё один пример открытой концовки рассказа, а также привлечения внимания читателя к проблеме душевных болезней и их носителей.

Сложную и полемичную тему вынужденно-атеизма Е. Литинская поднимает в рассказе «У Голдманов». Евреи, лишённые советской властью возможности, по сути, быть евреями в СССР, изучать свой язык, культуру, историю и религию, нередко чувствуют себя в США неуютно в этом смысле: хоть уже и разрешено верить в Бога и молиться, как только приземлились в аэропорту, да не каждый способен неожиданно превратиться в того, кем ему было предписано стать природой, но запрещено властью. Впечатляет непререкаемая твёрдость Голдманов в соблюдении законов иудаизма и столкновение этих законов с интересами здоровья маленького ребёнка: он простудился от холода, но нельзя обогреть квартиру, отрегулировав температуру с помощью термостата, ибо это противоречит Шабесу. Рассказ опять заканчивается неожиданно... Автор позволяет читателю надеяться и на возможный благополучный исход.

Тема антисемитизма в СССР затронута в авторских воспоминаниях («Минорная мелодия

Мажорова переулка»), ибо эта проблема коснулась автора ещё в безмятежные школьные годы. Эта же тема, но уже на новом уровне — при поступлении в вуз, встречается в рассказе «Личное дело». Читателям остаётся лишь догадываться о возможной степени автобиографичности этого сюжета, но в любом случае он отражает объективную реальность национального вопроса в Советском Союзе в описываемое время.

В рассказах о первой любви «Нежность тополиного пуха» и «Польские каникулы» действие происходит в СССР и в Польше в 60-е годы. Романтичная девочка-подросток, пробуждение чувственности, первый поцелуй, внезапно прерванные отношения... Порой кажется, что кто-то сверху нарочно разлучает юных возлюбленных, чтобы сначала пострадали, а уже потом... Но для многих не наступает и это «потом». Издержки божественного делопроизводства, наверное. Уже созданы взрослые семьи, уже подрастают дети... И вдруг случайно встреченный одноклассник из

далёкого детства перечёркивает всё это взрослое размеренное благополучие, а его обладатель безрассудно кидается в пропасть страстей, пытается вернуть прошлое.

Если вам всё это дико,
если страсть вас обошла,
значит, жизнь прошла безлико,
хоть и правильно прошла².

Сборник воспоминаний и рассказов — это подарок для наиболее искушённых читателей. Завладеть аудиторией на «стометровке» рассказа гораздо сложнее, чем на длинных магистралях и крутых сюжетных поворотах повестей и романов. Дирижёрская палочка автора хорошего рассказа отвечает не только за интересность и достоверность персонажа, за качество звукозаписи душ и судеб героев, но и за безошибочно выбранную интонацию, где сфальшивить на одной ноте — значит, погубить всё. Эта дирижёрская палочка по сложности своей миссии почти равна волшебной.

ДиН пародия

Евгений Минин

Талант — под рёбра

Антикабачное

Как намечалось много,
Сложилось мало как:
Мережилась дорога,
А выпал — кабак.

Евгений Чигрин

В судьбе моей проблема,
Порой впадаю в шок:
Мерещится поэма,
А пишется стишок.
Но главная досада
В связи с таким житём:
Мерещится, что надо
Завязывать с питьём.

Подольное

И задирать подол до самой запятой,
И доходить, в конце концов, до самой точки.

Станислав Ливинский

Бурлила страсть во мне, я повстречался с той,
Которую любил, и начал по привычке
Ей задирать подол до самой запятой,
И, к точке подходя, наткнулся на кавычки.
Вот как она живёт, мне верность не храня,
И погубила всё, что дорого и свято.
Любимая, прощай, теперь ты для меня
Такая, как и все, — обычная цитата!

2. Из текста песни Галины Пичуры «Сюжет».

Елена Литинская

Весёлая вдова

Гриша (друг моего мужа Жени) переехал к нам в Нью-Йорк из далёкого и жаркого города Сент-Луиса. В Москве Гриша работал врачом-психиатром, а в Америке стал массажистом, так как после нескольких отчаянных попыток он не смог сдать экзамен на звание мд. Был Гриша уже немолод, сорока девяти лет, характера вяло-депрессивного (что неудивительно при такой профессии), и, чтобы не впасть в настоящую депрессию, решил прекратить мороку со сдачей экзаменов на врача и окончательно остановиться на профессии массажиста. Массаж в то время входил в моду и хорошо оплачивался. В конце восьмидесятых в Нью-Йорке было больше возможностей для трудоустройства, к тому же мы помогли Грише снять недорогую квартиру по соседству.

Прилетел Гриша в Бруклин один, без жены и дочери. Какой-то хмурый, неухоженный, небритый. Дочь училась в бостонском колледже, а вот жена... На вопрос, почему он не приехал вместе с женой Галей, Гриша то говорил, что вызовет её позже, когда на работу устроится, то намекал, что она в наши края не больно хочет перебираться. Словом, юлил, темнил. И невольно возникало подозрение, что живут они с женой плохо: не в разводе, но и не в ладу. Вроде вместе, но по сути — врозь. В общем, перестали мы с мужем смущать Гришу дальнейшими расспросами. Один так один. И стал он к нам вечерами заходить на правах друга семьи. Ужинали, выпивали, говорили за жизнь, как в былые московские времена на кухне. Иногда Гриша жаловался на боль в спине:

— Болит, проклятая, и давно. Всё никак не соберусь к врачу сходить, да и страховки нет.

Сначала Гриша с удовольствием поглощал мои нехитрые кулинарные изделия в виде овощных супов и котлет, потом у него начал болеть желудок и пропал аппетит. В конце концов так сильно прихватило, что пришлось срочно вызвать скорую и положить его в больницу. А в больнице анализы и другие тесты ничего утешительного не показали. У него обнаружили злокачественную опухоль и метастазы в печени, и его дорога жизни упёрлась в тупик. Местные доктора только руками разводили. Как мог он, будучи сам медиком, так поздно обратиться к врачу?!

Женя позвонил Гале в Сент-Луис, рассказал о Гришином диагнозе и попросил, чтобы она не откладывала приезд в Нью-Йорк.

Стоял май месяц. В Сент-Луисе уже было жарко, а в Нью-Йорке пока ещё не очень. Галя, как была, в шортах и в майке, бросила все дела и с одной только дорожной сумкой, в которую засунула зубную щётку, косметику, смену белья и кошелёк, рванула в аэропорт. Надо было спасать мужа.

Гриша лежал в больнице после операции. Я зашла к Гале познакомиться и поговорить. Дверь мне открыла симпатичная фигуристая крашеная блондинка, лет сорока пяти. Майка обнажала и полуоткрывала весьма пышную грудь и была Гале игриво тесна. Шорты обнажали полные, но крепкие, без целлюлита, ноги. «Да, соблазнительная женщина! Не по зубам депрессивному Грише...» — невольно мелькнуло у меня в голове. «Господи! О чём я думаю в такой ситуации?» — тут же мысленно упрекнула я себя.

Наше первое общение с Галей было кратким. Я рассказала ей, как добраться до больницы, в которой лежал Гриша, и дала одну из своих кофт поносить, пока не придёт Галин багаж. Не рассчитала я Галины габариты... Моя кофточка шестого размера ну просто не могла сойтись на Галиной мощной груди и смотрелась как детская распашонка.

— Вы уж извините, Галя! Это самая широкая кофта, которая нашлась у меня в шкафу, — развела я руками.

— Ничего. Спасибо! С-сойдёт и так, — ответила Галя и грустно так улыбнулась.

Она слегка заикалась, когда нервничала.

Вскоре после операции Гришу выписали домой для амбулаторного прохождения химиотерапии. Нью-йоркское лето было в самом разгаре. Асфальт плавился, сохраняя вмятины от следов обуви. Раскалённый влажно-липкий воздух загонял жителей мегаполиса в магазины, учреждения, библиотеки, торговые центры — куда угодно, лишь бы под спасительный кондиционер. Вечера и ночи не приносили прохлады. Океан шумел совсем неподалёку, соблазнительно освежающий, желанный, но до него было лень не то что дойти, но даже доехать на машине.

Женя забежал навестить Гришу с Галей. Перевозка с их вещами и мебелью уже прибыла из Сент-Луиса. В маленькой спальне на широкой кровати под вентилятором, который перегонял раскалённый воздух с улицы в комнату, лежал высохший, мумиевидный Гриша и тяжело, со свистом дышал. Рядом, обливаясь потом, хлопотала Галя. У них не было тогда ни денежного пособия, ни накоплений на кондиционерную «роскошь». Увидев такую безрадостную картину, Женя в тот же день купил и установил Грише с Галей кондиционер. Прохлада в спальне скрасила последние Гришины дни. В сентябре Гриши не стало.

Вызвали из колледжа дочку Юлю. Еврейская община помогла организовать и оплатить похороны. Позвали раввина, но кадиш читать не пришлось, так как не набралось десяти взрослых мужчин для миньяна. На похоронах было всего-то шесть человек: Галя с Юлей, Галина московская подруга с Лонг-Айленда, я с Женей и раввин. Похоронный обряд сам по себе является завершением человеческой трагедии. Отмучился бедный Гриша. А когда на похоронах народу раз-два и обчёлся и не звучат хвалебно-печальные прощальные речи, как будто ушедший так просто отбыл в мир, свой срок и не совершил ничего доброго и замечательного для человечества, для общины или хотя бы для друзей и родных, на душе становится беспросветно горько. В общем, Гришины похороны были какими-то особенно похоронными.

Вскоре после поминок, которые Галя всё же устроила (а как же без них?), Юля уехала продолжать учёбу и жить своей молодой эгоцентричной жизнью, стремясь, отплакав, быстро уйти, отмахнуться от горя и снова окунуться в суетность будней и праздников в вечной погоне за жар-птицей счастья. Галя осталась одна в необжитой, неудобной квартире, с застоялым, въевшимся в стены и мебель запахом болезни и смерти. Возвращаться в Сент-Луис Галя не захотела. Надо было привыкать к одиночеству и в сорок пять лет начать жизнь в новом городе с нуля. Ну, нечто вроде второй эмиграции.

Казалось бы, ситуация не только печальная, но и труднопреодолимая. Другая женщина, весьма возможно, впала бы в депрессию и опустила руки. Но не таковская была наша Галя. Не в её характере было уныние. Для начала она села на пособие welfare и получила фудстемпы, а потом очень быстро нашла работу клерка в местной больнице. Одновременно Галя вспомнила, что она пианистка, выпускница музыкального училища имени Гнесиных, и не реализовать такую ходовую профессию в русскоязычном Бруклине, где многие родители жаждут обучать своих детей игре на фортепьяно, — это грех. Я с радостью ей помогла и сразу нашла первых учеников: сына своей

близкой подруги и дочку соседа Миши. Мы также обсудили это дело с Женей и решили купить пианино и обучать моего сына музыке, благо далеко ходить не приходилось. Галя жила за углом. И так, переезд Гали в Бруклин, связанный с печальными обстоятельствами, неожиданно способствовал в век рэпа, хип-хопа и попсы приобщению наших детей к классической музыке.

Мы с Галей быстро сдружились, и не только на почве уроков музыки. Тяжеловатая и округлая по форме, Галя была чрезвычайно лёгкой и прямой, как стрела, на подъём.

— А не поехать ли нам, Галка, сегодня в Kings Plaza Mall за тряпками? — кидала я идею.

Галю не нужно было долго уговаривать. Мы прыгали в машину и отправлялись на поиски очередной кофточка или пары туфель или поглазеть на витрины — как у нас говорят, window shopping.

Не только мы с Галей были разных габаритов, разнокалиберны были также и наши автомобили. Я осторожно и неспешно, даже чересчур бдительно, соблюдая все правила уличного движения, водила свою шестицилиндровую (почти новую) машину «Cutlass-Sierra». Галиным средством передвижения был огромный старенький восьмицилиндровый «танк» под названием «Pontiac-Bonneville». Когда Галя вела свой «танк», меняя ряды, я замирала рядом, а она чувствовала себя королевой улиц и магистралей, как бы объявляя всем вокруг: «Посторонитесь! Уступите дорогу хозяйке города, а не то — смету...»

Ну, конечно, сметать разные другие мелкокалиберные автомобили она не сметала, но столкновения случались, и послужной список Галиных ДТП рос вместе со стоймостью её автомобильной страховки. Однако это её не слишком заботило. Не то чтобы она была чересчур легкомысленна, но настоящая горе уже случилось — умер муж. Поэтому Галя философски воспринимала все бытовые неурядицы и неприятности как досадные недоразумения, недостойные глубоких переживаний.

Галя обожала свой старенький «Pontiac-Bonneville» и не признавала ни автобусы, ни сабвей как средства передвижения по мегаполису. Запарковать такую машину-громадину на улицах Нью-Йорка было делом нелёгким и требовало терпения и сноровки. Галя вставала рано и выезжала на работу загодя, оставляя значительный запас времени на парковку. Частенько приходилось парковать машину довольно далеко от больницы, в которой она работала, и даже в кварталах чёрного гетто. Будучи женщиной рассеянной, Галя иногда забывала, где оставляла машину, и вечерами долго плутала в поисках любимого авто. Однажды холодным зимним днём, когда всё вокруг было засыпано снегом, Галя так и не нашла своей машины. Она упрямо ходила вокруг больницы, удлиняя радиус. «Pontiac» исчез, как сквозь землю провалился. «Всё,

украли мой „Бонневильчик“!» — с тоской подумала Галя, села в автобус и поехала в полицейский участок заявить о краже.

Полиция несколько недель честно искала Галино «драгоценное» средство передвижения на улицах, засыпанных снегом, и потом, когда снег растаял, но безуспешно. В итоге дело о пропаже Галиной машины не то чтобы закрыли, но отложили до лучших времён. А через полгода, в июле, Гале неожиданно позвонили из полиции и радостно сообщили, что её автомобиль обнаружен на одной из улиц бруклинского чёрного гетто, где, впрочем, она его зимой и запарковала. Он там так и простоял нетронутым всё это время. Правда, на лобовом стекле под дворниками торчал полуистлевший от погодных перепадов одинокий «тикет» за несоблюдение правил парковки. Машина оказалась почти в рабочем состоянии. Только аккумулятор пришлось заменить. Ну и, само собой, оплатить «тикет». «Бывает же такое везение!» — не веря своему счастью, подумала Галя и бодро села за руль.

Когда Галя появлялась на Брайтоне в коротких соблазнительных шортах и игриво открытой майке, мужчины разных возрастов и сословий как по команде поворачивали головы в её сторону.

— Ну, Галка, мужское население Брайтона у твоих божественных ног и бюста, — констатировала я сей факт, честно говоря, с некоторой долей зависти. — Выбери любого мужика.

— Ещё рано. Вот пройдёт год со дня Гришиной смерти, тогда и займусь вопросом отбора и выбора.

Так и случилось. Прошёл год, и Галя начала вплотную рассматривать и сортировать представителей мужского пола, которые проявляли к ней живой интерес. Начальный выбор пал на соседа Мишу, дочке которого Галя давала уроки музыки. Миша находился в неофициальном разводе (separation) и сам воспитывал свою старшую дочку-подростка. Он был на пару лет старше Гали, приятной внешности, родом из Ленинграда, благородно сед, интеллигентен и мягко картав. Миша уже несколько месяцев как положил взгляд на Галю и терпеливо ожидал, когда она созреет для более чем дружеских отношений. Галя созрела, оценила его долготерпение, и у них завязался роман.

Вначале всё было красиво: любовь по уикендам, с прогулками, поездками, цветами, вином и пирожными. Потом постепенно прогулки, поездки, цветы, вино и пирожные отпали за ненужностью. Осталась одна любовь...

Вскоре выяснилось, что Галя с Мишей не сошлись характерами и взглядами на устройство быта. Миша любил дома полный порядок: чтобы пыль была вытерта, обед из трёх блюд (непременно с компотом) и посуда вымыта. А Галя много работала, да ещё давала уроки музыки вечерами и по уикендам. Ей частенько было не до пыли, посуды

и обеда. Лишь бы справиться с нагрузкой. И вот как-то раз культурный Миша пришёл к любимой женщине и, увидев пыль на пианино, совсем не интеллигентно написал на нём пальцем известное слово из трёх букв. Он повторил эту не очень удачную шутку несколько раз. Гале такая шутка совсем не понравилась. Начались ссоры.

— Галочка! Не тратьте на него своё драгоценное время! Ищите другого мужчину, — откровенно предупреждала Галю старенькая Мишина мама, которая хорошо знала своего сыночка и стояла за женскую солидарность. — Он всё равно никогда больше не женится. (У Миши за плечами уже были два неудачных брака и три дочери.)

Галя, конечно, слегка опечалилась от такого предупреждения и находилась в раздумье, как поступить с Мишиной любовью, пока она случайно не узнала, что Миша параллельно любил другую женщину. Ну, при таком неожиданно коварном раскладе Галя, естественно, дала Мише полную и бесповоротную отставку.

— Нет, ты только подумай, каков мерзавец! Пыль ему вытирай, обед вари! Чистоплюй, гурман хренов! А сам на два фронта работает, — возмущалась Галя, излагая мне все подробности их разрыва.

— Выкинь из головы и забудь! Гарантирую: не пройдёт и месяца — найдёшь себе другого. С твоими данными простаивать не будешь, — успокаивала я подругу.

Я как в воду глядела. После Мишиной отставки откуда-то (думаю, с Брайтона) в Галиной жизни на короткий период появился маленький, лысоватый, шустрый бухгалтер Яша, которого сменил высокий, мускулистый и шевелюристый спортсмен Вася. Вася продержался долго, почти год, пока не привёл с собой на временное место жительства в Галину квартиру российскую волейбольную команду в полном составе. Это было уже чересчур даже для широкой Галиной натуры. Когда спортивные соревнования в Нью-Йорке закончились, Галя сурово выставила Васиные вещи за дверь и решительно сменила замок.

После таких «катаклизмов» Гале потребовался полный отдых и коренная смена обстановки. И они вместе с дочкой Юлькой укатали на неделю в Париж...

— Ну, как отдохнули, Галка? Как Париж? — спрашивала я, которая в Париже побывать к тому времени ещё не успела.

— Отдохнули по первому разряду. Но ты же меня знаешь. Приключения ко мне так и липнут. Как это говорят: увидеть Париж и умереть? В Париже я уже была, так что теперь могу умереть спокойно, — мрачно отреагировала Галя и рассказала мне детали поездки: — Сначала было волшебное прекрасно. Мы балдели от ажурной Эйфелевой башни, внушительного собора Парижской Богоматери и других красот. Но, увы, у меня никогда всё

гладко не бывает... Когда мы с Юлькой отдыхали от беготни по городу в кафе Латинского квартала, заедая недешёвыми маленькими пирожными крепкий и тоже недешёвый чёрный кофе, я всего-то на секунду зазевалась. Понимаешь, на какую-то секунду. И этой злосчастной секунды как раз хватило, чтобы моя сумка с деньгами и паспортом исчезла. Хорошо, что у Юльки были ещё деньги и кредитка. Ну, потом мы вкусили остальные «прелести» жизни. Полдня проторчали в полиции и столько же в американском посольстве. Да, теперь меня в Европу калачом не заманишь.

— Ладно тебе! Отдохнёшь от отдыха, успокоишься. На следующий год махнёшь в Рим или Мадрид,— утешала я подругу.

— Нет уж! Мне и здесь хорошо. Поеду завтра на любимый Брайтон-Бич, искупнусь, позагораю, накуплю фруктов и овощей.

И она поехала на свой любимый Брайтон и, конечно же, подцепила нового бой-френда. Вернее, он выделил её из толпы. Чем старше становилась Галка, тем её бой-френды делались моложе. На сей раз в Галку влюбился красивый араб (из Египта) тридцати пяти неполных лет. Некоторое время она скрывала от нас появление араба в своей жизни: боялась, что мы сочтём факт его наличия политически некорректным по отношению к Израилю и еврейской общине города Бруклина. Но шила в мешке не утаишь. Галя взяла египтянина на постой, и очень скоро любознательные соседи стали шептаться о её новом любовном приобретении. Одни—с осуждением (вот до чего доводит безнравственность!), другие—с завистью (красавчик что надо!), третьи—сочувственно (женщина в самом соку потеряла мужа, тут не только с мусульманином—с негром закрутишь...). В конце концов, Галка поведала о своём молодом арабском любовнике и нам с Женей и даже взяла его с собой на вечеринку к нашим общим друзьям.

— Вот, познакомьтесь. Мой друг Осама. Он приехал из Египта,—представила она всей честной компании своего возлюбленного.

Гости оживлённо улыбнулись, некоторые хмыкнули, а Женя про себя его уже окрестил «ебибтянином», о чём поспешил шепнуть мне на ушко.

Так и вошёл молодой Осама в анналы Галкиных увлечений под этой кличкой.

«Ебибтянин» Осама был очень мил, общителен и трогательно-нежно обнимал Галку в танце, за столом и вообще. Галка искренне к нему привязалась и рассказывала мне впоследствии, что из всех её дружков сердечных Осама был самым преданным, заботливым и ласковым. Он называл её «my darling Galia», говорил ей восторженные комплименты, осыпал её ренессансное тело пылкими поцелуями мусульманина, у которого осталась только одна жена, омывал вечером её усталые ноги, приносил завтрак в постель и готовил потрясающие по вкусоности пряные восточные обеды.

История эта происходила в начале девяностых годов, когда об Осаме Бен Ладене народы мира ещё слышаны не были. Знала бы Галя тогда, что спустя десять лет имя «Осама» станет символом терроризма и что этим именем будут пугать маленьких детей,—может быть, подумала бы, посомневалась, прежде чем приблизить к себе египтянина... А впрочем, ведь писал же Шекспир:

What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.

Прошло несколько лет. Галина дочь Юля вышла замуж, родила ребёнка, очень скоро развелась с мужем и осталась жить в Бостоне без всякой моральной и почти без материальной поддержки. Перед Галей снова и, можно сказать, судьбоносно встал вопрос о переезде в другой город. Что делать? Продолжать накатанную, устроенную жизнь в Бруклине с любящим и заботливым Осамой или, бросив всех и вся, ринуться в Бостон на «спасение» родной дочери и внука? Галя, как примерная мать и бабушка, выбрала второй вариант. Один раз Осама приехал навестить свою «незабвенную Галию», а потом исчез. Больше они не встречались и потеряли друг друга из виду. На этом роковом имени закончились Галины любовные истории. Она полностью посвятила себя дочери и внуку и довольно редко приезжает в Бруклин. Иногда мы перезваниваемся, вспоминаем былое и думаем думы.

Нина Огнева

На пасеке Божьей



Я на пасеке Божьей —
сортировщицей сот,
живо чувствую кожей
плоть восковых высот,
живо чувствую веком
рос непролитых вес —
стынет в рубище ветхом
благолепье небес.

Мне не счесть, не исчислить
тмы огрузлых колод,
кружев танец речистый —
крыл немолкнувших лёт;
спят душистые травы,
и медвяно сладка
в обечайке оправы
позолота летка.

Но сторожкою тенью
недреманных ресниц
чую страх и смятенье
в перепевах цевниц,
живо чувствую жалом
наливного пера:
дымовейным пожарам
наступает пора...

Сортируя по крохам
всё, что впрок собрала,
живо чувствую вдохом
и касаньем крыла,
что ни так и ни этак
мне не минуть костра —
зажигательно меток
злойной нежити страх.

Мне не счесть и не взвесить
сухостойных снопов;
по дорогам и весям —
без колод, без оков;
путь медвяный итожа,
не насытишься впрок.
Я на пасеке Божьей —
сортировщицей строк.



Ничего не попишешь: настала такая пора —
Не чета зимовейным буранам да летнему зною.
Очумела судьба, да не с бритвою мчится за мною,
А куражится вволю, распяля перстов веера.

Тут, пиши, не пиши — прозябая в безвестной глуши
Иль царапая твердь небосвода над кручей Парнаса, —
Всенародная слава играет с тобой в «опанаса»,
Да у горла не пальчики детские, а палаши.

Оглядишься — пылает зарёй заливной горизонт,
Угорелых стрижей над прудом новгородское вече.
Но, сдаётся, что нынче о птичках писать не резон,
Коль парной человечиною множится плоть человечья.

И покуда, изверившись в сущностном, твой адресат
Поспешает к успенью харит и всевластью вампирью,
Кровоточия строк, как рубцы от сердечных насад,
Схорони до поры под сукна обветшавшего ширью.



Что нам с тобой дарит обычный день?
Рассвет, пожар заката в час вечерний,
рукопожатье друга, ропот черни,
блаженство вдохновенья, хворь и лень.

Что ночи тьма привычная сулит?
Тем — сладкий сон, тем — злую сухость века,
мне — горькое явление человека,
презревшего покой могильных плит.

Скупа палитра Правды: свет и тень,
зло — добродетель, малый и великий...
Слова её просты, но многолики,
как многолики знаки «ночь» и «день».

Её нехитрых слов могуча рать:
их скромный каждодневный труд — не врать.

● ● ●

Я жду осенних холодов
безропотно и терпеливо.
Стекла глазурная полива
на солнце нежится глумливо,
а свет рассеянный медов
и густ. Листвы багряной лава
пылает сочно меж страниц,
не опалая сень ресниц.
Но ритм, с коварством власоглава,
внедриться метит на подсос:
там круговерть атласных ос
в пылице золотного расплава;
анахронизмами порос
лежащий камень: ткуют слева
направо прошвы скорбных строк.
Долготерпения урок
в назначенный исполнив срок,
под гул медвяного распева
томясь, осенних холодов
я жду безропотно. Рядится
в лоскутья выцветшего ситца
Селены лежбище. Бордов
фальшивого светила отблеск.
Как лот аукциона «Сотбис» —
сентябрьских прописей анклав
среди орд высокоумных глав.
Разверзшись, сателлита пицца
струит из чрева кичуп лав —
на ветошь. Шанса вивисектор
велит планидам верный вектор
блюсти. Изверившись весьма,
я жду, как женщина — письма,
страшась, что — умер где-то некто.

Блажит чернильная тесьма,
лжёт безупречности детектор:
клинки остроугольных гряд,
как жала, источают яд
вражды. Но серверные черви
(меж строк плетью багряных вервий
змеится дикий виноград)
чредой искусных имитаций
в непогрешимых списков ряд
сплавляют пикселей парад:
прайс-лист. В его графах остаться,
бесспорно, всякий был бы рад
из вас. Сакральные тома
ввергают в ступор книгочея —
в процессе чтенья сводит челюсть
с ума. Всепреданная челядь
костра и Вечности кума —
я жду. Осеннего безумья
зудит неутолимый зуммер,
и полны всходов закрома...

Я жду, как женщина письма,
страшась, что кто-то где-то умер,
о ком не ведаешь сама.

● ● ●

Пустеет дом, звучит вдали струна.
Прохладных рам смыкаются пределы.
И света сыпь стальная поредела
на золоте осеннего руна.

Пустеет сад; унылые дожди,
покорные движенью дымных облак,
так изменяют стен привычный облик...
Но — нет, я не про это, подожди:

пустеет жизнь. На пиршестве надежд
пустеет круг. Мертвящий привкус яда
знобит уста, и вздорных грёз плеяда
щекочет створы вылученных вежд.

Пустеет вер вселенский карнавал:
вразброд парад благочестивых масок,
в блистанье риз и ряс различной масти
тускнеет Лика скорбного овал.

Стремглав пустеет эроса чертог:
скудеет вдох, всё горше длится выдох.
Томленья зной во всех известных видах —
отцветших свеч восковый лепесток.

Влачатся дни, ветшает отчий кров,
томится том в оковах тайной власти;
кромсая текст, юродствующий ластик
юлит ужом меж выстрадавших строф;

меж рам сентябрь, но дышится с трудом:
сладкий дым — пустых кладбищ примета.
Но — нет! Я, верно, снова не про это:
то — в срок, меж строк, незримым чередом.

А нынче — сад. Пустеют кроны лип,
редеют струй унылые волокна,
дымят костры, и запотели окна,
и лист к стеклу оконному прилип.

Светится даль, багетный окоём
хранит пейзаж от мёртвого ненастья.
Объяты душ, звон лир, и — двери настезь
в необойдённом капище моём:

творится миф. Желательных персон
восковый строй являет смысла признак.
Затеплить плоть и — обратиться в призрак.
Подправить жест и — погрузиться в сон,

застыв в расплаве пламени и льда,
в совокупленье хаоса и лада.
Куришь, куришь, мой благовонный ладан.
Гряди, гряди, шальная коляда.

Скудеет скорбь, клубится тьмы фасад,
в пустых ветвях роятся пятна меди.
Уйти в твой дым. Но, уходя, помедлить:
ступить меж строк и — повернуть назад...

Вениамин Ленский

Стена играет в мяч



Женщина рожала, родила—
Девушка, которую когда-то
Он сумел схватить за два крыла,
Словно за углы её халата.

Весела, любезна, хороша,
Очень утончённая натура.
Талия—как три карандаша,
Сложенные разом, и паркура

Первая персона: по утрам
Бегаёт по Харькову, резвится.
Величают птичкой тут и там,
Полюбившей принца-кабардинца.

Он ей восхитительный Кавказ
Подарил (он с детства помнит горы!).
И теперь их сын огнями глаз
В те края проложит коридоры.

Влезет на вершину, запоёт
Знойную народную невинно.
И в сердцах суровых треснет лёд,
И сойдёт, прокатится лавина.



Стена, которая, не плача
И не смеясь, играет в мяч
С мальчишкой уличным,—удача
Из тысяч мыслимых удач.

По траектории волнистой
Мяч возвращается к ногам,
Напоминая мазохиста,
Что разойтись не прочь по швам.

Стена—как дойная корова.
Ей надоело быть стеной.
Она мячом побыть готова,
Попрыгать, стряхивая зной.

Ей улыбаться нет резона
И плакать тоже, ведь она—
Всего лишь часть автосалона,
Стена, обычная стена.

Комар

Комар отражается в паутине.
Он видит себя, самец.
Верно, находит себя звериной,
Чем клан луговых овец.

Он вдруг раздувается, и щетина
Его, как сосна, тверда.
И в воздухе сладкие реют вина,
И всюду журчит вода.

Жужжание самок бодрит безмерно.
И вот бы сейчас одну
Настичь и узнать, как её сирена
Способна взорвать луну.

Его хоботок осязает чутко
Потоки воздушных масс.
Вояка, чья пища—нектара крупка,
Комар удивляет нас.

Визжа, попадаетса, словно муха,
В своё отраженье; нить
Горячим копьём проникает в ухо.
Паук продолжает быть.

Колыбельная

Испугался смерти, милый?
Не бойсь, она одна
Для Платона и Аттилы—
И горчичного зерна.

Индивид, каким бы ни был,
Говорю тебе, уйдёт
С головою, словно в прибыль,
Обязательно под лёд.

Там очутится, где надо.
А над ним (и, может, в нём)
Конькобежцы легкозадо
Чёркать будут день за днём.

Не останется ни слова
И ни звука от листа,
На котором Иегова
Вывел слово «пустота».

● ● ●
 В глазах немножко потемнело
 И побелело как зимой
 Куда моё уходит тело
 И непрерывный голос мой

 Стучит в ледовые застенки
 Моя душа не знаю чем
 Снег опускается на зенки
 И поднимается эдем

 А вдруг всё это лишь обмана
 Морозный воздух боль ума
 Меня толкают непрестанно
 В твои объятия зима

 Я на утопленников будто
 Взираю исподволь на всех
 Они лежат переобуто
 В пространство пышное как мех

 Их обособленные лица
 Меня пугают и влекут
 Туда где время как мокрица
 Где обрывается маршрут

 Я погружаюсь несомненно
 Под нереально прочный лёд
 И надо мною то ли сена
 То ль тихий дон уже встаёт

 И словно веточкою ивы
 Примерив зимнее тканье
 Моя душа дрожит мы живы?
 Зачем цепляюсь за неё

 Не нахожу ни в чём ответа
 Но вижу вижу вдалеке
 Застыла чёрная комета
 И тень приклеилась к реке

 В себя все силы устремляя
 Взыскую солнечного дня
 Из ада грешного из рая
 Не важно лишь бы из меня

● ● ●
 Я оказался не у дел.
 Стоял, на солнышко глядел.
 Не знал, куда идти, откуда
 За мной придут. Курил, стоял,
 Как под распятием иуда,
 Что осознал свой идеал.

 Нет, никого не предавал я.
 Меня здесь предали—и кто?
 Шальная женщина, каналья,
 Мадонна, бабочка в пальто.

 Ушла. И даже не доела
 Ту шоколадку, что купил.
 И снег теперь оледенело
 Лежит в сердцах моих сивилл.

 Что напророчили мне—сами
 Не разберут, зажали рты;
 И небо гладят волосами,
 Что камнем рухнуло в кусты.

 На всём я вижу отпечаток
 Нелепой сумрачной тоски.
 Голодный волк украл зайчаток...
 Голодоморец—колоски...

 Все ощущения нежданно
 Вместились в сердце и легли
 На дно какого океана,
 Какой некопаной земли?

 И я стою, опустошённый,
 К пустому вязу прислонясь.
 И вижу, как молодожёны
 Обходят жиденькую грязь.

 Они идут, обнявшись чутко.
 Она о чём-то говорит,
 А из-под ног взлетает утка
 И устремляется в зенит.

Тимур Раджабов

Утешения зиме

Письмо отцу

Вёсны арабской вязью сплелись в года.
Линия жизни зияет каменоломней.
Семь с половиной было тогда всего мне.
Помнишь решение мудрого нарсуда?

Мол, эти двое друг другу теперь никто
(будто такое под силу решать кому-то).
После—турне-путешествие по приютам...
Помню, в треухе и в тёплом чужом пальто,

бритый «под ноль», ободряемый ребятнёй,
в комнату я залетел, пацанёнок-пуля:
«Папочка... па... ты приехал... не обманули!...»
Как же тогда я мечтал о тебе, родной!

Годы-кирпичики выстроились в года—
не полвосьмого уже и не восемнадцать.
Знаешь, отец, ты... я должен тебе признаться:
я ведь почти ненавидел тебя тогда!

Нынче, скользя по предзимнему хрусталу,
я улыбаюсь той радости ноябрёвой...
Как твои дети, отец? Поцелуй их... К слову,
знаешь, отец, я тебя всё равно люблю.

Скучаю

Ни травинки не колышет, ни листа
ветер грусти, собирая рифмы в стаю.
Пусть мелодия наивна и проста:
я один и по тебе одной скучаю.

И пускай ничто не вечно, даже грусть,
даже флаги, что глядят с высокой башни,—
я в любви не сомневаюсь, не клянусь,
а с другими—только день, и то вчерашний.

На душе моей по-прежнему дождит,
здесь, под солнцем, заблудившимся в тумане,—
без тебя, моя звезда, твой спутник
и столицу мира звал бы глухоманью.

Возвращайся, даже если невзначай
счастья хата навсегда сместится к краю.
Возвращайся, только, слышишь, не скучай—
хватит с нас двоих, что я уже скучаю.

Дымка

Тени вешние—чик-чирик,
серебро—под ребро шайтану.
Папироску восход-старик
прикурил и в лазури канул.

Новый день—словно старый мим,
словно девочка-невидимка:
то ли облако, то ли дым,
то ли марево, то ли дымка.

Нет. Никто не сошёл с ума.
Да. Здоров, то есть—да, богато.
Нет. Весна. То есть—да, зима
без морозного маскхалата,

приодетая в солнцеклёш,
из холодного ниоткуда
насыпает в ладошки рош
бесконечные изумруды.

Немелодией недожда
невесна расплескалась в мире.
Невосторги твои шадя,
глуше глуши и шире шири.

Далеко-далеко, мой друг,
небо близко (поверишь в это?).
Там восход миллионрук:
золотые стрижи рассвета

разлетаются кто куда,
далеко-далеко, навеки.
Незнакомка и незвезда
неземные прикрыла веки...

...Этот сон, этот старый мим!
Успокойся, моя любимка:
это облако, этот дым—
только марево, только дымка.

Утешение

Невесело траве на сенокосе:
Сентябрь её не любит горячо...
Когда-нибудь и к нам заглянет осень
И, улыбнувшись, тронет за плечо.

Мечтами обезличенные годы
Уйдут ко дну—уйдут в небытие;
Ты влюбишься в безветрие свободы,
Забыв, как сон, несчастье своё.

Не верится цветам, таким игривым,
Таким свободным и таким живым,
Что даже солнце может быть фальшивым
И через миг развеяться, как дым.

Мы чуда ждём и смотрим всё на двери,
Как в грустные глаза плакучих ив...
Холодный ветер—сонная тетеря—
Отшелестит излюбленный мотив,

И на круги своя вернётся странник,
И спросит: «Где избранница моя?
Ответьте! Это я—её избранник...»
И ты ответишь: «Здравствуй... Это я...»

Утешение зиме

Я помню, из небесной ямы
легла снежинка на ладонь.
«Зима! Зима!»—кричал я маме.
Мать улыбалась: «Не трезвонь...»

Не плачь, зима! Прощальным снегом
воспоминаний не буди!

Твою размеренность и негу
накрутит март на бигуди—

весна рассыплется в щедротах,
и, наклевавшись от щедрот,
любой кулик в своих болотах
красотке здравицу споёт.

Но переменчивость куплетов—
что конвертация валют;
с весёлым криком: «Лето! Лето!»—
апрель забвенью предают.

А за весну оплатит осень,
и кровью лета вспыхнет лес,
и в ноябре устало сбросит
свой чёрно-бурый ирокез,

сверкнёт в небесной амальгаме
снежинок первых кутерьма,
ребёнок крикнет: «Мама! Мама!»
А мать откликнется: «Зима».

melancholia

Скажи, мой друг, о чём твоя печаль,
нездешний взгляд и слог почти испанский?
Зачем выводит выпренные стансы
надсадная душа-теплоцентральный?

Расправь морщины скорбные, расхмурь:
вся жизнь твоя—что танец мимоходом,
словесный трюк, рисованная ода,
небесная и прочая лазурь.

И хнычешь ты отверженным Пьеро,
мечтая о своей прекрасной даме—
Мальвине с шоколадными губами,
в широкой шляпе с траурным пером.

Оставь янтарной грусти вензеля,
налей-ка зелья терпкого, налей-ка—
и вспомнит осмелевшая жалейка,
что белые чернила февралья

слезинками пушистыми сошли
с небес, и, одиночество оплавав,
легла зима, как брошенка-собака,
уткнувшись в ноги брошенки-земли.

Чёрный свет

Надень ливрею, сядь и не скандаль:
дублон, дукат—клише для дубликатов,
жизнь—одинокий в косточке миндаль.
Вразрез веленьям щучьим, карасята
уснут лишь на минуту, а расплата—
глубокая, утробная печаль...

С гадательной ромашки не зачах
счастливый лепесток, но дело швах,
и счастлив будешь на земле едва ли,
когда на мир глядишь из-под вуали,
и мальчики кровавые в глазах
окрепли, подросли и возмужали.

А небу—что идальго, что бандит,
как девочке с наклонностями шлюхи:
грустит луна в одном небесном ухе,
с другого—солнце весело глядит.
На этот образ—в духе ты, не в духе—
на странный и отчаянный гибрид

молись весь век и, на коленях стоя
(забыв, что и в коленях правды нет),
шепни тучегонителю-ковбою,
отринув недоверие пустое:
— С ночного неба льётся чёрный свет,
он по ошибке назван темнотою!

Пётр Чейгин

Я не свободен тень свою унять

К 65-летию со дня рождения

Ты и я

1.

Вечеру мятая речь мертва.
Вечер послушен и чист.
Ты сказала: «Прижми слова
к телу, мизинцами вниз».

Ты говорила: «Смотри, Юдифь
нам принесла еду...»
Тёплая копоть торчит в углу
с вострой пилой во рту.

Я на пари раскручу сучок
пойменной ели: «Тик-так».
В наших стараньях живёт молчок,
в ворохе ночи — знак.

Вытянут корни хлеб из земли,
не расплескав крыльцо.
Ты мне скажи: «Журавлиный клин
глянется молодцом?»

2.

Как люблю на пари
эту чёрную душу огня...
Не гневись, посмотри,
как пылают ответы коня.

Четверговая мямлит вода
с перевязкою мелких медуз,
но тебя доведёт до добра
переписки запаанный груз.

Я пою на твоих простынях,
ем цукат, разбираю закат,
отрезвел на неравных частях
поцелуя дневного впотмах.

Соль нежна на плече,
и восполненный день
отвердел от усилий коня...
Дай мне тень, погоди, дай мне тень,
не споткнись, надыши на меня.

3.

Я люблю на пари
эту чёрную душу огня,
эти узкие клейма зари
января, посмотри на меня.

В горле мокнет немая игла,
где ольховник струится на мхи,
где парит горьковатая мгла,
колкий купол с листа разверни.

Разверни мою жизнь, выжигай,
укрепи её время кольцом.
Полный Рай, Стёртый Рай, Общий Рай
мне прощением смоем лицо.



М. С.

Левая — правая в комьях наручников
дня обычного, пищи порочной.
Пляжем плакатным ступни окучены,
выжаты шорты... Досада заочная
не нападает невской линейкой,
птицей пугает, немощной гривной...
Не озабочусь крымскою лейкой,
гляну коржом Третьего Рима.
Пляж не ворохнется — кадка татарская
трасса накопит, проста презирая...
Вот и волна, с вечера порская,
в тело заглянет, воздушно сырая.



На сорок первой странице Джойса, значит,
мой теплоход застрял...
Тенькает человечья всячина,
тел построчный оскал...
Так сказал.

Что же, заметив себя, не плачу
и за рукав схватил?

Луч схватил наудачу
в коробке светил.

Первое к розе

Я розу целовал в застуженное сердце
на киммерийской плахе в ночь гривастую.
И принял сан глухого иноверца,
и над собой я встал, и сердцем властвую.

Второе к розе

1.

Жадной парчой
киммерийского рваного тела
вытру глаза декабря
тьму зачавшие
в теле подушки
где расщепляется возраст

2.

Прячет строительный вторник
руки на шляпе глубокой
пальцы в расчёске небес

Не угощается «Мокко»
гордый закадровый бес
вырос старлей или шорник

3.

Падко от вязкой парчи
Всё мне молчала спеша
жалить соседнее море
скрасить его перегонной

Кто наплевал в невода
смирной кефалью и строк
не разместил до утра

сдавленных корью прибора
спутанных с пуза на бок

4.

Кроме решётки, где жить?
Кроме листвы, где мне спать?
Жди зацелованной розы
яда, разбившего кровь,
где распласталась любовь
рясой, умявшей подружку...
Точного сна наказание.

5.

Телом моим обессудь.
Гнётом моим отсуди.

Третье к розе

Дом никак.
Назидаящий греется гриппом.
И турник на заре
полюхает цыганской иглой.
Сколь сиятельна стать
розы тамошней с кастовым грифом,
что кружу, и цепляюсь,
и пальцы веду как слепой.

Три весенних строки
отфильтруют январский колодец.
И развесят мой год
на прищепках ничтожных комет...
Не радательным скифом,
гриву спешившим, как иноходец,
а нетленным пловцом
Солнце вырвется в жёлтый конверт

поселкового скарба.
В нём дева набухнет губою
ранне-раннего шторма,
заплетавшего тени зонтов.
И насытится розой,
и дом поведёт за собою,
как бездомная кошка
грудю бездомных коров.



Ангела в небо внесли,
прислонили к поленице.
Сколько здесь набрано звёзд
на Божию мельницу.

Сколько здесь скошено трав
с райскою мелочью...
Мне обернётся Стоглав
черновиками и немочью

верных костей. Укрепи
светлые грамотки.
Через себя говори
в стужу и паводки.

Вере юнцов сбереги
ангела ратного.
Через забвеньё реки¹
небу обратному.

1. Реки—говори, сказывай (церк.-слав.).

На год ухода

«Не волен», — так себе сказал.
Невольно кладки счёл заплаты.
И кровлю, что кричала в зал
золой кошачьей Травиаты,
в блокнот английский записал...

Ты, Саша, болен, чуял я.
Твои конфузы скалят зрение.
Недолго дутая семья
следит твои нравоученья,

когда, с порога впад в ковёр,
как Блок, почуяв половицы,
не всю пятернёй тапёр,
но вялой долею мизинца,

костьми заслуживает сна...
Но дай себе проснуться, милый,
когда не чёртова весна,
а козопас лишит нас силы.



Нетленная зима в моём блокноте
разгорячится в саночках стрекозых,
ломая арматуру января,
в бушлате кованом и на копытцах козых,
неделю с пряной трубочкой паря,
с преславной трубочкой
на закадычной ноте.

Премного пеших, с ночи пост творя,
скользнут в колонны на лихой работе,
завидя перемены в небосводе.

Поди, уютен вид строки царя,
заклёпанной заботой о народе,
где горемыка глаз с тебя не сводит.

195 лет со дня рождения ∴ ДиН АНТОЛОГИЯ

Иван Тургенев

Памяти Ю. П. Вревской

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом
ветхого сарая, на скорую руку превращённого
в походный военный госпиталь, в разорённой
болгарской деревушке — с лишком две недели
умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже
не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми
она ухаживала, пока ещё могла держаться на
ногах, поочерёдно поднимались с своих заражённых
логовищ, чтобы поднести к её запёкшимся
губам несколько капель воды в черепке разбитого
горшка.

Она была молода, красива; высший свет её знал;
об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей
завидовали, мужчины за ней волочились... два-
три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь
ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая
жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи...
она не ведала другого счастья... не ведала — и
не извела. Всякое другое счастье прошло мимо.
Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая
огнём неугасимой веры, отдалась на служение
ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в
глубине души, в самом её тайнике, никто не знал
никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.
Но горестно думать, что никто не сказал спасибо
даже её труп — хотя она сама и стыдилась
и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится её милая тень этим
поздним цветком, который я осмеливаюсь воз-
ложить на её могилу!

Сергей Шулаков

Литературная конфликтология

Профессору-филологу Ивану Есаулову принадлежит точная формулировка. Одна из его статей называется «О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начётничества в изучении русской литературы». Текущая русская литература раскололась на два лагеря, они словно дрейфуют в противоположных направлениях, и пропасть чёрных вод между ними становится всё шире. Отчётливым индикатором того или иного лагеря стала публицистика толстых журналов.

Позитив

«В России нельзя писать правду,—говорит Полина Жеребцова в статье «Путь политэмигранта» («Знамя», №6) и уточняет:—Во всяком случае, о Чечне». Рассказ, который должен считаться достоверным, прост, линеен и логичен до того, что о некоторых выражениях автор просто не заботится. Она приводит интернет-переписку с пожилым корреспондентом «местной газетки» из Грозного. Автор пишет адресату: «Как вы?.. Как ваша редакция? Она ведь недалеко от взрыва! В Грозном опять теракт!» Тот отвечает: «Нет у нас никакого взрыва! Мир! Порядок!.. Слава благородному Кадырову!» А вечером автор получила другое письмо: «Полина, ты зачем такое творишь?! Хочешь, чтобы мою семью расстреляли? Зачем *такое* на рабочий компьютер пишешь и спрашиваешь?! У нас только «слава, слава» или в могилу». О времени переписки нет и намёка, по тексту остаётся предполагать, что год-два назад.

Тема болезненная, вызывает много эмоций, чего автор, видимо, и добивалась. Чеченцы в спектре действий от зверств наёмников до политических интриг добились своего—невероятных экономических предпочтений, почти полной внутренней самостоятельности, изгнания русского населения при возможности свободно и, так сказать, своим обычаем жить в наиболее развитых регионах России. За это мы заплатили целостностью государства. Если Полина Жеребцова рассудит здраво, то признает, что цена хоть и велика, но развал России—хуже. Говорить о свободе слова при таких условиях в Чечне, конечно, надо, но—понимая, что эти попытки дадут плоды не скоро. Полина Жеребцова здесь не первая. Много беллетристики о Чечне написала Юлия Латынина, и хотя её текст

куда как смелее, в толстые журналы её не зовут. Есть и ещё примеры.

Речь в статье «Путь политэмигранта» в большей степени идёт о Финляндии.

Но не с первых строк. «Не могу молчать,—пишет Полина Жеребцова,—после того, как мои ноги были по щиколотку в густой соседской крови, когда я, одиннадцатилетняя, вошла в свой подъезд в августе 1996-го...» Вот это и есть последствия развала государства. Однако после того, как автор статьи опубликовала дневник о второй чеченской кампании, ей стали угрожать. Она вынуждена была бежать из Грозного. «Но как?» Автор обижается на обычную международную практику, которую, впрочем, страны с «развитой демократией» всё чаще нарушают, даже и прямо похищая людей. «Я обращалась в посольства разных стран с просьбой предоставить мне политическое убежище, но мне твердили одно и то же: „Пока вы не окажетесь на территории нашего государства, мы вам помочь не сможем“. Турфирмы тоже отказывались оформлять визы: „Вы из Чечни? Нет, извините...“» Наконец одна московская туристическая компания согласилась. Полина Жеребцова с мужем «старались не вызывать подозрения на русской границе, ведь те, кто прослушивали мой телефон, могут «повлиять» и на пограничную службу... Город на Неве—наш последний форпост». Автор не может удержаться от беспроигрышного хода: «Кота Пончика завещали друзьям-правозащитникам». Здесь многое непонятно: так ли длинны чеченские руки, чтобы блокировать выезд российских граждан за рубеж? почему Санкт-Петербург—форпост?..

В составе туристической группы супруги выехали в Финляндию, там и сбежали. В Финляндии к беженцам относятся очень мило. Центр проживания похож на отель с бесплатной медицинской помощью, на время рассмотрения дела о предоставлении политического убежища—от трёх месяцев до двух лет—государство предоставляет адвоката, курсы языка, проездные билеты на общественный транспорт. «Нам выдали новое бельё, полотенца и средства гигиены. Боже, благослови Финляндию!» Возможно, это авторская ирония...

Сосед по дому временного содержания—Аслан из Чечни. У него болит сломанное предплечье,

а перед дождём мучают кошмары, вновь представляется, как его пытали российские военные: «Подключали ток, подвешивали и растягивали. Предлагали рассказать о дяде-„боевике“». Спасли Аслана правозащитники. Но есть и другие соседи, русские. Один парень решил попутешествовать: дома всё в порядке, но он сочинил историю о том, что «был в мафии». Просил политического убежища в Швеции, потом в Финляндии. Его скоро выдворят, сотрудники социальной службы уже купили билет на самолёт. Другой подворовывал у своих же, предлагал Полине розовый мобильный телефон за двадцать евро — в магазине такой стоит триста. Полина, как она изящно выражается, «решила узнать, что думают сотрудники центра беженцев о таких людях». Ей ответили: «Полиция разберётся!» И вот, наконец, вождённое решение властей: «позитив», положительный ответ. «День рождения моего мужа мы справляли с друзьями — ингушами и чеченцами».

Это провинциальное «справляли» — в приличных семьях день рождения обычно отмечают... Это намеренное вычёркивание русских из списка друзей... Когда сталкиваешься с такими высказываниями, словно разрываешься пополам. Не должен ребёнок, девочка, жить в таких условиях, когда соседская кровь стекает по лестнице в подъезде. Нет проклятия на русском, чеченском и финском языках, которое исчерпывающе характеризовало бы тех, кто допустил и осуществил такое. И конечно, Полина Жеребцова, отправившаяся в «Путь политэмигранта», её муж и её будущие дети заслужили достойного отношения, о котором она пишет. Но однозначность оценок всегда свидетельствует об их ущербности. В тексте Полины Жеребцовой рядом с русскими никакой позитив невозможен. Это следует списать на эмоциональную травму: поживите в этом кошмаре — не так заговорите. Однако в чём смысл публикации такой статьи в литературном журнале, остаётся неясным. Или журналы, словно вступив в пору возрастного декаданса, прибегают к услугам иных, в том числе интернет-жанров, чтобы чувствовать себя моложе?

Лиго, лиго!

Доктор юридических наук, профессор Лев Симкин рассказывает об опыте посещения Вильнюсского Музея жертв геноцида, в обиходе — Музея КГБ. Ну, музей и музей, дом, где некогда помещался КГБ Литвы. Подписи под экспонатами только на литовском, на русском пополам с английским — единственный буклет про мнимую советскую оккупацию с абзацем про оккупацию гитлеровскую, вместо слова «сопротивление» — «резистенция». В буклете Лев Симкин нашёл удивительный рассказ об Июльском восстании 1941 года против советских «оккупантов», во время которого погибло

700 литовцев и юбилей которого с провинциальным шумом праздновали в 2011-м. Автору захотелось узнать об этом восстании поподробнее, поискам этой информации и посвящена статья с простеньким «Я поведу тебя в музей», опубликованная в пятом номере «Дружбы народов».

Сведения о восстании удалось обнаружить лишь в современных литовских газетах. Авторы — Альфредас Рукшенас, историк так называемого Центра исследования геноцида и резистенции, и Витаутас Дамбрав, представленный как «легендарный посол» и «старший член дипломатического корпуса Литвы». Из статей Лев Симкин узнал, что события, названные восстанием, начались сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Изнывавшие под советским игом мирные граждане были заблаговременно извещены о том, что вторжение будет осуществлено между 18 и 26 июня. «Им было велено пребывать в боевой готовности и ждать активных действий немецкой армии», — пишет Лев Симкин, не вдаваясь в детали. Между тем и самое поверхностное рассуждение приведёт к выводу о том, что сообщать о начале боевых действий, раздавать конкретные инструкции могла только немецкая военная или политическая разведка. Абы кому, «граду и миру», такие службы указания не направляют; следовательно, существовали люди, готовые информацию принять и начать действовать. На стихийное выступление голодных хуторян с вилами и охотничьим оружием уже очень похоже. В этом признаётся сам литовский автор. Уважаемый профессор Симкин, доктор юридических наук, в подобные умоулаживания великодушно не вдаётся. Но читатель вправе делить свои выводы. Например, такой: спецслужбы были не только у Германии и даром свой хлеб ели далеко не всегда. Как должны были поступать советские государственные органы, осведомлённые о наличии организованных групп, готовых к действиям при вторжении армии противника? Вопрос риторический. Когда в войну вступили США, десятки тысяч этнических японцев были схвачены на улицах, в принадлежавших им лавках, в конторах и отправлены в концентрационные лагеря, а на тех из них, кто служил в армии, смотрели весьма косо, — об этом пишет, например, Хью Эмброс в книге «Тихоокеанский фронт», по которой Том Хэнкс и Стивен Спилберг сняли зрелищный сериал. Рихард Зоннерфельдт в своих воспоминаниях рассказывает о том, как его, юного немецкого еврея, с трудом добравшегося до Англии, подняли с кровати школьного дортуара, бросили в лагерь для немцев, оказавшихся на территории королевства, а потом долго везли в Австралию в трюме транспортного судна, где он едва не умер — а многие умерли. Таких свидетельств сотни, однако автор к ним не прибегает.

За документами о литовском восстании автору пришлось обращаться в Вашингтон, в Музей Холокоста. Там хранятся копии уголовных дел, расследовавшихся после войны советскими властями. Они дают интересную картину отрядов восставших, портреты их руководителей. Если в городах, по воспоминаниям современницы, врача из Каунаса Елены Буйвидайте-Куторгене, «в партизаны пошли или глупые мальчишки... или подонки — для грабежа и безответственных убийств», в сельской местности публика была иная. В первый же день войны вернувшийся в своё имение Роша сын помещика Альгердас Петронис сколотил что-то вроде повстанческого отряда. С одной стороны, вполне объяснимо: человек вернулся в родное гнездо и собирался навести в нём и окрестностях порядок. В одной из литовских газетных статей говорится, что поселяне, «объединившись в боевые отряды, наносили удары по отступающей Красной армии». Из материалов же уголовного дела следует, какой именно характер носили эти удары. Для начала возглавляемые Петронисом хуторяне поймали двух отбившихся от своей части красноармейцев, выяснили, что один из них по национальности русский, второй — еврей; первого отпустили, второго на месте расстреляли. Совсем непонятно: если воевали с Красной армией, то какая разница, какой этнической принадлежности противник? Альгердас Петронис — офицер, военный лётчик, и — теоретически — будь он жестоким человеком, скомандовал бы убить обоих пленных, а если проявил бы гуманность, то запер бы в сарае, а позже сдал новым властям. Но цели «повстанцев» были совсем иными.

27 июня 1941 года отряд Петрониса направился в ближайшее к имению селение Интурки и арестовал всех евреев в количестве ста двадцати человек. Им было приказано сложить всё своё имущество на подводы и перевезти на помещичий двор. После этого мужчин расстреляли, а для убийства детей и женщин Петронис выкликал добровольцев. Заметим — оружия было в достатке. После этого началась делёжка имущества и скота убитых. Кому надо объяснять, что эти «боевые удары» — чистая уголовщина с омерзительным националистическим душком? Впрочем, если бы Петронис взялся за своих, литовцев, то его первого на вилы и подняли бы. А отступавшие красноармейцы, пусть деморализованные и голодные, но в количестве хотя бы пяти или десяти человек, да ещё с командиром, могли так огрызнуться, что не один «повстанец» схлопотал бы пулю, что в их планы явно не входило. Вдохновившись первым успехом, «повстанцы» направились в райцентр Маляты. Но путь им преградила местная банда, и её участники сообщили, что им и самим еврейского имущества не хватает, уберите-де восвоюси. Произошёл банальный криминальный раздел.

А дальше были известные полицейские батальоны, своими зверствами ужасавшие своих немецких хозяев. Даже если списать половину подобных дел на изощрённые методы НКВД, фальсификации и прочее, то всё равно останется очевидным, какие цели преследовали «повстанцы». Но поражает другое: насколько надо извратить цели и задачи государства, чтобы прославлять и награждать уголовников?

Ещё более удивительно, что такая сдержанная по тону, объективная по фактам статья может появиться только в журнале определённой направленности. В другой же редакции вызовет по меньшей мере раздражение. И никто не задумывается о том, что разбираться в этих искусственных границах читатель не обязан, да и не будет. И все дружно жалуются на упадок интереса к толстым журналам.

Камо грядеши

Философ и политолог Юрий Каграманов в шестой книжке «Нового мира» рассуждает о судьбе христианства. Статья называется «Земли надежды. Христианство в современном мире». Начинает с Европы, что естественно: там «христианство утрачивает кредит среди различных элит», но не только элит, «постепенно отпадает от Церкви крестьянство Южной Европы, считавшееся «последним резервом» католицизма». Вывод нов: «Если считать «победителем» секуляризм, то никакого «торжества победителей» здесь нет. Напротив, секулярная Европа неуклонно движется к упадку. Краем «упавших крыльев» назвал её ещё В. В. Розанов. Скоро будет сто лет, как Освальд Шпенглер и Карл Краус почти одновременно заговорили о «закате Европы». И за все эти годы не произошло ничего такого, что противоречило бы их вердикту». Сказано красиво, только невозможно не вспомнить, что о конце Европы говорили и до Шпенглера, а Европа до сих пор не расточилась, только теряет свои признаки. Основная заслуга Шпенглера в том, что он впервые заговорил о существовании иных, неевропейских цивилизационных моделей, в то время как до того европейцы, перетекшие со своими представлениями в Северную Америку, полагали, что только их модель может считаться полноценной и устойчивой. Об этом же ещё в 1871 году в работе «Россия и Европа» говорил Николай Яковлевич Данилевский, о котором Юрий Михайлович Каграманов, как автор книги с тем же, «Россия и Европа», названием, не знать не может. Покамест Европа не погибла, её христианское начало действительно утрачивается. И далее мысль автора устремляется вслед за христианством по его новым путям.

«„Землём надежды“ папа Бенедикт XVI назвал Африку», — указывает Михаил Каграманов. Напоминает о том, что христианство распространилось

в Африке в свои ранние века, не только по средиземноморскому побережью Римской империи, но и в Нубии (Судан), и в Эфиопии, в IV–V веках — в Александрии Египетской, и рассказывает, что, «опираясь на подобные факты, некоторые чернокожие теологи где-нибудь в Лагосе или Киншасе берут на себя смелость утверждать, что подлинной родиной христианства является именно Африка». И о том, что в своё время некий блаженный Апу, видимо нубиец, одержал победу в теологическом диспуте над архиепископом Александрийским. Последняя новость на эту тему, о ней в статье не сказано, пришла из Кении: там некий адвокат подал иск на Израиль и Италию, как правопреемников Иудеи и Рима, за убийство Христа. Столь экзотические концепции автор сравнивает с российскими, «где даже в составе клира дело доходило иногда до полного отрицания греческого наследства в прошлом; да и сегодня среди простых верующих немало тех, кто считает, что православие — „русская вера“».

Африканские христиане всё более настойчиво укоряют Запад в моральном разложении и даже шлют к северным отступникам своих миссионеров. Именно в то время, когда в силу инерции западные миссионеры летят и плывут в Африку. А там уверены, что «реевангелизация» Запада — дело рук африканцев. На Западе иногда считают, что в Африке водворилось какое-то «другое христианство». Но, пишет Юрий Каграманов, «в африканском христианстве есть нечто от раннего христианства — свежесть религиозного чувства, упор на коммюнитарность; отчётливее звучит мотив «труждающихся и обременённых», приглушённый в западном христианстве». Можно добавить, что «странное христианство» — это как раз о США и Северной Европе, где дошло до рукоположения женщин и спортивных центров в церквях, то есть до того, что возникает вопрос, христианство ли это.

«Сегодня христиан всех конфессий, по разным подсчётам, от 80 до 130 миллионов (по некоторым, впрочем, недостоверным, подсчётам, до 200 миллионов», — говорит автор. Статистика в данном деле — вещь весьма ненадёжная, она оперирует главным образом результатами опросов: кто называет себя христианином, того таковым и считают. Вот и выходит, что США, в которых большинство населения, как известно, латиноамериканцы, называющие себя католиками, — католическая страна.

Другой «землёй надежды» для христиан, похоже, становится Китай. Автор говорит, что к Рождеству 2012 года издательство в Нанкине (название приведено в статье) выпустило сто миллионов экземпляров библии на китайском и других языках; правда, значительная часть ушла на экспорт. Некоторое время назад китайцы, видимо по запросу партии, занялись выяснением причин,

позволивших Европе достичь мирового лидерства и долгое время удерживать его. Нашли, что — христианство, которое стало восприниматься в Китае как религия успеха. «Особым вниманием пользуется работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Результат: в городах Китая появились общины кальвинистов, которых никогда там раньше не было». Автор не делает из этой информации выводов. Однако настораживает то, что в качестве религии успеха была избрана жёсткая кальвинистская теория с концепцией предопределения: попадёт ли душа в ад или рай, решено заранее, а узнать об этом можно по земному преуспеянию; кто богат, тому обеспечено спасение, кто беден — вечные муки. И здесь снова встаёт вопрос о том, все ли, кто называет себя христианами, являются таковыми.

В Индонезии, где господствует ислам, ежегодно около двух миллионов граждан переходят в христианство — факт тоже примечательный. Мусульмане к перемене вероисповедания относятся весьма неодобрительно. Вот только о «русской вере» в статье Юрия Каграманова ничего не говорится.

Интеллектуальный антиквариат

«Есть такая нация?» — название статьи Сергея Белякова сознательно обострено. Что, возможно, оправдано стремлением поставить очку в давней оживлённой полемике. Критик и литературовед, выпускник Уральского государственного университета и кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Урал» взялся за наиболее, пожалуй, актуальную тему современной русской политологии — самоидентичность народов России.

Статья «Есть такая нация?» формально является откликом на выступление Андрея Куряковцева и Сергея Вискунова «Легко ли русским с русскими?» в том же «Урале», в № 4 этого года. А. Куряковцев и С. Вискунов, в свою очередь, отвечали на статью профессора Урфу С. Рыбакова «Легко ли быть русским в России?», которая увидела свет также на страницах «Урала» в 2012 году. А профессор Рыбаков откликнулся на выступление в том же «Урале» доцента-историка того же Урфу Д. Лабаури — «Эхо Манежного бунта» — в году 2011-м.

Автор последней по хронологии статьи Сергей Беляков камня на камне не оставляет от утверждения, по его мнению, «марксистов» Куряковцева и Вискунова о том, что будто бы «россияне» — современное наименование сложившейся при советской власти новой исторической общности, советского народа, которая оформилась в ходе интеграционных процессов, происходивших в эпоху советской индустриализации.

Общность, по Сергею Белякову, так и не сложилась. Автор приводит факты. Среди них митинги крымских татар 1966 года, захлестнувшие Ташкент,

Андижан, Самарканд и Коканд. Демонстрации абхазов в 1967-м с требованием выхода из состава Грузинской ССР. Драка между болельщиками «Пахтакора» и «Крыльев Советов» в Ташкенте в том же году, переросшая в массовое избиение людей со славянской внешностью, «из автобусов и троллейбусов узбеки выбрасывали русских, отчего те ещё несколько дней опасались пользоваться общественным транспортом». Получается, что ни одного года не проходило без выступлений, спровоцированных межнациональными конфликтами. Несмотря на все усилия пропаганды, «бытовой национализм в советские годы был неистребим», говорит автор.

Реформу Горбачёва 1989–90 годов по организации свободных выборов в Верховные Советы союзных республик и наделению их реальными полномочиями Сергей Беляков считает непродуманной, пишет, что Горбачёв вряд ли понимал её последствия. Выборы моментально выиграли националисты. Ещё «в середине восьмидесятых власть стала слабеть, и уже в 1991 году на месте единой страны появилось пятнадцать независимых республик. Сотни тысяч беженцев разбрелись по новым, независимым государствам. В Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье начались полномасштабные межэтнические войны. Бодрые песни о советском народе и высокомудрые статьи из энциклопедического словаря превратились в интеллектуальный антиквариат». Этим опровергается основной аргумент Куряковцева и Вискунова о том, что народы стравлены элитами, олигархами. В то время как они старались только удержаться у власти на волне национализма.

Но как со всем этим быть нам, в современной России, окружённой бывшими республиками СССР? По мнению Сергея Белякова, российской нации не существует. Экономика россиян (в XIX веке это слово означало «русских») объединить не может, потому что «нет нации дорожных рабочих, нации штукатуров...» и проч. Аргумент слаб, но очевидно, что для объединения нации одной экономики мало. Идеология — тоже не может: «Общепринятая идеология в наши дни — это даже не либерализм или постлиберализм, а просто всеобщая жажда наживы». С идеологией действительно плохо, и это, пожалуй, наиболее серьёзная проблема: место идеологии неизбежно будет занято.

«Эрнест Ренан, — продолжает Сергей Беляков, — в своём знаменитом докладе о нации, прочитанном в Сорбонне 11 марта 1882 года, сказал, что нацию скрепляет память о жертвах, принесённых в прошлом за общее дело». Похоже, что сегодня именно на эту позицию в объединении ставят современные российские власти: в этом году впервые официально отпраздновано начало Первой мировой войны, а на торжества по случаю дат Великой Отечественной никаких денег не

жалеют; более того, отчётливо артикулируется мысль, что единственное, что пока ещё нас объединяет, — жертвы, принесённые во время той войны. Но время уходит. По телевидению можно видеть невероятные по убожеству юмора скетчи на тему войны, и телевизионщиков понять можно, им главное — чтобы как можно тупее было, они рейтинги считать умеют. И уже никого не удивляют выложенные в социальные сети развлечения разной степени разнузданности прямо на граните военных мемориалов. Можно сколь угодно долго проливать слёзы по поводу упадка педагогической мысли и общественной нравственности, но дело, как представляется, в том, что сорокалетние ещё сохранили память о погибших на войне дедах, а для тех, кому двадцать, всё это уже невообразимо далеко, и напоминания о жертвах, героизме и вообще войне вызывают только раздражение. Сергей Беляков подходит к вопросу о жертвах как фундаменте нации несколько с другой стороны. Он пишет: «История нас больше разъединяет, чем соединяет. Разве взятие русскими Казани в 1552 году или сожжение Москвы ханом Тохтамышем в 1382-м сплотит русских и татар?..» Вообще-то можно предположить, что да, сплотит, — за давностью времён остаётся ощущение только общего пространства и истории, подсчёт жертв остаётся специалистам. Но вернёмся к тексту: «Даже память о Великой Отечественной всё больше разделяет нас. Уже идёт «национализация» Победы: ведут подсчёты, у кого больше Героев Советского Союза на 1000 солдат, кто на самом деле защищал Брестскую крепость. А ведь есть ещё тема национального коллаборационизма, сверхопасная...» Это верно. Сергей Беляков задаёт риторический вопрос: «Можно ли построить нацию на политкорректной лжи?» Читай: общие жертвы тоже не подходят для цементирования нации.

Согласно античным методикам спорта и войны, как вариант сплочения Сергей Беляков рассматривает футбол, самый популярный из видов профессионального спорта. «Утопающий хватается за соломинку. Несколько лет назад возникла идея, что нас объединяет футбол». Идею поддержал академик Тишков, как рекомендует его автор, «главный специалист по национальному вопросу (директор института этнологии и антропологии РАН)». Некоторый повод для оптимизма в этом отношении можно было усмотреть, когда сборная России на чемпионате Европы в 2008 побеждала греков, шведов, голландцев: даже на улицах Грозного веселились люди с флагами России. Однако уже в 2011-м на матче «Анжи» — «Зенит» в Махачкале, рассказывает Сергей Беляков, фанаты дагестанского клуба скандировали приехавшим питерским фанатам: «Мы вас повесим и закопаем!.. Скоро Питер будет чёрным!» На этом рассуждения о футболе заканчиваются. Возможно, потому, что

очевидно: фанаты-экстремалы сосредоточены сначала на своей команде, пусть в ней половина легионеров, не знающих и полслова на родном для фанатов языке, потом — на территории или городе, представляемых командой, а потом уже на национальном престиже. Факторов разъединения больше, больше и агрессии. Ваш обозреватель нисколько не против невероятных окладов наших футболистов, как и поп-звёзд, только очевидно, что бешеное денежное вознаграждение обратно пропорционально качеству их деятельности. А для того, чтобы объединить кого-то, в спорте нужны победы. Поэтому на всю страну с великой тяжеловесной помпой и чествуют милых девушек из команды по синхронному плаванию. И девчонки хорошие — агрессивных чувств не вызывают, и трудились много, и развитая страна должна делать успехи в каждом виде спорта, — а на национальное объединение работают микроскопически.

О культуре как базе национального объединения Сергей Беляков говорит лишь в том смысле, что Герман Садулаев назвал Толстого и Лермонтова великими чеченскими писателями. Но цена объективности Садулаева известна, а вот культура может послужить фундаментом объединения. Тем более — если ничего другого нет. Однако для этого надо в школе литературу преподавать, как говорится, по факту. Большая литература — значит, больше часов, и ничего другого тут не придумаешь. Преподаватель Сергей Беляков здесь эту мысль не развивает.

Автору более интересны провокационные высказывания. Татарская националистка, некогда возглавлявшая газету «Золотая Орда», — просто прелесть эта местная пресса! — Фузия Байрамова пишет, а Сергей Беляков цитирует: «Повторяю, — говорит Байрамова, — запомните это раз и навсегда: татары — это не русские!.. У нас своя вера, своя уникальная культура, свой древнейший язык, свои вековые обычаи. Мы эти бесценные сокровища на «стеклянные бусы» русско-советского суперэтнуса (водка, свинина, Пугачёва) менять не будем». Про Пугачёву — Байрамова выражается в широком смысле, с точки зрения эстетической ценности, — даже и согласиться можно, а вот правильно, с грибами, приготовленная свинина... Да что там, ваш обозреватель служил в армии и вместе с татарами угощался украинским домашним салом так, что за ушами трещало. По мнению Байрамовой, те татарские ребята, видимо, вероотступники, апатриды, в лучшем случае — жертвы советского режима. Если серьёзно, то такие заявления, брошенные в Интернете, до поры могут считаться маргинальными. Сергей Беляков приводит ещё один пример подобных беспомощных акций: татарская молодёжная националистическая организация — называть её ни к чему, желающих узнать о её существовании отсылаем к журналу «Урал», — объявила 2013 год

годом Батыя. Автор справедливо замечает: «Почитание Батыя казанскими татарами — абсурд, ведь для их предков, волжских булгар, Батый был не героем, а завоевателем и палачом». Цели такого исторического мошенничества автору тоже хорошо видны, он пишет: «они... намеренно выдвигают в национальные герои фигуру, заведомо одиозную для русских».

Двухлетняя дискуссия уральских интеллектуалов, похоже, в самом разгаре. Спектр предложений широк. Теоретически нацию формирует либо общее экономическое процветание — не стремление к нему, а уже состоявшийся факт, — либо, напротив, забота о спасении души — не путать с теократией — это было подразумеваемой задачей православного царства, Российской империи. Второе в ближайшее время возвратить невозможно. Первое — стоит попробовать.

Отражения

В шестом, «голландском», номере «Звезды» среди других творений современных голландцев — рассказ известного слависта, издателя русской литературы Карела ван хэт Реве «Арест, освобождение». Автобиографический рассказ был написан во время войны, когда автор был ещё молодым человеком, ранее не публиковался, вошёл в новейшее собрание сочинений ван хэт Реве. Короткий, сдержанный рассказ повествует о том, как автора вместе с братом во время оккупации арестовали «два господина из розыска» — немцам активно помогала голландская полиция. У автора, тогда он был студентом, нашли «Анну Каренину» на русском языке, советскую монету, а у его брата — листовку, какого содержания — не уточняется. В участке продержали сутки, дали одеяло, «большую тарелку картошки, овощи, мясо и мясной соус, всё очень вкусно», потом допросили и отпустили. Документальный рассказ оставляет двойственное впечатление: ощущение тревоги за маму и брата, предчувствие несостоявшейся отправки в лагерь мастерски переданы весьма скромными изобразительными средствами. Трагическая история. Но если сравнить с тем, что пришлось пережить во время оккупации нашей страны нашим людям, становится понятно, почему европейцы настоячиво стремятся забыть деятельность нацистов, представить её выдумкой, клеветой политических противников. Карел ван хэт Реве, по крайней мере, объективен, не порождает мифов, как, например, история с королём Дании, который якобы велел нашить на свою одежду жёлтую шестиконечную звезду и расхаживал по улицам в знак солидарности со своими подданными-евреями; любой историк Второй мировой скажет, что гитлеровцы в Дании не принуждали евреев носить этот знак, с европейскими источниками приходится быть очень осторожными.

Владимир Яранцев в шестой книжке «Сибирских огней» говорит о текущей литературе—статья «Лабиринты отражений». Он подробно разбирает книгу прошлогоднюю—Станислава Куняева «Любовь, исполненная зла...», не соглашаясь с куняевской оценкой Серебряного века. Пишет, что поэтесса Людмила Дербина, убийца Николая Рубцова, хотя и была поклонницей Анны Ахматовой, признать последнюю соучастницей и вдохновительницей преступления вряд ли возможно. Действительно, такая логика может далеко завести. Владимир Яранцев говорит: «Поэзия Дерибиной, может быть, и интересна как специфическое явление провинциального, в худшем смысле этого слова, самосознания». «Может быть» здесь нужно только потому, что статья опубликована в провинциальном журнале. Немалое место в ней уделено критической манере Виктории Пустовой, которая в своё время взяла на себя титанический труд по организации теоретической базы для новых реалистов. Труд был приложен немалый, за что Викторину Пустовую уважаем, однако течение так и не состоялось, и тему эту вряд ли можно признать особенно актуальной. Вечно актуальную тему Владимир Яранцев нашёл в книге Юрия Павлова «Критика XX–XXI вв. Литературные портреты, статьи, рецензии», изданной в 2010 году «Литературной Россией». «В книге Павлова,—говорит Владимир Яранцев,—можно обнаружить такие промежуточные стадии и отдельные явления, как «советский официоз» (Г. Марков, С. Сартаков), «безопасный русизм» (С. Залыгин), «денационализированные русские» (Д. Быков)». Особенно замечательно последнее утверждение. Складывается ощущение, что Юрий Павлов плохо понимает, о чём пишет: что русского можно найти в творениях Быкова и откуда ему, русскому, там взяться? О современной же критике можно прочесть, например, у профессора Литературного института им. Горького Владимира Гусева. Однако Яранцев, видимо, ставит своей целью опровергнуть «литературороссов» как таковых. Как будто ещё не ясно, чего можно от них ожидать: более последовательных, предсказуемых деятелей трудно себе представить.

Главы из книги «Новейшая история России (1985–2011 гг.): Записки современника» представил в пятом номере «Сибирских огней» Александр Кисельников. Текст книги строится как аналитический доклад: «1988 год. 12.02.88—начало митингов в НКАО за воссоединение с Арменией, эскалация Карабахского конфликта... Декабрь, 1988—Б. Ельцин возглавляет демократическую оппозицию». В каждой главе список важных, по мнению автора, событий резюмирован комментарием: «Всплывшая на поверхность новая российская элита (новые русские), конечно, отличалась от матроса Железняка 1917 года. Она не носила

бушлат и наган в кармане, почти все были в галстуках, и многие даже говорили по-английски. Но по морально-этическим деловым качествам большая часть новой политической элиты отличалась от вышеупомянутого исторического персонажа отнюдь не в лучшую сторону». Если первая часть, с датами событий, вполне пригодна в качестве справочника, то вторая—эмоциональна и политизирована. Зачем сравнивать несравнимые вещи? Рассуждения о морально-этических качествах матроса, формально разогнавшего Учредительное собрание, заявив, что караул устал, выглядят по меньшей мере наивно. Зато политическая точка зрения автора обозначена отчётливо—в основном для этого и писалось.

Рассмотрев условную рубрику «Публицистика» в виднейших российских литературных журналах, ваш обозреватель обнаружил множество текстов, к литературной критике отношения не имеющих. Открытие этого опыта заключается в том, что наиболее объективна и сдержанна полемика тех, кто причислен к лагерю «патриотов», тексты «либералов» максимально безапелляционны—чего греха таить, ваш обозреватель всегда думал, что дело обстоит ровно наоборот. Но это правда эмоций. Правда, так сказать, факта заключена в другом. Получается, что большинство авторов публицистики стоит на том, что тексты в таких журналах не должны быть элитарными, что это массовое письмо, и никаким философиям и литературоведениям здесь не место. Печатать тексты, которых в Интернете полно,—например, статью Полины Жеребцовой,—ошибка, ибо попытка придать им статус опубликованных в толстом журнале неминуемо приведёт к падению этого статуса. Весьма познавательную статью Юрия Каграманова ожидаешь встретить где угодно, только не в литературном журнале. Полемика о национальном, частью которой стала статья Сергея Белякова, ушла так далеко от литературы, что последняя видна в ней словно в перевёрнутом бинокле. И хотя литературные журналы и прежде—исторический факт!—заявляли о поддержке тех или иных групп писателей, заходя в этом подчас достаточно далеко, современная «толстожурнальная» публицистика так давно отбросила всяческие литературные прикрытия, что впору говорить о конфликтологии. Это нарушение конвенции, заключённой с читателем, которая, по большому счёту, запрещает предпочтение авторов и произведений по политическим соображениям, как запрещено бактериологическое оружие. О демократии, о русских и евреях говорят в других местах. Искусство живёт в настоящем, оно словно проходит током через нас, располагается в живом времени восприятия, но оно всё же искусство, а не окружающие декорации.

Синяя тетрадь

Красноярскому литературному лицу—15 лет!

МАСТЕРСКИЕ И. Н. ЧЕЛНОКОВОЙ
И Н. И. ГРЯЗУТИНОЙ

Сочинения третьеклассников

Когда мне исполнилось пять лет, папа стал учить меня играть в шахматы. Для начала он показал мне, как ходят шахматные фигурки. Я очень увлёкся и стал играть в шахматы каждый день, разговаривая с фигурками. Я спрашивал у них, где они хотят стоять. Теперь я умею играть в шахматы и занимаю призовые места на чемпионатах!

Ярослав Ведерников

Это было в Таиланде летом. Мы пошли на представление, где выступали слоны. Они показывали разные трюки, а потом мы катались на них. Слон, на котором я катался, поднял меня, а я выскальзывал из его хобота. Это было очень весело и смешно. Хобот слона был колючий, а волосы у него очень твёрдые. Мне очень понравилось отдыхать в Таиланде, там много интересных мест.

Даниил Рузматов

Как-то летом мы всем классом ездили в пещеры. Мы поднимались на гору, наверху были пещеры. Первая пещера называлась «Голландский сыр», там много узких ходов. Вторая пещера—«Чёрное сердце». Там мы увидели летучую мышь. В узкий ход пещеры мы спускались по канату, было немного страшно, но с заданием мы справились.

Анна Кругаль

На чердаке было темно и тихо, пока туда не попал один странный кот. Этот кот был волшебный, а волшебные коты всё умеют делать. Кот решил пригласить своих друзей на этот тёмный заброшенный чердак. Он взял цветные карандаши и написал пригласительные билеты. Кот пригласил собаку, ёжика, белку, мышку, кролика и других животных. Все пришли на чердак—целый зоопарк. Все веселились! Гремела музыка, пол ходил ходуном. Сами стены, казалось, пустились в пляс. Все танцевали так, что в доме качалась люстра!

Алиса Дубинникова

Жило на небе оно облачко. У него была мечта—посмотреть на мир вблизи. Стало облачко просить своих родителей, чтобы они позволили ему спуститься вниз, но ему не разрешали. Облачко стало злым, стало всех игнорировать и обижать. Тогда родители опустили его на землю, когда оно спало. Облачко проснулось и очень обрадовалось.

Максим Черепнин

МАСТЕРСКИЕ МАРИНЫ САВВИНЫХ

Анастасия Пузанова

7 класс

Интерпретация стихотворения О. Э. Мандельштама «Черепаша»

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчёлы, лирики слепые
Нам подарили ионийский мёд.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далёким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пёстрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поётся, перстенёк.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передумали кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползёт,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто её такую приласкает,
Кто спящую её перевернёт?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налёт.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мёд, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?

1919

Осип Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве. От рождения его зовут Иосиф. В 1938 году он умер, потому что был репрессирован за антисталинские стихи. Пишут, что даже если бы этих стихов не было, его всё равно бы уничтожили, потому что «эолийский строй его мышления не вписывался в «гармонию» советской идеологии». Ещё до революции Осип Мандельштам был известным поэтом, писал красивые стихотворения, в которых часто встречаются античные мотивы, как, например, в стихотворении «Silentium»:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

Или— в стихотворении «1914»:

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин,—
Он, оторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли.
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О, Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо—
Целый лес незваных кораблей.

Или— ещё:

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зелёной.

И конечно:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса...
Я список кораблей прочёл до середины...

Сам поэт говорил: «Эллинизм—это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом... Эллинизм—это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развёртывает вокруг себя,

как веер явлений, освобождённых от временной зависимости, соподчинённых внутренней связи через человеческое Я».

И: «Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событии» Его «можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце».

«Эллинизм» в языке Мандельштам приравнивает к «филологизму», то есть любви и уважению к слову как таковому. Он считал слово более чем средством общения, скорее—материей. «Эллинистическая» и «классическая» природа поэзии Мандельштама долгое время считалась само собой разумеющейся.

Обратимся теперь к стихотворению «Черепаша». С первых строк создаётся впечатление спокойной, мирной жизни. Напомним, что Пиэрия—местность в Македонии, между Пиэром и Олимпом, считавшаяся родиной муз. Под архипелагом разумеется группа островов в Эгейском море. Музы водили хоровод, чтобы подарить нам, «правнукам далёким», «ионийский мёд», то есть наследие первых поэтов—оды, элегии, песни. Мне кажется, «архипелага нежные гроба»—это прошлое, история, которую музы хотят нам передать через вдохновенных аэдов. Танцующие музы дарят поэта вдохновение и частички античной истории, поэзии, красоты.

Вторая строфа напрямую обращает нас к наследию Сафо. В Элладе весна. Все готовятся к празднику—свадьбе. Сафо обула пёстрый сапожок. Точно так же, как в создании самой великой поэтессы:

...Пестроцветный ногу
Сапожок обул, выписной, любезный
Неге лидийской.

Цикады же в понимании Мандельштама были простыми кузнечиками, а кузнечики, как известно, обязательно должны что-то ковать. Все стараются: и неуклюжий сапожник, и дюжий плотник. Возможно, это свадьба Сафо? Или одной из её учениц?

Стройте кровельку выше—
Свадьбе слава!
Стройте, плотники, выше—
Свадьбе слава!
Выходит жених, ровно бог-воевода:
Мужа рослого ростом он выше.



У придверника ноги в семь сажень;
Сапоги из пяти шкур бычачьих;
Их сапожников шили десяток.

Здесь Мандельштам использует—хрестоматийные в начале двадцатого века—мотивы Сафо.

В третьей строфе поэт соединил образы черепахи и лиры. Ведь, как известно, первую лиру создал Гермес именно из черепашого панциря. Черепаха-лира нерасторопна, ленива, ждёт Терпандра, великого певца с острова Лесбос, чтобы он сыграл на ней прекрасную музыку. В этой строфе Мандельштам снова воспользовался идеей Сафо, которая воскликнула однажды в своей песне «К лире»:

Оживись, о священная,
Спой мне песнь, черепаха!

В последней строфе, мне кажется, поэт выражает тоску, мечту о солнечных, волшебных, «святых островах» Эллады. Я думаю, колесо, которое «вращается легко», — это колесо времени, судьбы.

В общем, стихотворение Осипа Эмильевича Мандельштама — мечта, размышление о Древней Греции. Мысли, навеянные Элладой. Он описывает Пиэрию, что у подножья Олимпа, и Эпир, где ждёт своего Орфея черепаха-лира, да и вообще, наверное, всю классическую Грецию. Всю её тишину и вдохновение обиталища муз... Во многом поэт двадцатого века опирается на мотивы и находки Сафо, красиво вписывая их между своих строк. Читая стихотворение, я уже представляю греческие острова и хочу побывать там.

Ольга Титова

10 класс

Проблема жизни и счастья в романе Гончарова «Обломов»

Там хорошо, где нас нет.

Согласно словарю Ефремовой, счастье — не что иное, как «состояние абсолютной удовлетворённости жизнью, чувство наивысшего удовольствия, радости».

По тому же словарю, понятие «жизнь» трактуется так: «состояние организма в стадии роста, развития и разрушения».

У людей эти слова всегда несли разный смысл и вызывали разные ассоциации. В романе «Обломов» Гончаров показывает нам абсолютно разные представления об этом двух разных людей. Обломов говорит, что счастье — покой и размеренность, а Штольц, в свою очередь, утверждает, что это движение и развитие. Автор даёт нам два абсолютно разных мнения, два идеала жизни, которые мы бы могли проанализировать.

Идиллию Обломова нам во всех красках расписали в главе «Сон Обломова». Его счастье — маленький мир, уютный и домашний. В этом мире не принято суетиться. Да и зачем что-то делать, если обед — самое важное событие в жизни обломовцев?

Всё там идёт как бы само по себе, как бы даже без участия жителей деревни. В этой праздности Обломов видит прекрасную жизнь: вот его все любят за то, что он есть, вот урожай сам собой растёт, вот красавица-супруга поёт «Casta diva», и всё так привычно и знакомо, и уходить не надо. Хотя садись на край овражка и стихи пиши о дивной жизни. Рифмы сами в голову придут.

Штольцу и целого мира мало. Он прогрессивен, у него есть силы для деятельности и желание их использовать для достижения результата. Жизнь Штольца — движение. Он видит своё счастье в прогрессе, идеях и действии.

Читатель, увидев два таких ярких образа счастья, будет ли выбирать то, что ему ближе? Ведь разум и воспитание правильного члена общества на стороне предприимчивого немца, а душа так и рвётся к этому русскому раю — Обломовке, где так сладок сон и так сладостна жизнь.

«И в чём же тогда ответ? Запретить себе мечтать о спокойной жизни и через силу быть деятелем?» — спросит читатель, но ответ будет не в Штольце и даже не в Обломове. Он будет в их дружбе.

Нет, пословица «делу время — потехе час» тут почти ни при чём. Просто после прочтения романа и опроса своих близких я поняла, что для каждого человека, будь он Обломовым или Штольцем, счастье — то будет своим, личным, но цель жизни — стремление к счастью. И, быть может, союз двух людей, олицетворяющих собой мечту и движение, и есть тот самый ответ?

МАСТЕРСКИЕ ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО

Анастасия Буланова

8 класс

Факты из жизни Страны улыбок

Таиланд — страна доброжелательности, расслабляющего массажа, своеобразных традиций, знать которые для полноценного отдыха полезно и необходимо. Об этом я поведаю вам в своих заметках. Об этом — и о слонах.

Из жизни тайских слонов

Иногда в обществе серых великанов появляется зверь, которого принято величать белым слонем, — слонёнок с... нежно-розовым оттенком кожи. Явление это очень редкое, и когда на свет рождается такое уникальное животное, то непременно переходит в собственность самого короля. Рождаться белым слонем было выгодно и в давние времена: в Древнем Сиаме (старое название Таиланда) корм млекопитающему удивительной окраски подавался на серебряных или золотых блюдах, а его питьевую воду ароматизировали

жасмином. При всём этом на такого слона запрещалось садиться даже самому правителю!

Но и их серым собратьям повезло ничуть не меньше. Каждый слон в Таиланде имеет собственный паспорт, который меняется три раза на протяжении жизни владельца.

Высшая пенсия для тайца составляет около полутора тысяч батов в месяц (баты—местная валюта, один бат—примерно девяносто копеек), а пожилым слонам каждый месяц выплачивается около двенадцати тысяч!

Традиции и обычаи тайцев

Многие наверняка запомнили с детства, что в качестве вознаграждения за хорошие поступки родители глядят своих чад по голове. Думаю, некоторым эта ласка нравится до сих пор. А вот в Таиланде такой жест может сильно обидеть! Дело в том, что жители этой страны верят в существование охраняющего жизнь духа, в ангела-хранителя, место обитания которого находится именно на голове—на священной части тела каждого человека; поэтому стоит ещё раз повнимательнее прислушаться к выражению «на волосок от смерти».

Опираясь на вышеописанное поверье, следует сказать, что уровень «чистоты», «священности» любой части тела определяется по закону «чем выше (ближе к голове), тем лучше». Следовательно, ноги—самая нижняя, «презреннейшая» часть тела. Если вы привыкли указывать местоположение чего-либо пятками, то контролируйте свои желания, если не любите ссор!

Любопытно: идеал жителей современного Си-ама—белоснежная кожа, поэтому женщины трепетно оберегают свою кожу от палящих лучей. Если хотите сделать девушке-тайке комплимент, скажите, что она побелела. Такая странная на первый взгляд «мода» пришла отнюдь не из-за границы, цвет кожи для обитателей этой страны служит показателем социального положения: если кожа человека очень смуглая, почти чёрная—значит, он работает на открытом воздухе, зарабатывает себе на жизнь физическим трудом, что у тайцев оценивается невысоко, а наиболее светлый, оливковый оттенок встречается у людей с офисной, интеллектуальной работой.

Наравне с охотящимися за загаром туристами, жителей Страны улыбок поражает и привычка отдыхающих мам отчитывать своё провинившееся чадо прямо на месте свершения проступка: показывать чудеса воспитания там считается делом крайним и негласным (только в пределах дома, только для тех, кому адресовано замечание).

Раз дело зашло о нравоучениях, как же не вспомнить о школе!

Среднее образование в Таиланде доступно всем, а вот в высшие учебные заведения многие попасть не в силах. Однако снова помогает интересная

традиция: мальчики, рождающиеся в день рождения короля (5 декабря), с самого рождения имеют право на льготное обучение в университетах. Что примечательно—на девочек такая возможность не распространяется.

Летом уже так не хочется думать о школе, поэтому завершаю своё повествование и искренне надеюсь, что если уж данный экскурс не поможет вам искупаться в тёплом море, то пригодится для улучшения настроения: ведь приятно думать, что где-то есть такая необычная, улыбчивая страна, где случай решает всё (особенно если ты родился зимой)!

Лера Абрамова

6 класс

А я всё о лете мечтаю.

Ну где же ты, солнечный день?

Я в скуке уже утопаю,

Сидеть за уроками лень.

Всё жду я и жду терпеливо

Горячих и ярких лучей,

Волшебных цветных переливов,

Прохлады июньских ночей...

Артём Трофимов

10 класс

История необыкновенной буквы

Господствует ещё смешенье языков:

Французского с нижегородским...

А. С. Грибоедов

Как ходили во полях-степях возделываемых, среди поля жёлтого пшеничного, бабы с девками поздним августом, спины гнули, серпами махали и кряхтели от работёнки тяжёлой. «Тяжка,—думают,—доля крестьянская, хоть песню от тоски запой!..»—и запели, затагнули они протяжно, горласто, так, что перепела с насестов повзлетали. Пели они о доле крестьянской, о работе тяжёлой, о просторах неоглядных и о полноводных реках. И доносилась песня их до облаков, вплетаясь в шелест колосьев и гомон ветра, и родились звуки неповторимые, звуки напевной русской речи в их первозданном облике: чистый «А», гордый, высоко летящий «О», отдающий гулким эхом «У» и многие другие. А между тем одиноко гуляющая в сторонке девчушка, совсем молодая, завидев одиноко стоящую на пригорке берёзу, затащила себе под нос: «Во поле берё-ё-ёзка стояла. Во поле кудрявая стояла...» Встрепенулся тогда, взъерошился и

вылился из речи её странный, нелепый звук, нечто среднее между «Й» и «О», да ни на то, ни на сё не похожий, как говорится, «ни в мать, ни в отца, а в заезжего молодца». Выскочило сие нелепое нечто на просторы степи привольной в самом сердце России, отряхнулось от пыли-грязи да пошло-полетело по языкам черносошников да работяг. Распушило существо нелепое кудрявые волосы в цветастой народной речи и песнях незаписанных. Жило в деревнях. Являлось, как домовый, вечерами у свечки, во время оживлённого спора, на полевых работах...

Не знал беспольный звук, как не знал сам крестьянский народ, забытый, покинутый временем и историей на вечное пахотное существование, что изобрели некогда святые братья-болгары, Кирилл и Мефодий, азбуку для народа русского, что все звуки языка заключили они в ней, что каждому нашли облачение в буквах: высокий «О» в кружочек облачили, «А» — в две ножки с перекладиной, «Э» — в форму рта с язычком, — словом, всем одёжку отыскивали и нарекли своё творение Алфавитом. Пользовались нововведённым чудом и бояре грамотные, и князья образованные, и все цари государств славянских. А время шло, летело орлом, плыло быстрой рыбой, бежало русаком-зайцем, появилась церковно-славянская письменность, каноны языка великорусского... А народ простой, работающие мужики с бабами, оставаясь неграмотными, изобретали новые словечки, новые речи вылетали из их уст, так и появился наш звук, самый молодой из всех своих братьев, давно разодетых в наряды-буквы. Настал на Русиматушке век восемнадцатый, уж Пётр Великий разодел дворян в наряды заморские, сбрил им бороды, живут себе князья по деревням да речь безграмотных своих подданных слушают. Звук-то наш как-то раз, через бабку-ключницу, р-раз — и перескочил на язык аристократов, прижился, любопытный, в их доме, а затем, зацепясь за языки их, в сам Петербург поздней осенью уехал.

Видит чучело деревенское диво дивное: мосты исполинские через реку перекинулись, огни горят, спешат туда-сюда люди разодетые, лошади мостовые топчут, крик и гам, а между тем — дворцы раскинулись сказочные, солдатики ходят в пёстрых мундирах, а статуи, фонтаны, платья — всё работы заморской. «Эге-е, — думает босоногий звук наш, косоворотку драную придерживая, — земля чудная, люди, небось, высокие, ну да ничего, авось выпутаемся!..» Взмыл тогда наш деревенский гость над Невой, понёсся по столице, в каждый дом проникая, и растворился, наконец, среди говора всех местных жителей.

Долго ль, коротко ль жил себе наш странный звук в Петербурге, да только спозаранку 29 ноября 1783 года толкнул его кто-то, заспанного, в бок. Оглянулся он, видит — стоит в его убогой, грязной

каморке толпа людей, да все в очках, в кафтанах и платьях (мужи учёные!). Перепугалось тогда наше нечто, закуталось в засаленную рогожу, но вдруг чувствует — гладит его кто-то ласково по головке. Оглянулся — батюшки! Екатерина Романовна Дашкова, директор Российской Академии наук, собственной персоной! Гладит убожество сельское по головке, а учёным мужам говорит: «Вот-де сокровище языка нашего. Говорим же мы с вами слова «ёж», «ёлка» и другие, им близкозвучные, а выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит...»

Закивали тогда головами мужи строгие, пре-проводили беднягу нашего во дворец Академии, а там уж Карамзин-словесник помыл, причесал звук крестьянской речи и... Облачение достойное надо бы будущей полноправной букве подобрать. Долго думал писатель, ходя из угла в угол и глядя на скорчившегося, сжавшегося от стеснения провинциального гостя. Чертит, чертит ему одёжку — ничего не выходит. Решил наконец-то в заморские шафы заглянуть — авось подходящее что-нибудь попадётся... Достал словарь с книжной полки. Рыскал, рыскал, листал, листал страницы, хотел было немецкий «Ö» на деревенщину напаялить, да только не по лицу чистому, душевному звуку русскому грубый германский умлаут оказался. Вот незадача!.. Глянул тогда писатель в гардероб французский (язык-то ведь в моду нынче входить начинает), и наткнулся он на знакомый значок «Ё», показавшийся ему элегантным и стройным. Припудрил Николай Михайлович носик юной буковке, собрал в два пучка на голове волосы, некогда развевавшиеся по ветру, корсет затянул, туфли бальные на ноги букве надел, бусы — на шею, а на пальчики — кольца. Высоко поднял голову звук простонародный: как-никак, а вот-вот буквой стать предстоит, так сказать, официальной.

Привели новоиспечённую буковку, наряженную, покрашенную, распричёсанную, на бал алфавитный (международный, между прочим!), веерок дали с пёрышками, как истинной леди. Видит смущённая наша девочка — ходят все вокруг разодетые, нарядные, русские барышни-буквицы все в платьях кириллических, от «А» до «Я». А иностранных-то гостей — тьма-тьмушная! Вот — строгие немецкие фрейлины из семейства Умлаутов во всём составе: «Ä», «Ö», «Ü». Рядом с ними — парочка изящных, грациозных, надушенных ароматами французских лигатур: «Æ» и «Œ», а на ручках у них — собачка с хвостиком «Ç» глазёнками вертит. Глядит на всё наша барышня, надивиться не может. А как заиграли мазурку, так и вовсе в глазах запестрело у новенькой буквы: то испанский кавалер «Ñ» в фетровой широкополой шляпе колено перед ней преклонит, то бледнолицый норвежец «Ø» с мечом на поясе ей руку

подаст, сбоку на неё тайный венгерский посол «О» заглядывается, а возле него польские паны «А», «Е» и «Л» о незнакомке шепчутся... (А посреди лихого танца увидела мимолётом наша «Ё»... Батюшки! Кто бы мог подумать?! На международный, понимаешь, бал, дальняя её украинская родственница «Є» с хутора Жуйгалушково приехала, разрядилась вся такая и пляшет теперь среди иноземцев...)

Кончилась мазурка. Уселись гости дорогие за столы яствовать. Сами кушают, а между делом всё нашу гостью обсуждают: кто такая да чьих будет? Бедная наша буква ресничками хлопает, не знает, куда от назойливых подмигиваний и улыбок деться.

Подали бутылки с шампанским. Тут-то и упала наша «Ё» в глазах великосветского общества: бульк, по привычке крестьянской, из горла серебристый напиток, так что у семейки Умлаутов пенсне на лоб вылезли. Испачкался у молодой буквы ажурный рукавчик в соусе—она его о подола платья вытерла, так что мадмузели лигатуры рты веерами прикрыли. Подали горячее. И тут наша девушка отличилась—принялась руками ломать курицу, да такой треск и хруст от костей пошёл, что особо впечатлительные дамы в обмороки попадали. Словом, наделала дел простая душа на великосветском приёме: то чихнёт громче усатого генерала, то словечко какое-нибудь ненароком не к месту выронит... Кончилось наконец-то терпение у всего благородного общества. Под брань иностранцев и ругань родных кириллических соотечественников выгнали буквоньку нашу на мороз, на тёмную улицу, изнемогшую от долгих танцев и болтовни.

Тут только вразумила себе наша «Ё», как опозорила она по простоте своей в глазах «высшего света». Что ж тут поделать? Простая она была, как говорится в народе, простая как три рубля, приёмам никаким, никаким манерам и приличиям не училась и не знала правил мудрёного этикета. Мороз петербургский колот кожу. Душно ей было во французском корсете и платье, сбросить хотелось всё это шмотьё, вновь надеть на себя просторный сарафан и подвязать лапти... Да куда там! И дорогу-то в родную сторону теперь не сыщешь, а французская причёска из двух луковок на макушке так прочно скреплена оказалась, что и не расплетёшь теперь вовек.

Заплакала тогда буква народного голоса слезами горячими. Упала на колени среди снегов балтийских. Делать нечего, пошла она жаловаться на судьбу свою горькую, да не к кому иному, как к самому царю-батюшке. Пришла в Петродворец, поднялась по широким лестницам и упала на колени у царских ног: «Царь мой батюшка, прими, не суди строго сироту убогую! Света я белого прежде не видывала, обычаёв и привычек ваших, столичных, не знаю, а среди мод и манер-то и вовсе

как слёпая!...» Видит государь российский, что под французским трикотажем простая деревенская девка кроется. Говорит он ей: «Да не наших ведь ты будешь, не исконно великороссийских кровей. Родилась, поди, где-нибудь от бабы дворовой и мужика-пьяницы. Буквы-то все русские старше тебя на много веков, от рукописей святых Кирилла и Мефодия ведут своё происхождение, а ты? И в кого ж ты такое юное чудо? Ни на одну письменную, грамотную букву нашего российского алфавита не похожа. Правильно у вас в деревнях говорят: «Ни в мать, ни в отца, а в заезжего молодца...» И на что нам все твои платья заморские? Не знаешь ты старинного нашего, благородного говора. Ступай же себе, девка, подобру-поздорову на все четыре стороны. Будь вечной спутницей слов малограмотных и простых, всякой ругани низкой черни, что живёт у нас теперь по подвалам и чердакам...»

И пошла наша буквонька. Пошла по всей Руси-матушке, от морей до морей. Поселилась она на котельных и фабриках, на языках самого простого, самого многочисленного нашего населения—работяг и тружеников, ни с одной буквой из кириллической грамоты не знакомых.

Что можно ещё добавить про странную нашу героиню? Напоминает она чем-то, на мой взгляд, пушкинскую Татьяну: француженка с русскою душой. Вылетела она, подобно птице, неизвестно откуда и летит неизвестно куда. Бегаёт, мечется из стороны в сторону, то к одному в дом поселится, а как выселят—то к другому. Наряд же нелепый иностранный так и сидит на ней по сей день, не давая вдохнуть чистого воздуха полной грудью. Глаза её, некогда бойкие и живые, увяли, один чистый, душевный крестьянский звук русской песни остался, облачённый во французское платье. Ходит до сих пор наша «Ё» по белу свету, места себе на Руси-матушке девка молодая ищет...

Настя Гейман

8 класс

Я, Юля и лошадь

Чего я только не делала за свою жизнь: и писала стихи, и рисовала мультики, и даже звёздочки из бумаги вырезала. Но в этот раз я удивила саму себя. Я отправилась водить лошадей.

Выпало это событие на субботу. Подойдя к конюшне, мы с Юлей увидели маленького чёрного пони, который вредничал и не хотел никуда идти. Как мы позже выяснили, его звали Сапфир. Почему-то я сразу подумала, что его придётся вести именно нам. И не ошиблась. В четыре руки, приложив массу усилий, мы с Юлей всё-таки смогли сдвинуть эту маленькую лошадь с места. Дальше предстоял долгий путь до «Оперы».

С самого начала нашего путешествия было ясно, что мы ему не нравимся. Пока мы шли до моста, конь несколько раз пытался повернуть обратно. Мы намотали столько кругов, что наш путь был похож на спутанные наушники, пролежавшие несколько дней в кармане. Когда пони понял, что домой его никто не отпустит, он, видимо, решил нас замучить. В это время мы как раз подходили к мосту.

— Иди ровнее, — Юля слегка хлопнула Сапфира по загривку.

Зря она это сделала. Конь изловчился и мстительно цапнул Юлю за ногу. С тех пор у Юли рваные джинсы. А в продолжение трапезы конь чуть не сжевал мой плащ.

Я всё это время боялась, что эта маленькая лошадь размером с большую собаку откусит мне палец, наступит на ногу или перепрыгнет через бордюр и отправится гулять по дороге, а может быть, вообще нырнёт в Енисей. Но этого, к счастью, не произошло. А ещё я представляла, как мы выглядим со стороны и как было бы необычно выгуливать по утрам не собаку, а лошадь.

Тем временем мы добрались до «Оперы». Оказывается, поставить и успокоить коня, чтобы он стоял и никуда не уходил, — это тоже большой труд. Юля сказала, что если пони не держать за повод, то он убежит. Почему-то мне представилась картина, как пони гуляет по городу, ждёт зелёный свет, чтобы перейти дорогу, и стоит у ларька с мороженым.

Время летело очень быстро. За два часа мы прокатали только одного ребёнка, всё остальное время Юля заплетала лошади гриву, а я всё ещё боялась, что пони откусит мне палец. Так, почти без дела, мы простояли до вечера. Начался какой-то концерт, у нас немного прибавилось работы.

К нам подошла девочка, которая минут десять светящимися от счастья глазами смотрела на нашу лошадь, а потом ещё полчаса гладила её по носу. Юля дала девочке кусок сахара, чтобы та скормила

его нашему пони. После этого полный радости ребёнок куда-то убежал.

Близился конец рабочего дня. И вот в половине девятого мы двинулись в обратный путь. Почуввав скорый отдых, наш пони просто летел домой. Серьёзно, он бежал так, что мы кое-как успевали за ним. Я так устала, что забыла бояться за свой палец.

В следующую субботу мы решили увеличить масштабы нашей работы: вместо пони мы взяли верховую лошадь. Я ехала на ней верхом через Енисей и боялась, что мы с лошадью прямо с моста отправимся купаться. Я очень надеялась, что лошадь умеет плавать. Потом я боялась кормить лошадь яблоками; потом я боялась, что яблоки закончатся и лошадь съест меня. Но, несмотря на все мои страхи, я, Юля и лошадь провели ещё один чудесный день. Так что в следующую субботу ждём на «Опере». Приходите кататься!

ИЗ АРХИВА «СИНЕЙ ТЕТРАДИ»

Елена Байкалова

.....

10 класс



Вот пень трухлявый встал, пошёл и исполняет роль шута,
А леди его подкармливает с пальцев, как собачку
Или змею, свернувшуюся у ног колючком.
И Сальвадор Дали ушными раковинами с картины прислушивается
К пошлым разговорам, смешкам, стихам и щёлканью ногтей,
Кусаемых зубами.
Сидит богиня с книжкой, глазами обнимая всех и всё,
И складывает золото мыслей в большой карман.
Бананы улыбаются с тарелки, лукаво шурысь,
И печенья крошки ждут птиц.
Собака под столом, хвостом виляя,
Пытается завлечь к себе кота
И разодрать его.
И вдруг звонок
Развеял пошлый мрак раздумий.
На растерзанье прибыл кот!
Собака гложет сахар в предвкушенье.
Другие тени плачут и смеются, пытаются собрать в одну палитру
Смену красок. Но безуспешно!
Со стен слезает штукатурка, и выгибают спины кирпичи,
Не в силах уместить в одной квартире
Обилье карнавала.

1996

стр.
15

Баренц Гурген
(*Каранетян Гурген Сергеевич*)
Армения, 1952 г. р.

Родился в Ереване. Поэт, переводчик, журналист, литературовед. Кандидат филологических наук, специалист по русской и армянской литературе. Автор многочисленных публикаций в разных периодических изданиях — как в Армении и России, так и за рубежом. Стихи и переводы печатались в десятках антологических сборников современной армянской поэзии. Составитель сборника произведений русскоязычных армянских писателей «Лоза и камень» (Ереван, 1985). Автор нескольких сборников переложений сказок народов мира на армянский язык. Произведения переведены на английский, армянский, немецкий, украинский, словацкий, сербский, польский, персидский и другие языки. В 2010 году издал однотомник избранных стихотворений «Уроки Дороги». Лауреат Первого открытого всероссийского конкурса поэзии «Музыка слова» в номинации «Рифмы родного края» (2011). Финалист Конкурса поэтов «Арфа Давида» в рамках Первого международного фестиваля славянской культуры в Израиле (Назарет, 2012). Лауреат премии «Родинка на карте» интернет-проекта «Неизвестный гений». Дипломант конкурса «Каплагантида-2012» в номинации «Русскоязычная литература. Поэзия». Пишет и публикуется с 1978 года.

стр.
11

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 1970-х), «Политбюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина),

«Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр.
79

Варнавский Николай Анатольевич
Ужур, 1961 г. р.

Родился в Челябинской области. Был воспитанником военного оркестра, там же служил срочную. Работал в геологических экспедициях. Печатался в местной газете «Сибирский хлебороб», альманахе «Золотая строфа», местном альманахе «Ужурские зори». Автор текста гимна Ужурского района, книги прозы и стихов «Странствующий рыцарь», книги прозы «Подранок».

стр.
136

Вульфов Алексей Борисович
Москва, 1963 г. р.

Родился в Москве. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по специальности «Композиция». Работает преподавателем. Автор музыки к документальным фильмам и художественному фильму «Тропа», снятым на киностудии «М»-Фильм». Председатель Общества любителей железных дорог (волжд), корреспондент журнала «Локомотив». Имеет опыт работы на локомотивах. Занят сохранением и эксплуатацией старинной железнодорожной техники. В Красноярске проводил выставку железнодорожных моделей. Первая публикация состоялась в 1996 году в журнале «День и ночь» по рекомендации В. П. Астафьева, с его предисловием (поэма в прозе «Старый Николаев»). В дальнейшем произведения публиковались в журналах «День и ночь», «Наш современник», «Роман-журнал», «Коломенский альманах», «Сибирь» и др. Автор книг «Теперь лишь вспоминать» (воспоминания о Г. В. Свиридове, 2004), «Повседневная жизнь российских железных дорог» (2007), автор-составитель книги «Георгий Свиридов в воспоминаниях современников» (2006). Лауреат премии журнала «Наш современник» (2011). Автор многих музыкальных радиопередач, статей в широкой печати.

стр.
59

Гладышев Юрий Николаевич
Зеленогорск, 1963 г. р.

Родился в Новосибирской области. После окончания срока службы остался в армии, служил в Томске, с 1989 года — в Зеленогорске Красноярского края. Пишет прозу. Первая публикация была в журнале «День и ночь» в 2008 году.

стр.
147

Грешилов Анатолий Васильевич
Железногорск, 1946 г. р.

Поэт, прозаик. Родился в Белгороде. Окончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института. Работает в проектно-институте. Заслуженный архитектор Российской Федерации, член Союза архитекторов России. Автор крупных объектов и комплексов в Красноярске, во многих городах Красноярского края, Сибири, Урала, Украины. Автор сборников стихов и прозы «Косой дождь», «Алькор и Мицар», «Сыны Грома». Публиковался в коллективных сборниках «Послание во Вселенную», «Проза Сибири и Дальнего Востока», альманахах «Новый Енисейский литератор», «Гостинный Двор» (Оренбург), «Стрежень» (Тольятти), журналах «Литература Сибири», «День и ночь», антологии одного стихотворения «Поэты на берегах Енисея XVIII–XXI вв.» и др.

стр.
100

Деменюк Андрей Фомич
Санкт-Петербург, 1960 г. р.

Родился и вырос в Красноярске. Окончил Красноярский институт цветных металлов. Геолог. До переезда в Санкт-Петербург работал в Музее геологии Центральной Сибири (Красноярск). Поэт, литературный переводчик, художник. Стихи публиковались в красноярских городских, краевых газетах и журналах, в коллективных сборниках, а также в сми ближнего зарубежья. Как поэт и литературный переводчик плодотворно сотрудничал с красноярскими музыкантами и композиторами (Владимир Пономарёв, Александр Шендрик, Вера Баранова, Светлана Одереева). Автор сборника стихов «Акцент ночи», посвящённого памяти поэтов Зория Яхнина и Юрия Астафьева.

стр.
160

Дуардович Игорь Эдуардович
Дзержинский, 1989 г. р.

Студент Литературного института им. А. М. Горького. Начинающий поэт, критик и редактор. Заведующий редакцией журнала «Вопросы литературы». Публиковался в центральной, региональной и зарубежной литературной периодике («Арион», «Знамя», «Дружба народов», «Новая Юность», «Урал», «Литературная газета», «Deutsche Allgemeine Zeitung» и др.). Лауреат фестиваля «Эмигрантская лира-2011» в критической поддоминации «Эмигрантское творчество русскоязычного поэта-эмигранта». Живёт в Подмоскowie.

стр.
105

Кан Диана Елисеевна
Самарская область

Поэтесса, член Союза писателей России. Автор книг «Високосная весна», «Междуречье», «Обречённые на славу», «Согдиана» и др. Печаталась в московских и региональных изданиях России.

стр.
175

Ленский Вениамин
(Лебедев Алексей Анатольевич)
Харьков, Украина, 1981 г. р.

Родился в Харькове. Окончил Люботинскую школу-интернат для детей-сирот, Харьковскую академию физической культуры. Проза и стихи публиковались в журналах «Крещатик», «День и ночь», «Введенская сторона», в альманахе «Левада», интернет-журнале «Пролог» и др. Лауреат областного конкурса-смотр молодых писателей «Молодая Слобожанщина» (2006–2010), поликультурного конкурса-фестиваля «Много языков — один мир» (Киргизия, 2012).

стр.
97

Леонтьев Андрей Васильевич
Красноярск, 1961 г. р.

Родился в уральском шахтёрском городке. Школьные годы провёл в Поволжье, в Саратовской области. В 1984 году окончил радиотехнический факультет Куйбышевского авиационного института. В Красноярске — с 1986 года. Заместитель главного редактора альманаха «Новый Енисейский литератор», технический редактор альманаха «Енисей». Обладатель диплома им. А. Твардовского конкурса «Золотое перо Руси» (2010). Автор книг стихов «Между явью и сном», «Голос жизни». Публиковался в журналах и альманахах «День и ночь» и «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), «Приокские зори» (Тула), «Стрежень» (Тольятти), «Истоки» (Н.-Ингаш), «Гостинный Двор» (Оренбург), «Соотечественник» (Берген, Норвегия), интернет-журналах «Подлинник» (Россия — Молдова), «Лексикон» (Чикаго, США), многочисленных антологиях и коллективных сборниках. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр.
169

Литинская Елена
Нью-Йорк, США

Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979 году эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному делу. Проработала 30 лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала пять книг стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдалённость» (2011), «От Спиридоновки до Шипсхед-Бей» (2013). Стихи, рассказы, очерки и статьи публиковались в периодических изданиях, сборниках и альманахах США, Канады и Европы. Член редколлегии сетевого литературного журнала «Гостинная», президент Бруклинского клуба русских поэтов, а также вице-президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).

стр.
134Маргулис Аркадий
Израиль, 1951 г. р.

Родился в Киеве. С 1974 по 1988 год, после окончания Азербайджанского института нефти и химии в Баку, трудился на Чернобыльской атомной электростанции. Прошёл путь от оператора до начальника смены. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В последующие годы работал главным специалистом-инспектором в Главной государственной инспекции по надзору за ядерной безопасностью Украины. В этот же период окончил Литературные курсы в Киеве. С 2000 года проживает в Израиле, работает на американо-израильском биофармацевтическом предприятии «Омрикс». Член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП). Рассказы и повести различных жанров опубликованы книгой «По обе стороны перевала», печатаются в периодике России, Украины, Латвии, США, Канады, Германии, Финляндии, Новой Зеландии.

стр.
5Маркова Серафима Алексеевна
Калужская область, 1939 г. р.

Литературовед, критик. Родилась в деревне Елькино Ферзиковского района Калужской области. После окончания школы работала корректором и корреспондентом в районной газете. В 1970 году окончила факультет журналистики мгу. Писала рассказы о животных, короткие повести о юношеской дружбе, о любви. Но главный интерес сосредоточен на литературной критике, на интерпретации художественных произведений.

стр.
4+Минин Евгений
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках пво. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово/Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета», издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху

«Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения Союза писателей Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израилу, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года-2007» Международного союза литераторов и журналистов (АРИА). Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр.
173Огнева Нина Сергеевна
Ростов-на-Дону, 1951 г. р.

Родилась в Ростове-на-Дону. Автор нескольких стихотворных сборников: «Поэзия», «Ни серебра, ни злата», «Никого нет», «Я жду», «Ничего не попишешь». Участник коллективного сборника «Перекрёсток», антологий «45-я параллель», «Слово» (Германия) и др. Член Международной федерации русских писателей, а с 2001 по 2012 год — член Союза российских писателей. Инициатор и исполнитель некоммерческого издательского проекта «32 полосы» (совместно с издателем Кучмой Ю. Д.). Публикации в журналах «Ковчег», «Слово», «Дети Ра», «ЕДИТА» (Германия), литературно-культурологических газетах «ЛГ-Юг России», «Дар», «Интеллигент. Санкт-Петербург», «Обзор-вEEKLY» (Чикаго), сетевом альманахе «45-я параллель», научно-культурологическом интернет-издании «RELGA» и др. В издательствах «Феникс» и «Проф-Пресс» (РнД) вышло более десятка познавательных и «утилитарных» книг (в основном под псевдонимом Нина Гуль), а также сборник психологических этюдов «Я — не стерва», авторская книга «Легенды, предания, притчи мусульманского Востока» (в переиздании под настоящим именем — «Ларец мусульманской мудрости»), повесть-сказка для детей «Книга, название которой мы забыли» и др.

стр.
163Пичура Галина
Нью-Джерси, Флорида, США

Родилась и выросла в Ленинграде. С 1991 года живёт в США. По образованию — библиограф и программист. Публиковалась в периодике США и Европы. Автор поэтического сборника «Пространство боли» (2006). Победительница международного литературного конкурса, состоявшегося в Самаре (2012), в котором приняли участие авторы из 17 стран мира. Член Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).

стр. 177 Раджабов Тимур Шаирович
Москва, 1976 г. р.

Родился в Дагестане. Учился на филологическом факультете Дагестанского университета. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтического сборника «Озорное вино» (2006), многочисленных публикаций в периодических изданиях. Лауреат премии Международного поэтического конкурса «Серебряный стрелец», один из авторов книги «Серебряный стрелец. Поэзия-2008». Лауреат премии мэрии Москвы (фестиваль гражданской поэзии «Московские салюты-2006»). Лауреат премии имени Юсупа Хаппалаева (2012).

стр. 3 Рязова Арина Борисовна
Калифорния, США, 1970 г. р.

Родилась в Красноярске. В 1993 году с отличием окончила Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева по специальности «Французский и английский языки». С 2001 года живёт и работает в США.

стр. 130 Секлицкая Татьяна Васильевна
Зеленогорск, 1958 г. р.

Родилась в городе Черемхово Иркутской области. Окончила Красноярское педучилище, 12 лет проработала в детском саду. С 1991 года живёт в Зеленогорске. Работает в Центре экологии и туризма. Публиковалась в журнале «День и ночь».

стр. 115 Смирнов Сергей Александрович
Норильск, 1953 г. р.

Прозаик, поэт, автор песен. Родился в Норильске. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Работал геологом в Средней Азии, на Крайнем Северо-Востоке, в Арктике. Рассказы публиковались в андырской газете «Крайний Север», в норильских литературных альманахах.

стр. 107 Табунов Александр Павлович
Амурская область, 1951 г. р.

Родился в селе (бывшей казачьей станице) Поярково Михайловского района Амурской области. Потомственный амурский казак. Первые публикации появились в возрасте тринадцати лет. В 1965 году был поощрён путёвкой во Всероссийский комсомольский лагерь «Орлёнок». В школьные годы активно переписывался с редакциями газеты «Пионерская правда», журналов «Пионер» и «Костёр».

Работал в районной и областной прессе. В 1982 году занял первое место в облконкурсе молодых журналистов. В 1989 году окончил заочное отделение журфака двгу. Публиковался в альманахах «Амур» (Благовещенск), «Рубеж» (Владивосток). Член Союза журналистов СССР с 1976 года.

стр. 179 Чейгин Пётр Николаевич
Санкт-Петербург, 1948 г. р.

Поэт. Родился в Ораниенбауме. Работал разнорабочим в книжном магазине, в музее Достоевского. Публиковался в самиздате с 1978 года. Автор нескольких книг. Публикации в журналах «Звезда», «НЛО», «День и ночь» и др.

стр. 182 Шулаков Сергей Иванович
Москва, 1970 г. р.

Журналист, литературный критик. В 2003–2005 годах — главный редактор журнала и интернет-сайта «Сельская молодёжь» издательства «Подвиг». В 2005–2006 годах — руководитель пресс-службы Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), заместитель главного редактора журнала «Вестник МАГ». С 2009 года — литературный редактор исторического альманаха «Кентавр» издательства «Подвиг». Лауреат премии журнала «Юность» 2009 года в номинации «Литературная критика».

стр. 102 Яночкин Евгений Николаевич
Дмитров, 1966 г. р.

Родился на юге Красноярского края. По профессии — геофизик, работал в различных экспедициях в Сибири, в Индии и в Южной Америке. В 2010 году заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького. С ранних лет пишет стихи и прозу. Публиковался в литературных журналах «День и ночь», «Московский вестник», «Братина», «Юность», в местной периодике различных городов. Автор сборника стихотворений и поэм «Отголоски».

стр. 16 Янге Елена
Москва

Родилась в Москве. Окончила мгу им. Ломоносова. Автор романа «Предсказание по таблетке», книги «Ролевые игры для детей». Лауреат Международного конкурса «Национальная литературная премия „Золотое перо Руси“» (2009), победитель международного литературного фестиваля «Русский Stil-2010» в номинации «Нашим детям» (проза).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**Марина Саввиных****ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА***по прозе***Эдуард Русаков****Александр Астраханцев***по поэзии***Иван Клиновой****Сергей Кузнечихин****ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК****Олег Наумов****КОРРЕКТОР****Андрей Леонтьев****РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ****Николай Алешков**

Набережные Челны

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Александр Лейфер

Омск

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Миясат Муслимова

Махачкала

Александр Петрушкин

Кыштым

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Михаил Стрельцов

Красноярск

Михаил Тарковский

Бахта

Вероника Шелленберг

Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ**А. М. Клешко**Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края**Е. Г. Паздникова**Министр культуры Краснояр-
ского края**Т. Л. Савельева**Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края**Г. О. Янушкевич**Руководитель Агентства печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Издание осуществляется при поддержке
Агентства печати и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании
принимал участие В. П. Астафьев. Пер-
вым главным редактором с 1993 по 2007 гг.
был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации
п/и №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано
Министерством Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использован
фрагмент картины Бориса Рязова.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не ре-
цензируются и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы материалов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. При перепечатке материалов ссылка
на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 601 143 005

Расчётный счёт 4070 2810 8006 0000 0186

в Новосибирском филиале

ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт

3010 1810 9000 0000 0762

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск,
а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:

ул. Ладос Кедровели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 03.10.2013

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.

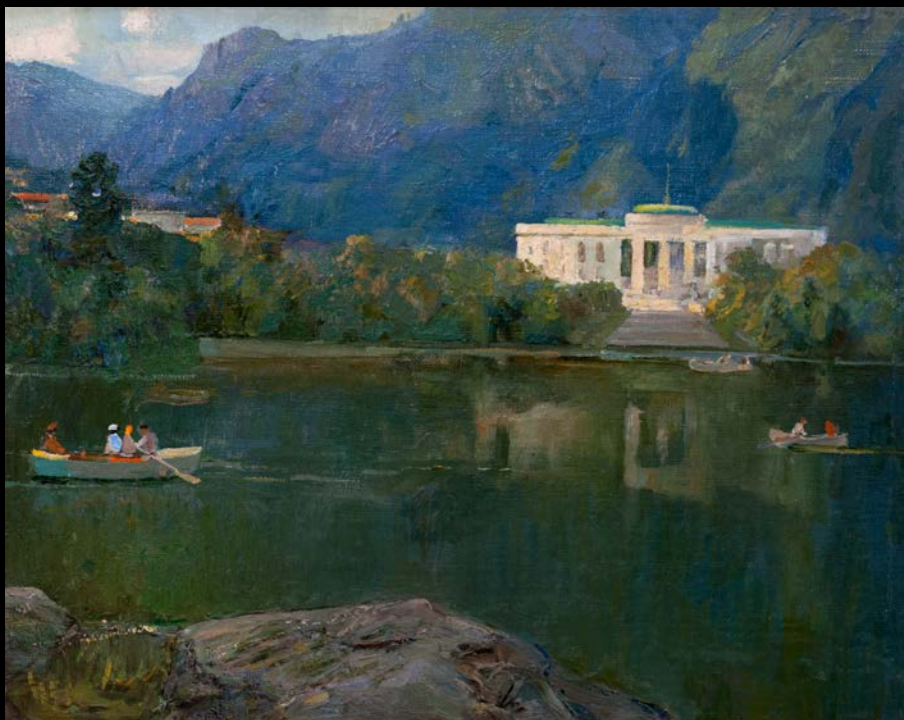
в типографии «Литера-принт»,

г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10

эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577



Нина Рязова | Букет осени | 2011 | холст, масло



Борис Рязов | На отдыхе | 1951 | холст, масло



Нина Рязова | Солнечный май | 2010 | холст, масло

На первой странице обложки:

Борис Рязов | Сельскохозяйственный институт (фрагмент)
1972 | холст, масло